



# ХРЕСТОМАТИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 7 КЛАССА

Часть 1

Составитель: Сергей Митюрёв

## Содержание

Добрыня и Змей.....	4
Житие святого благоверного князя Александра Невского .....	10
<i>Александр Сергеевич Пушкин</i> Выстрел.....	17
<i>Василий Андреевич Жуковский</i> Светлана.....	25
<i>Вениамин Александрович Каверин</i> Два капитана.....	33
Часть 4 Север.....	33
Глава 1 Летняя школа .....	33
Глава 2 Санина свадьба .....	36
Глава 3 Пишу доктору Ивану Ивановичу.....	39
Глава 4 Получаю ответ .....	41
Глава 5 Три года .....	43
Глава 6 У доктора.....	47
Глава 7 Читаю дневники.....	51
Глава 8 Семейство доктора .....	59
Глава 9 «Мы, кажется, где-то встречались...» .....	61
Глава 10 Спокойной ночи! .....	65
Глава 11 Полет.....	68
Глава 12 Пурга.....	70
Глава 13 Что такое примус.....	73
Глава 14 Старый латунный багор .....	75
Глава 15 Ванокан.....	78
Часть 5 Для сердца .....	82
Глава 1 Встреча с Катей.....	82
Глава 2 Юбилей Кораблева .....	85
Глава 3 Без названия .....	89
Глава 4 Много нового .....	92
Глава 5 В театре.....	96
Глава 6 Опять много нового.....	99
Глава 7 «А у нас гость!» .....	103
Глава 8 Верен памяти.....	107
Глава 9 Все решено. Она уезжает .....	109
Глава 10 На Сивцевом Вражке.....	112
Глава 11 День хлопот .....	114
Глава 12 Ромашка.....	116
Часть 7 Разлука.....	121
Глава 1 Пять лет .....	121
Глава 2 О чем рассказала бабушка .....	129
Глава 3 «Помни, ты веришь» .....	132
Глава 4 «Непременно увидимся, но не скоро».....	135
Глава 5 Брат .....	139
Глава 6 Теперь мы равны .....	141
Глава 7 «Екатерине Ивановне Татариновой-Григорьевой».....	143
Глава 8 Это сделал доктор.....	145
Глава 9 Отступление .....	146
Глава 10 А жизнь идет .....	148
Глава 11 Ужин. «Не обо мне речь».....	151

Глава 12 Верю.....	154
Глава 13 Надежда .....	156
Глава 14 Теряю надежду.....	160
Глава 15 Да спасет тебя любовь моя!.....	163
Глава 16 Прости, Ленинград! .....	166
Часть 8 Бороться и искать .....	170
Глава 1 Утро.....	170
Глава 2 Он .....	171
Глава 3 Все, что могли.....	174
Глава 4 «Это ты, Сова?» .....	175
Глава 5 Старые счета .....	177
Глава 6 Девушки из Станислава .....	179
Глава 7 В осиновой роще.....	181
Глава 8 Никто не узнает .....	183
Глава 9 Один.....	184
Глава 10 Мальчики.....	186
Глава 11 О любви .....	187
Глава 12 В госпитале .....	189
Глава 13 Приговор.....	192
Глава 14 Ищу Катю .....	194
Глава 15 Встреча с гидрографом Р. ....	197
Глава 16 Решение .....	201
Глава 17 Друзья, которых не было дома.....	203
Глава 18 Старый знакомый. Катин портрет .....	205
Глава 19 «Ты меня не убьешь» .....	207
Глава 20 Тень .....	210
Часть 9 Найти и не сдаваться .....	214
Глава 1 Жена.....	214
Глава 2 Еще ничего не кончилось .....	217
Глава 3 Свободная охота .....	220
Глава 4 Доктор служит в Полярном .....	222
Глава 5 За тех, кто в море .....	225
Глава 6 Большие расстояния .....	227
Глава 7 Снова в Заполярье .....	229
Глава 8 Победа.....	233
Часть 10 Последняя страничка.....	235
Глава 1 Разгадка .....	235
Глава 2 Самое невероятное .....	238
Глава 3 Это была Катя .....	240
Глава 4 Прощальные письма.....	244
Глава 5 Последняя страница .....	246
Глава 6 Возвращение .....	249
Глава 7 Два разговора .....	252
Глава 8 Доклад.....	255
Глава 9 И последняя.....	258
Эпилог .....	262

## Добрыня и Змей

Добрынюшке-то матушка говаривала,  
Да и Никитичу-то матушка наказывала:  
– Ты не ездика далече во чисто поле,  
На тую гору да сорочинскую,  
Не топчи-ка младых змеенышей,  
Ты не выручай-ка полонов<sup>1</sup> да русских,  
Не купайся, Добрыня во Пучай-реке,  
Та Пучай-река очень свирепая,  
А середняя-то струйка как огонь сечет!

А Добрыня своей матушки не слушался.  
Как он едет далече во чисто поле,  
А на тую на гору сорочинскую,  
Потоптал он младых змеенышей,  
А й повыручил он полонов да русских.

Богатырско его сердце распотелось,  
Распотелось сердце, нажаделось –  
Он приправил своего добра коня,  
Он добра коня да ко Пучай-реке<sup>2</sup>,  
Он слезал, Добрыня, со добра коня,  
Да снимал Добрыня платье цветное,  
Да забрел за струечку за первую,  
Да он забрел за струечку за среднюю  
И сам говорил да таковы слова:  
– Мне, Добрынюшке матушка говаривала,  
Мне, Никитичу, маменька и наказывала:  
Что не ездика далече во чисто поле,  
На тую гору на сорочинскую,  
Не топчи-ка младых змеенышей,  
А не выручай полонов да русских,  
И не купайся, Добрыня, во Пучай-реке,  
Но Пучай-река очень свирепая,  
А середняя-то струйка как огонь сечет!  
А Пучай-река – она кротка-смирна,  
Она будто лужа-то дождевая!

Не успел Добрыня словца смолвити –  
Ветра нет, да тучу нанесло,  
Тучи нет, да будто дождь дождит,  
А й дождя-то нет, да только гром гремит,  
Гром гремит да свищет молния –  
А как летит Змеище Горынице  
О тых двенадцати о хоботах.

---

<sup>1</sup> Полоны – от устар. *полон*, то есть плен. Здесь *полонами* называются плененные русичи.

<sup>2</sup> Пучай-река – мифологическая река, отделяющая обычный мир от «иноного» мира. Ее называют «свирепой», «огненной», купание в ней чревато гибелью.

А Добрыня той Змеи не приужахнется.  
Говорит Змея ему проклятая:  
– Ты теперича, Добрыня, во моих руках!  
Захочу – тебя, Добрыня, теперь потоплю,  
Захочу – тебя, Добрыня, теперь съем-сожру,  
Захочу – тебя, Добрыня, в хобота возьму,  
В хобота возьму, Добрыня, во нору снесу!

Припадает Змея как ко быстрой реке,  
А Добрынюшка-то плавать он горазд ведь был:  
Он нырнет на бережок на тамошний,  
Он нырнет на бережок на здешний.

А нет у Добрынюшки добра коня,  
Да нет у Добрыни платьев цветных –  
Только-то лежит один пухов колпак,  
Да насыпан тот колпак да земли греческой,  
По весу тот колпак да в целых три пуда.  
Как ухватил он колпак да земли греческой<sup>3</sup>,  
Он шибнет<sup>4</sup> во Змею да во проклятую –  
Он отшиб Змеи двенадцать да всех хоботов.  
Тут упала-то Змея да во ковыль-траву,  
Добрынюшка на ножку он был поверток,  
Он скочил на змеиные да груди белые.  
На кресте-то у Добрыни был булатный<sup>5</sup> нож –  
Он ведь хочет расплатать ей груди белые.

А Змея Добрыне ему взмолилася:  
– Ах ты, эй, Добрыня сын Никитинич!  
Мы положим с тобой заповедь великую:  
Тебе не ездити далече во чисто поле,  
На тую на гору сорочинскую<sup>6</sup>,  
Не топтать больше младых змеенышей,  
А не выручать полонов да русских,  
Не купаться ти, Добрыне, во Пучай-реке.  
И мне не летать да на святую Русь,  
Не носить людей мне больше русских,  
Не копить мне полонов да русских.

Он повыпустил Змею как с-под колен своих –  
Поднялась Змея да вверх под облако.  
Случилось ей лететь да мимо Киев-града.  
Увидала она Князеву племянницу,  
Молоду Забаву дочь Потятичну,

---

<sup>3</sup> Колпак да земли греческой – головной убор странника по святым местам.

<sup>4</sup> Шибнуть – швырнуть, бросить.

<sup>5</sup> Булатный – сделанный из булатной стали, отличавшейся особой крепостью. Булатное оружие без усилий разрубало толстые гвозди и при этом не тупилось.

<sup>6</sup> Сорочинские горы – согласно русским былинам, за этими мифологическими горами начинались вражеские земли.

Идучи по улице по широкой.  
Тут припадает Змея да ко сырой земле,  
Захватила она Князеву племянницу,  
Унесла в нору да во глубокую.

Тогда солнышко Владимир стольно-киевский  
А он по три дня да тут былиц<sup>7</sup> кликал,  
А былиц кликал да славных рыцарей:  
– Кто бы мог съездить далече во чисто поле,  
На тую на гору сорочинскую,  
Сходить в нору да во глубокую,  
А достать мою, князеву, племянницу,  
Молоду Забаву дочь Потятичну?

Говорил Алешенька Левонтьевич:  
– Ах ты, солнышко Владимир стольно-киевский  
Ты накин-ка эту службу да великую  
На того Добрыню на Никитича  
У него ведь со Змеєю заповедь положена<sup>8</sup>,  
Что ей не летать да на святую Русь,  
А ему не ездить далече во чисто поле,  
Не топтать-то младых змеенышей  
Да не выручать полонов да русских.  
Так возьмет он Князеву племянницу,  
Молоду Забаву дочь Потятичну,  
Без бою, без драки-кроволития.

Тут солнышко Владимир стольно-киевский  
Как накинул эту службу да великую  
На того Добрыню на Никитича –  
Ему съездить далече во чисто поле  
И достать ему Князеву племянницу,  
Молоду Забаву дочь Потятичну.

Он пошел домой, Добрыня, закручинился,  
Закручинился Добрыня, запечалился.  
Встречает государыня да родна матушка,  
Та честна вдова Офимья Александровна:  
– Ты эй, рожено мое дитятко,  
Молодой Добрыня сын Никитинец!  
Ты что с пиру идешь не весел-де?  
Знать, что место было ти не по чину,  
Знать, чарой на пиру тебя приобнесли  
Аль дурак над тобою насмеялся-де?

Говорил Добрыня сын Никитинец:  
– Ты эй, государыня да родна матушка,  
Ты честна вдова Офимья Александровна!

---

<sup>7</sup> Былица – знахарка, гадающая по травам.

<sup>8</sup> Заповедь положена – существует договор.

Место было мне-ка по чину,  
Чарой на пиру меня не обнесли,  
Да дурак-то надо мной не насмеялся ведь,  
А накинуд службу да великую  
А то солнышко Владимир стольно-киевский,  
Что съездить далече во чисто поле,  
На тую гору да на высокую,  
Мне сходить в нору да во глубокую,  
Мне достать-то Князеву племянницу,  
Молоду Забаву дочь Потятичну.

Говорит Добрыне родна матушка,  
Честна вдова Офимья Александровна:  
– Ложись-ка спать да рано с вечера,  
Так утро будет очень мудрое –  
Мудренее утро будет оно вечера.

Он вставал по утрушку ранёшенько,  
Умывается да он белёшенько,  
Снаряжается он хорошоохонько.  
А берет он дедушкова да ведь добра коня  
Да идет на конюшню на стоялую,  
А берет в руки узду он да тесьмянную,  
Он поил Бурка питьем медвяным,  
Он кормил пшеной да белояровой,  
Он седлал Бурка в седельшко черкасское<sup>9</sup>,  
Он потнички<sup>10</sup> да клал на спинушку,  
Он на потнички да кладет войлочки,  
Клал на войлочки черкасское седельшко,  
Всех подтягивал двенадцать тугих подпругов<sup>11</sup>,  
Он тринадцатый-то клал да ради крепости,  
Чтобы добрый конь-то с-под седла не выскочил,  
Добра молодца в чистом поле не вырутил.  
Подпруги были шелковые,  
А шпеньки<sup>12</sup> у подпруг все булатные,  
Пряжки у седла да красна золота –  
Тот да шелк не рвется, да булат не трется,  
Красно золото<sup>13</sup> не ржавеет,  
Молодец-то на коне сидит да сам не стареет.

Поезжал Добрыня сын Никитинец,  
На прощанье ему матушка да плетку подала,  
Сама говорила таковы слова:  
– Как будешь далече во чистом поле,

---

<sup>9</sup> Седло черкасское – лучшее из всех лучших, седло настоящего богатыря, равного которому нет в мире.

<sup>10</sup> Потничек (потник) – войлок, подкладываемый под седло.

<sup>11</sup> Подпруга – широкий прочный ремень, предназначенный для удерживания седла. Охватывает корпус лошади снизу и с обоих боков пристегивается к седлу.

<sup>12</sup> Шпенька (шпенек) – язычок в пряжке, вдеваемый при застегивании в отверстие на ремне.

<sup>13</sup> Красное (червонное) золото – золото с добавкой меди.

На тьи горы да на высокия,  
Потопчешь младых змеенышей,  
Повыручишь полонов да русскихих,  
Как тьи-то молодые змееныши  
Подточат у Бурка как они щеточки,  
Что не сможет больше Бурушко поскакивать,  
А змеенышей от ног да он отряхивать,  
Ты возьми-ка эту плеточку шелковую,  
А ты бей Бурка да промежу ноги,  
Промежу ноги да промежу уши,  
Промежу ноги да межу задние, –  
Станет твой Бурушко поскакивать,  
А змеенышей от ног да он отряхивать –  
Ты притопчешь всех да до единого.

Как будет он далече во чистом поле,  
На тьи горы да на высокия,  
Потоптал он младых змеенышей.  
Как тьи ли молодые змееныши  
Подточили у Бурка как они щеточки,  
Что не может больше Бурушко поскакивать,  
Змеенышей от ног да он отряхивать.  
Тут молодой Добрыня сын Никитинец  
Берет он плеточку шелковую,  
Он бьет Бурка да промежу уши,  
Промежу уши да промежу ноги,  
Промежу ноги межу задние.  
Тут стал его Бурушко поскакивать,  
А змеенышей от ног да он отряхивать,  
Притоптал он всех да до единого.

Выходила как Змея она проклятая  
Из тьи норы да из глубокия,  
Сама говорит да таковы слова:  
– Ах ты, эй, Добрынюшка Никитинец!  
Ты, знать, порушил свою заповедь.  
Зачем стоптал младых змеенышей,  
Почто выручал полоны да русские?

Говорил Добрыня сын Никитинец:  
– Ах ты, эй, Змея да ты проклятая!  
Черт ли ты нес да через Киев-град,  
Ты зачем взяла Князеву племянницу,  
Молоду Забаву дочь Потятичну?  
Ты отдай же мне-ка Князеву племянницу  
Без боя, без драки-кроволития.

Тогда Змея она проклятая  
Говорила-то Добрыне да Никитичу:  
– Не отдам я тебе князевой племянницы



Без боя, без драки-кроволития!

Заводила она бой-драку великую.  
Они дрались со Змеею тут трои сутки,  
Но не мог Добрыня Змею перебить.  
Хочет тут Добрыня от Змеи отстать –  
Как с небес Добрыне ему глас гласит:  
– Молодой Добрыня сын Никитинец!  
Дрался со Змеею ты трои сутки,  
Подерись со Змеей еще три часа:  
Ты побьешь Змею да ю, проклятую!

Он подрался со Змеею еще три часа,  
Он побил Змею да ю, проклятую, –  
Та Змея, она кровью пошла.  
Стоял у Змеи он тут трои сутки,  
А не мог Добрыня крови переждать.  
Хотел Добрыня от крови отстать,  
Но с небес Добрыне опять глас гласит:  
– Ах ты, эй, Добрыня сын Никитинец!  
Стоял у крови ты тут трои сутки –  
Постой у крови да еще три часа,  
Бери свое копьё да мурзамецкое<sup>14</sup>  
И бей копьём да во сыру землю,  
Сам копьёю да приговаривай:  
«Расступись-ка, матушка сыра земля,  
На четыре расступись да ты на четверти!  
Ты пожри-ка эту кровь да всю змеиную!»  
Расступилась тогда матушка сыра земля,  
Пожрала она кровь да всю змеиную.

Тогда Добрыня во нору пошел.  
Во тыи в норы да во глубокие,  
Там сидит сорок царей, сорок царевичей,  
Сорок королев да королевичей,  
А простой-то силы – той и сметы нет.  
Тогда Добрынюшка Никитинец  
Говорил-то он царям да он царевичам  
И тем королям да королевичам:  
– Вы идите нынъ туда, откель<sup>15</sup> принесены.  
А ты, молода Забава дочь Потятична, –  
Для тебя я эдак теперь странствовал –  
Ты поедем-ка ко граду ко Киеву  
А й ко ласковому князю ко Владимиру.  
И повез молоду Забаву дочь Потятичну.

---

<sup>14</sup> Мурзамецкое копьё – русский вариант татарского копьё.

<sup>15</sup> Откель – откуда.

## Житие святого благоверного князя Александра Невского<sup>16</sup> (память 12 сентября/06 декабря)

Во имя господина нашего Иисуса Христа, сына божия.

Я, жалкий и многогрешный, недалекий умом, осмеливаюсь описать житие святого князя Александра, сына Ярославова, внука Всеволодова. Поскольку слышал я от отцов своих и сам был свидетелем зрелого возраста его, то рад был поведать о святой, и честной, и славной жизни его. Но как сказал Приточник<sup>17</sup>: «В лукавую<sup>18</sup> душу не войдет премудрость: ибо на возвышенных местах пребывает она, посреди дорог стоит, при вратах людей знатных останавливается». Хотя и прост я умом, но все же начну, помолвившись святой Богородице и уповав на помощь святого князя Александра.

Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеколюбивого, и более всего – кроткого, князя великого Ярослава и от матери Феодосии. Как сказал Исайя-пророк<sup>19</sup>: Так говорит господь: «Князей я ставлю, священны ибо они, и я их веду». И воистину – не без божьего повеления было княжение его.

И красив он был, как никто другой, и голос его – как труба в народе, лицо его – как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы Самсона<sup>20</sup>, и дал ему бог премудрость Соломона<sup>21</sup>, храбрость же его – как у царя римского Веспасиана<sup>22</sup>, который покорил всю землю Иудейскую. Однажды приготовился тот к осаде города Иоатапаты, и вышли горожане, и разгромили войско его. И остался один Веспасиан, и повернул выступивших против него к городу, к городским воротам, и посмеялся над дружиною своею, и укорил ее, сказав: «Оставили меня одного». Так же и князь Александр – побеждал, но был непобедим.

Потому-то один из именитых мужей Западной страны, из тех, что называют себя слугами божьими, пришел, желая видеть зрелость силы его, как в древности приходила к Соломону царица Савская<sup>23</sup>, желая послушать мудрых речей его. Так и этот, по имени Андреаш, повидав князя Александра, вернулся к своим и сказал: «Прошел я страны, народы и не видел такого ни царя среди царей, ни князя среди князей».

---

<sup>16</sup> Александр Невский – (1220–1263) – новгородский князь, сын Ярослава II и внук Всеволода Большое Гнездо, выдающийся полководец, защитник русской земли. Свое прозвище получил в честь победы над шведами, одержанной на Неве в 1240 году.

<sup>17</sup> Приточник – говорящий притчами, то есть иносказательными нравоучительными историями.

<sup>18</sup> Лукавый – коварный, хитрый, неискренний.

<sup>19</sup> Исайя-пророк – один из четырех великих ветхозаветных пророков (Ветхий Завет – часть Библии). Писал о пришествии Спасителя.

<sup>20</sup> Самсон – ветхозаветный герой, прославившийся своими подвигами, которые подробно описаны в библейской «Книге Судей».

<sup>21</sup> Соломон – еврейский царь, славившийся своей необычайной мудростью.

<sup>22</sup> Веспасиан – (9–79 н.э.), римский император, в годы правления которого римские территории успешно расширялись.

<sup>23</sup> Царица Савская – легендарная правительница арабийского царства, которая, как рассказывается в Ветхом Завете, услышав о славе царя Соломона, пришла в Иерусалим испытать его загадками и изумилась его мудрости.

Услышав о такой доблести князя Александра, король страны Римской из северной земли<sup>24</sup> подумал про себя: «Пойду и завоюю землю Александрову». И собрал силу великую, и наполнил многие корабли полками своими, двинулся с огромным войском, пылая духом ратным. И пришел в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, возгордившись, в Новгород к князю Александру, говоря: «Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою».

Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем, и вошел в церковь святой Софии<sup>25</sup>, и, упав на колени пред алтарем<sup>26</sup>, начал молиться со слезами: «Боже славный, праведный, Боже великий, сильный, Боже пречечный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, ты повелел жить, не преступая чужих границ». И, припомнив слова пророка, сказал: «Суди, господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне».

И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу. Архиепископ<sup>27</sup> же был тогда Спиридон, он благословил его и отпустил. Князь же, выйдя из церкви, осушил слезы и начал ободрять дружину свою, говоря: «Не в силе бог, но в правде. Вспомним Песнотворца, который сказал: "Одни с оружием, а другие на конях, мы же имя господя бога нашего призовем; они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо"». Сказав это, пошел на врагов с малою дружиною, не дожидаясь своего большого войска, но уповая на Святую Троицу.

Скорбно же было слышать, что отец его, князь великий Ярослав не знал о нашествии на сына своего, милого Александра, и ему некогда было послать весть отцу своему, ибо уже приближались враги. Потому и многие новгородцы не успели присоединиться, так как поспешил князь выступить. И выступил против них в воскресенье пятнадцатого июля, имея веру великую к святым мученикам Борису и Глебу<sup>28</sup>.

И был один муж, старейшина земли Ижорской, именем Пелугий, ему поручена была ночная стража на море. Был он крещен и жил среди рода своего, язычников, наречено же имя ему в святом крещении Филипп, и жил он богоугодно, соблюдая пост в среду и пятницу, потому и удостоил его бог видеть видение чудное в тот день. Расскажем вкратце.

Узнав о силе неприятеля, он вышел навстречу князю Александру, чтобы рассказать ему о станах врагов. Стоял он на берегу моря, наблюдая за обоими путями, и провел всю ночь без сна. Когда же начало всходить солнце, он услышал шум сильный на море и увидел один насад<sup>29</sup>, плывущий по морю, и стоящих посреди насада святых мучеников

---

<sup>24</sup> Король страны Римской из северной земли – имеется в виду предводитель шведов Биргер Ярл (1216–1266). Автор жития называет его королем *страны Римской*, указывая на принадлежность шведов к римско-католической церкви и подчеркивая тем самым, что Александру Невскому предстоит борьба со всем римско-католическим миром.

<sup>25</sup> Церковь (собор) Святой Софии – главный православный храм Великого Новгорода, созданный в 1045–1050 годах.

<sup>26</sup> Алтарь – (лат. «возвышенное место») – восточная, главная часть храма, в которой находятся престол, жертвенник, епископская или священническая кафедра.

<sup>27</sup> Архиепископ – духовный сан, одна из высших ступеней в христианской церкви.

<sup>28</sup> Борис и Глеб – сыновья киевского князя Владимира, убитые по приказу своего сводного брата Святополка Окаянного в междоусобной борьбе за власть. Стали первыми русскими святыми, официально признанными церковью.

<sup>29</sup> Насад – вид судна.

Бориса и Глеба в красных одеждах, держащих руки на плечах друг друга. Гребцы же сидели, словно мглой одетые. Произнес Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему князю Александру». Увидев такое видение и услышав эти слова мучеников, Пелугий стоял, трепетен, пока насад не скрылся с глаз его.

Вскоре после этого пришел Александр, и Пелугий, радостно встретив князя Александра, поведал ему одному о видении. Князь же сказал ему: «Не рассказывай этого никому».

После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и была сеча великая с римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил след острого копья своего. Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка Александра. Первый – по имени Гаврило Олексич. Он напал на шнек<sup>30</sup> и, увидев королевича, влекомого под руки, въехал до самого корабля по сходням, по которым бежали с королевичем; преследуемые им схватили Гаврилу Олексича и сбросили его со сходен вместе с конем. Но по божьей милости он вышел из воды невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою посреди их войска.

Второй, по имени Сбыслав Якунович, новгородец. Этот много раз нападал на войско их и бился одним топором, не имея страха в душе своей; и пали многие от руки его, и дивились силе и храбрости его.

Третий – Яков, родом полочанин<sup>31</sup>, был ловчим у князя. Этот напал на полк с мечом, и похвалил его князь.

Четвертый – новгородец, по имени Меша. Этот пеший с дружиною своею напал на корабли и потопил три корабля.

Пятый – из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался в большой королевский златоверхий шатер и подсек столб шатерный. Полки Александровы, видевши падение шатра, возрадовались.

Шестой – из слуг Александра, по имени Ратмир. Этот бился пешим, и обступили его враги многие. Он же от многих ран пал и так скончался.

Все это слышал я от господина своего великого князя Александра и от иных, участвовавших в то время в этой битве. Было же в то время чудо дивное, как в прежние дни при Езекии-царе<sup>32</sup>. Когда пришел Сенахирим, царь ассирийский<sup>33</sup>, на Иерусалим, желая покорить святой град Иерусалим, внезапно явился ангел господень и перебил сто восемьдесят пять тысяч из войска ассирийского, и, встав утром, нашли только мертвые трупы. Так было и после победы Александровой: когда победил он короля, на противоположной стороне реки Ижоры, где не могли пройти полки Александровы, здесь нашли несметное множество убитых ангелом господним. Оставшиеся же обратились в бегство, и трупы мертвых воинов своих набросали в корабли и потопили

---

<sup>30</sup> Шнек – вид судна.

<sup>31</sup> Полочанин – уроженец Полоцка.

<sup>32</sup> Езекия – 13 еврейский царь, с правлением которого иудеи связывали большие надежды на избавление от власти иноплеменников и объединение всего Израиля вокруг Иерусалима.

<sup>33</sup> Ассирийское царство существовало с 15 века до 605 г. до Р.Х.

их в море. Князь же Александр возвратился с победою, хваля и славя имя своего творца.

На второй же год после возвращения с победой князя Александра вновь пришли из Западной страны и построили город на земле Александровой. Князь же Александр вскоре пошел и разрушил город их до основания, а их самих – одних повесил, других с собою увел, а иных, помиловав, отпустил, ибо был безмерно милостив. После победы Александровой, когда победил он короля, на третий год, в зимнее время, пошел он с великой силой на землю немецкую, чтобы не хвастались, говоря: «Покорим себе славянский народ».

А был ими уже взят город Псков и наместники немецкие посажены. Он же вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и город освободил от безбожных немцев, а землю их повоевал и пожег и пленных взял бесчисленное множество, а других перебил. Немцы же, дерзкие, соединились и сказали: «Пойдем, и победим Александра, и захватим его».

Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов<sup>34</sup>. Отец Александра, Ярослав, прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. Да и у князя Александра было много храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, сильных и стойких. Так и мужи Александра исполнились духа ратного, ведь были сердца их как сердца львов, и воскликнули: «О княже наш славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за тебя». Князь же Александр воздел руки к небу и сказал: «Суди меня, боже, рассуди распрю мою с народом неправедным и помоги мне, господи, как в древности помог Моисею одолеть Амалика и прадеду нашему Ярославу окаянного Святополка».

Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью.

А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство божие в воздухе, пришедшее на помощь Александру. И так победил врагов помощью божьей, и обратились они в бегство, Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыться. Здесь прославил бог Александра пред всеми полками, как Иисуса Навина у Иерихона<sup>35</sup>. А того, кто сказал: «Захватим Александра», – отдал бог в руки Александра. И никогда не было противника, достойного его в бою. И возвратился князь Александр с победою славною, и было много пленных в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто называет себя «божьими рыцарями».

И когда приблизился князь к городу Пскову, то игумены<sup>36</sup>, и священники, и весь народ встретили его перед городом с крестами, воздавая хвалу богу и прославляя господина

---

<sup>34</sup> Решающее сражение с Ливонским орденом, известное как Ледовое побоище произошло на льду Чудского озера у Вороньего камня 5 апреля 1242 года.

<sup>35</sup> ...как Иисуса Навина у Иерихона – Иисусу Навину удалось взять город Иерихон, окруженный неприступными мощными стенами. Когда город был взят в кольцо осады, израильские священники приказали своим трубачам одновременно затрубить во все трубы, а войску – громко воскликнуть. Стены иерихонские не выдержали и рухнули.

<sup>36</sup> Игумен – настоятель монастыря.

князя Александра, поюще ему песнь: «Ты, господи, помог кроткому Давиду победить иноплеменников и верному князю нашему оружием веры освободить город Псков от иноязычников рукою Александровою».

И сказал Александр: «О невежественные псковичи! Если забудете это до правнуков Александровых, то уподобитесь иудеям, которых питал господь в пустыне манною небесною и перепелами печеными, но забыли все это они и бога своего, избавившего их от плена египетского».

И прославилось имя его во всех странах, от моря Хонужского<sup>37</sup> и до гор Араратских, и по ту сторону моря Варяжского<sup>38</sup> и до великого Рима.

В то же время набрал силу народ литовский и начал грабить владения Александровы. Он же выезжал и избивал их. Однажды случилось ему выехать на врагов, и победил он семь полков за один выезд и многих князей их перебил, а иных взял в плен, слуги же его, насмехаясь, привязывали их к хвостам коней своих. И начали они с того времени бояться имени его.

В то же время был в восточной стране сильный царь, которому покорил бог народы многие от востока и до запада. Тот царь, прослышав о такой славе и храбрости Александра, отправил к нему послов и сказал: «Александр, знаешь ли, что бог покорил мне многие народы. Что же – один ты не хочешь мне покориться? Но если хочешь сохранить землю свою, то приди скорее ко мне и увидишь славу царства моего».

После смерти отца своего пришел князь Александр во Владимир в силе великой. И был грозен приезд его, и промчалась весть о нем до устья Волги. И жены моавитские начали страшать детей своих, говоря: «Вот идет Александр!»

Решил князь Александр пойти к царю в Орду, и благословил его епископ Кирилл. И увидел его царь Батый, и поразился, и сказал вельможам своим: «Истину мне сказали, что нет князя, подобного ему». Почтив же его достойно, он отпустил Александра.

После этого разгневался царь Батый на меньшего брата его Андрея и послал воеводу своего Неврюя разорить землю Суздальскую. После разорения Неврюем земли Суздальской князь великий Александр воздвиг церкви, города отстроил, людей разогнанных собрал в дома их. О таких сказал Исайя-пророк: «Князь хороший в странах – тих, приветлив, кроток, смиренен – и тем подобен богу». Не прельщаясь богатством, не забывая о крови праведников, сирот и вдов по правде судит, милостив, добр для домочадцев своих и радушен к приходящим из чужих стран. Таким и бог помогает, ибо бог не ангелов любит, но людей, в щедрости своей щедро одаривает и являет в мире милосердие свое.

Наполнил же Бог землю Александра богатством и славою и продлил Бог дни его.

Однажды пришли к нему послы от папы из великого Рима с такими словами: «Папа наш так говорит: "Слышали мы, что ты князь достойный и славный и земля твоя велика. Потому и прислали к тебе из двенадцати кардиналов двух умнейших – Агалдада и Ремонта, чтобы послушал ты речи их о законе Божьем"».

---

<sup>37</sup> Хонужское море – Каспийское море.

<sup>38</sup> Варяжское море – Балтийское море.

Князь же Александр, подумав с мудрецами своими, написал ему такой ответ: «От Адама<sup>39</sup> до потопа<sup>40</sup>, от потопа до разделения народов<sup>41</sup>, от смешения народов до начала Авраама<sup>42</sup>, от Авраама до прохождения израильтян сквозь море<sup>43</sup>, от исхода сынов Израилевых<sup>44</sup> до смерти Давида-царя, от начала царствования Соломона до Августа<sup>45</sup> и до Христова рождества, от рождества Христова и до распятия его и воскресения, от воскресения же его и вознесения на небеса и до царствования Константинова<sup>46</sup>, от начала царствования Константинова до первого собора и седьмого<sup>47</sup> – обо всем этом хорошо знаем, а от вас учения не примем». Они же возвратились восвояси.

И умножились дни жизни его в великой славе, ибо любил священников, и монахов, и нищих, митрополитов же и епископов почитал и внимал им, как самому Христу.

Было в те времена насилие великое от иноверных, гнали они христиан, заставляя их воевать на своей стороне. Князь же великий Александр пошел к царю, чтобы отмолить людей своих от этой беды.

А сына своего Дмитрия послал в Западные страны, и все полки свои послал с ним, и близких своих домочадцев, сказав им: «Служите сыну моему, как самому мне, всей жизнью своей». И пошел князь Дмитрий в силе великой, и завоевал землю Немецкую, и взял город Юрьев<sup>48</sup>, и возвратился в Новгород со множеством пленных и с большою добычею.

Отец же его великий князь Александр возвратился из Орды от царя, и дошел до Нижнего Новгорода, и там занемог, и, прибыв в Городец, разболелся. О горе тебе, бедный человек! Как можешь описать кончину господина своего! Как не выпадут зеницы<sup>49</sup> твои вместе со слезами! Как не вырвется сердце твое с корнем! Ибо отца оставить человек может, но доброго господина нельзя оставить; если бы можно было, то в гроб бы сошел с ним.

Много потрудившись Богу, он оставил царство земное и стал монахом, ибо имел безмерное желание принять ангельский образ. Сподобил же его Бог и большой чин

---

<sup>39</sup> Адам – первый человек, созданный Творцом.

<sup>40</sup> Потоп – имеется в виду Всемирный (великий) потоп – страшная катастрофа, посланная на Землю богом (или богами) и уничтожившая почти всех людей за их прегрешения.

<sup>41</sup> Разделение народов – согласно Ветхому Завету, люди, возгордившись, решили построить в Вавилоне башню до самого неба. Бог наказал их за гордыню, лишив некогда единого языка, и они перестали понимать друг друга. После разделения языков и племен древний мир начал жить разрозненной жизнью отдельных обособленных друг от друга народов.

<sup>42</sup> Авраам – по Библии, родоначальник еврейского народа, первый из трех патриархов.

<sup>43</sup> ...прохождения израильтян сквозь море – согласно Ветхому Завету, пророк Моисей, выводя евреев из египетского плена, простер руку и превратил море в сушу. Евреи благополучно перешли на другой берег, после чего воды снова сомкнулись.

<sup>44</sup> Исход сынов Израилевых – речь идет о том, как Моисей вывел почти 600 000 евреев из египетского плена (см. выше).

<sup>45</sup> Август – 63 до Р. Х. – 14 п. Р. Х., 1-й римский император.

<sup>46</sup> Константин Великий – 272–337 гг., римский император, сделавший христианство господствующей религией.

<sup>47</sup> ...до первого собора и седьмого – речь идет о семи т.н. Вселенских соборах (325–787 гг.), на которых главы христианских церквей из разных стран обсуждали важнейшие вопросы церковной жизни.

<sup>48</sup> Юрьев – современный Тарту.

<sup>49</sup> Зеницы – глаза.

принять – схиму<sup>50</sup>. И так с миром Богу дух свой предал месяца ноября в четырнадцатый день, на память святого апостола Филиппа.

Митрополит же Кирилл говорил: «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Суздальской!» Иереи<sup>51</sup> и диаконы<sup>52</sup>, черноризцы<sup>53</sup>, нищие и богатые и все люди восклицали: «Уже погибаем!»

Святое же тело Александра понесли к городу Владимиру. Митрополит же, князья и бояре и весь народ, малые и большие, встречали его в Боголюбове со свечами и кадилами. Люди же толпились, стремясь прикоснуться к святому телу его на честном одре<sup>54</sup>. Стояли же вопль, и стон, и плач, каких никогда не было, даже земля содрогнулась. Положено же было тело его в церкви Рождества святой Богородицы, в великой архимандритье<sup>55</sup>, месяца ноября в 24 день, на память святого отца Амфилохия.

Было же тогда чудо дивное и памяти достойное. Когда было положено святое тело его в гробницу, тогда Севастьян-эконом и Кирилл-митрополит хотели разжать его руку, чтобы вложить грамоту духовную<sup>56</sup>. Он же, будто живой, простер руку свою и принял грамоту из руки митрополита. И смятение охватило их, и едва отступили они от гробницы его. Об этом возвестили всем митрополит и эконом Севастьян. Кто не удивится тому чуду, ведь тело его было мертво и везли его из дальних краев в зимнее время. И так прославил Бог угодника своего.

---

<sup>50</sup> Схима – принимаемое православными монахами на себя обязательство соблюдать особенно строгие правила жизни, отказа от всего мирского.

<sup>51</sup> Иерей – в Русской церкви младший титул белого, то есть не принявшего монашества, священника.

<sup>52</sup> Диакон – лицо, проходящее церковное служение на первой, низшей степени священства. Диаконы помогают священникам и епископам при совершении богослужений, но самостоятельно служить не могут.

<sup>53</sup> Черноризец, или чернец – монах.

<sup>54</sup> Одр – постель, ложе.

<sup>55</sup> Архимандритья – самый почитаемый монастырь, во главе которого стоит архимандрит.

<sup>56</sup> Грамота духовная – завещание.



## *Александр Сергеевич Пушкин*

### **Выстрел**

...Стрелялись мы.  
(*Баратынский*<sup>57</sup>)

Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним остался еще мой выстрел).  
«Вечер на бивуаке»<sup>58</sup>

Мы стояли в местечке \*\*\*. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж<sup>59</sup>; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В \*\*\* не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большею частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки<sup>60</sup>, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк<sup>61</sup>. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец

<sup>57</sup> Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844) – русский поэт, современник и друг Пушкина.

<sup>58</sup> «Вечер на бивуаке» – название произведения популярного в 1820-е годы писателя-романтика Александра Бестужева-Марлинского. Бивуак – стоянка войск для ночлега или отдыха под открытым небом.

<sup>59</sup> Манеж – место или специальное большое здание для верховой езды и конных упражнений, а также специально оборудованная площадка для дрессировки животных.

<sup>60</sup> Мазанка – изба из глины или тонкого дерева, обмазанного глиной.

<sup>61</sup> Метать банк – сдавать карты.

велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев<sup>62</sup> и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтеру<sup>63</sup> случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал остальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнивал счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти, и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме».

Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут; но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии<sup>64</sup>.

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился.

Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние.

Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое<sup>65</sup> воображение, я всех сильнее прежде сего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня; по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностию. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил раза два в нем желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости

---

<sup>62</sup> Червонец – золотая монета достоинством в 5 или 10 рублей.

<sup>63</sup> Понтер – человек, играющий против банка – в азартных играх.

<sup>64</sup> Ваканция – то же, что и *вакансия*, то есть незанятая должность, свободное место на службе.

<sup>65</sup> Романическое – *здесь*: возвышенное.

сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа, – сказал им Сильвио, – обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас, – продолжал он, обратившись ко мне, – жду непременно». С сим<sup>66</sup> словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.

Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено; оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общою; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», – сказал он тихо. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.

– Может быть, мы никогда больше не увидимся, – сказал он мне, – перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас люблю, и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление.

Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я молчал, потупя глаза.

– Вам было странно, – продолжал он, – что я не требовал удовлетворения<sup>67</sup> от этого пьяного сумасброда Р\*\*\*. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р\*\*\*, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его.

Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня.

Сильвио продолжал.

– Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив.

Любопытство мое сильно было возбуждено.

– Вы с ним не дрались? – спросил я. – Обстоятельства, верно, вас разлучили?

– Я с ним дрался, – отвечал Сильвио, – и вот памятник нашего поединка.

Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотою кистью, с галуном (то, что французы называют *bonnet de police*); он ее надел; она была прострелена на вершок<sup>68</sup> ото лба.

– Вы знаете, – продолжал Сильвио, – что я служил в \*\*\* гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолodu это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буйном по армии. Мы хвастались

---

<sup>66</sup> С сим – с этим.

<sup>67</sup> Требовать удовлетворения (*устар.*) – вызывать на дуэль.

<sup>68</sup> Вершок – старорусская единица измерения, равная 4,445 сантиметрам (1,75 дюйма).

пьянством: я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым<sup>69</sup>. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло.

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливец столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы<sup>70</sup> мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами<sup>71</sup>. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже напевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приблизился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишиться его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти, – сказал я ему, – вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать». – «Вы ничуть не мешаете мне, – возразил он, – извольте себе стрелять, а впрочем, как вам угодно: выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал...

---

<sup>69</sup> ...славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым – Давыдов Денис Васильевич (1784–1839) – русский поэт. Алексей Петрович Бурцов – гусар, известный гуляка, которому Давыдов посвятил несколько стихотворений.

<sup>70</sup> Эпиграмма – небольшое сатирическое стихотворение, высмеивающее какое-либо лицо или общественное явление.

<sup>71</sup> Секундант – свидетель, посредник и помощник, сопровождающий дуэлянтов.

Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам<sup>72</sup>) писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.

– Вы догадываетесь, – сказал Сильвио, – кто эта известная особа. Еду в Москву.

Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!

При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно; странные, противоположные чувства волновали меня.

Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку; мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками<sup>73</sup>. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.

## II

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Н\*\* уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько вздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой<sup>74</sup>, разъезжая по работам или обходя новые заведения; но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница<sup>75</sup> Кириловна, были мне пересказаны; песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться пьяницею с горя, то есть самым горьким пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа состояла большею частию в икоте и вздыханиях. Уединение было сноснее.

В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б\*\*\*; но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца.

Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало; я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село \*\*\* рекомендоваться их сиятельствам<sup>76</sup>, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга.

Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможною роскошью; около стен стояли шкафы с книгами, и

---

<sup>72</sup> Поверенный по делам (в делах) – лицо, официально уполномоченное действовать от чьего-нибудь имени

<sup>73</sup> Пожитки – мелкое имущество, домашние вещи, скарб.

<sup>74</sup> (Сельский) староста – должностное лицо, избираемое всем «миром», то есть всем сельским обществом.

<sup>75</sup> Ключница – прислуга, в обязанность которой входит хранение ключей от всех замков в доме.

<sup>76</sup> Сиятельства – в царской России употреблялось с местоимениями *их*, *ваше* и т.п. в качестве титулов князей и графов.

над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным; я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость; я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще<sup>77</sup> прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня; я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтоб дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую.

– Вот хороший выстрел, – сказал я, обращаясь к графу.

– Да, – отвечал он, – выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете? – продолжал он.

– Изрядно, – отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета, мне близкого. – В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется из знакомых пистолетов.

– Право? – сказала графиня, с видом большой внимательности, – а ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?

– Когда-нибудь, – отвечал граф, – мы попробуем. В свое время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета.

– О, – заметил я, – в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета: мои были в починке; что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. У нас был ротмистр<sup>78</sup>, остряк, забавник; он тут случился и сказал мне: знать у тебя, брат, рука не подымается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки.

Граф и графиня рады были, что я разговорился.

– А как вы стреляли он? – спросил меня граф.

– Да вот как, ваше сиятельство: бывало, увидит он, села на стену муха: вы смеетесь, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: «Кузька, пистолет!» Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп, и вдавит муху в стену!

– Это удивительно! – сказал граф, – а как его звали?

– Сильвио, ваше сиятельство.

– Сильвио! – вскричал граф, вскочив со своего места; – вы знали Сильвио?

– Как не знать, ваше сиятельство; мы были с ним приятели; он в нашем полку принят был, как свой брат товарищ; да вот уж лет пять, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?

---

<sup>77</sup> Пуще – сильнее.

<sup>78</sup> Ротмистр – старший офицерский чин в кавалерии.

– Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам... но нет; не думаю; не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?

– Не пощечина ли, ваше сиятельство, полученная им на бале от какого-то повесы<sup>79</sup>?

– А сказывал он вам имя этого повесы?

– Нет, ваше сиятельство, не сказывал... Ах! ваше сиятельство, – продолжал я, догадываясь об истине, – извините... я не знал... уж не вы ли?..

– Я сам, – отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным, – а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи...

– Ах, милый мой, – сказала графиня, – ради Бога не рассказывай; мне страшно будет слушать.

– Нет, – возразил граф, – я все расскажу; он знает, как я обидел его друга: пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил.

Граф подвинул мне кресла, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.

«Пять лет тому назад я женился. – Первый месяц, the honey-moon<sup>80</sup>, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний.

Однажды вечером ездили мы вместе верхом; лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой; я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой; он стоял здесь у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» – сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» – закричал я, и, признаюсь, я почувствовал, как волосы стали вдруг на мне дыбом. «Так точно, – продолжал он, – выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?» Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил двенадцать шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил – он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился... Я считал секунды... я думал о ней... Ужасная прошла минута! Сильвио опустил руку. «Жалею, – сказал он, – что пистолет заряжен не черешневыми косточками... пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного. Начнем сызнова; кинем жребий, кому стрелять первому». Голова моя шла кругом... Кажется, я не соглашался... Наконец мы зарядили еще пистолет; свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый номер. «Ты, граф, дьявольски счастлив», – сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить... но – я выстрелил, и попал вот в эту картину. (Граф указывал пальцем на простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка: я не мог воздержаться от восклицания.) – Я выстрелил, – продолжал граф, – и, слава Богу, дал промах; тогда Сильвио... (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая, – сказал я ей, – разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди, выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинного друга и товарища». Маше все еще не верилось. «Скажите, правду ли муж говорит? – сказала она, обращаясь к грозному Сильвио, – правда ли, что вы оба

<sup>79</sup> Повеса – молодой человек, ищущий развлечений, забав и тратящий время легкомысленно; бездельник, проказник.

<sup>80</sup> the honey-moon (англ.) – медовый месяц.

шутите?» – «Он всегда шутит, графиня, – отвечал ей Сильвио, – однажды дал он мне шутя пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить...» С этим словом он хотел в меня прицелиться... при ней! Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно! – закричал я в бешенстве; – а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?» – «Не буду, - отвечал Сильвио, - я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке; люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели; он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться».

Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти<sup>81</sup>, предводительствовал отрядом этеристов<sup>82</sup> и был убит в сражении под Скулянами.

---

<sup>81</sup> Ипсиланти Александр (Александр Константинович) (12.12.1792, Константинополь – 31.1.1828, Вена), генерал-майор русской армии (1817), участник Отечественной войны 1812, заграничных походов русской армии 1813–1814 и борьбы греческого народа за освобождение от турецкого ига в 1821.

<sup>82</sup> Этеристы – члены гетерий, тайных обществ в Греции, ставивших своей главной целью борьбу против турецкого ига. Сражение под Скулянами произошло 17 июня 1821 г.



*Василий Андреевич Жуковский*

**Светлана**

*А. А. Воейковой*<sup>83</sup>

Раз в крещенский вечерок  
Девушки гадали:  
За ворота башмачок,  
Сняв с ноги, бросали;  
Снег пололи; под окном  
Слушали; кормили  
Счетным курицу зерном;  
Ярый воск топили;  
В чашу с чистою водой  
Клали перстень золотой,  
Серьги изумрудны;  
Расстилали белый плат  
И над чашей пели в лад  
Песенки подблюдны.<sup>84</sup>

---

83

Тускло светится луна  
В сумраке тумана –  
Молчалива и грустна  
Милая Светлана.  
«Что, подруженька, с тобой?  
Вымолви словечко;  
Слушай песни круговой;  
Вынь себе колечко.  
Пой, красавица: «Кузнец,  
Скуй мне злат и нов венец,  
Скуй кольцо золотое;  
Мне венчаться тем венцом,  
Обручаться тем кольцом  
При святом налое<sup>85</sup>».

«Как могу, подружки, петь?  
Милый друг далёко;  
Мне судьбина умереть  
В грусти одинокой.  
Год промчался – вести нет;  
Он ко мне не пишет;  
Ах! а им лишь красен свет,  
Им лишь сердце дышит...  
Иль не вспомнишь обо мне?  
Где, в какой ты стороне?  
Где твоя обитель?  
Я молюсь и слезы лью!  
Утоли печаль мою,  
Ангел-утешитель».

Вот в светлице<sup>86</sup> стол накрыт  
Белой пеленою;  
И на том столе стоит  
Зеркало с свечою;  
Два прибора на столе.  
«Загадай, Светлана;  
В чистом зеркала стекле

---

*Гадание по снегу.*

Вечером девушки ложились на снег. А утром смотрели на отпечаток. Если отпечаток гладкий, то муж будет покладистый, если отпечаток неровный, ребристый – то муж – злой и драчливый.

*Гадание с зеркалами.*

Лучшее время для такого гадания – полночь. Берут два зеркала, устанавливают их друг напротив друга., освещают двумя свечами, так чтобы в одном из них образовался длинный коридор, озаренный огнями. В комнате не должно быть кошек, собак, птиц, посторонних лиц, кроме одной или двух подруг. Подруги не должны глядеть в зеркала, подходить к гадающей и разговаривать с ней. В конце этого коридора должен появиться суженый; правда, смотреть иногда приходилось очень долго, и увидеть можно было не только суженого, но и всякую нечисть.

<sup>85</sup> Налой – то же, что *аналой*: употребляемый при богослужении высокий четырёхугольный столик с покатым верхом.

<sup>86</sup> Светлица – чистая, светлая, парадная комната в доме.

В полночь, без обмана  
Ты узнаешь жребий свой:  
Стукнет в двери милый твой  
Легкою рукою;  
Упадет с дверей запор;  
Сядет он за свой прибор  
Ужинать с тобою».

Вот красавица одна;  
К зеркалу садится;  
С тайной робостью она  
В зеркало глядится;  
Темно в зеркале; кругом  
Мертвое молчанье;  
Свечка трепетным огнем  
Чуть лиет сиянье...  
Робость в ней волнует грудь,  
Страшно ей назад взглянуть,  
Страх туманит очи...  
С треском пыхнул огонек,  
Крикнул жалобно сверчок,  
Вестник полуночи.

Подпершия локотком,  
Чуть Светлана дышит...  
Вот... легохонько замком  
Кто-то стукнул, слышит;  
Робко в зеркало глядит:  
За ее плечами  
Кто-то, чудилось, блестит  
Яркими глазами...  
Занялся от страха дух...  
Вдруг в ее влетает слух  
Тихий, легкий шепот:  
«Я с тобой, моя краса;  
Укротились небеса;  
Твой услышан ропот!»

Оглянулась... милый к ней  
Простирает руки.  
«Радость, свет моих очей,  
Нет для нас разлуки.  
Едем! Поп уж в церкви ждет  
С дьяконом, дьячками;  
Хор венчальну песнь поет;  
Храм блестит свечами».  
Был в ответ умильный взор;  
Идут на широкий двор,  
В ворота тесовы;  
У ворот их санки ждут;

С нетерпенья кони рвут  
Повода шелковы.

Сели... кони с места враз;  
Пышут дым ноздрями;  
От копыт их поднялась  
Вьюга над санями.  
Скачут... пусто все вокруг;  
Степь в очах Светланы;  
На луне туманный круг;  
Чуть блестят поляны.  
Сердце вещее дрожит;  
Робко дева говорит:  
«Что ты смолкнул, милый?»  
Ни полслова ей в ответ:  
Он глядит на лунный свет,  
Бледен и унылый.

Кони мчатся по буграм;  
Топчут снег глубокий...  
Вот в сторонке божий храм  
Виден одинокий;  
Двери вихорь отворил;  
Тьма людей во храме;  
Яркий свет паникадил<sup>87</sup>  
Тускнет в фимиаме<sup>88</sup>;  
На середине черный гроб;  
И гласит протяжно поп:  
«Буди взят могилой!»  
Пуще девица дрожит;  
Кони мимо; друг молчит,  
Бледен и унылой.

Вдруг метелица кругом;  
Снег валит клоками;  
Черный вран<sup>89</sup>, свистя крылом,  
Вьется над санями;  
Ворон каркает: печаль!  
Кони торопливы  
Чутко смотрят в темну даль,  
Подымая гривы;  
Брезжит в поле огонек;  
Виден мирный уголок,  
Хижинка под снегом.  
Кони борзые быстрей,  
Снег взрывая, прямо к ней

---

<sup>87</sup> Паникадило – в православном храме центральная люстра, светильник со множеством свечей или лампад.

<sup>88</sup> Фимиам – благовонное вещество, сжигаемое при богослужениях.

<sup>89</sup> Вран – ворон.

Мчатся дружным бегом.

Вот примчались... и вмиг  
Из очей пропали:  
Кони, сани и жених  
Будто не бывали.  
Одинокая, впотьмах,  
Брошена от друга,  
В страшных девица местах;  
Вкруг метель и вьюга.  
Возвратиться – следу нет...  
Виден ей в избушке свет:  
Вот перекрестилась;  
В дверь с молитвою стучит...  
Дверь шатнулася... скрипит...  
Тихо растворилась.

Что ж?.. В избушке гроб; накрыт  
Белою запоной<sup>90</sup>;  
Спасов лик в ногах стоит;  
Свечка пред иконой...  
Ах! Светлана, что с тобой?  
В чью зашла обитель<sup>91</sup>?  
Страшен хижины пустой  
Безответный житель.  
Входит с трепетом, в слезах;  
Пред иконой пала в прах,  
Спасу помолилась;  
И, с крестом своим в руке,  
Под святыми в уголке  
Робко притаилась.

Все утихло... вьюги нет...  
Слабо свечка тлится,  
То прольет дрожащий свет,  
То опять затмится...  
Все в глубоком, мертвом сне,  
Страшное молчанье...  
Чу, Светлана!.. в тишине  
Легкое журчанье...  
Вот глядит: к ней в уголок  
Белоснежный голубок  
С светлыми глазами,  
Тихо вея, прилетел,  
К ней на перси<sup>92</sup> тихо сел,  
Обнял их крылами.

---

<sup>90</sup> Запона – полотно.

<sup>91</sup> Обитель – пристанище, приют, кров.

<sup>92</sup> Перси – груди.

Смолкло все опять кругом...  
Вот Светлане мнится,  
Что под белым полотном  
Мертвый шевелится...  
Сорвался покров; мертвец  
(Лик мрачнее ночи)  
Виден весь – на лбу венец,  
Затворены очи.  
Вдруг... в устах сомкнутых стон;  
Силится раздвинуть он  
Руки охладели...  
Что же девица?.. Дрожит...  
Гибель близко... но не спит  
Голубочек белый.

Встрепенулся, развернул  
Легкие он крилы<sup>93</sup>;  
К мертвецу на грудь вспорхнул...  
Всей лишенный силы,  
Простонав, заскрежетал  
Страшно он зубами  
И на деву засверкал  
Грозными очами...  
Снова бледность на устах;  
В закатившихся глазах  
Смерть изобразилась...  
Глядь, Светлана... о творец!  
Милый друг ее – мертвец!  
Ах!.. и пробудилась.

Где ж?.. У зеркала, одна  
Посреди светлицы;  
В тонкий занавес окна  
Светит луч денницы<sup>94</sup>;  
Шумным бьет крылом петух,  
День встречая пеньем;  
Все блестит... Светланин дух  
Смутен сновиденьем.  
«Ах! ужасный, грозный сон!  
Не добро вещает он –  
Горькую судьбину;  
Тайный мрак грядущих дней,  
Что сулишь душе моей,  
Радость иль кручину<sup>95</sup>?»

Села (тяжко ноет грудь)  
Под окном Светлана;

---

<sup>93</sup> Крилы – крылья.

<sup>94</sup> Денница – утренняя заря.

<sup>95</sup> Кручина – печаль.

Из окна широкий путь  
Виден сквозь тумана;  
Снег на солнышке блестит,  
Пар алеет тонкий...  
Чу!.. в дали пустой гремит  
Колокольчик звонкий;  
На дороге снежный прах;  
Мчат, как будто на крылах,  
Санки, кони рьяны;  
Ближе; вот уж у ворот;  
Статный<sup>96</sup> гость к крыльцу вдет.  
Кто?.. Жених Светланы.

Что же твой, Светлана, сон,  
Прорицатель муки?  
Друг с тобой; все тот же он  
В опыте разлуки;  
Та ж любовь в его очах,  
Те ж приятны взоры;  
Те ж на сладостных устах  
Милы разговоры.  
Отворяйся ж, божий храм;  
Вы летите к небесам,  
Верные обеты<sup>97</sup>;  
Соберитесь, стар и млад;  
Сдвинув звонки чаши, в лад  
Пойте: многи леты<sup>98</sup>!

Улыбнись, моя краса,  
На мою балладу;  
В ней большие чудеса,  
Очень мало складу.  
Взором счастливый твоим,  
Не хочу и славы;  
Слава – нас учили – дым;  
Свет – судья лукавый.  
Вот баллады толк моей:  
«Лучшей друг нам в жизни сей  
Вера в провиденье<sup>99</sup>.  
Благ зиждителя<sup>100</sup> закон:  
Здесь несчастье – лживый сон;  
Счастье – пробужденье».

---

<sup>96</sup> Статный – стройный, хорошего, пропорционального телосложения.

<sup>97</sup> Обеты – обещания.

<sup>98</sup> Многи леты (многая лета) – формула принятого в православии поздравления.

<sup>99</sup> Провиденье – в религиозных представлениях: высшая божественная сила, управляющая судьбами людей.

<sup>100</sup> Зиждитель – создатель, творец, основатель (о Боге).

О! не знай сих страшных снов  
Ты, моя Светлана...  
Будь, создатель, ей покров<sup>101</sup>!  
Ни печали рана,  
Ни минутной грусти тень  
К ней да не коснется;  
В ней душа – как ясный день;  
Ах! да пронесется  
Мимо – Бедствия рука;  
Как приятный ручейка  
Блеск на лоне луга,  
Будь вся жизнь ее светла,  
Будь веселость, как была,  
Дней ее подруга.  
(1808–1812)

---

<sup>101</sup> Будь, Создатель, ей покров – храни ее, Господь.



## **Вениамин Александрович Каверин**

### **Два капитана**

(главы из романа)

#### **Часть 4**

#### **Север**

#### **Глава 1**

#### **Летняя школа**

Лето 1928 года. Я вижу себя с узелком в руках на улицах Ленинграда. В узелке – «выходное пособие». Детдомовцы после окончания школы получали «выходное пособие» – ложку, кружку, две пары белья и «все для первого ночлега». Мы с Петей живем у Семы Гинзбурга, слесаря с «Электросилы», бывшего ученика нашей школы. Семина мама боится управдома<sup>102</sup>, поэтому каждое утро я уношу «все для первого ночлега», а вечером опять приношу: я делаю вид, что только что приехал. В столовой по четным дням мы берем первое за пятнадцать копеек, а по нечетным – второе за двадцать пять. Мы бродим по широкому, просторному городу, по набережным вдоль просторной Невы, и Петя, который чувствует себя в Ленинграде, как дома, рассказывает мне о Медном всаднике, а я думаю: «Примут или не примут?»

Три комиссии – медицинская, мандатная и общеобразовательная. Сердце, легкие, уши, снова сердце! Кто я, где родился, где учился и почему хочу стать пилотом? Верно ли, что мне девятнадцать лет? Не подделаны ли года – на вид поменьше! Почему рекомендацию райкома подписал Григорьев, это кто же – брат или однофамилец? И вот наконец – решительный день! Я стою перед Аэромузеем: здесь мы держали испытания. Это огромный дом со львами на проспекте Рошала. Петя говорил, что эти львы описаны в «Медном всаднике»<sup>103</sup> и будто на них спасался от наводнения Евгений, – до сих пор не знаю, правда это или нет. Мне не до Пушкина. Львы смотрят на меня с таким видом, как будто они сейчас начнут спрашивать: кто я, где родился и верно ли, что мне девятнадцать лет?

Но вот когда становится по-настоящему страшно: когда я поднимаюсь на второй этаж и на черной витрине нахожу список принятых в летнюю школу.

Я читаю: «Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк...» У меня темнеет в глазах, меня нет. Я снова читаю, «Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк». Меня нет! Я набираю побольше воздуха, чтобы спокойно прочесть: «Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк». Я смотрю на этот список, в котором есть, кажется, все фамилии на свете, кроме моей, и мне становится так скучно, как бывает, когда больше не хочется жить.

Под проливным дождем я возвращался домой. «Власов, Воронов, Голомб...»  
Счастливый Голомб!

Огромный мужчина, широкоплечий, с грубым лицом, какой-то Васко Нуньес Бальбоа<sup>104</sup>, представляется мне, когда я произношу эту фамилию. Конечно! Куда же мне! Проклятый рост!

Петя открывает мне и пугается. Я – мокрый, бледный.

---

<sup>102</sup> Управдом – сокращенное употребление слов управляющий домом.

<sup>103</sup> «Медный всадник» – произведение А. С. Пушкина.

<sup>104</sup> Васко Нуньес Бальбоа – (ок. 1475–1517), испанский конкистадор. В 1513 впервые пересек Панамский перешеек и достиг берега Тихого океана.

- Что с тобой?
- Петя, меня нет в списке.
- Врешь!

Семина мама вылетает на кухню и спрашивает, не встретил ли я управдома. Я молчу. Я сижу в кухне на стуле, и Петя, опустив голову, грустно стоит передо мной. Наутро мы вдвоем пошли в Аэромузей и нашли в списке мою фамилию. Она была в другом столбце, где тоже было несколько ребят на «Г» и Григорьевых даже два – Иван и Александр. Петя уверял, что я не нашел ее от волнения...

Время бежит, и вот я вижу себя в той же читальне Аэромузея, где мы сдавали испытания. Тринадцать человек, отобранных мандатной и медицинской комиссией, стоят в строю, и начальник школы – большой, рыжий, веселый – выходит и говорит:

– Внимание, товарищи учлеты!

Товарищи учлеты! Я – учлет! Мурашки бегут у меня по спине, и кажется, что меня окунули сперва в горячую, а потом в холодную воду. Я – учлет! Я буду летать! Я не слышу, о чем говорит начальник...

Время бежит. Мы приходим на лекции прямо с завода – Сема Гинзбург устроил меня подручным слесаря на «Электросилу».

Мы слушаем материальную часть, теорию авиации, моторы. Очень хочется спать после восьми часов на заводе, но мы слушаем материальную часть, теорию авиации, потом моторы, и только, время от времени Миша Голомб, который оказался такого же маленького роста, как и я, заваливается ко мне за спину и начинает тихонько сопеть. Потом он начинает сопеть погромче, и я осторожно бью его головой о стол...

Мы учимся в летной школе, но как не похожа она на то, что теперь называется, летной школой! У нас нет ни моторов, ни самолетов, ни помещения, ни денег. Правда, в Аэромузее стоит несколько старых, ободранных самолетов – при желании можно вообразить себя разведчиком на «хавеланде»<sup>105</sup> или истребителем на «ньюпоре»<sup>106</sup>, летавшем в последний раз на фронтах гражданской войны. Но на этих заслуженных «гробах» нельзя учиться.

Мы собираем моторы. С мандатом Осоавиахима<sup>107</sup>, с великолепным мандатом, согласно которому мы имеем полное право снять со стены любую часть самолета, мы ездим по всем красным уголкам Ленинграда. Иногда эти части висят и не в красных уголках, а где-нибудь в домике над столом бухгалтера, любителя авиации. Мы забираем их и увозим на аэродром. Иногда это происходит мирно, иногда со скандалом. Три раза мы с техником ездим в клуб швейников и доказываем заведующему, что старый мотор, который стоит у него в фойе, не имеет агитационного значения.

Как мы возимся со всем этим заржавленным утилем, когда он, наконец, попадает в наши руки! Мы чистим и чистим его, и потом снова чистим и чистим. Первые полгода мы кажется, только и делаем, что чистим и собираем моторы. Мне это труднее, чем другим, – у нас почти все слесари и шоферы. Но я нарочно берусь за самую трудную работу. Навсегда, на всю жизнь я запоминаю левую плоскость самолета «У-1», на котором мы учились. Это – самое грязное место в самолете, масло из мотора выбрасывается под левую плоскость, и я на пари мою ее каждый день до окончания

---

<sup>105</sup> «Хавеланд» – марка английского военного самолета.

<sup>106</sup> «Ньюпор» – марка французского истребителя.

<sup>107</sup> Осоавиахим – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) (1927–1948) – общественно-политическая оборонная организация.

школы. Лежа на спине, я снимаю грязь щеткой, потом щеткой, потом тряпкой, вода так и бежит по телу, от запаха касторки начинает мутить...

Разумеется, мы не очень-то похожи на будущих пилотов, особенно когда поздней ночью возвращаемся домой с аэродрома и весь трамвай начинает принюхиваться и смотреть на нас с негодованием. Но мы не смущаемся. Мишка говорит:

– От какого это дьявола так пахнет касторкой? Тьфу!

И демонстративно затыкает нос.

Наш день начинается очень рано – часов с семи утра. До десяти мы собираем моторы и по очереди объясняем Ване Грибкову, что такое горизонт. У нас был такой Ваня Грибков, которому вся школа объясняла, что такое горизонт. Потом приезжают инструкторы, и начинаются полеты.

Мой инструктор, он же начальник школы, он же заведующий материальной и хозяйственной частью – старый летчик времен гражданской войны. Это большой веселый человек, любитель необыкновенных историй, которые он рассказывает часами, вспыльчивый и отходчивый, смелый и суеверный. Свои обязанности инструктора он понимает очень просто: он ругает меня, и чем выше от земли, тем все крепче становится ругань. Наконец она прекращается – первый раз за полгода!.. Это было великолепно! Минут десять я летел в замечательном настроении. Не ругается – как же я, должно быть, здорово веду самолет! Несмотря на шум мотора, мне показалось, что я лечу в полной тишине – непривычное состояние!

Но тут же я понял, в чем дело: телефон разъединился, и трубка болталась за бортом. Я поймал ее и вместе с ней последнюю фразу:

– Лопата! Вам бы не летать, а служить в ассенизационном обозе!<sup>108</sup>

Мой инструктор самую страшную ругань соединяет с вежливым обращением «на вы»...

Другой образ встает передо мной, когда я вспоминаю свой первый год в Ленинграде. На Корпусный аэродром каждый день приезжает Ч.<sup>109</sup> У него скромное дело – на старой, не однажды битой машине он катает пассажиров. Но мы знаем, что это за человек, мы знаем и любим его задолго до того, как его узнала и полюбила наша страна. Мы знаем, о ком говорят летчики, собираясь в Аэромузее, который был в те годы чем-то вроде нашего клуба. Мы знаем, кому подражает начальник школы, когда он говорит, немного окая, спокойным басом:

– Ну, как дела? Получаются глубокие выражи?<sup>110</sup> Только, чур, не врать! Ну-ка!

Со всех ног мы бежим к этому человеку, когда после своих удивительных фигур он возвращается на аэродром и зеленые, как трава, любители высшего пилотажа уползают чуть не на четвереньках, а он смотрит на нас из кабины без очков – летчик великого чутья, человек, в котором жил орел.

Вместе со стетоскопом<sup>111</sup>, который оставил мне на память доктор Иван Иванович, я всюду вожу с собой портрет этого летчика. Он подарил мне этот портрет не в Ленинграде, когда я был учлетом, а гораздо позже, через несколько лет, в Москве. На этом портрете написано его рукой: «Если быть – так быть лучшим». Это его слова...

<sup>108</sup> Ассенизация – уборка нечистот.

<sup>109</sup> Имеется в виду прославленный летчик Валерий Павлович Чкалов (1904–1938). В 1936 он с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым совершил беспосадочный перелет из Москвы в Петропавловск-на-Камчатке и далее на о. Удд (9374 км за 56 ч 20 мин). 18–20 июня 1937 с тем же экипажем совершил перелет из Москвы до Ванкувера (США) через Северный полюс (8504 км за 63 ч 16 мин). Погиб при испытании нового истребителя. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

<sup>110</sup> Выраж – полее самолета с креном по кругу или поворот по кривой автомобиля, велосипеда.

<sup>111</sup> Стетоскоп – прибор для выслушивания тонов сердца, дыхательных шумов и др. естественных звуков, возникающих в организме человека и животных.

Так проходил этот год – трудный, но прекрасный год в Ленинграде. Он был труден, потому что мы работали через силу и получали 46 рублей стипендии в месяц и обедали где придется или совсем не обедали и, вместо того чтобы учиться летать, три четверти времени тратили на чистку и сборку старых моторов. Но это был прекрасный год, потому что это был год мечтаний, который как бы пунктирной линией наметил мою будущую жизнь, год, когда я почувствовал, что в силах сделать ее такой, какой я хочу ее видеть.

Несмотря на то, что у меня не было ни одной свободной минуты, я вел нечто вроде дневника – запись некоторых мыслей и впечатлений. К сожалению, он не сохранился. Но я помню, что на первой странице была цитата из Клаузевица:<sup>112</sup>

«Маленький прыжок легче сделать, чем большой. Однако, желая перепрыгнуть широкую канаву, мы не начнем с того, что половинным прыжком прыгнем на ее дно». Это и была моя главная мысль в Ленинграде – двигаться вперед, не делая половинных прыжков.

Время бежит и останавливается только на один день, в конце августа 1930 года. В этот день я сижу за богатым столом, за огромным столом, составленным из десятка других столов – разной высоты и формы. Высокие окна, стеклянная крыша. Это ателье фотографа-художника Беренштейна, у которого снимает комнату моя сестра Саня.

## Глава 2

### Санина свадьба

Я бывал у Сани каждый выходной день и должен сказать, – хотя, может быть, странно так говорить о сестре, – что она мне нравилась все больше и больше. Она была какая-то веселая, легкая и вместе с тем деловая.

Только что поступив в академию, она достала работу в Детском издательстве. Комнату она сняла превосходную, и фотограф-художник с семьей, для которого она тоже что-то делала, просто души в ней не чаял. Она постоянно была в курсе всех наших дел – Петиных и моих – и аккуратно писала за нас старикам. При этом она много работала в академии, и хотя у нее было не такое сильное и смелое дарование, как у Пети, но и она рисовала прекрасно. У нее была любовь к миниатюре – искусство, которым теперь почти не занимаются наши художники, и тонкость, с которой она выписывала все мелкие детали лица и одежды, была просто необыкновенная. Как и в детстве, она любила поговорить и, когда была задета чем-нибудь или увлечена, начинала говорить быстро и как-то так, что я в конце концов, ничего не понимал, в чем дело. Словом, это была чудная сестра, и вот теперь она выходила замуж.

Разумеется, нетрудно догадаться, за кого она выходила, хотя из всех ребят, собравшихся в этот вечер в ателье художника-фотографа, Петя меньше всех был похож на жениха. Он спокойно сидел рядом с каким-то остроносый мальчиком и молчал, а мальчик все насакивал на него, точно хотел просверлить его своим носом. Я шепотом спросил у Сани, кто этот остроносый, и она ответила с уважением:

– Изя.

Но мне почему-то не понравился этот Изя.

Вообще это была странная свадьба. Весь вечер гости спорили о какой-то корове – правильно ли, что художник Филиппов уже два с половиной года рисует корову. Будто бы он расчертил ее на маленькие квадратики и каждый квадратик пишет отдельно. Я хотел сказать, что это просто больной, но Изя уже успел построить на этой корове

---

<sup>112</sup> Клаузевиц – Клаузевиц Карл (1780–1831), немецкий военный теоретик и историк, генерал.

целую теорию и даже назвал ее с окончанием на «изм». На молодых никто не обращал внимания.

Я шел на Санину свадьбу с торжественным чувством. Родная сестра выходит замуж – все-таки это не так уж часто бывает! Утром мы получили большую телеграмму от судьи и тети Даши на два адреса: жениху с невестой и копия – мне. Целый месяц я собирал для них маленький радиоприемник. Но этим художникам все было нипочем. Весь вечер они спорили о корове.

Впрочем, молодым было, кажется, весело, особенно Пете, который время от времени говорил: «Смешно!» – и оглядывался с довольным выражением. Саня была очень занята: тарелок не хватало, и гостей пришлось кормить в две смены.

Только на одну минуту она присела, раскрасневшаяся, захлопотавшаяся, в новом платье с прошивками, которое почему-то напомнило мне Энск и тетю Дашу. Я воспользовался этой минутой и встал.

– Внимание, тост! – с любопытством взглянув на меня, сказал Изя.

Все замолчали.

– Товарищи, во-первых, предлагаю выпить за молодую, – сказал я. – Хотя она мне сестра, но так как никому из гостей не приходит в голову, что нужно все-таки за нее выпить, приходится этот тост предложить мне.

Все закричали «ура» и стали чокаться с Саней.

– Во-вторых, я предлагаю выпить за молодого, – продолжал я, – хотя по сути дела он должен был прежде выпить за меня. Почему? Потому что именно я доказал ему, что он должен стать художником, а не летчиком. Возможно, я открываю тайну, но это факт, он хотел стать летчиком. Однажды мы спорили с ним об этом целый день, и он уверял меня, что совершенно не любит рисовать. Он боялся, что ему, как художнику, не удастся проявить все силы души.

Все захохотали, и я постучал ложечкой о стакан.

– Почему же я решил, что он должен стать именно художником? Очень просто: потому, что он показал мне свои картины. Могу удостоверить, что тогда его интересовал только один сюжет.

И я показал на Саню.

– Честное слово, все врет, – пробормотал Петя.

– Этот сюжет был изображен в самом разнообразном виде: в лодке, у плиты, на скамеечке у ворот, на скамеечке в саду, в пальто, без пальто, в украинской кофточке и в синем халате. Тут уж нетрудно было предсказать: во-первых, что когда-нибудь Петя станет художником, а во-вторых, что когда-нибудь мы соберемся за этим столом и будем пить за наших молодых, что я и предлагаю сделать.

И я чокнулся с Саней и Петей и выпил свой стакан до дна.

Потом выпили за меня, а потом за Изю, и это было ошибкой, потому что Изя в ответ произнес огромную речь, с какими-то остроумными выпадами против художника Филипова, над которыми он один и смеялся. Петька слушал его с довольным видом и все говорил: «Смешно!», а потом вдруг побагровел и сказал, что Изя – «типичный ахрровский пошляк». «И притом бездарный пошляк», – добавил он подумав.

Но Изя не согласился, что он бездарный пошляк, и я не знаю, чем кончился бы спор, если бы в эту минуту не пришел Санин профессор, очень почтенный, с прекрасной черной бородой. Все побежали к нему навстречу, и спор прекратился.

По правде говоря, я впервые в жизни видел настоящего профессора. Он мне очень понравился. В два счета он напился и сказал мне, что всегда хотел стать авиатором, еще во время войны 1914 года. Потом он обнял Саню и целовал ее несколько дольше, чем это полагалось профессору с такой прекрасной почтенной бородой. Потом лег на диван и заснул.

Словом, на Саниной свадьбе было очень весело, но в глубине души я чувствовал тоску, в которой сам себе не хотел признаться. Художники казались мне какими-то странными – и это очень понятно, потому что у меня была другая жизнь и другой круг интересов. Впрочем, кажется, то же самое и они думали обо мне, – я почувствовал это во время моей речи.

Но была и другая причина, заставлявшая меня тосковать. И Саня догадалась о ней, потому что, когда профессор, проснувшись, объявил во всеуслышание, что до защиты диплома он запрещает Сане выходить замуж и все с хохотом окружили его, она тихонько поманила меня, и мы вышли на кухню.

– А тебе привет... Знаешь, от кого?

Я сразу понял, от кого, но сказал спокойно:

– Не знаю.

– От Кати.

– В самом деле? Спасибо.

Саня посмотрела на меня с огорчением. Она даже немного побледнела от огорчения и рассердилась на меня, – конечно, она прекрасно видела, что я притворяюсь.

– Ты все врешь, – сказала она быстро. – Подумаешь, какой Чайльд-Гарольд<sup>113</sup> нашелся! Пожалуйста, не смей мне врать, особенно сегодня, когда моя свадьба. Я ей напишу, что ты целый день просил у меня это письмо, а я не дала.

– Ничего я у тебя не прошу.

– Ты просишь в душе, – убежденно сказала Саня, – а внешне притворяешься, что тебе безразлично. В общем, я могу тебе его дать, только последней страницы не читай, ладно?

Она сунула мне в руки письмо и убежала. Конечно, я прочитал письмо, а последнюю страницу – три раза, потому что там шла речь обо мне. Вовсе Катя не просила передать мне привет, а просто спрашивала, как мои дела и когда я кончаю школу. На вид это было обыкновенное письмо, а на самом деле – очень грустное. Там было, например, такое место:

«Теперь четыре часа, у нас уже темно, и я вдруг заснула, а когда проснулась, то не могла понять, что случилось хорошее. Оказывается, мне приснился Энск и будто тетки одевают меня в дорогу...»

Я несколько раз прочитал это место, и наш отъезд из Энска, памятный на всю жизнь, представился мне, Я вспомнил, как тетки вслед уходящему поезду кричали свои наставления и как я потом перешел в Катин вагон и мы стали смотреть, что старики положили в наши корзины. Маленький небритый сосед гадал, кто мы такие, и Катя стояла рядом со мной в коридоре. Она стояла рядом со мной, и я смотрел на нее и говорил с ней, – как это трудно было вообразить теперь, когда она была так далеко. Я не слышал, как вернулась Саня.

– Прочитал?

– Саня, напиши ей, пожалуйста, что мои дела очень хороши, что школу я кончаю в октябре, а потом... Еще не знаю куда. Буду проситься на Север.

– Сейчас же садись и напиши ей все это сам!

– Нет, я не буду.

– А я тебя не отпущу, пока не напишешь!

– Саня!

– Вот я сейчас позову Петьку, – серьезным голосом сказала Саня, – и вообще всех, и мы станем на колени и будем тебя уговаривать, чтобы ты написал, потому что мы считаем, что ты поступаешь жестоко.

---

<sup>113</sup> Чайльд Гарольд – имя героя знаменитой поэмы английского романтика Байрона, сделавшееся нарицательным для человека, проникнутого разочарованием, настроением безнадежности, тоски.

– Саня, иди ты к черту! Ты просто пьяна. Ну, я пойду.  
– Куда? Ты с ума сошел?  
– Нет, пойду. Поздно, а завтра рано вставать. И вообще...  
Я не сказал, что «вообще», но она поняла и на прощанье сочувственно поцеловала меня в щеку.

### Глава 3 Пишу доктору Ивану Ивановичу

Я сердился на Катю, потому что перед отъездом из Москвы хотел проститься с ней и написал ей письмо. Но она не ответила и не пришла, хотя знала, что я уезжаю надолго и что, может быть, мы не увидимся никогда. Конечно, я больше не стал ей писать. Что ж, наверно, Николай Антоныч уже успел уверить ее в том, что я оклеветал его «самой страшной клеветой, которая только доступна человеческому воображению», и что я – «мальчишка с нечистой кровью», из-за которого умерла ее мать.

Ладно, все еще впереди! У меня кружилась голова, когда я вспоминал об этой сцене. Что же мог я сделать в Ленинграде, работая на заводе с восьми до пяти и в летной школе – с пяти до часу ночи?

Зимой, до полетов, мы занимались в читальне Аэромузея. И вот однажды я спросил завмузеем, не знает ли он чего-нибудь о капитане Татаринове. Нет ли в библиотеке каких-либо книг или его собственной книги «Причины гибели экспедиции Грили»<sup>114</sup>? Не знаю почему, но завмузеем отнесся к этому вопросу с большим интересом. Кстати сказать, он был одним из организаторов нашей летной школы, и учлеты постоянно обращались к нему со всеми своими делами.

– Капитан Татаринов? – переспросил он с удивлением. – Ого! Это здорово! А почему это тебя интересует?

Чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось бы рассказать ему все, что вы прочитали. Поэтому я ответил коротко:

– Я вообще люблю читать путешествия.

– Но об этом путешествии как раз почти ничего не известно, – сказал завмузеем. – А ну-ка, пойдем в библиотеку.

Конечно, без него я бы ничего не нашел, потому что все это были отдельные статьи в газетах, а книга только одна – маленькая брошюра в двадцать пять страниц, под названием «Женщина на море». Оказывается, капитан написал не только об экспедиции Грили.

Что же это была за книга? Я прочел ее два раза и решил, что это интересная книга, особенно если вспомнить, что ее написал морской офицер, И когда! В 1910 году, при царизме.

В этой книге доказывалось, что женщина может быть моряком, и приводились случаи из жизни рыбаков на побережье Азовского моря, когда женщины вели себя в опасных случаях не хуже мужчин и даже еще смелее. Капитан утверждал, что «недопущение женщин к профессии моряка» приносит, вопреки распространенному суеверию, много бед морякам, принужденным надолго отрываться от оставленных на берегу семейств, и

---

<sup>114</sup> Грили – Грили Адольф Вашингтон (1844–1935). Североамериканский метеоролог и полярный исследователь, генерал. В 1881 году Грили получил назначение начальником американской арктической экспедиции. По заданию министра обороны он должен был построить метеорологическую станцию на северо-востоке о. Элмир (Земля Гранта). Начавшись весьма многообещающе, экспедиция Грили закончилась трагически. Впоследствии Грили написал ряд книг по Арктике, но сам никогда больше в полярные страны не ездил.

что в будущем он видит на борту корабля «женщину-механика, женщину-штурмана, женщину-капитана».

Читая эту брошюру, я вспомнил пометки капитана на путешествии Нансена<sup>115</sup> и его докладную записку об экспедиции к Северному полюсу в 1911 году, и мне впервые пришло в голову, что это был не только смелый моряк, но человек с необыкновенно ясной головой и с широкими, передовыми взглядами на жизнь.

Но авторы некоторых статей, очевидно, думали иначе. В «Петербургской газете», например, какой-то журналист выступал против экспедиции на том основании, что Совет министров «отклонил просьбу капитана Татаринова об ассигновании необходимых средств». Между прочим, эта статья была написана таким языком: «...ввиду того, что, по удостоверению заинтересованных ведомств, соображения об условиях практического осуществления обсуждающегося путешествия представляются недостаточно обоснованными, причем вообще намечаемая экспедиция капитана Татаринова носит непродуманный характер, Совет министров признал, что правительству через представителя Морского ведомства следует высказаться за отклонение сего предположения».

В другой газете я нашел интересное фото: красивый белый корабль, напомнивший мне каравеллы из «Столетия открытий». Это была шхуна «Св. Мария». Она выглядела тонкой, стройной, слишком тонкой и стройной, чтобы пройти из Петербурга во Владивосток вдоль берегов Сибири.

В следующем номере той же газеты был напечатан еще более интересный снимок: судовая команда шхуны. Правда, очень трудно было что-нибудь разобрать на этом снимке, но самое расположение фигур и то, что капитан сидел посередине, скрестив руки на груди, – все это показалось мне очень знакомым. Где я видел этот снимок? Конечно, у Татариновых, среди других старых фото, которые когда-то показывала мне Катя. Но я продолжал вспоминать. Нет, не у Татариновых! У доктора Ивана Ивановича – вот где я его видел!

В двадцать третьем году, когда я выписался из больницы, я зашел к нему проститься. Он уезжал на Север, и вот тогда-то, укладывая чемодан, он и выронил это фото. Я подобрал его, стал рассматривать и спросил, почему доктора нет среди судовой команды, а он ответил:

– Потому, что я не плавал на шхуне «Св. Мария». – А потом взял у меня карточку и добавил: Это у меня от одного человека осталось на память...

Кто же этот человек?

И вдруг у меня мелькнула одна простая мысль. Но вместе с тем это была и необыкновенная мысль, которую мог подтвердить только сам доктор Иван Иванович. Я тут же решил написать ему. Прошло около семи лет с тех пор, как он уехал из Москвы, но я почему-то был совершенно уверен, что он жив и здоров и так же читает стихи Козьмы Пруtkова, и так же, разговаривая, берет со стола какую-нибудь вещь и начинает подкидывать ее и ловить, как жонглер.

Вот что я ему написал:

«Уважаемый Иван Иванович!

Это пишет Вам «интересный больной», которого вы когда-то излечили от «слухонемоты», как вы определили. Помните ли вы меня еще или уже нет? Уезжая на Север, вы просили меня написать, что я делаю и как себя чувствую. И вот теперь, через семь лет, собрался, наконец, исполнить обещание. Я чувствую себя хорошо. Теперь я учлет, учусь в летной школе Осоавиахима и надеюсь когда-нибудь прилететь к вам на

---

<sup>115</sup> Нансен –



самолете. Пишу вам, между прочим, по делу: когда я был у вас в Москве, вы держали в руках фотокарточку с изображением судовой команды шхуны «Св. Мария» – капитан Татаринов, вышла из Петербурга в мае 1912 года, пропала без вести в Карском море осенью 1913 года. Помните, вы сказали, что это фото вам оставил на память какой-то человек, а кто именно, не сказали. Мне очень важно знать, кто этот человек. Конечно, вы вправе спросить: а почему это тебя интересует? Отвечу кратко: меня интересует все, что касается капитана Татаринова, потому что я знаком с его семейством и для меня очень важно представить этому семейству правильную картину его жизни и смерти.

Буду очень благодарен, если вы ответите мне. Проспект Рошалья, 12. Аэромузей, Летная школа Осоавиахима.

С приветом Александр Григорьев».

Мог ли я рассчитывать, что получу ответ? Может быть, доктор уже давно вернулся в Москву? Может быть, переехал еще дальше на север? Или просто забыл меня и теперь читает письмо и не может понять – какое фото, какой Григорьев?

## Глава 4

### Получаю ответ

Прошел месяц, другой, третий. Мы кончили теоретические занятия и окончательно перебрались на Корпусный аэродром.

Это был «большой день» на аэродроме – 25 сентября 1930 года. До сих пор мы вспоминаем его под этим названием. Он начался как обычно: в семь часов утра мы уже сидели за нашим «утилем», кто-то уже пробовал «удивить» Мишу Голомба, который никогда ничему не удивлялся, Ваня Грибков уже спрашивал у кого-то, что такое горизонт.

– Ну вот там, где небо сливается с землей. Понимаешь?

– А почему, когда я лечу, не сливается?

В конце концов, Ваня понял, что такое горизонт. Но он находил его всегда на одном и том же месте – за «Путиловцем»<sup>116</sup>, на заливе. Туда он и летел. Только что оторвавшись от земли, он начинал «жать на горизонт». Так он и «жал» до тех пор, пока его не перевели в мотористы.

В девять часов приехал инструктор, и начались события: во-первых, он привез с собой какого-то внушительного дядю в косоворотке<sup>117</sup> и золотых очках, – как вскоре выяснилось, секретаря райкома<sup>118</sup>. Секретарь посмотрел на самолеты, потом на ящики из-под самолетов, в которых мы устроили мастерские, и сказал:

– Вот что, дорогой мой. Прежде всего, нам нужно наладить охрану: это не дело, что по аэродрому все время шляются какие-то подозрительные люди.

– Где? – спросил инструктор. – Ах, это? Это мои учлеты.

Во-вторых, только что мы проводили гостя, как инструктор накинулся на нас за то, что мы проливаем бензин. Он побагровел и стал приблизительно такого же цвета, как его шевелюра. Это было уже не в первый раз, и мы думали, что он поорет и перестанет.

---

<sup>116</sup> «Путиловец» (бывший Путиловский завод, позже «Красный Путиловец», затем Кировский завод) – одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Петербурге (Ленинграде).

<sup>117</sup> Косоворотка – мужская рубашка с косым воротом.

<sup>118</sup> Секретарь райкома – в советское время один из партийных руководителей (высшим руководителем был первый секретарь) района. Районные комитеты партии контролировали всю жизнь в районе: от промышленности до культуры и образования.

Но он сел на корточки и стал совать палец в ямки около бочки с бензином. В ямках была вода, но он объявил, что это – бензин.

– Нет, вода! – возразил Голомб.

– А я говорю – бензин!

– Вода!

– Бензин!

– Ну, ладно, бензин, – согласился Голомб.

Инструктор сунул палец в другую ямку, понюхал и встал. Он грозно нахмурился и понюхал еще раз.

– Вода, – упавшим голосом пробормотал он, и мы так и сели на землю от смеха.

В-третьих... Но о том, что произошло в-третьих, нужно рассказать подробно.

Мы летали с ним в этот день несколько раз, и он все присматривался ко мне – и не ругал, против обыкновения.

– Ну-ка, – сказал он, наконец. – А теперь летите один.

Должно быть, у меня был взволнованный вид, потому что с минуту он смотрел на меня с внимательным добродушным выражением. Потом проверил, исправно ли работают приборы, и закрепил ремни в первой, теперь пустой кабине.

– Нормальный полет по кругу. Оторветесь, наберете высоту. Ниже полутора метра не разворачивайтесь. Разворот, коробочка и на посадку.

С таким чувством, как будто это делаю не я, а кто-то другой, я вырулил на старт и поднял руку, прося полета. Стартер взмахнул белым флагом – можно идти. Я дал газ, и машина побежала по аэродрому...

Давно забыто было детское чувство досады, когда, впервые поднявшись в воздух, я понял, что такое полет. Тогда в глубине души мне все-таки казалось, что я полечу, как птица, а я сидел в кресле совершенно так же, как на земле. Я сидел в кресле, и мне некогда было думать ни о земле, ни о небе. Только на десятый или одиннадцатый самостоятельный полет я заметил, что земля расчерчена, как географическая карта, и что мы живем в очень точном геометрическом мире. Мне понравились тени от облаков, разбросанные здесь и там по земле, и вообще я догадался, что мир необыкновенно красив...

Итак, впервые я лечу один. Кабина инструктора пуста. Первый разворот. Она пуста, а машина летит. Второй разворот. С прекрасным чувством полной свободы я лечу совершенно один. Третий разворот. Нужно идти на посадку. Четвертый разворот. Внимание! Я убираю мотор. Земля все ближе. Вот она под самой машиной. Добираю ручку. Пробег. Стоп.

Кажется, это было сделано недурно, потому что даже наш сердитый инструктор одобрительно кивнул, я Миша Голомб за его спиной показал мне большой палец.

– Санька, ты молодец, – сказал он, когда мы присели покурить на пригорке, – честное слово! Между прочим, тебе письмо. Я сегодня был в Аэромузее, и сторож говорит: «Григорьеву. Может, передадите?»

И он протянул мне письмо. Это писал доктор Иван Иванович.

«Дорогой Саня! Очень рад, что ты хорошо себя чувствуешь. Однако напрасно ты пишешь, что я излечил тебя от «слухонемоты». Такой, брат, и болезни нету. «Немота без глухоты» – это так. Жду тебя с твоим самолетом, а то все приходится на собаках ездить. Так вот – насчет фотографии. Эту фотографию подарил мне штурман «Св. Марии» Иван Дмитриевич Климов. В 1914 году его привезли в Архангельск с отмороженными ногами, и он умер в городской больнице от заражения крови. После него остались две тетрадки и письма – что-то много, – по-моему, штук двадцать.

Конечно, это была почта, которую он привез с корабля, хотя возможно, что некоторые

письма он написал дорогой – его подобрала где-то экспедиция лейтенанта Седова<sup>119</sup>. Когда он умер, больница разослала эти письма по адресам, а тетрадки и фотографии остались у меня. Раз ты знаком с семейством капитана Татаринова и намерен «представить правильную картину его жизни и смерти» (то есть, не семейства, очевидно, а капитана), тебя, понятно, интересует, что это за тетради. Это две обыкновенные ученические черновые тетради, исписанные карандашом, к сожалению, совершенно неразборчиво, так, что я несколько раз пробовал их прочитать и, наконец, отказался от этой мысли. Вот, кажется, и все, что я знаю. Это было в конце 1914 года, только что началась война<sup>120</sup>, и экспедиция капитана Татаринова никого не интересовала. Тетради и фотографии и сейчас еще хранятся у меня – приезжай, то бишь прилетай, и читай, пока хватит терпения. Мой адрес: Заполярье, улица Кирова, 24. Пожалуйста, пиши, интересный больной.

Твой доктор И. Павлов.

...Как сестра поживает? Печете ли вы еще картошку на палочках?»

Так я и думал! Фото осталось от штурмана. Доктор видел штурмана своими глазами! Того самого, который подписал: «с совершенным уважением штурман дальнего плавания И. Климов»! Того самого, который на всю жизнь поразил меня необыкновенными словами: «широта», «шхуна», «Фрам», и необыкновенной вежливостью: «спешу Вас уверить...», «надеюсь вскоре увидеться с Вами...» Того самого штурмана, из письма которого я узнал, что экспедиция – это не только грязное подвальное помещение под почтой, а дальнейшее плавание, капитаны, плавучие льды. Я решил, что сразу же после окончания школы поеду в Заполярье и прочитаю его тетради. Доктор «отказался от этой мысли». Он бы не отказался, если бы надеялся найти в них хоть одно слово, подтверждающее его правоту, если бы ему плюнули в лицо, если бы Катя думала, что он убил ее мать...

Должно быть, я начал говорить вслух, потому что у Миши Голомба, сидевшего на пригорке, был такой вид, как будто он собрался, наконец, удивиться.

– Мишка, – сказал я ему. – Кончим школу и айда на Север.

– Айда. А зачем?

– Нужно.

– Если нужно, айда!

– Значит, решено?

– Решено.

Впрочем, это было давно решено. Но на Север я попал только через три года.

## Глава 5 Три года

Юность кончается не в один день – и этот день не отметишь в календаре: «Сегодня окончилась моя юность». Она уходит незаметно – так незаметно, что с нею не успеваешь проститься. Только что ты был молодой и красивый, а смотришь – и пионер в трамвае уже говорит тебе: «Дяденька». И ты ловишь в темном трамвайном стекле свое отражение и думаешь с удивлением: «Да, дяденька». Юность кончилась, а когда, какого числа, в котором часу? Неизвестно.

<sup>119</sup> Седов Георгий Яковлевич (1877–1914) – русский исследователь Арктики.

<sup>120</sup> В 1914 году началась первая мировая война. Россия вступила в войну 1 августа.

Так кончилась и моя юность. Но день, когда я понял, что совсем иначе смотрю на то, что составляло прежний смысл моих стремлений, – этот день я помню отлично...

Из Ленинграда меня послали в Балашов, и, только что окончив одну летную школу, я стал учиться в другой – на этот раз у настоящего инструктора и на настоящей машине. Не запомню в своей жизни другой полосы, когда бы я работал с таким прилежанием. – Знаете, как вы летаете? – еще в Ленинграде сказал мне начальник школы. – Как сундук. А для Севера нужно иметь класс.

Я изучил ночные полеты, когда сразу за стартом начинается тьма и все время, пока набираешь высоту, кажется, что ощупью идешь по темному коридору. Внизу на аэродроме ярко светится Т, и черное поле точно пунктиром обведено красноватыми огнями. Линия железной дороги мерцает сигналами разъездов, расставленных с необыкновенной ночной точностью, так не похожей на дневную. Темный воздух, невидимая земля. Но вот зарево появляется вдаль, – еще несколько минут, и это не зарево, а город – тысячи огней, разноцветных, разнообразных... Фантастическая картина!

Я научился водить самолет вслепую, когда все вокруг окутано белой мглой и кажется, что ты летишь через миллионы лет в другую геологическую эпоху. Как будто не на самолете, а на машине времени ты несешься вперед и вперед!

Я понял, что летчик должен знать свойства воздуха, все его наклоны и капризы так же, как хороший моряк знает свойства воды...

Это были годы, когда Арктика, которая до сих пор казалась какими-то далекими, никому не нужными льдами, стала близка нам и первые великие перелеты привлекли внимание всей страны.

У каждого из нас был свой идеал летчика, и мы спорили без конца, доказывая, что А. летает лучше Л., а Ч. – лучше их обоих. Полковник американской армии Бен Эйельсон с продавленным своей же левой рукой сердцем, закутанный в национальный флаг, был только что переброшен летчиком С. в Америку, и этот перелет почему-то поразил наше воображение. Нет, это была еще юность!

Каждый день в газетах появлялись статьи об арктических экспедициях – морских и воздушных, – и я читал их с волнением. Всем сердцем я рвался на Север.

И вот однажды, – мне предстоял в этот день один из трудных зачетных полетов, – уже сидя в машине, я увидел в руках своего инструктора газету. А в газете я увидел то, что заставило меня снять шлем и очки и вылезть из самолета.

«Горячий привет и поздравление участникам экспедиции, успешно разрешившим задачу сквозного плавания по Ледовитому океану», – это было написано крупными буквами в середине первой страницы.

Не слушая, что говорит мне изумленный инструктор, я еще раз взглянул на эту страницу – мне хотелось прочесть ее одним взглядом. «Великий Северный путь открыт» – название одной статьи! «Сибиряков» в Беринговом проливе<sup>121</sup> – название другой! «Привет победителям» – третьей! Это было известие об историческом походе

---

<sup>121</sup> Речь идет о самом знаменитом походе ледокольного парохода «Александр Сибиряков». В июле 1932 года «Сибиряков» под командованием капитана В. И. Воронина, начальника экспедиции академика О. Ю. Шмидта и его заместителя В. Ю. Визе вышел из Архангельска и, обогнув с Севера архипелаг Северная Земля, в августе достиг Чукотского моря, где в сложной ледовой обстановке потерял часть гробного вала с винтом. Оставшись без хода, начал дрейфовать, но с помощью самодельных парусов команде удалось вывести судно на чистую воду к 1 октября в северной части Берингова пролива, откуда его отбуксировали в Петропавловск-Камчатский. Это было первое в истории сквозное плавание по Северному морскому пути из Белого моря в Берингово за одну навигацию

«Сибирякова», впервые в истории мореплавания прошедшего в одну навигацию Северный морской путь – путь, который пытался пройти капитан Татаринов на шхуне «Св. Мария».

– Что с вами? Вы больны?

– Нет, товарищ инструктор.

– Высота тысяча двести метров. Два глубоких виража в одну сторону и два в другую. Четыре переворота через крыло.

– Слушаю, товарищ инструктор!

Я был так взволнован, что чуть не попросил разрешения отложить полет...

Весь этот день я думал о Кате, о покойной Марье Васильевне, о капитане, жизнь которого таким удивительным образом переплелась с моей. Но теперь я думал о них иначе, чем прежде, и мои обиды представились мне в другом, более спокойном свете. Конечно, я ничего не забыл. Я не забыл мой последний разговор с Марьей Васильевной, в котором каждое слово имело тайный смысл, – ее прощание с молодостью и самой жизнью. Я не забыл, как на другой день мы со старушкой сидели в приемном покое, и дверь открылась, и я увидел что-то белое с черной головой и голую руку, свесившуюся с дивана. Я еще не забыл, как Катя отвернулась от меня на похоронах, и не забыл своих мечтаний о том, как мы встретимся через несколько лет и я брошу ей доказательства своей правоты. Я не забыл, как Николай Антоныч плюнул мне в лицо.

Но все это вдруг представилось мне как бы какой-то пьесой, в которой главное действующее лицо появляется в последнем акте, а до сих пор о нем лишь говорят. Все говорят о человеке, портрет которого висит на стене, – портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и глубоко сидящими в орбитах глазами...

Да, он был главным действующим лицом в этой истории, и если в ней так много места заняла моя юность, так это лишь потому, что самые интересные мысли приходят в голову, когда тебе восемнадцать лет. Он был великим путешественником, которого погубило непризнание, и его история выходит далеко за пределы личных дел и семейных отношений. Великий Северный путь открыт – вот его история. Сквозное плавание по Ледовитому океану в одну навигацию – вот его мысль. Люди, решившие задачу, которая стояла перед человечеством четыреста лет, – вот его люди. С ними он мог говорить, как с равными. Что же в сравнении с этим мои мечты, надежды, желания! Чего я хочу? Зачем я стал летчиком? Почему я стремлюсь на Север?

И вот так же, как в моей воображаемой пьесе, все вдруг расставилось по своим местам, и совсем простые мысли пришли мне в голову о моем будущем и о моем деле. Много из того, что я знал о жизни полярных летчиков, как бы повернулось другой стороной, и я представил себе бесконечные полугодовые ночи за Полярным кругом, недели изнуряющего ожидания погоды, полеты над снежными горными хребтами, когда глаза невольно высматривают место для вынужденной посадки, полеты в пургу, когда не видишь крыльев своей машины, мучительную возню с запуском мотора на пятидесятиградусном морозе. Я вспомнил формулу одного из полярных летчиков: «Что значит лететь на Север? – Пурговать и греть воду». Я вспомнил страшные рассказы об арктических метелях, которые хоронят человека в двух метрах от дома.

Но разве испугались этих трудов и опасностей сибиряковцы, которые под парусами вывели потерявший винт ледокол к Берингову морю?

Нет, прав был Петя. Нужно выбирать ту профессию, в которой ты способен проявить все силы души. Я стремился на Север, к профессии полярного летчика, потому что это была профессия, которая требовала от меня терпения, мужества и любви к своей стране и своему делу.

Кто знает, может быть, и меня когда-нибудь назовут среди людей, которые могли бы говорить с капитаном Татариновым, как равные с равным?

Я отметил в памяти день, когда мне пришли в голову эти мысли, – 3 октября 1932 года. За месяц до окончания Балашовской школы я подал заявление, чтобы меня послали на Север. Но школа не отпустила меня. Я остался инструктором и еще целый год провел в Балашове. Не могу сказать, что я был хорошим инструктором. Конечно, я мог научить человека летать, и при этом у меня не было ни малейшего желания ежеминутно ругать его. Я понимал своих учеников – мне, например, было совершенно ясно, почему один, выходя из самолета, спешит закурить, а другой при посадке показывает напускную веселость. Но я не был учителем по призванию, и мне скучно было в тысячный раз объяснять другим то, что я давно знал.

В августе 1933 года я получил отпуск и поехал в Москву. Литер<sup>122</sup> у меня был до Энска через Ленинград, и меня ждали в Ленинграде и в Эске. Но я все-таки решил заехать в Москву, где меня не ждали.

У меня были дела в Москве. Во-первых, я должен был заехать в Главсевморпуть<sup>123</sup> и поговорить о моем переводе на Север; во-вторых, мне хотелось повидать Валу Жукова и Кораблева. Вообще у меня было много дел, и я очень быстро доказал себе, что мне совершенно необходимо заехать в Москву...

Конечно, я совершенно не собирался звонить Кате, тем более, что за эти три года я только однажды получил от нее привет – через Саню – и все было давно кончено и забыто. Все было так давно кончено и забыто, что я даже решил позвонить ей и на всякий случай приготовил первую вежливо-равнодушную фразу. Но у меня почему-то задрожала рука, когда я снял трубку, и неожиданно я сказал другой номер – Кораблева. Я не застал его, – он был в отпуске, – и незнакомый женский голос сообщил мне, что он вернется только к началу учебного года.

– Сердечный привет от его ученика, – сказал я. – Передайте, что звонил летчик Григорьев.

Я положил трубку. Это было в гостинице, и нужно было сперва вызывать город, а уже потом говорить номер, и я с тоской смотрел на телефон и не звонил – все думал. Что я скажу ей? Я не мог говорить с ней, как с чужим человеком.

И я решил сперва позвонить в Зоопарк Вале.

Но и Вали не было в Москве. Мне вежливо сообщили, что ассистент Жуков находится на Крайнем Севере и едва ли вернется в Москву раньше чем через полгода.

– А кто его спрашивает?

– Передайте привет, пожалуйста, – сказал я. – Это говорит летчик Григорьев.

Больше мне некому было звонить в Москве, разве только какому-нибудь секретарю из Управления гражданского воздушного флота. Но мне было не до секретарей. Я снял трубку и сказал:

– Город.

Город ответил, и я назвал номер.

Нина Капитоновна подошла к телефону, я сразу узнал ее добрый решительный голос.

– Можно Катю?

– Катю? – с удивлением переспросила Нина Капитоновна. – Ее нету.

– Нету дома?

– Дома нету и в городе. А кто ее спрашивает?

– Григорьев, – сказал я. – Не можете ли вы сообщить мне ее адрес?

---

<sup>122</sup> Литер – право на бесплатный или льготный проезд (литерный билет).

<sup>123</sup> Главсевморпуть – Главное управление Северного морского пути (ГУСМП) – государственная организация, созданная в 1932 году для хозяйственного освоения Арктики и обеспечения судоходства по Северному морскому пути.

Нина Капитоновна помолчала. Без сомнения, она не узнала меня. Мало ли Григорьевых на свете!

– Она на практике. Адрес: город Троицк, геологическая партия Московского университета.

Я поблагодарил и повесил трубку.

Больше я не мог оставаться в этом скучном номере совершенно один, а до двух часов, когда меня должен был принять секретарь Главсевморпути, было еще далеко. Я вышел и стал бесцельно бродить по Москве.

Никогда не следует одному бродить по тем местам, где вы были вдвоем.

Обыкновенный сквер в центре Москвы кажется самым грустным местом в мире. Не слишком шумная, довольно грязная улица, которых было в Москве сколько угодно, наводит такую тоску, что невольно начинаешь чувствовать себя гораздо старше и умнее.

Как будто я сам через несколько лет спокойно заглянул себе в душу и оценил все – и ненужную горячность в делах, которые касаются самого дорогого на земле – человеческого сердца, и неуверенность в себе, преследующую меня, быть может, с тех пор, когда я был немым мальчиком и мир казался мне таким необъяснимо сложным. Мне казалось теперь, что во мне еще были последние черты этой немоты. Например, в своей любви я не сумел полностью высказать себя и промолчал о самом важном. Мне казалось, что моя любовь не удалась потому, что очень сложные обстоятельства обступили ее со всех сторон, – и это снова был тот же сложный мир, перед которым немым мальчиком я застывал в каком-то оцепенении.

Нет, все переменилось в моей душе, я чувствовал это! Я больше не был горячим мальчиком, стремившимся, не теряя ни минуты, доказать свою правоту. Я знал теперь, что мне нужнее всего – спокойствие и твердость.

С чувством грусти и жалости к самому себе я думал об этих годах моей юности и школьной любви. Теперь кончено было с юностью и любовь уже не та. Но, как и прежде, все было впереди, и я смотрел вперед с еще большей надеждой, чем прежде. Я недолго пробыл в Москве. Меня очень вежливо приняли в Главсевморпути, потом в Управлении гражданского воздушного флота. Но нечего было и думать о Севере – так мне сказали – до тех пор, пока меня не отпустит Балашовская школа.

Только через полтора года мне удалось добиться назначения на Север – и то совершенно случайно. Я познакомился в Ленинграде с одним старым полярным летчиком, который хотел вернуться в центр: ему уже не по годам были тяжелые северные полеты. Мы обменялись. Он занял мое место, а я получил назначение вторым пилотом на одну из дальних северных линий.

## **Глава 6**

### **У доктора**

Нетрудно было найти этот дом, потому что вся улица состояла только из одного дома, а все остальные существовали только в воображении строителей Заполярья.

Уже темнело, когда я постучался к доктору, и как раз окна осветились, и чья-то тень задумчиво прошла за шторой. Мне долго никто не открывал, и я сам тихонько открыл тяжелую дверь и очутился в чистых, просторных сенях.

– Хозяева есть?

Никто не откликнулся. В углу стоял голик<sup>124</sup>, и я почистил им валенки: снег был по колено.

– Дома кто-нибудь?

Никого. Только маленький рыжий котенок выскочил из-под вешалки, испуганно посмотрел на меня и удрал. Потом в дверях появился доктор.

Может быть, это невероятно с медицинской точки зрения, но он не только не постарел за эти годы, но даже помолодел и снова стал похож на того длинного, веселого, бородатого доктора, который в деревне учил нас с сестрой печь картошку на палочках.

– Вы ко мне?

– Доктор, я хочу пригласить вас к больному, – сказал я быстро. – Интересный случай: немота без глухоты. Человек все слышит и не может сказать «мама».

Доктор медленно поднял очки на лоб.

– Виноват...

– Я говорю: интересный случай, – продолжал я серьезно. – Человек может произнести только шесть слов: кура, седло, ящик, вьюга, пьют, Абрам. Больной Г. Описано в журнале.

Доктор подошел ко мне с таким видом, как будто собрался взять меня за язык или заглянуть в ухо. Но он просто сказал:

– Саня!

Мы обнялись.

– Прилетел все-таки!

– Прилетел.

– Ну, молодец! Летчик? Ну, молодец! Ну, молодец!

Он обнял меня за плечи и повел в столовую. Там стоял мальчик лет двенадцати, очень похожий на доктора. Он подал мне руку и сказал на «о»: «Володя».

Здесь было светлее, чем в сенях, и доктор снова принялся рассматривать меня со всех сторон и на этот раз, кажется, с трудом удержался, чтобы действительно не заглянуть в ухо.

– Ну, молодец, – снова, раз десять повторил он. – А сестра? Где она? Тоже летает?

– От сестры сердечный привет, – сказал я. – Она художница, вышла замуж и живет в Ленинграде.

– Уже замужем? С косичками?

Я засмеялся. Саня в детстве носила косички.

– Ох, я старик, – со вздохом сказал доктор. – Приезжает маленький худенький мальчик, который ходил в больших рваных штанах, и оказывается – он летчик. Девочка с косичками – художница, вышла замуж и живет в Ленинграде.

– Иван Иванович, честное слово, вы не переменились. Просто поразительно. Даже помолодели!

Он засмеялся. Ему было приятно, что я так говорю, и я потом весь вечер время от времени повторял, что он помолодел или, во всяком случае, нисколько не переменился. Мы сидели за чаем, когда пришла жена доктора, Анна Степановна, высокая полная женщина, которая показалась мне похожей в своей малице<sup>125</sup> и пимах<sup>126</sup> на какого-то северного бога. Она сняла малицу и сменила пимы и все-таки осталась такой большой, что даже длинный доктор выглядел в сравнении с ней каким-то не очень длинным, не говоря уже обо мне. У нее было совсем молодое лицо, и она очень подходила к этому чистому деревянному дому, к желтому полу и деревенским половикам. В ней было что-

---

<sup>124</sup> Голик – веник.

<sup>125</sup> Малица – у народов Крайнего Севера: верхняя одежда из оленьих шкур мехом вовнутрь, надеваемая через голову.

<sup>126</sup> Пимы – сапоги с высокими голенищами из оленьей шкуры.



то старорусское, как, впрочем, и в самом Заполярье, хотя это был совершенно новый город, построенный только пять-шесть лет тому назад. Потом я узнал, что она поморка. Мы заговорили о Заполярье, и я узнал историю этого удивительного деревянного города с деревянными тротуарами и мостовыми – города, в котором самая почва состоит из слежавшихся опилок.

– Как дождь пройдет, кажется, что идешь по квартире, – сказала Анна Степановна. – Все полы, полы. И шоссе деревянное.

Оказалось, что доктор приехал в Заполярье с первым парходом и весь город был построен у него на глазах.

– Здесь в двадцать восьмом году была тайга, – сказал он. – А вот на этом месте, где мы сейчас сидим и пьем чай, били зайцев.

– А теперь стоит один дом, – сказала Анна Степановна, – а улицу собирались построить, да так и не собрались.

– А театр, скажешь, плохой?

– Театр хороший.

– К нам в прошлом году приезжал МХАТ<sup>127</sup>, – сказал Володя и покраснел. – Мы их встречали с цветами. Они удивлялись, откуда у нас цветы, а у нас сколько угодно. Все посмотрели на него, и он еще больше покраснел.

– Володя любит театр, – сказала Анна Степановна, – и еще очень любит...

– Мама!

Доктор засмеялся.

– Мамочка, можно тебя на минуту? – грозно сказал Володя и вышел.

Анна Степановна тоже засмеялась и пошла за ним.

– Стихи пишет, – шепотом сказал доктор. – Нет, теперь, когда вспоминаешь, очень интересно, – продолжал он. – Это было здорово! Когда первый лесозавод строили – в газете вместо даты печатали: столько-то дней до пуска лесозавода. Двадцать дней. Девятнадцать дней. И наконец – один день! А первые самолеты! Как их встречали! А ты? – вдруг спохватился доктор. – Как ты? Что собираешься делать?

– Собираюсь летать.

– Куда?

– Еще не знаю. Планы большие, а пока буду возить в Красноярск пушнину.

– А планы – новая трасса?

– Да... Иван Иваныч, – сказал я, когда было съедено все, что было на столе, и мы принялись за очень вкусное самодельное вино из морошки<sup>128</sup>, – помните ли вы те письма, которыми мы обменялись, когда я еще был в Ленинграде?

– Помню.

– Вы написали мне очень интересное письмо об этом штурмане, – продолжал я, – и мне, прежде всего, хочется узнать, сохранились ли его черновые тетради?

– Сохранились.

– Очень хорошо. А теперь выслушайте меня. Это довольно длинная история, но я все-таки расскажу ее вам. Как известно, не кто иной, как вы, в свое время научили меня говорить. Вот и расплачивайтесь.

И я рассказал ему все – начиная с чужих писем, которые когда-то читала мне вслух тетя Даша. О Кате я сказал только несколько слов – в порядке информации. Но доктор в этом месте почему-то улыбнулся и сейчас же принял равнодушный вид.

---

<sup>127</sup> МХАТ – Московский художественный академический театр, основанный в 1898 году К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко. Первоначально назывался Художественно-общедоступный театр. С 1901 года – Московский Художественный театр (МХТ), затем – МХАТ, в настоящее время вновь МХТ.

<sup>128</sup> Морошка – растение семейства розоцветных из того же рода, что малина, ежевика, костяника и др.

– ...Это был очень усталый человек, – сказал он о штурмане. – В сущности, он умер не от гангрены, а от усталости. Он истратил слишком много сил, чтобы избежать смерти, и на жизнь уже не осталось. Такое он производил впечатление.

– Вы говорили с ним?

– Говорил.

– О чем?

– По-моему, о каком-то южном городе, – сказал доктор, – не то о Сухуме, не то о Баку. Это у него была просто навязчивая идея. Все тогда говорили о войне: только что началась война. А он о Сухуме – как там хорошо, тепло. Должно быть, он был оттуда родом.

– Иван Иваныч, эти дневники, они у вас здесь? В этом доме?

– Здесь.

– Покажите.

Я часто думал об этих дневниках, и в конце концов, они стали казаться мне какими-то толстыми, в черном клеенчатом переплете. Но доктор вышел и через несколько минут вернулся с двумя узенькими тетрадочками, похожими на школьные словари иностранных слов. Невольное волнение охватило меня, когда я наудачу открыл одну из тетрадок:

«Штурману Ив. Дм. Климову.

Предлагаю Вам и всем нижепоименованным, согласно Вашего и их желания, покинуть судно с целью достижение обитаемой земли...»

—

– Доктор, но ведь у него превосходный почерк! Я читаю совершенно свободно!

– Нет, это у меня превосходный почерк, – возразил доктор. – Ты читаешь то, что мне удалось разобрать. Я в нескольких местах вложил листочки с прочитанным текстом. А все остальное – взгляни!

И он открыл тетрадку на первой странице.

Мне случалось видеть неразборчивые почерки: например, Валя Жуков писал так, что педагоги долгое время думали, что он над ними смеется. Но такой почерк я видел впервые: это были настоящие рыболовные крючки, величиной с булавочную головку, рассыпанные по странице в полном беспорядке.

Первые же страницы были залиты каким-то жиром, и карандаш чуть проступал на желтой прозрачной бумаге. Дальше шла какая-то каша из начатых и брошенных слов, потом набросок карты и снова каша, в которой не мог бы разобраться никакой графолог.

– Ладно, – сказал я и закрыл тетрадку. – Я это прочитаю.

Доктор с удовольствием посмотрел на меня.

– Желаю успеха, – сердечно сказал он.

Я остался у него ночевать, потому что стало темно, пока я сидел в гостях, и начиналась вьюга, а в Заполярье не принято выходить на улицу, когда начинается вьюга. Анна Степановна приготовила мне постель в Володиной комнате, на складной кровати, и я перед сном долго рассматривал Володю, который спал на боку, подложив под щеку аккуратно сложенные ладони. Во сне это был настоящий маленький доктор, только бороды не хватало. Складная кровать громко заскрипела, когда я сел на нее, собираясь снять сапоги. Он на мгновение открыл большие синие глаза и что-то пробормотал не просыпаясь.

## Глава 7

### Читаю дневники

Не могу назвать себя нетерпеливым человеком. Но, кажется, только гений терпения мог прочитать эти дневники! Без сомнения, они писались на привалах, при свете коптилок из тюленьего жира, на сорокапятиградусном морозе, замерзшей и усталой рукой. Видно было, как в некоторых местах рука срывалась и шла вниз, чертя длинную, беспомощную, бессмысленную линию.

Но я должен был прочитать их!

И снова я принимался за эту мучительную работу. Каждую ночь – а в свободные от полетов дни с утра – я с лупой в руках садился за стол, и вот начиналось это напряженное, медленное превращение рыболовных крючков в человеческие слова – то слова отчаяния, то надежды. Сперва я шел напролом – просто садился и читал. Но потом одна хитрая мысль пришла мне в голову, и я сразу стал читать целыми страницами, а прежде – отдельными словами.

Перелистывая дневники, я заметил, что некоторые страницы написаны гораздо отчетливее других, – например, приказ, который скопировал доктор. Я выписал из этих мест все буквы – от «а» до «я» – и составил «азбуку штурмана», причем в точности воспроизвел все варианты его почерка. И вот с этой азбукой дело пошло гораздо быстрее. Часто стоило мне, согласно этой азбуке, верно угадать одну или две буквы, как все остальные сами собой становились на место.

Так день за днем я разбирал эти дневники.

### ДНЕВНИКИ ШТУРМАНА ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ

ИВ. ДМ. КЛИМОВА

Среда, 27 мая. Снялись поздно и за 6 часов прошли 4 версты<sup>129</sup>. Сегодня у нас юбилейный день. Мы считаем, что всего отошли от судна 100 верст. Конечно, это не так уж много для месяца хода, но и дорога, зато такая, какой мы не ожидали. Справили мы свой юбилей торжественно: сварили из сушеной черники суп и подправили его для сладости двумя банками консервированного молока.

Пятница, 29 мая. Если мы доберемся до берега, то пусть эти люди – я не хочу даже называть их – помнят 29 мая, день своего избавления от смерти, и ежегодно чтут его. Но если спаслись люди, то все же утопили двустволку и нашу кормилицу-кухню. Благодаря этому мы должны были вчера есть сырое мясо и пить холодную воду, разведенную молоком. Эх, только бы привел мне Бог благополучно добраться до берега с этими ротозеями!

Воскресенье, 31 мая. Вот тот официальный документ, на основании которого я должен был выступить во главе части команды:

«Штурману Ив. Дм. Климову.

Предлагаю Вам и всем нижепоименованным, согласно Вашего и их желания, покинуть судно с целью достижения обитаемой земли, сделать это 10-го сего апреля, следуя пешком по льду, везя за собой нарты<sup>130</sup> с каяками<sup>131</sup> и провизией, взяв таковой с

<sup>129</sup> Верста – русская единица измерения расстояния, равная пятистам саженьям или 1 066,781 метров.

<sup>130</sup> Нарты – узкие длинные санки с плоским деревянным настилом.

расчетом на два месяца. Покинув судно, следовать на юг до тех пор, пока не увидите земли. Увидев же землю, действовать сообразно с обстоятельствами, но предпочтительно стараться достигнуть Британского канала между островами Земли Франца Иосифа, следовать им, как наиболее известным, к мысу Флора, где, я предполагаю, можно найти провизию и постройки. Далее, если время и обстоятельства позволят, направиться к Шпицбергену. Достигнув Шпицбергена, представится Вам чрезвычайно трудная задача найти там людей, о месте пребывания которых мы не знаем, но, надеюсь, на южной части его Вам удастся застать, если не живущих на берегу, то какое-нибудь промысловое судно. С Вами пойдут, согласно их желания, тринадцать человек из команды.

Капитан судна «Св. Мария»  
Иван Татаринов.  
10 апреля 1914 года,  
в Северном Ледовитом океане».

Видит Бог, как тяжело мне было уйти, оставив его в тяжелом, почти безнадежном положении.

Вторник, 2 июня. Еще на судне машинист Корнев сделал нам четыре пары очков, но нельзя сказать, что они достигают своего назначения, Стекла сделаны из бутылок от «джина». В передних нартах идут счастливыцы «зрячие», а «слепцы» тянутся по их следам с закрытыми глазами, только по временам поглядывая сквозь ресницы на дорогу. Глаза болят от мучительного, нестерпимого света. Вот картина нашего движения, которой я никогда не забуду: мы идем мерно, в ногу, одновременно покачиваясь впереди, налегая на ляжку грудью и держась одной рукой за борт каяка. Мы идем с плотно закрытыми глазами. В правой руке – лыжная палка, которая с механической точностью заносится вперед, откидывается вправо и медленно остается позади. Как однообразно, как отчетливо скрипит снег под наконечником этой палки! Невольно прислушиваешься к этому поскрипыванию, и кажется – ясно слышишь: «далеко, далеко». Как в забытьи, идем мы, механически переставляя ноги и налегая грудью на ляжку... Сегодня мне представилось, что я иду по набережной жарким летом, в тени, высоких домов. В этих домах азиатские фруктовые склады, двери раскрыты настежь, и слышен ароматный, пряный запах свежих и сухих фруктов. Одурающе пахнет апельсинами, персиками, сушеными яблоками, гвоздикой. Персы-торговцы поливают водой мягкую от жары асфальтовую панель, и мне слышится их спокойная гортанная речь. Боже, как хорошо пахнет, какая приятная прохлада!.. Я очнулся, споткнувшись о свою палку, схватился за каяк и остановился пораженный – снег, снег, снег, докуда видит глаз. По-старому ослепительно светит солнце, по-старому нестерпимо болят глаза.

Четверг, 4 июня. Сегодня, идя по следам Дунаева, я обратил внимание, что он плюет кровью. Осмотрел десны – цинга<sup>132</sup>. Последние дни он жаловался на ноги.

Пятница, 6 июня. У меня не выходит из головы Иван Львович – в ту минуту, когда, провожая нас, он говорил прощальную речь и вдруг замолчал, сжав зубы и

---

<sup>131</sup> Каяк – тип гребной лодки, одноместная байдарка. Широко распространен у народов Арктики (эскимосы, алеуты и др.). Традиционно состоял из шкур, натянутых на каркас из дерева или кости.

<sup>132</sup> Цинга – болезнь, вызываемая острым недостатком витамина С.

осмотревшись с какой-то беспомощной улыбкой. Он болен, я оставил его только что вставшим с постели. Боже мой, это самая страшная ошибка! Но не возвращаться же назад.

Суббота, 6 июня. Еще третьего дня Морев все приставал ко мне, будто с вершины тороса он видел какую-то «ровнушку», то есть совершенно ровный лед, который тянется на юг очень далеко. «Своими глазами видел, господин штурман! Такая ровнушка, что копыто не пишет». Сегодня утром его не оказалось в палатке. Он ушел без лыж, и следы его пим чуть заметны на тонком слое крепкого снега. Мы искали его целый день, кричали, свистели, стреляли. Он ответил бы нам – у него была с собой винтовка-магазинка и штук двенадцать патронов. Но ничего не было слышно.

Воскресенье, 7 июня. Из каяков, лыж и лыжных палок связали мачту вышиной в пять сажен, прикрепили к ней два флага и поставили на вершине холма. Если он жив, он увидит наши сигналы.

Вторник, 9 июня. Снова в путь. Осталось тринадцать человек – роковое число. Когда же, наконец, будет земля, хотя какая-нибудь, голая, неприветливая земля, которая стояла бы на месте, на которой мы не опасались бы ежеминутно, что нас относит на север!

Среда, 10 июня. Сегодня к вечеру снова видение южного города, набережной и ночного кафе с людьми в белых панاماх. Сухум? Снова пряный, душистый запах фруктов и горькие мысли: «Зачем я пошел в это плавание, в холодное, ледяное море, когда так хорошо плавать на юге? Там тепло. В одной рубашке можно ходить и даже босиком. Можно есть много апельсинов, винограда и яблок». Странно, почему я никогда особенно не любил фруктов? Впрочем, и шоколад – хорошая вещь, с ржаными сухарями, как мы едим в полуденный привал. Только мы получаем его очень мало – по одной дольке, на которые разделена плитка. А хорошо бы поставить перед собой тарелку с просушенными ржаными сухарями, а в руку взять сразу целую плитку шоколада и есть, сколько хочется! Сколько верст до этой возможности, сколько часов, дней, недель!

Четверг, 11 июня. Дорога отвратительная, с глубоким снегом, под которым много воды. Полыньи все время преграждают наш путь. Прошли сегодня не более трех верст. Весь день – туман и тот матовый свет, от которого так сильно болят глаза. И сейчас эту тетрадь я вижу, как сквозь кисею, и горячие слезы текут по моим щекам. Завтра Троица. Как хорошо будет в этот день «там», где-нибудь на юге, и как плохо здесь, на плавучем льду, сплошь изрезанном полыньями и торосами, под 82-м градусом, широты! Лед переставляется ежеминутно, прямо на глазах, Одна полынья скрывается, другая открывается, как будто какие-то великаны играют в шахматы на исполинской доске.

Воскресенье, 14 июня. Вот открытие, о котором я ничего не сказал моим спутникам: нас проносит мимо земли. Сегодня мы достигли широты Франца-Иосифа и продолжаем двигаться на юг – между тем не видно и намек на острова. Нас проносит мимо земли. Это я вижу и по моему никуда не годному хронометру, и по господствующим ветрам, и по направлению выпущенного в воду линя.

Понедельник, 15 июня. Я оставил его больным, в отчаянии, которое только он был в состоянии утаить. Это лишает меня веры в наше спасение.

Вторник, 16 июня. Цинготных у меня теперь двое. Соткин тоже заболел, и десны у него кровоточат и припухли. Мое лечение заключается в том, что я посылаю их на лыжах искать дорогу, а на ночь даю облатку<sup>133</sup> хины<sup>134</sup>. Может быть, это жестокий способ лечения, но, по-моему, единственный до тех пор, пока человек не утратил нравственной силы. Самую тяжелую форму цинги я наблюдал у Ивана Львовича, который болел ею почти полгода и лишь нечеловеческим усилием воли заставил себя выздороветь, то есть просто не позволил себе умереть. И эта воля, этот широкий, свободный ум, эта неистощимая бодрость души обречены на неизбежную гибель.

Четверг, 18 июня. Широта 81. Опять приходится удивляться быстроте дрейфа на юг.

Пятница, 19 июня. Около четырех часов на OSO<sup>135</sup> от нашей стоянки я увидел «нечто». Это были два розоватых – облачка над самым горизонтом, которые не меняли своей формы, пока их не закрыло туманом. Кажется, никогда мы не были окружены таким количеством разводьев, как теперь. Много летает нырков<sup>136</sup> и визгливых белых чаек. Ох, эти чайки! Как часто по ночам они не дают мне заснуть, суетясь, споря и ссорясь между собой около выброшенных на лед внутренностей убитого тюленя. Они, как злые духи, издеваются над нами, хохочут до истерики, визжат, свистят и едва ли не ругаются. Как долго я буду помнить эти «крики чайки белоснежной», эти бессонные ночи в палатке, это незаходящее солнце, просвечивающее сквозь полотно ее!

Суббота, 20 июня. За неделю нашей стоянки мы продрейфовали со льдом к югу на целый градус.

Понедельник, 22 июня. Вечером я по обыкновению забрался на высокий ропак, чтобы осмотреть горизонт. На этот раз я увидел на O<sup>137</sup> от себя что-то такое, от чего я в волнении должен был присесть на ропак<sup>138</sup> и поспешно стал вытирать и глаза и бинокль. Это была светлая полоска, похожая на аккуратный мазок кистью по голому полю. Сперва решил, что это луна, но почему-то левая половина сегмента этой луны постепенно тускнела, а правая становилась резче. Ночью я раз пять выходил посмотреть в бинокль и каждый раз находил этот кусочек луны на том же месте. Я удивляюсь, что никто из моих спутников ничего не видит. Какого труда стоит мне сдерживать себя, не вбежать в палатку, не закричать во весь голос: «Что вы сидите чучелами, что вы спите, разве вы не видите, что нас подносит к земле?» Но я почему-то молчу. Кто знает, быть может, и это мираж. Видел же я себя в южном городе, на набережной, жарким летом, в тени высоких домов!

(На этой фразе кончалась первая тетрадь, Вторая начиналась 11 июля).

---

<sup>133</sup> Облатка – капсула для приема порошковых лекарств неприятного вкуса. Изготавливают фабричным путём из теста, получаемого смешением крахмала с крахмальным клейстером.

<sup>134</sup> Хина – белый порошок горького вкуса, добываемый из коры хинного дерева, употр. как средство против малярии.

<sup>135</sup> OSO – направление «востоко-юго-восток» (от ост-зюйд-ост), название, использовавшееся в морской терминологии.

<sup>136</sup> Нырок – вид птиц из семейства утиных.

<sup>137</sup> O – направление «восток» (от ост).

<sup>138</sup> Ропак – отдельная льдина, стоящая вертикально среди относительно ровной поверхности сплошного ледяного покрова на море или на реке. Иногда ропакими называют прибрежный камень, скалу на Севере.

Суббота, 11 июля. Убили тюленя, от которого собрали две миски крови и из этой крови и нырков сделали очень хорошую похлебку. Когда мы варим чай или похлебку, то обыкновенно шутить не любим. Сегодня утром мы съели ведро похлебки и выпили ведро чаю; в обед съели ведро похлебки и выпили ведро чаю; и сейчас на ужин мы съели больше чем по фунту мяса и дожидаемся с нетерпением, когда вскипит наше ведро чаю. А ведро у нас большое, в форме усеченного конуса. Мы бы, пожалуй, не прочь и сейчас сварить и съесть ведро похлебки, но мы стесняемся, надо «экономить». Аппетиты у нас не волчьи, а много больше; это что-то ненормальное, болезненное.

Итак, мы сидим на острове, под нами не лед, с которого мы не сходили два года, а земля и мох. Все хорошо, но одна мысль по-прежнему не дает мне покоя: зачем капитан не отправился с нами? Он не хотел оставить корабль, он не мог вернуться «с пустыми руками». «Меня заклюют, если я вернусь с пустыми руками». И потом эта детская, безрассудная мысль: «Если безнадежные обстоятельства заставят меня покинуть корабль, я пойду к земле, которую мы открыли». Мне кажется, последнее время он был немного помешан на этой земле. Мы видели ее в апреле 1913 года.

Понедельник, 13 июля. На OSO море до самого горизонта свободно ото льда. Эх, «Св. Мария», вот бы куда, красавица, тебе попасть! Тут бы ты пошла чесать, не надо и машины!

Вторник, 14 июля. Сегодня Соткин и Корольков, уйдя на оконечность острова, сделали замечательную находку. Недалеко от моря они увидели небольшой каменный холм. Их поразила правильная форма этого холма. Подойдя ближе, они увидели недалеко бутылку из-под английского пива с патентованной, завинчивающейся пробкой. Ребята сейчас же разбросали холм и скоро под камнями нашли железную банку. В банке оказался очень хорошо сохранившийся английский флаг, а под ним такая же бутылка. На бутылке была приклеена бумажка с несколькими именами, а внутри – записка на английском языке. Кое-как, соединенными усилиями, вместе с Нильсом мы разобрали, что английская полярная экспедиция под начальством Джексона, отойдя в августе месяце 1897 года от мыса Флора, прибыла на мыс Мэри Хармсворт, где и положила этот флаг и записку. В конце сообщалось, что на судне «Виндворд» все благополучно.

Вот неожиданное разъяснение всех моих сомнений: мы находимся на мысе Мэри Хармсворт. Это юго-западная оконечность Земли Александры. Завтра мы предполагаем перейти на южный берег острова и отправиться к мысу Флора, в имение этого знаменитого англичанина Джексона.

Среда, 15 июля. Покинули лагерь. Нам предстоял выбор: идти ли всем по леднику и тащить за собой груз, или разделиться на две партии, из которых одна шла бы на лыжах по леднику, а другая, в пять человек, плыла бы вдоль ледника на каяках. Мы избрали этот последний способ передвижения.

Четверг, 16 июля. Утром Максим с Нильсом стали перегонять каяки ближе к месту нашей стоянки, и Нильса так далеко отнесло течением, что двоим пришлось отправиться ловить его. Я смотрел в бинокль и видел, как Нильс убрал весло и с самым беспомощным видом смотрел на идущий к нему на выручку каяк. Нильс очень болен, иначе я не могу объяснить его поведение. Да и вообще он стал какой-то странный:

походка нетвердая и сидит все время в стороне. На ужин мы сегодня сварили двух нырков и одну гагу.

Пятница, 17 июля. Погода отвратительная. Продолжаем сидеть на мысе Гранта и ожидать береговую партию. Ночью прояснилось. Впереди, на ОНО<sup>139</sup>, кажется совсем недалеко, виден за сплошным льдом скалистый остров. Неужели это Нордбрук, на котором и есть мыс Флора? Приближается время, когда выяснится, прав ли я был, стремясь к этому мысу? Двадцать лет – срок большой. Может быть, там за это время и следа не осталось от построек Джексона? Но что было делать иначе? Делать большой обход? Да разве выдержали бы его мои несчастные, больные спутники, в лохмотьях, пропитанных ворванью<sup>140</sup> и полных паразитов?

Суббота, 18 июля. Завтра, если позволит погода, мы отправимся дальше. Ждать я больше не могу. Нильс едва ходит, и Корольков немногим лучше его. Дунаев хотя и жалуется на ноги, но у него не заметно той страшшей меня апатии, того упадка сил, как у Нильса и Королькова. Что могло задержать пешеходцев? Не знаю, но оставаться здесь дольше – это верная смерть.

Понедельник, 20 июля. Остров Белль, Выходя из каяков, мы убедились, что Нильс уже не может ходить; он падал и старался ползти на четвереньках. Устроив нечто вроде палатки, мы затащили туда Нильса и закутали в наше единственное одеяло. Он все намеревался куда-то ползти, но потом успокоился. Нильс – датчанин. За два года службы на «Св. Марии» он научился хорошо говорить по-русски. Но со вчерашнего дня он забыл русскую речь. Больше всего поражают меня его бессмысленные, полные ужаса глаза – глаза человека, потерявшего рассудок. Мы сварили бульон и дали ему полчашки. Он выпил и лег. Жаль хорошего матроса, очень неглупого, старательного. Все легли спать, а я, взяв винтовку, пошел посмотреть с утесов на мыс Флора.

Вторник, 21 июля. Нильс умер ночью. Он даже не сбросил одеяла, в которое мы завернули его. Лицо его было спокойно и не обезображено предсмертными муками. Часа через два мы вытащили своего успокоившегося товарища и положили его на нарту. Могила была не глубока, так как земля сильно промерзла. Никто из нас не заплакал над этой одинокой далекой могилой. Смерть этого человека не очень поразила нас, как будто произошло самое обычное дело. Конечно, это не было черствостью, бессердечием. Это было ненормальное отупение перед лицом смерти, которая у всех нас стояла за плечами. Как будто и враждебно поглядывали мы теперь на следующего «кандидата», на Дунаева, мысленно гадая, «дойдет он или уйдет ранее». Один из спутников даже как бы со злостью прикрикнул на него: «Ну, ты чего сидишь, мокрая курица? За Нильсом, что ли, захотел? Иди, ищи плавник<sup>141</sup>, шевелись!» Когда Дунаев покорно пошел, то ему еще вдогонку закричали: «Позапинайся у меня, позапинайся!» Это не было озлоблением против Дунаева. Не важен был теперь и плавник. Это было озлобление против болезни, забирающей товарища, призыв бороться со смертью до конца. Запинание, когда ноги подгибаются, как парализованные, очень характерно. Потом начинает плохо слушаться язык. Больной начинает старательно выговаривать некоторые слова, но, видя, что из этого ничего не выходит, как будто смущается и умолкает.

---

<sup>139</sup> ОНО – направление «востоко-северо-восток» (от ост-норд-ост).

<sup>140</sup> Ворвань – устаревший термин, которым называли жидкий жир, добываемый из сала морских млекопитающих (китов, тюленей) и рыб.

<sup>141</sup> Плавник – *здесь*: обломки деревьев, разбитых судов и т.п., выбрасываемые на берег.



Среда, 22 июля. В три часа отправились к мысу Флора. Снова думал об Иване Львовиче. Я больше не сомневаюсь, что он немного помешан на этой земле, которую мы открыли. В последнее время он постоянно упрекал себя в том, что не отправил партию, чтобы исследовать ее. Он сказал о ней и в своей прощальной речи. Никогда не забуду этого прощанья, этого бледного, вдохновенного лица с далеким взглядом! Что общего с прежним румяным, полным жизни человеком, выдумщиком анекдотов и забавных историй, кумиром команды, с шуткой подступавшим к любому, самому трудному делу? Никто не ушел после его речи. Он стоял с закрытыми глазами, как будто собираясь с мыслями, чтобы сказать прощальное слово. Но вместо, слов вырвался чуть слышный стон, и в углу глаз сверкнули слезы. Он заговорил сперва отрывисто, потом все более спокойно: «Нам всем тяжело провожать друзей, с которыми мы сжились за два года нашей борьбы и работы. Но мы должны помнить, что хотя основная задача экспедиции не решена, все же мы сделали немало. Трудami русских в историю Севера записаны важнейшие страницы – Россия может гордиться ими. На нас лежала ответственность – оказаться достойными преемниками русских исследователей Севера. И если мы погибнем, с нами не должно погибнуть наше открытие. Пускай же ваши друзья передадут, что трудами экспедиции к России присоединена обширная земля, которую мы назвали «Землей Марии». Он помолчал, потом обнял каждого из нас и сказал: «Мне хочется сказать вам не «прощайте», а «до свиданья»».

Четверг, 30 июля. Теперь нас осталось только восемь – четверо на каяках и четверо где-то на Земле Александры.

Суббота, 1 августа. Вот что произошло в этот день: мы были уже в двух-трех милях от мыса Флора, когда подул сильный NO<sup>142</sup> ветер, который быстро стал крепчать и через полчаса дул, как из трубы, разводя крутую зыбь. Незаметно в тумане мы потеряли из виду второй каяк, с Дунаевым и Корольковым. Борьба с ветром и течением на этой зыби было невозможно, и мы пристали к одному из айсбергов побольше, с подветренной стороны, влезли на него и втащили каяк. Забравшись на айсберг, мы воткнули в его вершину мачту и подняли флаг в надежде, что если Дунаев увидит его, то догадается тоже взобраться на какую-нибудь льдину. Было довольно холодно, и мы, порядком устав, решили лечь спать. Надев на себя малицы, мы легли на вершине айсберга друг к другу ногами, так что ноги Максима находились у меня в малице, за моей спиной, а мои ноги – в малице Максима, за его спиной. Таким образом мы заснули и безмятежно спали 7–8 часов. Пробуждение наше было ужасно. Мы проснулись от страшного треска, почувствовали, что летим вниз, а в следующую минуту наш двуспальный мешок был полон водой, мы погружались в воду и, делая отчаянные усилия выбраться из этого предательского мешка, отбивались друг от друга ногами. Мы были в положении кошек, которых бросили в воду, желая утопить. Не могу сказать, сколько секунд продолжалось наше барахтанье, но мне оно показалось страшно продолжительным. Вместе с мыслями о спасении и гибели в голове моей пронеслись различные картины нашего путешествия: смерть Морева, Нильса, четырех пешеходцев. Теперь пришла наша очередь, и никто никогда не узнает об этом. В этот момент мои ноги попали на ноги Максима, мы вытолкали друг друга из мешка, а в следующее мгновение уже стояли мокрые на подводной «подошве» айсберга, швыряя на льдину сапоги, шапки, одеяла, рукавицы, плававшие вокруг нас в воде. Малицы

---

<sup>142</sup> NO – направление «северо-восток» (от норд-ост).

были так тяжелы, что каждую мы должны были поднимать вдвоем, а одеяло так и не поймали – оно потонуло. Напрасно я ломал себе голову – что же нам теперь делать? Ведь мы замерзнем! Как бы в ответ на наш вопрос, с вершины полетел в воду наш каяк, который или сдуло ветром, или под которым подломился лед, как подломился он под нами. Теперь мы знали, что делать! Мы выжали свои носки и куртки, надели их опять, побросали в каяк все, что у нас осталось, сели и давай грести! Боже мой, с каким остервенением мы гребли! Только это, я думаю, и спасло нас. Часов через шесть мы подошли к мысу Флора...»

Среди ранних записей, вскоре после ухода штурмана с корабля, я нашел интересную карту. У нее был старомодный вид, и я подумал, что она похожа на карту, приложенную к путешествию Нансена на «Фраме».

Но вот что поразило меня: это была карта дрейфа «Св. Марии» с октября 1912 года по апрель 1914 года, и дрейф был показан на тех местах, где лежала так называемая Земля Петермана. Кто теперь не знает, что этой земли не существует? Но кто знает, что этот факт впервые установил капитан Татаринов на шхуне «Св. Мария»?

Что же он сделал, этот капитан, имя которого не встречается ни в одной географической книге? Он открыл Северную Землю, он доказал, что Земли Петермана не существует. Он изменил карту Арктики – и все же считал свою экспедицию неудачей...

Но вот что было самое главное: в пятый, в шестой, в седьмой раз перечитывая дневник уже по моей копии (так что мне больше не мешал самый процесс чтения), я обратил внимание на записи, в которых говорилось о том, как капитан относился к этому открытию:

«В последнее время он постоянно упрекал себя в том, что не отправил партию, чтобы исследовать ее» (то есть Северную Землю).

«...Если мы погибнем, с нами не должно погибнуть наше открытие. Пускай же наши друзья передадут, что трудами экспедиции к России присоединена обширная земля, которую мы называли «Землей Марии».

«Если безнадежные обстоятельства заставят меня покинуть корабль, я пойду к земле, которую мы открыли».

И штурман называет эту мысль детской и безрассудной.

Детской и безрассудной! В последнем письме капитана, которое когда-то читала мне тетя Даша, были эти два слова.

«Волей-неволей мы должны были отказаться от первоначального намерения пройти во Владивосток вдоль берегов Сибири. Но нет худа без добра! Совсем другая мысль теперь занимает меня. Надеюсь, что она не покажется тебе, как некоторым моим спутникам, «детской или безрассудной...»

Страница кончалась на этих словах, а следующего листа не хватало. Теперь я знал, что это за мысль: он хотел покинуть корабль и направиться к этой земле. Экспедиция, которая была главной целью его жизни, не удалась. Он не мог вернуться домой «с пустыми руками». Он стремился к своей земле, и для меня было ясно, что если где-либо еще сохранились следы его экспедиции, то их нужно искать на этой земле! Но, может быть, это было ясно только для меня? Может быть, это казалось мне таким ясным потому, что я знал женщину, именем которой была названа эта земля, и видел, как она умирала, и очень хотел найти следы этой экспедиции, и еще больше хотел доказать Кате, что я люблю ее и никогда не перестану любить.

Поздней ночью в марте 1935 года я переписал последнюю страницу этого дневника, последнюю, которую мне удалось разобрать.

В большом двухэтажном доме окрисполкома<sup>143</sup>, где я тогда жил, все давно спали, и только из моего окна свет падал на тоненькие деревца у дороги, прикрытые снегом. У меня немного болела голова, глаза. Я оделся и вышел.

Было тихо, морозно и не очень темно – много звезд, и на западе – слабое северное сияние. И прежнее памятное чувство, которое я пережил на Балашовском аэродроме, вернулось ко мне.

Как будто в театре вдруг зажгли свет и я увидел рядом с собой людей, которых только что видел на сцене. Неужели это действительно было? Кажется, еще минуту тому назад нельзя было сказать – живые ли это люди, или только игра, которая побледнеет и исчезнет при ясном свете реальной мысли; но вот свет зажгли, и ничего не исчезло. Напротив, с необыкновенной ясностью, во всей жизненной полноте, я увидел вокруг себя этих людей с их страхами и болезнями, с отчаяньем, видениями и надеждами. Когда они покинули корабль, он стоял в ста семидесяти километрах от берега, а они прошли около двух тысяч километров по ледяной пустыне, потому что их пронесло мимо земли. Среди них не было капитана, но этот страшный дневник был полон им – его словами, любовью к нему и опасениями за его жизнь! Прощальная речь была написана карандашом, врезавшимся в бумагу, – и это было самое разборчивое место во всем дневнике. «Но вместо слов вырвался чуть слышный стон, и в углу глаз свернули слезы...»

Узнаю ли я когда-нибудь, что случилось с этим человеком, как будто поручившим мне рассказать историю его жизни, его смерти? Оставил ли он корабль, чтобы изучить открытую им землю, или погиб от голода вместе со своими людьми, и шхуна, замерзшая во льдах у берегов Ямала, годами шла путем Нансена к Гренландии с мертвой командой? Или в холодную бурную ночь, когда не видно ни звезд, ни луны, ни северного сияния, она была раздавлена льдами, и с грохотом полетели вниз мачты, стеньги<sup>144</sup> и рей<sup>145</sup>, ломая все на палубе и убивая людей, в предсмертных судорогах затрещал корпус, и через два часа пурга уже занесла снегом место катастрофы? Или еще живут где-нибудь на безлюдном полярном острове люди со «Св. Марии», которые могли бы, рассказать о судьбе корабля, о судьбе капитана? Ведь прожили же несколько лет на необитаемом уголке Шпицбергена шесть русских матросов, били медведей и тюленей, питались их мясом, одевались в их шкуры, устилали шкурами пол своего шалаша, который они сделали из льда и снега? Да нет, куда там! Минуло двадцать лет, как была высказана «детская», «безрассудная» мысль покинуть корабль и идти на Землю Марии. Пошли ли они на эту землю? Дошли ли?

## Глава 8

### Семейство доктора

Всю зиму я разбирал эти дневники, а между тем моя жизнь в Заполярье шла своим путем. Я возил в Красноярск инструменты для лесозаводов и в конце концов, довел этот маршрут до восьми с половиной летных часов. Я перебрасывал изыскательские партии в Норильск, возил учителей, врачей, партработников в глухие ненецкие районы.

---

<sup>143</sup> Окрисполком – окружной исполнительный комитет - орган местной власти.

<sup>144</sup> Стеньга – наставная часть мачты, являющаяся продолжением ее в высоту.

<sup>145</sup> Рей – подвижной поперечный брус на мачте, служащий на парусных судах для крепления прямых парусов, а на судах с механическим двигателем для установки антенн и подъема сигналов.

С известным летчиком М. я был на Диксоне. Мне приходилось летать по притокам Енисея – Курейке и Нижней Тунгуске.

Но, возвращаясь в Заполярье, я, прежде всего, отправлялся к доктору, – разумеется, после парикмахерской и бани.

Я очень привязался к доктору и его семейству, и они меня, кажется, полюбили. Это было очень смешно, что доктор относился ко мне, как к своему произведению, – он даже иногда прищуривал один глаз, как будто все-таки не совсем доверял, что я – тот самый худенький черный мальчик в больших штанах, который когда-то твердил: «кура, седло, ящик». Конечно, теперь он не казался мне таким загадочным, как в деревне, в детстве. Но и теперь никогда нельзя было сказать, что он станет делать в следующую минуту. Он мог, например, во время разговора вдруг бросить вам свой стул, и вы непременно должны были поймать его и бросить обратно. И через несколько минут такой гимнастики доктор как ни в чем не бывало садился на этот стул, и разговор продолжался. Ненцам, среди которых у него были настоящие друзья, он любил читать Козьму Пруткова<sup>146</sup>.

Они приезжали к нему, смуглые, черноволосые, широколицые, в расшитых бисером оленьих шубах. Они сидели и разговаривали, а олени, серые, с печальными глазами, запряженные в высокие нарты, подолгу стояли у крыльца.

Доктор говорил по-ненецки, и ненцы приезжали к нему советоваться – иногда по очень важным делам. Не все было им ясно в новом социалистическом строе, и они не вполне доверяли какому-то Ваське-председателю, который в тундровом Совете считался главным специалистом по колхозным вопросам. Так, однажды они приехали, чтобы спросить, как, по мнению доктора, следует поступить с бандитом: самим ли убить его, или выдать властям? В другой раз они явились, чтобы выяснить, как смотрит доктор на примус<sup>147</sup> – годится ли эта машина в хозяйстве?

И доктор длинно доказывал, что бандита нужно выдать властям, что примус годится в хозяйстве, и ненцы молча слушали его с серьезным детским выражением. Впрочем, вскоре и мне случилось выступить перед ненцами с большой речью о примусе, – но об этом ниже.

Во всяком случае, это была прочная дружба, и доктор рассказывал мне, что она началась после того, как в становище Хабарово он устроил глистогонный пункт. Это было настоящее торжество медицины. Доктора прозвали «изгоняющий червей», и слава его разнеслась по тундре...

В доме было много зверей: кот Филька, черепаха, еж и филин, который жил под столом и кричал «ай, ай, ай», когда садились обедать. Все это было Володино хозяйство, – и еще две собаки, Буська и Тога, которых он учил ходить в упряжи; ненцы подарили ему прекрасную упряжь, украшенную пластинками из мамонтовой кожи. Мне очень нравилось, что Володя не хвастает своими стихами. Это была его тайна, и за зиму я только один раз слышал, как он прочитал стихи. Сперва он долго бормотал их, не зная, что я в соседней комнате и все слышу. Потом оказал вслух, с выражением:

Эвенок Чолкар приезжает из школы домой,  
Луною улыбка блестит в его узких глазенках,  
Быстро с нарт соскочил он и радостно машет рукою, –  
В чум вливаются свежесть и радость ребенка...

---

<sup>146</sup> Козьма Прутков – коллективный псевдоним группы русских писателей – А. К. Толстого и братьев А. М. и В. М. Жемчужниковых, – писавших совместно в 50–60-е гг. 19 в.

<sup>147</sup> Примус – нагревательный прибор, применяемый в быту для приготовления пищи и нагревания воды.

Потом снова начал бормотать.

Я рассказал ему историю капитана Татаринова и объяснил, какое значение имеют для этой истории дневники покойного Климова. И вот каждый раз, когда я приходил к доктору с новой разобранной страницей, являлся Володя и слушал наши разговоры с таким взволнованным лицом, что доктор, переглянувшись со мной, ласково обнимал его за плечи. Без сомнения, не одно стихотворение было посвящено этой истории, и, таким образом, жизнь капитана Татаринова описана не только в прозе.

Доктор заинтересовался болезнью, о которой пишет штурман, – это запинанье сперва в ногах, потом в речи и скорая, беспричинная смерть, – и Володя припомнил, что от такой же болезни умер Эванс, спутник капитана Скотта.

– Скотт пишет, что от этой болезни умирают самые сильные, – покраснев, сказал он. – Он думает – это что-то психическое.

Но особенно поразило его мое предположение, что, может быть, шхуна еще стоит с мертвой командой во льдах у какого-нибудь безлюдного острова. Он хотел что-то спросить, но промолчал, только по-детски открыл рот, и все лицо, щеки, даже шея покрылись гусиной кожей от волнения...

Главным человеком в доме была, разумеется, Анна Степановна. Все ее слушались, и даже филин, который никого не слушался и доктору всегда говорил «ай, ай, ай» с укоризненным выражением. Недаром ненцы говорили доктору: «Ой, хорошо, когда такой большой женка есть!» Она внушала уважение. Не только дома, но и во всем городе прислушивались к ее словам.

Она была из известной морской семьи, и ее отец, дядя и все братья плавали капитанами на морских и речных судах. Иногда во время Карской – так называют в Заполярье месяцы август и сентябрь, когда наши ледоколы проводят через Карское море советские и иностранные пароходы, – эти братья и дядя появлялись в доме, такие же высокие и крепкие, как Анна Степановна, с большими усатыми лицами, с большими носами.

К истории капитана Татаринова Анна Степановна подошла с неожиданной стороны. – Несчастные женщины! – сказала она, хотя о женщинах не было сказано ни слова. – И год ждут, и два; он, может быть, и умер давно, и следа не осталось, а они все ждут. Все надеются: может, вернется! А эти ночи бессонные! А дети! Что детям сказать? А эти чувства безнадежные, от которых лучше бы самой умереть! Нет, вы мне не говорите, – с силой сказала Анна Степановна, – я это видела своими глазами. И если вернется такой человек, – конечно, герой, что и говорить. Ну и она – героиня!

## Глава 9

### «Мы, кажется, где-то встречались...»

Володя заехал за мной в семь утра, я сквозь сон услышал, как он внизу ругает Буську и Тогу, двух своих передовых. Накануне мы с ним условились поехать в зверовой совхоз, и он вдруг предложил – на собаках.

– Они только поворачивать не умеют, – сказал он серьезно, – а так очень хорошо везут. А на поворотах я слезаю и сам поворачиваю.

Я было возразил, что, не лучше ли все-таки на лыжах, но Володя обиделся за своих собак, и пришлось согласиться.

– Даже мама может подтвердить, – сказал он строго, – что по прямой они везут превосходно.

Как настоящий ненец, он бодро крикнул «хэсь!»), когда мы уселись на нарты, – и собаки помчались. Ого, как ударило мелким снегом в лицо, закололо глаза и занялось дыхание! Нарты подбросило на сугробе, я схватился за Володю, но он обернулся с удивлением, и я отпустил его и стал подпрыгивать на каких-то ремешках, натянутых, по-моему, очень слабо.

Мне пришла в голову мысль, что хорошо бы ехать немного потише, – но куда там! Нечего было и думать! Грозно подняв палку, Володя орал на своих собак, и они мчались все быстрее и быстрее. Конечно, я мог бы крикнуть Володе, чтобы он придержал собак. Но это был верный способ навсегда потерять его уважение. Все-таки я крикнул бы, пожалуй, – уж больно высоко подпрыгивали на сугробах эти проклятые нарты! Но в эту минуту Володя еще раз обернулся ко мне, и у него было такое раскрасневшееся счастливое лицо и ушанка с таким ухарским видом сбилась набок, что я решил лечь животом вниз и покориться.

Раз! Вдруг собаки остановились, как вкопанные, и я сам не знаю, каким образом удержался на нартах. Ничего особенного! Оказывается, пора уже было поворачивать на Протоку, и Володя остановил собак, чтобы переменить направление.

Не припомню, сколько раз я давал себе слово никогда больше не ездить на собаках, – вероятно, столько же, сколько поворотов до острова, на котором расположен зверовой совхоз<sup>148</sup>. Но Володя был в восторге:

– Правда, здорово, а?

И я согласился, что «здорово».

Вот, наконец, и Протока! Мы врезались в кустарники, скатились с берега и, подпрыгивая, помчались по льду. Теперь я окончательно убедился, что по прямой Володины собаки везут превосходно. Ежеминутно они приноравливались рассадить наши нарты о неровно замерзшие льдины, и Володя чуть не сорвал голос, крича на них и ругаясь. Счастье, что противоположный берег был очень крутой и бег их, естественно, стал замедляться.

Но вот мы миновали Протоку, собаки прибавили ходу, залаяли, и вдруг – что это? Как будто в ответ, разноголосый лай послышался из-за елей – сперва отдаленный, потом все ближе и ближе. Это был протяжный, дикий, беспорядочный лай, от которого невольно даже сжалось сердце.

– Володя, откуда здесь столько собак?

– Это не собаки! Это лисицы!

– Почему же они лают?

– Они собакообразные! – обернувшись, крикнул Володя. – Они лают!

Мне случалось, конечно, видеть черно-бурых лисиц, но Володя объяснил, что в этом совхозе разводят серебристо-черных и что это совсем другое. Таких лисиц больше нет во всем мире. Считается, что белый кончик хвоста – красиво, а здесь в совхозе стараются вывести лисицу без единого белого волоска.

Словом, он действительно заинтересовал меня, и я был очень раздосадован, когда через четверть часа мы подъехали к воротам совхоза и сторож с винтовкой за плечами сказал нам, что питомник для осмотра закрыт.

– А для чего открыт?

– Для научной работы, – внушительно отвечал сторож.

Я чуть не сказал, что мы и приехали для научной работы, но вовремя посмотрел на Володю и придержал язык.

– А директора можно?

---

<sup>148</sup> Зверовой совхоз – звероводческое хозяйство.

– Директор в отъезде.

– А кто его заменяет?

– Старший ученый специалист, – сказал сторож с таким выражением, как будто он и был этим старшим ученым специалистом.

– Ага! Вот его-то нам и нужно!

Я оставил Володю у ворот, а сам пошел искать старшего ученого специалиста.

Очевидно, в совхозе бывало не очень много народу, потому что только одна узенькая тропинка вела по широкому, покрытому снегом двору к дому, на который указал мне сторож. Этот дом еще издали чрезвычайно напомнил мне грязновато-зеленую лабораторию Московского зоопарка, в которой Валя Жуков некогда показывал нам своих грызунов, – только та была немного побольше. Это было такое сильное впечатление сходства, что мне показалось даже, что я слышу тот же довольно противный мышинный запах, когда, отряхнув с валенок снег, я открыл дверь и очутился в большой, но низкой комнате, выходящей в другую, еще большую, в которой сидел за столом какой-то человек. Мне показалось даже, что этот человек и есть Валька, хотя в первую минуту я не мог отчетливо рассмотреть его после ослепительного снежного света, а он, к тому же, поднялся, увидев меня, и стал спиной к окну. Мне показалось, что этот человек смотрит на меня совершенно так же, как Валька, с таким же добрым и немного сумасшедшим выражением, что у него тот же самый черный Валькин пух на щеках, только погуще и почернее, и что он сейчас Валькиным голосом спросит меня: «Что вам угодно?»

– Валя! – сказал я. – Да ты ли это? Валька?

– Что? – растерянно спросил он и, как Валька, положил голову набок.

– Валька, скотина! – сказал я, чувствуя, как у меня сердце начинает прыгать. – Да ты что же! В самом деле не узнаешь меня?

Он стал неопределенно улыбаться и совать мне руку.

– Нет, как же, – фальшивым голосом сказал он. – Мы, кажется, встречались.

– Кажется! Мы, кажется, встречались!

Я взял его за руку и потащил к окну.

– Ну, смотри! Корова!

Он посмотрел и нерешительно засмеялся.

– Черт, неужели не можешь узнать? – сказал я с изумлением. – Да что же это? Может быть, я ошибаюсь?

Он захлопал глазами. Потом неопределенное выражение сбегало с его лица, и это стал уж такой Валька, такой самый настоящий, что его больше нельзя было спутать ни с кем на свете. Но, должно быть, и я еще больше стал самим собой, потому что он, наконец, узнал меня.

– Саня! – заорал он и задохнулся. – Так это ты?

Мы поцеловались и сразу же куда-то пошли, обнявшись, и на пороге он поцеловал меня еще раз.

– Так это ты? Черт возьми! Какой молодец! Когда ты приехал?

– Я не приехал, а я здесь живу.

– Как живешь?

– Очень просто. Я здесь уже полгода.

– Позволь, как же так? – пробормотал Валя. – Ну да, я редко бываю в городе, а то бы я тебя встретил. Гм... полгода! Неужели полгода?

Он провел меня в другую комнату, которая ничем, кажется, не отличалась от той, в которой мы только что были, – разве что в ней стояла кровать да висело ружье на стене. Но то был кабинет, а это спальня. Где-то поблизости была еще лаборатория, о чем, впрочем, нетрудно было догадаться, потому что в доме воняло. Мне стало смешно – так

подходил к Вале, к его рассеянными глазам, к его шевелюре, к его пуху на щеках этот звериный запах. От Вали всегда несло какой-то дрянью.

Он жил в этом большом доме из трех комнат и кухни – один. Он-то и был старший ученый специалист, и ему по штату полагался этот большой пустой дом, с которым он не знал, что делать.

Я спохватился, что оставил Володю у ворот, и Валя послал за ним младшего ученого специалиста, который был, однако, старше Вали лет на тридцать, довольно внушительного мужчину, бородатого, с диким двойным носом. Но на Володю он, очевидно, произвел хорошее впечатление, потому что они явились через полчаса, дружески беседуя, и Володя объявил, что Павел Петрович – так звали мужчину – обещал ему показать лисью кухню.

– И даже накормить лисьим обедом, – сказал Павел Петрович.

– А что сегодня у нас?

– Помидоры и манная каша.

– Покажите ему «джунгли», – сказал Валя.

Володя покраснел и, кажется, перестал дышать, услышав это слово. Еще бы! Джунгли!

– Павел Петрович, а можно мне сперва в «джунгли»? – шепотом спросил он.

– Нет, сперва в кухню, а то завтрак пропустим!

Они ушли, и мы с Валею остались вдвоем. Он пустился было угощать меня, заварил чай и принес из кухни ватрушку.

– Это у нас в столовой готовят! Правда, недурно?

От ватрушки тоже пахло каким-то зверем. Я попробовал и сказал, как наш детдомовский повар, дядя Петя:

– А! Отрава!

Валя счастливо засмеялся.

– Где они все? Где Танька Величко? Гришка Фабер? Где Иван Павлыч? Что с ним?

– Иван Павлыч ничего, – сказал Валя. – Я как-то был у него. Он и о тебе справлялся.

– Ну?

– Я сказал, что не знаю.

– Ну да, ты не знаешь! Еще бы! А кто звонил тебе в Москве? Тебе передали?

– Передали. Но мне сказали, что звонил летчик. А я тогда не знал, что ты летчик.

– Врешь ты все! А как же ты здесь очутился?

– А я, понимаешь, придумал одну интересную штуку, – сказал Валька, – от которой они быстро растут.

– Кто?

– Лисицы.

Я засмеялся.

– Опять изменение крови в зависимости от возраста?

– Что?

– Изменение крови у гадюк в зависимости от возраста, – повторил я торжественно. –

Это тоже была такая штука, которую ты придумал. Черт, но как я рад, что я тебя вижу!

И я действительно был очень рад, от всего сердца! Мы с Валею всегда любили друг друга, но мы не знали, как это хорошо – вдруг встретиться нежданно-негаданно через несколько лет, когда вся прежняя жизнь кажется полузабытой.

Мы стали говорить о Кораблеве, но в это время Валя вспомнил, что ему нужно дать лисенятам какое-то лекарство.

– Так распорядись, чтобы дали!



– Нет, понимаешь, это я должен сам дать, лично, – озабоченно сказал Валя. – Это вигантоль<sup>149</sup>, от рахита<sup>150</sup>. Ты подождешь меня? Я скоро вернусь. Мне не хотелось расставаться с ним, и мы пошли вместе.

## Глава 10 Спокойной ночи!

Начинало уже темнеть, когда Володя вернулся из «джунглей» – так, оказывается, назывался в совхозе отгороженный участок леса, где звери жили на свободе. Домики, в которых жили лисы, – вот что больше всего его поразило.

– Да, здорово, – сказал Володя, стараясь не очень показывать, что он просто в восторге. – И вообще они живут совершенно как люди. Завтракают, потом у них мертвый час, потом дети играют, а взрослые некоторые ходят в гости.

Валя уговорил меня остаться у него ночевать, и мы позвонили доктору, что Володя вернется домой один.

Заполярье – шумный город. Конечно, там не очень большое движение, хотя случается, что по улице одновременно двигаются, перегоняя друг друга, автомобили, олени, лошади и собачьи упряжки. Шумят пилы на лесозаводах – и в ушах днем и ночью отдается этот нарастающий воющий звук. В конце концов, его перестаешь замечать, но все-таки где-то далеко в голове звенит и звенит пила.

А здесь, в совхозе, было очень тихо. Мы гуляли в лесу и встретили Павла Петровича, который ходил ставить силки на куропаток, и долго разговаривали с ним о лесе, о Карской, о погоде.

– Валентин Николаевич, вы как, Дон-Карлоса<sup>151</sup> сегодня себе на ночь будете брать? – спросил он, и это было очень смешно и приятно, что такой старый, почтенный мужчина с двойным носом называет Валю – Валентином Николаевичем и говорит с ним почтительно, как с настоящим старшим ученым специалистом. Дон-Карлосом звали лисенка, который боялся мороза.

Потом мы вернулись к Вале, выпили по рюмочке, и он объяснил мне, что действительно за последние полгода он почти не выходил из совхоза. У него была интересная работа: он потрошил желудки соболей и выяснял, из чего состоит их пища. Несколько желудков у него было своих, а еще штук двести любезно предоставил в его распоряжение какой-то заповедник. И он выяснил очень интересную штуку: что при заготовке мелких пушных видов следует щадить бурундука, которым главным образом и питается соболь.

Я молча слушал его. Мы были совершенно одни, в пустом доме, и комната была совершенно пуста – большая, неудобная комната одинокого человека.

– Да, интересно, – сказал я, когда Валя кончил. – Значит, соболь питается бурундуками. Здорово! А тебе – знаешь, что тебе нужнее всего? Знаешь, что тебе просто дьявольски нужно? Жениться!

Валя заморгал, потом засмеялся.

– Почему ты думаешь? – нерешительно спросил он.

---

<sup>149</sup> Вигантол(ь) – препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора. Восполняет дефицит витамина D3.

<sup>150</sup> Рахит – общее заболевание организма, проявляющееся, главным образом, своеобразным изменением костей.

<sup>151</sup> Дон-Карлос – сын короля Филиппа II, наследник испанского престола. Герой одноименной трагедии немецкого писателя-романтика Фридриха Шиллера.

– Потому что ты живешь, как собака. И знаешь, какая жена тебе нужна? Которая бы таскала тебе бутерброды в лабораторию и не очень старалась, чтобы ты обращал на нее внимание.

– Ну да, ты скажешь, – пробормотал Валя. – А что ж! Я и женюсь со временем. Мне нужно вот только диссертацию защитить, а потом я буду совершенно свободен. Я ведь теперь скоро в Москву вернусь. А ты?

– Что я?

– Что же ты не женишься?

Я помолчал.

– Ну, я особая статья. У меня другая жизнь. Я, видишь, как: сегодня здесь, а завтра – за тридевять земель. Мне нельзя жениться.

– Нет, тебе тоже нужно жениться, – возразил Валя. – Послушай, – с неожиданным вдохновением сказал он, – а помнишь, вы приходили ко мне в Зоопарк, и Катя была со своей подружкой? Как ее звали? Такая высокая, с косами.

У него стало такое доброе, детское лицо, что я посмотрел и невольно стал смеяться.

– Ну как же! Кирен! Красивая, правда?

– Очень, – сказал Валя. – Очень.

Он хотел постлать мне на своей кровати, но я не дал и лег на полу. Коек было сколько угодно, но я всегда любил спать на полу. Высокий сенник<sup>152</sup> раздался, я сказал: «Ого», и Валя забеспокоился, что мне неудобно. Но мне было очень удобно – снизу было видно небо, такое тихое, будто и там кругом был лес и полно снега, и было очень хорошо смотреть на это небо и разговаривать. Спать не хотелось.

О чем только мы не переговорили! Мы вспомнили даже Валиного ежа, который был продан в университет за двадцать копеек. Потом опять вернулись к Кораблеву.

– Ты знаешь что, – вдруг сказал Валя, – конечно, может быть, я и ошибаюсь, – мне кажется, что он был немного влюблен в Марию Васильевну. Как ты думаешь?

– Пожалуй.

– Потому что – очень странная вещь. Я однажды зашел к нему и вижу: на столе стоит ее портрет. Я что-то спросил, потому что как раз на следующий день собирался к Татариновым, и он вдруг стал говорить о ней. Потом замолчал, и у него было такое лицо... Я решил, что тут что-то неладно.

– Валька, иди ты к черту! – сказал я с досадой. – Я не пойму, где ты живешь, честное слово! Немного влюблен! Он без нее жить не мог! И ведь вся эта история произошла перед твоими глазами. Ну, да ты тогда занимался гадюками, – понятно!

– Что ты говоришь! Вот бедняга!

– Да, он бедняга.

Мы помолчали. Потом я спросил:

– Ты часто бывал у Татариновых?

– Не очень часто. Раза три был.

– Ну, как они поживают?

Валя приподнялся на локте. Кажется, он хотел рассмотреть меня в темноте, хотя я сказал это совершенно спокойно.

– Ничего. Николай Антоныч теперь профессор.

– Вот как! Что же он читает?

– Педологию<sup>153</sup>, – сказал Валя. – Уверяю тебя, очень почтенный профессор... И вообще...

---

<sup>152</sup> Сенник – матрас, тюфяк, набитый сеном или соломой.

<sup>153</sup> Педология – буквально – наука о детях, ставившая своей целью объединить подходы различных наук (медицины, биологии, психологии, педагогики) к развитию ребенка. Была особенно популярна в СССР в 20–30 годы 20 века.

- Что вообще?
- По-моему, ты в нем ошибался.
- В самом деле?
- Да, да, – с глубоким убеждением сказал Валя. – Ты в нем ошибался! Посмотри, например, как он относится к своим ученикам. Он просто готов за них в огонь и в воду. Ромашов рассказывал мне, что в прошлом году...
- Ромашов? Этот еще откуда взялся?
- Как откуда? Он-то меня к ним и привел.
- Так и он бывает у Татариновых?
- Он? Он Николая Антоныча ассистент. Он там каждый день бывает. И вообще он у них самый близкий человек в доме.
- Постой, что ты говоришь? Я не понимаю. Ромашка?
- Ну да, – сказал Валя. – Только его, понятно, теперь так никто не называет. Между прочим, он, по-моему, собирается жениться на Кате. Что-то толкнуло меня прямо в сердце, и я сел, поджав под себя ноги. Валя тоже сел на кровати и уставился на меня с изумлением.
- Что? – спросил он. – Ах, да! Черт! Я совсем забыл!
- Он забормотал, потом растерянно оглянулся и слез с кровати.
- Не то что собирается...
- Да нет, ты уж договаривай, – сказал я совершенно спокойно.
- То есть как договаривай? – пробормотал Валя. – Я тебе ничего не сказал. Я просто так думаю, но ведь мало ли что я думаю! Мне иногда приходят в голову такие мысли, что я сам удивляюсь.
- Валя!
- Да я не знаю! – в отчаянии сказал Валя. – Что ты ко мне пристал, скотина? Мне это просто кажется, но ведь мне иногда черт знает что кажется. Ты мне можешь не верить – и баста!
- Тебе кажется, что Ромашов хочет жениться на Кате?
- Нет! Черт! Я тебе говорю, что нет! Ничего подобного! Он стал одеваться шикарно, вот и все.
- Валя!
- Вот я тебе клянусь, что больше ничего не знаю.
- Он с тобой говорил?
- Ну, говорил. Он, например, рассказывал, что с тринадцати лет копил деньги, а сейчас взял да все и истратил за полгода – это, по-твоему, тоже имеет отношение, да? Я больше не слушал его. Я лежал на полу, смотрел на небо, и мне казалось, что я лежу где-то в страшной глубине и надо мной шумит и разговаривает весь мир, а я лежу один, и мне некому сказать ни слова. Небо было еще темное и звезды видны, но неизвестно откуда уже залетал слабый, далекий свет, и я подумал, что мы проговорили всю ночь – и вот договорились!
- Спокойной ночи!
- Спокойной ночи, – ответил я машинально.

Уж лучше бы я уехал с Володей! Что-то сдавило мне горло, и захотелось встать и выйти на воздух, но я остался лежать, только повернулся и лег на живот, упершись в лицо руками. Так, значит, вот как! Это было еще невероятно, но об этом уже нельзя было забыть ни на одну минуту. Невероятен был только сам Ромашка, потому что я не мог вообразить его рядом с Катей. Но почему же я думал, что она до сих пор помнит меня? Ведь мы столько лет не встречались!

Я лежал и думал, думал – о чем придется, вовсе не только об этом. Я вспомнил, что Валя не любит, когда на него смотрят ночью, и как Кораблев однажды подшутил над ним, спросив: «А если смотрят с любовью?» Потом оказалось, что я думаю снова о Кате, и с какою живостью я вспомнил вдруг – не ее, а то чудное состояние души, которое я всегда испытывал, когда видел ее. Больше всего на свете мне хотелось бы в эту минуту заснуть, но я не мог не только закрыть глаза, но даже оторвать их от неба, которое очень медленно, но все же начинало светлеть.

Валя спал и, наверное, проснулся бы, если бы я вышел. Но мне не хотелось больше говорить с ним, и поэтому я лежал и лежал на животе, потом на спине, потом снова на животе, упершись в лицо руками.

Потом – должно быть, это было часов семь утра – зазвонил телефон, и Валя вскочил, заспанный, и побежал в соседнюю комнату, волоча за собой одеяло.

– Слушаю! Это – тебя, – сказал он, вернувшись через минуту.

– Меня?

Я накинул шубу и пошел к телефону.

– Саня! – это говорил доктор. – Куда ты пропал? Я звоню из окрисполкома. Передаю трубку.

– Да, я слушаю, – сказал я.

– Товарищ Григорьев, – сказал другой голос. Это был уполномоченный НКВД<sup>154</sup> по Заполярью. – Срочное дело. Вам предстоит полет с доктором Павловым в становище<sup>155</sup> Ванокан. Вы знаете Ледкова?

Еще бы! Это был член окрисполкома – один из самых уважаемых людей на Севере. Его все знали.

– Он ранен, требуется срочная помощь. Когда вы можете вылететь?

– Через час, – отвечал я.

– Доктор, а вы?

Я не слышал, что ответил доктор.

– И инструменты все в порядке? Отлично, через час я жду вас на аэродроме.

## Глава 11

### Полет

Вот кто был на самолете утром пятого марта, когда мы поднялись в Заполярье и взяли курс на северо-восток: доктор, очень озабоченный, в темных очках, которые удивительно его изменили, мой бортмеханик Лури, один из самых популярных людей в Заполярье или в любом другом месте, где он появлялся хотя бы на три-четыре дня, и я. Это был мой пятнадцатый полет на Севере, но впервые я летел в район, где еще не видели самолета. Становище Ванокан – это очень глухое место в районе одного из притоков Пясины<sup>156</sup>. Впрочем, доктор бывал на Пясине и говорил, что найти Ванокан нетрудно.

Член окрисполкома был ранен. Это произошло на охоте, а может быть – и не на охоте. Во всяком случае, уполномоченный НКВД просил нас, то есть меня и доктора, выяснить, при каких обстоятельствах это произошло. В Ванокан мы должны были прилететь приблизительно в третьем часу, еще засветло. Но на всякий случай мы взяли

---

<sup>154</sup> НКВД –

с собой: продовольствие – из расчета на трех человек – на тридцать суток, примус, ракетницу с ракетами, ружье с патронами, лопаты, палатку, топор.

Насчет погоды я знал только одно: что в Заполярье прекрасная погода. Но какова она по маршруту – этого я не знал. «Заказывать» ее было и некогда и некому.

Итак, все было в порядке, когда мы поднялись в Заполярье и взяли курс на северо-восток. Все в порядке – и я не думал больше о том, что накануне ночью услышал от Вали. Внизу был виден Енисей – широкая белая лента среди белых берегов, вдоль которых шел лес, то приближаясь, то удаляясь. Голова у меня немного болела после бессонной ночи, и иногда начинало звенеть в ушах, но именно в ушах, а мотор работал превосходно.

Потом я ушел от реки, и началась тундра – ровная, бесконечная, снежная, ни одной черной точки, не за что уцепиться глазу...

Почему я был так уверен, что этого не может случиться? Мне следовало написать ей, когда она прислала мне привет через Саню. Но я не хотел уступать ей ни в чем до тех пор, пока не докажу, что я ни в чем не виноват перед нею. Но никогда нельзя быть слишком уверенным в том, что тебя любят. Что тебя любят, несмотря ни на что. Что может пройти еще пять или десять лет, и тебя не разлюбят.

Снег, снег, снег – куда ни взглянешь. Впереди были облака, и я набрал высоту и вошел в них: лучше идти вслепую, чем над этим бесконечным, унылым, белым, искажающим перспективу фоном...

У меня не было никакой особенной злобы к Ромашке, хотя, если бы он был сейчас здесь, вероятно, я бы убил его. Я не чувствовал к нему злобы, потому что это было невозможно – вообразить этого человека с кошачьими космами на голове, с пылающими ушами, этого, человека, который в тринадцать лет решил разбогатеть и все копил и считал свои деньги, вообразить его рядом с Катей! Это было так же бессмысленно, что он смеет желать этого, как если бы он пожелал стать другим – не самим собою, а таким, как Катя, с ее прямоотой и красотой.

Мы прошли эту облачность и вошли в другую за которой шел снег и только где-то внизу начинал сверкать под солнцем, которое было закрыто от нас облаками.

У меня стали мерзнуть ноги, и я пожалел, что надел эти унты<sup>157</sup>, которые были мне малы, а не другую, более просторную пару.

Значит, решено – я еду в Москву. Нужно только предупредить ее о моем приезде. Я должен написать ей письмо – такое письмо, чтобы она прочитала и не забыла.

Мы вышли из слоя темных облаков, и солнце, как всегда, когда выходишь, показалось особенно ярким, – а я все никак не мог решить, начать ли свое письмо просто «Катя» или «Дорогая Катя».

«Мы давно не переписывались, Катя, и ты, вероятно, будешь удивлена, взглянув на эту подпись. Как ты живешь? Я не писал тебе так долго потому, что думал, что ты сердиться на меня. Конечно, ты права, я виноват в том, что мы так долго не встречались. Мне нужно было заехать в Москву на обратном пути из Энска и встретиться с тобою, а не бродить вокруг твоего дома, как будто мне восемнадцать лет...»

Я уже забыл о письме. Мне нужно было просто увезти ее – ведь я же отлично знал, что она не должна оставаться в этом фальшивом и несчастном доме, с этим страшным и фальшивым Николаем Антонычем, которому она верит.

Вот и горы! Они торчали из облаков, освещенные солнцем, то голые, то покрытые ослепительным снегом. Я видел в зеркале, как Лури поднял руку, как будто

---

<sup>157</sup> Унты – меховая обувь (обычно из оленьего меха).

поздоровался с ними, и что-то закричал доктору, и доктор, смешной, похожий на какого-то круглого забавного зверя, равнодушно кивнул головой.

В редких просветах были видны ущелья – прекрасные, очень длинные ущелья, – верная смерть в случае вынужденной посадки. Я невольно подумал об этом, а потом снова стал сочинять письмо и сочинял до тех пор, пока мне не пришлось заняться другими, более срочными делами.

Как будто и ветра не было, когда первые огромные тучи снега стали срывать с вершин и кружиться, поднимаясь все выше и выше.

Зеркало, в котором я только что видел доктора и Лури, вдруг потемнело, замерзло, а еще через десять минут уже нельзя было вообразить, что над нами только что было солнце и небо. Теперь не было ни земли, ни солнца, ни неба. Все перемешалось. Ветер догнал нас и ударил сперва слева, потом в лоб, потом снова слева, так что нас сразу унесло куда-то в сторону, где тоже был туман и шел снег, мелкий, твердый, который очень больно бил по лицу и сразу вцепился во все петли и щели одежды. Потом наступила ночь, так что, когда я снова посмотрел в зеркало, я больше уже ничего не увидел. Ничего не было видно вокруг, и некоторое время я вел самолет в полной темноте, как будто натываясь на стены, потому что всюду были настоящие стены из снега, со всех сторон подпираемого ветром. То я пробивал их, то отступал, то снова пробивал, то оказывался далеко под ними. Это было самое страшное – самолет вдруг падал на полтора-два метра, а я не знал, какой высоты были горы, почему-то не отмеченные на моей карте. Все, что я мог сделать, – это развернуться на сто восемьдесят градусов и пойти назад к Енисею. Я увижу берега, пройду над высоким берегом, и мы обойдем пургу или, в крайнем случае, вернемся назад в Заполярье.

Легко сказать – развернуться! Самолет почему-то затрясло, когда я дал левую ногу, и нас снова бросило в сторону, но я продолжал разворачиваться. Кажется, я что-то сказал машине. Именно в эту минуту я почувствовал, что с мотором творится что-то неладное, – жаль, потому что внизу были те же ущелья, которые – я очень на это рассчитывал – остались далеко позади. Они мелькнули и пропали, потом снова мелькнули – длинные и совершенно безнадежные, – нас бы не нашли, и никто бы никогда не узнал, как это случилось. Нужно было уйти от них, и я ушел, хотя самолет был то взвешен в воздухе, как будто эта проклятая пурга задумывалась на секунду, что бы еще с нами сделать, то болтался и шел, как хотел. Я ушел, но с мотором все-таки творилось что-то неладное, и нужно было садиться. Нужно было садиться очень медленно и следить за указателем поворотов, и не допускать кренов, и все время думать о земле, которая где-то внизу, и неизвестно, где она и какая. Что-то стучало у меня в голове, как часы, я громко разговаривал с самим собой и с машиной. Но я не боялся. Я помню только, как мне стало на мгновение жарко, когда какая-то масса пронеслась рядом с самолетом; я бросился в сторону от нее и чуть не цапнул крылом о землю.

## **Глава 12**

### **Пурга**

Не стану рассказывать о тех трех сутках, которые мы провели в тундре, недалеко от берегов Пясины. Это одно из самых тяжелых воспоминаний в моей жизни и – главное – это однообразное воспоминание. Один час был похож на другой, другой – на третий, и только первые минуты, когда нам нужно было как-то укрепить самолет, потому что иначе его унесло бы пургой, уже не повторялись.

Попробуйте сделать это в тундре без всякой растительности, при ветре, достигающем десяти баллов! Не выключая мотора, мы поставили самолет хвостом к ветру. Пожалуй,

нам удалось бы закопать его, – но стоило только поддеть снег лопатой, как его уносило ветром. Самолет продолжало швырять, и нужно было придумать что-то безошибочное, потому что ветер все усиливался и через полчаса было бы уже поздно. Тогда мы сделали одну простую вещь – рекомендую всем полярным пилотам: мы привязали к плоскостям веревки, а к ним, в свою очередь, лыжи, чемоданчики, небольшой ящик с грузом, даже воронку, – словом, все, что могло бы помочь быстрому завихрению снега. Через пятнадцать минут вокруг этих вещей уже намело сугробы, а в других местах под самолетом снег по-прежнему выдувало ветром.

Теперь нам больше ничего не оставалось, как ждать. Это было не очень весело, но это было единственное, что нам оставалось. Ждать и ждать, а долго ли – кто знает!

Я уже упоминал о том, что у нас было все для вынужденной посадки, но что станешь делать, скажем, с палаткой, если просто вылезть из кабины – это сложное, мучительное дело, на которое можно решиться только один раз в день и то только потому, что один-то раз в день необходимо вылезать из кабины!

Пальцы начинали болеть, прежде чем удавалось развязать шнурки на чехлах, и приходилось развязывать шнурки в три приема. Снег с первого шага сбивал с ног, так что нам пришлось выработать особый способ ходьбы – с наклоном в сорок пять градусов против ветра.

Так прошел первый день. Немного меньше тепла. Немного больше хочется спать, и, чтобы не уснуть, я придумываю разные штуки, которые берут очень много времени, но от которых очень мало толку. Я пробую, например, разжечь примус, а Лури приказываю разжечь паяльную лампу. Трудная задача! Трудно разжечь примус, когда ежеминутно чувствуешь с ног до головы собственную кожу, когда вдруг становится холодно где-то глубоко в ушах, как будто мерзнет барабанная перепонка, когда снег миглом залепляет лицо и превращается в ледяную маску. Лури пытается шутить, но шутки мерзнут на пятидесятиградусном морозе, и ему ничего не остается, как шутить над своей способностью шутить при любых обстоятельствах и в любое время.

Так кончается первая ночь. Еще немного меньше тепла. Еще немного больше хочется спать. А снег по-прежнему несется мимо нас, и, наконец, начинает казаться, что мимо нас пролетает весь снег, который только есть на земле...

Я снова оценил доктора Ивана Иваныча в эти дни, когда мы «куропачили» – так это называется – у берегов Пясины.

Сознание полной бездеятельности, полной невозможности выйти из безнадежного положения – вот что было тяжелее всего! Кажется, было бы легче, если бы я не был так здоров и крепок. Это чувство перемешивается с другим невеселым чувством: я не выполнил ответственного поручения, – а это еще и с третьим, которое никого не касается, с чувством оскорбленной гордости и обиды, – вот настроение, при котором нет аппетита и, в сущности говоря, не так уж страшно замерзнуть.

И доктор все понимал, все видел! Никогда в жизни я не находился под таким тщательным наблюдением. Для каждого из этих чувств у него был свой рецепт и даже, кажется, для того чувства, которое никого не касалось.

Третий день. Очень хочется спать. Все меньше тепла. Все больше сыреют малицы, и уже какой-то нервный холод заранее пробирает до костей, как подумаешь, что эта сырость может замерзнуть.

Но это даже лучше, может быть, что время от времени приходится выбирать из-под малицы лед, потому что просто сидеть и думать, думать без конца очень тоскливо. Потом еще поменьше тепла – ничего не поделаешь, ветер выдувает тепло, – и я надеваю на ноги под пимы летные рукавицы. Главное – не спать. Главное – не давать

уснуть бортмеханику, который оказался самым слабым из нас, а на вид был самым сильным. Доктор время от времени бьет его и встряхивает. Потом начинает дремать и доктор, и теперь уже мне приходится время от времени встряхивать его – вежливо, но упрямо.

– Саня, да ничего подобного, я и не думаю спать, – бормочет он и с усилием открывает глаза.

А мне уже больше не хочется спать. Снег свистит в ушах и когда минутами наступает тишина, кажется, что вибрирующая тишина еще громче этого мрачного, мучительного, пустого свиста. Где-то далеко, на Диксоне<sup>158</sup>, в Заполярье, радисты разговаривают о нас:

– Где они? Не пролетали ли там–то?

– Не пролетали.

Это было очень скучно – сидеть и ждать, когда же окончится эта пурга, – и я вспомнил наконец, что у меня есть книжка. Я перевязал малицу немного выше колен и влез в нее с головой и руками. Тесноватый домик, но если в левой руке над ухом держать карманный фонарик, а в правой книжку, – можно читать! У меня был фонарик с динамкой<sup>159</sup>, и нужно было все время работать пальцами, чтобы он горел; но все время работать невозможно, и я разжимал пальцы, – тогда сразу становилось холодно, и все возвращалось на свои места, и я начинал чувствовать снег, который заносил меня сквозь щели кабины.

Через несколько лет я прочитал «Гостеприимную Арктику» Стифансона и понял, что это была ошибка – так долго не спать. Но тогда я был неопытный полярник, и мне казалось, что уснуть в таком положении и умереть – это одно и то же.

Должно быть, я все-таки уснул или наяву вообразил себя в очень маленьком узком ящике, глубоко под землей, потому что наверху был ясно слышен уличный шум и звон и грохот трамвая. Это было не очень страшно, но все-таки я был огорчен, что лежу здесь один и не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, а между тем мне нужно лететь куда-то и нет ни одной свободной минуты. Потом я почему-то оказался на улице перед освещенным окном магазина, а в магазине, не глядя на меня, ровными, спокойными шагами ходила и ходила Катя. Это была, несомненно, она, хотя я немного боялся, что, может быть, потом это окажется не она или что-нибудь другое помешает мне заговорить с ней. И вот я бросаюсь к дверям магазина – но все уже пусто, темно и на стеклянной двери надпись: «Закрето».

Я открыл глаза – и снова закрыл: таким счастьем показалось мне то, что я увидел. Пурга улеглась. Снег больше не слепил нас – он лежал на земле. Над ним было солнце и небо, такое огромное, какое можно увидеть только на море или в тундре. На этом фоне снега и неба, шагах в двухстах от самолета, стоял человек. Он держал в руках хорей – палку, которой направляют оленей, и за его спиной стояли олени, запряженные в нарты. Вдалеке, точно нарисованные, но уже не так резко, видны были две крутые снежные горки, – без сомнения, ненецкие чумы<sup>160</sup>. Это и была та темная масса, от которой я шархнулся при посадке. Теперь они были завалены снегом, и только конуса,

---

<sup>158</sup> Диксон – скалистый остров в северо-восточной части Енисейского залива Карского моря, при выходе Енисейской губы в Северный Ледовитый океан, в 1,5 км от материка, на Северном Морском пути, всего в двух часах полета от Северного Полюса.

<sup>159</sup> Динамка (разг.) – динамо-машина, генератор постоянного тока.

<sup>160</sup> Чум – шалаш из жердей, покрываемый берестой, войлоком или оленьими шкурами.



открытые сверху, чернели. Вокруг чумов стояли еще какие-то люди, взрослые и дети, и все были совершенно неподвижны и смотрели на наш самолет.

## Глава 13

### Что такое примус

Я никогда не думал, что сунуть ноги в огонь – это счастье. Но это настоящее, ни на что не похожее счастье! Вы почувствуете, как тепло поднимается по вашему телу и бежит все выше и выше, и вот, наконец, неслышно, медленно согревается сердце.

Больше я ничего не чувствовал, ни о чем не думал. Доктор бормотал что-то за моей спиной, но я не слушал его, и мне наплевать было на этот спирт, которым он велел растирать мои ноги.

Дым яры, тундрового кустарника, похожий на дым горячей сырой сосны, стоял над очагом, но мне наплевать было и на этот дым – лишь бы было тепло. Мне тепло – этому почти невозможно поверить!

Ненцы сидели вокруг огня, поджав под себя ноги, и смотрели на нас. У них были серьезные лица. Доктор что-то объяснял им по-ненецки. Они внимательно слушали его и с понимающим видом кивали головами. Потом выяснилось, что они ничего не поняли, и доктор, с досадой махнув рукой, стал изображать раненого человека и самолет, летящий к нему на помощь. Это было бы очень смешно, если бы я мог не спать еще хоть одну минуту. То он ложился, хватаясь за живот, то подпрыгивал и кидался вперед с поднятыми руками. Вдруг он обернулся ко мне.

– Каково! Они все знают, – сказал он с изумлением. – Они даже знают, куда ранен Ледков. Это покушение на убийство. В него стреляли.

Он снова заговорил по-ненецки, и я понял сквозь сон, что он спрашивал, не знают ли ненцы, кто стрелял в Ледкова.

– Они говорят: кто стрелял – домой пошел. Думать пошел. День будет думать, два. Однако назад придет.

Теперь уже невозможно было не спать. Все вдруг поплыло передо мной, и мне стало смешно от радости, что я, наконец, сплю...

Когда я, проснулся, было совершенно светло, одна из шкур откинута и где-то в ослепительном треугольнике стоял доктор, а ненцы на корточках сидели вокруг него. Вдалеке был виден самолет, и все вместе так напоминало какой-то знакомый кинокадр, что я даже испугался, что он сейчас мелькнет и исчезнет. Но это был не кадр. Это был доктор, который спрашивал у ненцев, где находится Ванокан.

– Там? – кричал он сердито и показывал рукой на юг.

– Там, там, – соглашались ненцы.

– Там? – он показывал на восток.

– Там.

Потом ненцы все, как один, стали показывать на юго-восток, и доктор нарисовал на снегу огромную карту побережья Северного Ледовитого океана. Но и это мало помогло делу, потому что ненцы отнесли к географической карте как к произведению искусства, и один из них, еще совсем молодой, изобразил рядом с картой оленя, чтобы показать, что и он умеет рисовать...

Вот что нужно было сделать, прежде всего: освободить самолет от снега. И мы никогда не справились бы с этим делом, если бы нам не помогли ненцы. В жизни моей я не видел снега, который был так мало похож на снег! Мы рубили его топорами и

лопатами, резали ножами. Но вот, наконец, последний снежный кирпич был вырезан и отброшен, крепление, которое я предлагал вниманию полярных пилотов, разобрано. Во всех котлах и чайниках уже грелась вода для запуска мотора. Молодой ненец, тот самый, который нарисовал на снегу оленя, а теперь вызвался быть нашим штурманом, чтобы показать дорогу до Ванокана, уже попрощался с заплаканной женой, и это было очень забавно, потому что жена была в штанах из оленьей шкуры, и только цветные суконные лоскутки в косах отличали ее от мужчины. Солнце вышло из-за высоких перистых облаков – признак хорошей погоды, – и я сказал доктору, который уже пускал кому-то в глаза свинцовые капли, что пора «закругляться». В эту минуту Лури подошел ко мне и сказал, что мы лететь не можем.

Сломана была распорка шасси – без сомнения, когда при посадке я шарахнулся в сторону от чума. Ненцы освобождали от снега шасси – вот почему мы с Лури не заметили этого раньше.

Прошло уже полных четверо суток, как мы вылетели из Заполярья. Без сомнения, нас ищут, и найдут, в конце концов, хотя пурга отнесла нас в сторону от намеченной трассы. Нас найдут – но кто знает? Быть может, уже поздно будет лететь в Ванокан – или лететь за трупом?

Это было мое первое «боевое крещение» на Севере, и я вдруг испугался, что не сделаю ничего и вернусь домой с пустыми руками. Или – это было еще страшнее – меня найдут в тундре, беспомощного, как щенка, рядом с беспомощным самолетом. Что делать? Я подозвал доктора и попросил его собрать ненцев...

Это было незабываемое заседание в чуме, вокруг огня, или, вернее, вокруг дыма, который уходил в круглую дырку над нашими головами. Совершенно непонятно, каким образом в чуме могло поместиться так много народу! В нашу честь был заколот олень, и ненцы ели его: сырым, удивительно ловко отрезая у своих губ натянутые рукой полоски мяса. Как только они не отхватывали ножом кончик носа!

Я не брезглив, но все-таки старался не смотреть, как они макают эти полоски в чашку с кровью и, причмокивая, отправляют, в рот...

– Плохо, – так я начал свою речь, – что мы взялись помочь раненому человеку, уважаемому человеку, и вот сидим здесь у вас четвертые сутки и ничем не можем ему помочь. Переведите, Иван Иваныч!

Доктор перевел.

– Но еще хуже, что прошло так много времени, а мы все еще далеко от Ванокана и даже не знаем толком, куда лететь – на север или на юг, на восток или на запад.

Доктор перевел.

– Но еще хуже, что наш самолет сломался. Он сломался, и без вашей помощи мы не можем его починить.

Ненцы заговорили все сразу, но доктор поднял руку, и они замолчали. Еще днем я заметил, что они относятся к нему с большим уважением.

– Нам было бы очень плохо без вас, – продолжал я. – Без вас мы бы замерзли, без вас мы не справились бы со снегом, которым был завален наш самолет, Переведите, Иван Иваныч!

Доктор перевел.

– Но вот еще одна просьба. Нам нужен кусок дерева. Нам нужен небольшой, но очень крепкий кусок дерева длиной в один метр. Тогда мы сможем починить самолет и лететь дальше, чтобы помочь уважаемому человеку.

Я старался говорить так, как будто в уме переводил с ненецкого на русский.

– Конечно, я понимаю, что дерево – это очень редкая и дорогая вещь. И я бы хотел дать вам за этот кусок крепкого дерева длиной в один метр очень много денег. Но у меня нет денег. Зато я могу предложить вам примус.

Лури – это было заранее условленно – вынул из-под малицы примус и поднял его высоко над головой.

– Конечно, вы знаете, что такое примус. Это машина, которая греет воду, варит мясо и чай. Сколько времени нужно, чтобы разжечь костер? Полчаса. А примус вы можете разжечь в одну минуту. На примусе можно даже печь пироги, и вообще это превосходная вещь, которая очень помогает в хозяйстве.

Лури накачал керосину, поднес спичку, и пламя сразу поднялось чуть не до потолка. Но проклятый примус как нарочно ни за что не хотел разжигаться, и нам пришлось сделать вид, что так и нужно, чтобы он разжигался не сразу. Это было не очень легко, потому что я ведь только что сказал, что разжечь его ничего не стоит.

– Подарите нам кусок крепкого дерева длиной в один метр, а мы взамен подарим вам этот примус.

Я немного боялся, что ненцы обидятся за такой скромный подарок, но они не обиделись. Они молча, серьезно смотрели на примус. Лури все подкачивал его, горелка раскалилась, красные искорки стали перебегать по ней. Честное слово, в эту минуту, в дикой далекой тундре, в ненецком чуме, он даже и мне показался на мгновение каким-то живым, горящим, шумящим чудом! Все молчали и смотрели на него с искренним уважением.

Потом старик с длинной трубкой в зубах, повязанный женским платком, что, впрочем, ничуть не мешало ему держаться с необыкновенным достоинством, поднялся и что-то сказал по-ненецки, мне показалось – одну длинную-предлинную фразу. Он обращался к доктору, но отвечал мне, и вот как перевел его речь Иван Иванович:

– Есть три способа бороться с дымом: заслонить с наветренной стороны дымовое отверстие, и тяга станет сильнее. Можно поднять нюк, то есть шкуру, которая служит дверью. И можно сделать над дверью второе отверстие для выхода дыма. Но чтобы принять гостя, у нас имеется только один способ: отдать ему все, что он хочет. Сейчас мы будем есть оленя и спать. А потом мы принесем тебе все дерево, какое только найдется в наших чумах. Что касается этого великолепного примуса, то ты можешь делать с ним все, что хочешь.

## **Глава 14**

### **Старый латунный багор**

И вот, только что был съеден сырой олень с головой, ушами и глазами, как ненцы потащили к нам все свои деревянные вещи. Выдолбленная тарелка, крючок для подвешивания котла, какое-то ткацкое орудие – доска с круглыми дырками по бокам, полоз от саней, лыжи.

– Не годится?

Они удивлялись.

– Однако крепкое дерево, сто лет простоит.

Они притащили даже спинку стула, бог весть как попавшую в Большеземельскую тундру, Наш будущий штурман принес бога – настоящего идола, украшенного разноцветными суконными лоскутками, с остроконечной головкой и гвоздем, вбитым там, где у человека помещается пуп.

– Не годится? Однако крепкое дерево, сто лет простоит.

Признаться, мне стало стыдно за мой примус, когда я увидел, как этот ненец, что-то строго сказав своей бедной, заплаканной жене, вынес сундук, обитый жестью, без сомнения, единственное украшение чума. Он подошел ко мне очень довольный и поставил сундук на снег.

– Бери сундук, – перевел доктор. – Четыре крепких доски есть. Я комсомолец, мне ничего не надо. Я на твой примус плевать хотел.

Не знаю, может быть, доктор не совсем точно перевел последнюю фразу. Во всяком случае, это было здорово, и я от всей души пожал комсомольцу руку.

Случалось ли вам чувствовать, как вы полны одной мыслью, так что даже странным кажется, что есть на свете какие-нибудь другие желания и мысли, и вдруг точно буря врывается в вашу жизнь, и вы мгновенно забываете то, к чему только что стремились всей душой?

Именно это случилось со мной, когда я увидел старый латунный, багор скромно лежавший на снегу среди жердей, из которых строятся чумы.

Конечно, все было как-то необыкновенно, начиная с этого «ай-бурданья», когда я читал лекцию о примусе и ненцы слушали меня очень серьезно и между нами, как во сне, стоял прямой, точно сделанный из длинных серых лент, столб дыма.

Странными были эти домашние деревянные вещи, лежавшие на снегу вокруг самолета.

Странным показался мне шестидесятилетний ненец с трубкой в зубах, что-то повелительно сказавший старухе, которая принесла нам кусок моржовой кости.

Но самым странным был этот багор. Кажется, во всем мире не было вещи более странной, чем он.

В эту минуту Лури выглянул из кабины и окликнул меня, и я что-то ответил ему очень издалека, из того далекого мира, в который меня внезапно перенесла эта вещь.

Что же это был за багор? Ничего особенного! Старый латунный багор. Но на этой старой, позеленевшей латуни было вырезано совершенно ясно: «Шхуна “Св. Мария“». Я оглянулся: Лури еще смотрел из кабины, и это был, несомненно, Лури, с его бородой, над которой я каждый день издевался, потому что он отпустил ее, подражая известному полярному летчику Ф., и она совершенно не шла к его молодому, подвижному лицу.

Вдалеке, подле крайнего чума, стоял окруженный ненцами доктор Иван Иванович.

Все было на месте – точно так же, как минуту назад. Но передо мной лежал багор с надписью «Шхуна “Св. Мария“».

– Лури, – сказал я совершенно спокойно, – иди сюда.

– Годится? – закричал из кабины Лури.

Он выскочил, подошел ко мне и с недоумением уставился на багор.

– Читай!

Лури прочитал.

– С какого-то корабля, – сказал он. – Со шхуны «Святая Мария».

– Не может быть! Не может быть, Лури!

Я поднял багор и взял его на руки, как ребенка, и Лури, должно быть, подумал, что я сошел с ума, потому что он пробормотал что-то и со всех ног бросился к доктору.

Доктор пришел, с беспокойством взял меня за голову немного дрожавшими руками и долго смотрел в глаза.

– Товарищи, идите вы к черту! – сказал я с досадой. – Вы думаете, я сошел с ума?

Ничего подобного! Доктор, этот багор со «Святой Марии»!

Доктор снял очки и стал изучать багор.

– Очевидно, ненцы нашли его на Северной Земле, – продолжал я волнуясь. – Или нет, конечно, не на Северной Земле, а где-нибудь на побережье. Доктор, вы понимаете, что это значит?

Ненцы давно уже стояли вокруг нас, и у них был такой вид, как будто они уже тысячу раз видели, как я показывал доктору этот багор, кричал и волновался.

Доктор спросил, чей багор, и старый ненец с неподвижным лицом, глубоко изрезанным морщинами, как на деревянной скульптуре, выступил и сказал что-то по-ненецки.

– Доктор, что он говорит? Откуда у него этот багор?

– Откуда у тебя этот багор? – спросил по-ненецки доктор.

Ненец ответил.

– Он говорит – нашел.

– Где нашел?

– В лодке, – перевел доктор.

– Как в лодке? А где он лодку нашел?

– На берегу, – перевел доктор.

– На каком берегу?

– Таймыр.

– Доктор, Таймыр! – заорал я таким голосом, что он снова невольно посмотрел на меня с беспокойством. – Таймыр! Самое близкое к Северной Земле побережье! А лодка где?

– Лодки нет, – перевел доктор. – Кусок есть.

– Какой кусок?

– Лодки кусок.

– Покажи!

Лури отвел доктора в сторону, и они о чем-то говорили шепотом, пока старик ходил за куском лодки. Кажется, Лури никак не мог проститься с мыслью, что я все-таки сошел с ума.

Ненец пришел через несколько минут и принес брезент, – очевидно, лодка, которую он нашел на Таймыре была из брезента.

– Не продается, – перевел доктор.

– Иван Иванович, спросите у него, были ли в лодке еще какие-нибудь вещи? И если были, то какие и куда они делись?

– Были вещи, – перевел доктор. – Не знаю, куда делись. Давно было. Может быть, десять лет прошло. Иду на охоту, смотрю – нарты стоят. На нартах лодка стоит, а в лодке вещи лежат. Ружье было плохое, стрелять нельзя, патронов нету. Лыжи были плохие. Человек один был.

– Человек?!

– Постой-ка, – может быть, я наврал, – поспешно сказал доктор и переспросил что-то по-ненецки.

– Да, один человек, – повторил он. – Конечно, мертвый, медведи лицо съели. Тоже в лодке лежал. Все.

– Как все?

– Больше ничего не было.

– Иван Иванович, спросите его, обыскал ли он этого человека, не было ли чего-нибудь в карманах: может быть, бумаги, документы?

– Были.

– Где же они?

– Где они? – спросил доктор.

Ненец молча пожал плечами. Кажется, самый вопрос показался ему довольно глупым.

– Из всех вещей остался только багор? Ведь был же он во что-то одет? Куда делась одежда?

– Одежды нет.

– Как нет?

– Очень просто, – сердито сказал доктор. – Или ты думаешь, что он нарочно берег ее, рассчитывая, что через десять лет ты свалишься к нему на голову со своим самолетом? Десять лет! Да еще, должно быть, десять, как он умер!

– Иван Иванович, дорогой, не сердитесь. Все ясно! Нужно только записать этот рассказ – записать, и вы заверите, что сами слышали его, своими ушами. Спросите как его имя.

– Как тебя зовут? – спросил по-ненецки доктор.

– Вылка Иван.

– Сколько лет?

– Сто лет, – отвечал ненец.

Мы замолчали, а Лури так и покатился со смеху.

– Сколько? – переспросил доктор.

– Сто лет, – повторил ненец.

Доктор беспомощно оглянулся.

– Черт его знает, как сто по-ненецки, – пробормотал он. – Может быть, я ошибаюсь?

– Сто лет, – на чистом русском языке упрямо повторил Иван Вылка.

Все время, пока в чуме записывали его рассказ, он повторял, что ему сто лет. Вероятно, ему было меньше, – по крайней мере, на вид. Но чем дольше я всматривался в это деревянное лицо с ничего не выражавшим взглядом, тем все более убеждался, что он очень стар. Сто лет – это была его гордость, и он настойчиво повторял это, пока мы не записали в протоколе: «Охотник Иван Вылка, ста лет».

## Глава 15

### Ванокан

Честное слово, до сих пор не знаю, откуда ненцы достали этот кусок бревна, из которого мы сделали распорку. Они куда-то ходили ночью на лыжах, – должно быть, на соседнее кочевье, и когда мы утром вылезли из чума, где я провел не самую спокойную ночь в моей жизни, этот кусок кедрового дерева лежал у входа.

Да, это была не очень веселая ночь, и только Иван Иванович спал у огня, и длинные концы его шапки, завязанные на голове, смешно торчали из малицы, как заячьи уши. Лури ворочался и кашлял. Я не спал. Ненка сидела у люльки, и я долго слушал однообразную мелодию, которую она пела как будто безучастно, но в то же время с каким-то самозабвением. Одни и те же слова повторялись ежеминутно, и, наконец, мне стало казаться, что из этих двух или трех слов состоит вся ее песня. Ребенок давно уже спал, а она еще пела. Круглое лицо иногда освещалось, когда сырой ивняк разгорался, и тогда я видел, что она поет с закрытыми глазами. Вот что она пела – утром доктор перевел мне эту песню:

Зимней порой  
Куда ни взгляну,  
Сыночек мой,  
Везде белое поле,  
Сыночек мой.

На озеро взгляну –  
Только лед синее, –  
Сыночек мой.  
На гору взгляну –  
Только камни чернеют,

Сыночек мой.

Милая тундра,  
Белое поле,  
Сыночек мой,  
Быстроногий мой.  
Какие у тебя милые ушки,  
Сыночек мой.

Какие у тебя милые глазки,  
Сыночек мой.  
Какой у тебя милый носик,  
Сыночек мой.  
На небо взгляну –  
Облака белеют.  
Милая тундра.

То чувство, которое я испытал во время разговора с Валею, вернулось ко мне, и с такой силой, что мне захотелось встать и выйти из чума, чтобы хоть не слышать этой тоскливой песни, которую ненка пела с закрытыми глазами. Но я не встал. Она пела все медленнее, все тише, и вот замолчала, уснула. Весь мир спал, кроме меня; и только я один лежал в темноте и чувствовал, что у меня сердце ноет от одиночества и обиды. Зачем эта находка, когда все кончено, когда между нами уже нет и не будет ничего и мы встретимся, как чужие? Я старался справиться с тоской, но не мог и все старался и старался, пока, наконец, не уснул.

К полудню мы починили шасси. Мы выточили бревно и вставили его вместо распорки. Для большей прочности мы обмотали скрепы веревкой. У самолета был теперь жалкий, подбитый вид. Мы с Лури отошли и со стороны холодным взглядом оценили работу.

– Ну, как?

Лури с отвращением махнул рукой.

Ну что ж, будем считать, что все обстоит прекрасно. Нужно греть воду, пора запускать мотор.

Мы трамбуем снег в бидоны, ставим бидоны на примус. Томительное занятие! Плохо горит наш примус, «великолепная машина, без которой ничего не стоит любое хозяйство».

Но вот все в порядке, мотор разогрет, начинается запуск. Ненцы тянут за концы амортизатора.

– Внимание!

– Есть внимание!

– Раз, два, три – пускай!

Амортизатор срывается, ненцы падают в снег.

Снова:

– Внимание!

– Есть внимание!

– Раз, два, три – пускай!

Это повторяется четыре раза. Мотор вздрагивает, чихает, делает два десятка оборотов, останавливается и, наконец, начинает работать. Пора прощаться! Ненцы собираются у самолета, я жму им руки, благодарю за помощь, желаю счастья в охоте. Они смеются – довольны. Наш штурман, застенчиво улыбаясь, лезет в самолет. Не знаю, что он на

прощанье сказал жене, но она стоит у самолета веселая, в шубе, расшитой вдоль подола разноцветным сукном, в широком поясе, в капоре<sup>161</sup> с огромными меховыми полями, отчего лицо ее кажется окруженным сиянием.

И этот капор, высотой в полметра, увешанный какими-то побрякушками, а под капором маленькое круглое лицо – вот и все, что я вижу на прощанье.

По привычке я поднимаю руку, точно прошу старта у ненцев.

– До свиданья, товарищи!

Летим!..

Не стану рассказывать, как мы летели до Ванокана, как поразил меня наш штурман, читавший однообразную снежную равнину, как географическую карту. Над одним кочевьем он попросил меня немного постоять и был очень огорчен, узнав, что постоять, к сожалению, не придется.

Не стану рассказывать, как мы садились в Ванокане. Летчикам-испытателям хорошо известно это особенное профессиональное чувство, какая-то горячая смесь из риска, ответственности и азарта. В конце концов, мы тоже летели на машине новой конструкции, с деревянной распоркой – новость в самолетостроении! Кажется, я во время посадил самолет всей тяжестью на здоровую ногу, потому что он еще не остановился, а Лури уже выскочил из кабины, показывая мне большой палец.

Не стану рассказывать и о том, как нас встречали в Ванокане, как в трех домах распаялись самовары, а в четвертом выпал из люльки ребенок, которого доктору тут же пришлось лечить; о том, как нас закармливали семгой и пирогами; о том, как я организовал модельный кружок и катал пионеров на самолете; о том, как жители Ванокана уверяли меня, что в тот самый день и час, когда мы прилетели, над поселком кружились еще два самолета, и как я догадался наконец, что это и был наш самолет, сделавший три круга перед посадкой.

Но вот о чем нельзя не рассказать – о докторе Иване Ивановиче в Ванокане.

Мы нашли Ледкова в плохом состоянии. Я не раз встречался с ним на собраниях и однажды даже возил из Красноярска в Игарку. Между прочим, он поразил меня своим знанием художественной литературы. Оказалось, что он окончил Педагогический институт в Ленинграде и вообще – образованный человек, читавший не только Льва Толстого, но и Вольтера<sup>162</sup>. До двадцати трех лет он был пастухом в тундре, и ненцы недаром всегда говорили о нем с гордостью и любовью.

И вот этот прекрасный, умный человек и замечательный политический деятель лежал, раненный какой-то собакой, и, когда я вошел, я не узнал его: так он переменялся.

Нельзя даже сказать, что он лежал. Он сидел на кровати, скрипя зубами от боли, и эта боль вдруг поднимала его; он вставал, хватаясь за спинку кровати, и одним махом перебрасывался на стул. Страшно было видеть, как боль швыряла это большое, сильное тело! Иногда она утихала на несколько минут, и тогда лицо его принимало человеческое выражение. Потом опять! Он закусывал верхнюю губу, глаза – страшные глаза силача, который не в силах справиться с собой, – начинали косить, и – раз! – он поднимался на здоровой ноге и с размаху швырял себя на кровать. Но и на кровати он поминутно пересаживался с места на место. Попала ли пуля в какое-нибудь нервное сплетение, или рана так болезненно загноилась – не знаю. Но в жизни моей я не видел более страшной картины! На него жалко было смотреть, и все лица невольно

---

<sup>161</sup> Капор – женский головной убор.

<sup>162</sup> Вольтер – [настоящее имя Мари Франсуа Аруэ (Arouet)] (1694–1778), французский писатель, философ, историк.



искажались, когда он начинал ерзать по кровати, мучительно стараясь усидеть, и вдруг – раз! – со всего размаху перекидывался на стул.

Было от чего потерять голову при виде такого больного! Но Иван Иванович не потерял – напротив! Он вдруг помолодел, надул губы и стал похож на решительного молодого военного доктора, которого все боятся. Мигом он выгнал всех из комнаты больного, в том числе и председателя райисполкома, который почему-то непременно хотел присутствовать при осмотре Ледкова. Когда местная фельдшерица, сухонькая старушка в очках, трепеща, предстала перед ним, он спросил ее очень любезно:

– Ну-с, а случилось вам присутствовать при ампутации голени?

Какими-то умелыми, свободными движениями он в одну минуту переставил в комнате всю мебель. Он вынес лишний стол, а тот, на котором собирался производить операцию, выдвинул на середину комнаты, под висячую лампу.

Он приказал принести лампы со всего поселка, «да чтобы не коптели», и развесил их по стенам так, что комната сразу осветилась небывалым в Ванокане светом.

Он только поднял брови, а сухонькая фельдшерица выбежала с полотенцем, которое показалось ему не особенно чистым, и я слышал, как она сказала в кухне таким же злобно-любезным голосом, как доктор:

– Вы что, голубчики, вы меня в гроб вогнать хотите?

Но никто не хотел вогнать ее в гроб. Все бегали на цыпочках и называли доктора «он».

Отрывисто, хотя и вежливо, отдавая распоряжения, доктор не меньше получаса тер руки мылом и щеткой. Потом, не вытираясь, он вошел в комнату больного и остановился, расставив ноги, растопырив руки и критически оглядываясь вокруг.

Потом дверь захлопнулась, и удивительная для Ванокана картина ослепительной комнаты с больным, лежащим на ослепительно белом столе, и людьми в ослепительно белых халатах исчезла.

Так вел себя наш Иван Иванович в Ванокане. Через сорок минут он вышел из операционной. Нужно полагать, операция прошла превосходно, потому что, снимая халат, он сказал мне что-то по-латыни, а потом из Козьмы Пруткова:

– «Если хочешь быть счастливым – будь им!»

Рано утром мы вылетели из Ванокана и через три с половиной часа без всяких приключений опустились в Заполярье.

Об этом случае, то есть о блестящей операции, которую доктору удалось сделать в таких трудных условиях, и вообще о нашем полете была потом заметка в «Известиях». Она кончалась словами: «Больной быстро поправляется». И действительно, больной поправился очень быстро.

Мы с Лури получили благодарность, а доктор – почетную грамоту от Ненецкого национального округа.

Старый латунный багор висел теперь у меня в комнате на стене рядом с большой картой, на которую был нанесен дрейф шхуны «Св. Мария».

В начале июня я поехал в Москву. К сожалению, у меня было очень мало времени: меня отпустили только на десять дней, а за эти десять дней я должен был устроить не только свои личные дела, но и личные и общественные дела моего капитана.

Я много думал дорогой – о себе и о своих отношениях с Катей, и снова история ее отца поднялась над этими мыслями, как будто требуя особого внимания и уважения. Вольно или невольно, я встречался с ним на каждом круге своей жизни, и в конце концов из этих осколков его истории, которые я подобрал, составила стройная картина. Старый латунный багор был последним логическим штрихом в этой картине доказательств.

Самый сложный вопрос был решен этой находкой.

В самом деле, прочитав дневники штурмана, я спрашивал себя: «Узнаю ли я когда-нибудь, что случилось с капитаном Татариновым? Оставил ли он корабль, чтобы

изучить открытую им землю, или погиб от голода вместе со своими людьми, и шхуна годами двигалась к берегам Гренландии, увлекаемая плавучими льдами?»

– Да, – мог я теперь ответить. – Он оставил корабль. Мы не знаем, при каких обстоятельствах это произошло – погибла ли часть команды, или шхуна была раздавлена льдами. Но он привел в исполнение свою «детскую, безрассудную» мысль. Я спрашивал себя: «Дошел ли он до Северной Земли?»

– Да, – мог я теперь ответить. – Он дошел до Северной Земли. Иначе откуда взялись бы на побережье эти сани с брезентовой лодкой, которые нашел несколько лет назад охотник Иван Вылка?

Я спрашивал себя: «Где искать следы экспедиции и стоит ли их искать?»

– Да, – мог я теперь ответить. – Их стоит искать, потому что, логически рассуждая, можно с точностью до полуградуса определить район этих поисков. А научное значение задачи не вызывает сомнений.

Это был разговор, как на суде, – одни только вопросы и ответы. Но за сухими, холодными словами мне мерещились совсем другие слова, и я видел Катю, по которой так тосковал.

– Ты забыла меня? Это правда?

– Нет, – ответила она. – Но та жизнь, когда нам было по семнадцати лет, кончилась, а ты куда-то пропал, и я думала, что вместе с той жизнью окончилась и наша любовь.

– Ничего она не окончилась, – так я скажу ей. – Я знаю теперь о твоём отце больше тебя, больше всех людей на свете. Посмотри, что я привез тебе, – здесь вся его жизнь. Я собрал его жизнь и доказал, что это была жизнь великого человека. Знаешь, почему я сделал это? Из любви к тебе.

Тогда она спросит:

– Так ты не забыл меня? Это правда?..

И я отвечу ей:

– Я бы не забыл тебя, даже если бы ты меня разлюбила.

Это был чудный разговор, который я придумал дорогой. И нельзя сказать, что он был совсем не похож на тот разговор, который вскоре произошел между мною и Катей. Он был и похож и не похож – как сон похож и не похож на реальную жизнь.

## **Часть 5**

### **Для сердца**

#### **Глава 1**

#### **Встреча с Катей**

Десять дней – это не так много, чтобы расстроить одну свадьбу и устроить другую. Тем более, что у меня было много других дел в Москве: я собирался прочитать в Географическом обществе доклад «Об одной забытой полярной экспедиции», а между тем еще не написал его. Я должен был поставить в Главсевморпути вопрос о поисках «Св. Марии».

Валя подготовил некоторые дела: он договорился, например, с Географическим обществом о моем докладе. Но написать его он, конечно, не мог.

Я собирался остановиться у Кораблева, но потом передумал и заехал в гостиницу, ту самую, в которой останавливался два года назад, проездом из Балашова. Это была

ошибка, потому что, как ни странно для бродячего человека, я не люблю гостиниц. В гостиницах у меня всегда становится меланхолическое<sup>163</sup> настроение.

Я позвонил Кате, и она подошла к телефону.

– Я вас слушаю.

– Это говорит Саня.

Она замолчала. Потом спросила самым обыкновенным голосом:

– Саня?

– Он самый.

Она опять замолчала.

– Надолго в Москву?

– Нет, на несколько дней, – ответил я, тоже стараясь говорить обыкновенным голосом, как будто мне не казалось, что я вижу ее сейчас в том самом треухе<sup>164</sup> с незавязанными ушами, в том пальто, мокром от снега, в котором она была на Триумфальной в последний раз.

– В отпуск?

– И в отпуск, и по делам.

Нужно было сделать усилие, чтобы не спросить ее: «Я слышал, что ты часто встречаешься с Ромашовым?» Я сделал это усилие и не спросил.

– А как Саня? – вдруг спросила она о сестре. – Мы с ней переписывались, а потом перестали.

Мы заговорили о Сане, и Катя сказала, что на днях в Москву приезжал один ленинградский театр, шла «Мать» Горького<sup>165</sup>, и в программе было указано: «Художник – П. Сковородников».

– Да ну?

– И очень хорошие декорации. Смелые и вместе с тем простые.

Мне показалось, что она нарочно несколько раз не назвала меня по имени, а один раз назвала, понизив голос, как будто не хотела, чтобы дома знали, с кем она говорит. Ни разу она не сказала мне «ты», и мы говорили и говорили о чем-то обыкновенными голосами, пока мне не стало страшно, что все так и кончится, то есть мы поговорим обыкновенными голосами и разойдемся, и у меня не будет даже повода, чтобы позвонить ей снова.

– Катя, нам нужно встретиться. Когда ты можешь?

Я сказал, «Когда ты можешь?» И сразу стало ясно, что это было бы глупо, если бы я стал говорить ей «вы».

– У меня как раз сегодня свободный вечер.

– Часов в девять?

Я ждал, что она позовет меня к себе, но она не позвала, и мы условились встретиться – где же?

– Может быть, в сквере на Триумфальной?

– Этого сквера теперь нет, – холодно возразила Катя.

И мы условились встретиться между колоннами у Большого театра.

Вот и все, о чем мы говорили по телефону, и нечего было перебирать каждое слово, как я делал это весь первый длинный день в Москве.

Я поехал в Управление гражданского воздушного флота, потом к Вале в Зооинститут.

Должно быть, у меня был рассеянный вид, потому что Валя несколько раз повторил мне, что завтра двадцатипятилетний юбилей педагогической деятельности Кораблева и что будет торжественное заседание в школе.

---

<sup>163</sup> Меланхолический – грустный, унылый.

<sup>164</sup> Треух – мужская теплая шапка с наушниками и опускным задком.

<sup>165</sup> «Мать» – роман Максима Горького.

Наконец в девятом часу вечера я отправился к Большому театру...

Это была прежняя Катя с косами вокруг головы, завитками на лбу, которые я всегда вспоминал, когда думал о ней. Она побледнела и выросла и, конечно, была теперь не та девочка, которая когда-то поцеловала меня в сквере на Триумфальной. У нее стал сдержанный взгляд, сдержанный голос. Но все же это была Катя, и она совсем не стала так уж похожа на Марью Васильевну, как я этого почему-то боялся. Наоборот, все прежние Катины черты как-то определились, и она стала теперь еще больше Катя, чем прежде. Она была в белой шелковой блузке с короткими рукавами, синий бант с белыми горошинами приколот у выреза на груди, и у нее становилось строгое выражение, когда во время нашего разговора я старался заглянуть ей в лицо.

С таким чувством, как будто мы в разных комнатах и разговариваем через стену и только иногда приоткрывается дверь и Катя выглядывает, чтобы посмотреть, я это или не я, мы бродили по Москве в этот печальный день. Я говорил и говорил, – не запомню, когда еще я говорил так много. Но все это было совсем не то, что я хотел сказать ей. Я рассказал о том, как была составлена «азбука штурмана» и что это была за работа – прочесть его дневники. Я рассказал, как был найден старый латунный багор с надписью «Шхуна “Св. Мария”».

Но ни слова не было сказано о том, зачем я делал все это! Ни слова. Как будто эта история давно умерла и не была наполнена обидами, любовью, смертью Марьи Васильевны, ревностью к Ромашке, всей живой кровью, которая билась во мне и в Кате...

Это был год, когда Москва начинала строить метро, и в самых знакомых местах поперек улиц стояли заборы и нужно было идти вдоль этих заборов по гнущимся доскам и возвращаться, потому что забор кончался ямой, которой вчера еще не было и из которой теперь слышались голоса и шум подземной работы.

Таков был и наш разговор – обходы, возвращения и заборы в самых знакомых местах, знакомых с детства и школьных лет. Все время мы натыкались на эти заборы, особенно когда приближались к тому опасному месту, которое называлось «Николай Антоныч». Я спросил, получила ли Катя мои письма – одно из Ленинграда, другое из Балашова, и, когда она сказала, что нет, намекнул, не попали ли эти письма в чужие руки.

– У нас в доме нет никаких чужих рук, – резко сказала Катя.

Мы вернулись на Театральную площадь. Был уже поздний вечер, но в ларьках еще продавали цветы, и после Заполярья мне казалось странным, что может быть так много всего, – людей, автомобилей, домов и лампочек, качавшихся в разные стороны друг от друга.

Мы сидели на скамейке, Катя слушала меня, подставив руку под голову, и я вспомнил, как она всегда любила долго устраиваться, чтобы было удобнее слушать. Теперь я понял, что переменялось в ней, глаза. Глаза стали грустные.

Это была единственная хорошая минута. Потом я спросил, помнит ли она наш последний разговор в сквере на Триумфальной, и она ничего не сказала. Это был самый страшный ответ для меня. Это был прежний ответ: «Не будем больше говорить об этом».

Быть может, если бы мне удалось как следует посмотреть ей в глаза, я бы многое понял. Но она смотрела в сторону, и я больше не пытался.

Я только чувствовал, что и она с каждой минутой становится все холоднее. Она кивнула головой, когда я сказал:

– Я буду держать тебя в курсе.

И вежливо поблагодарила меня, когда я пригласил ее на доклад.

– Спасибо, я непременно приду.

– Буду очень рад.

Мы помолчали.

– Я хотела тебе сказать, Саня, что очень тронута твоим отношением. Я была уверена, что ты давно забыл об этой истории.

– Нет, как видишь!

– Ты ничего не будешь иметь против, если я передам наш разговор Николаю Антоновичу?

– Напротив! Николаю Антонычу интересно будет узнать о моих находках. Ведь они касаются его очень близко – гораздо ближе, чем он может вообразить.

Они вовсе не касались его так уж близко, и у меня не было никаких оснований для намека, который я вложил в эти слова. Но я был очень зол.

Катя внимательно посмотрела на меня и немного подумала. Кажется, она еще о чем-то хотела спросить меня, но не решилась. Мы простились. Я ушел расстроенный, злой, усталый, и в гостинице у меня первый раз в жизни заболела голова.

## Глава 2

### Юбилей Кораблева

Назначить юбилей преподавателя средней школы на каникулах, когда школьники а разъезде и сама школа закрыта, – это была странная мысль. Я даже сказал Вале, что, по моему, никто не придет.

Ничуть не бывало! Школа была полна. Ребята еще убрали лестницу ветками березы и клена. Груда веток лежала на полу в раздевалке, и огромная цифра «25» качалась над входом в зал, где было назначено торжественное заседание. Девочки тащили куда-то гирлянды, у всех был серьезный, озабоченный вид, и мне вдруг стало весело от этой беготни и волнения и оттого, главным образом, что я вернулся в свою родную школу. Но мне не дали особенно долго заниматься воспоминаниями. Я был в форме, и ребята мигом окружили меня. Еще бы! Летчик! Я не успевал отвечать на вопросы.

Потом девочка из старшего класса, напомнившая мне тетю Варю, нашу «хозяйственную комиссию», такая же толстая и румяная, подошла и сказала, покраснев, что меня ждет Иван Павлыч.

Он сидел в учительской, постаревший, немного согнувшийся, с седой – уже седой! – головой. Вот на кого он стал теперь похож – на Марка Твена<sup>166</sup>! Конечно, он постарел, но мне показалось, что он стал крепче с тех пор, как мы виделись в последний раз. Усы, хотя тоже седоватые, стали еще пышнее и бодро торчали вверх, и над свободным мягким воротником была видна здоровая красная шея.

– Иван Павлыч, дорогой, поздравляю вас! – сказал я, и мы обнялись и долго целовали друг друга. – Поздравляю вас, – говорил я между поцелуями, – и желаю, чтобы все ваши ученики были так же благодарны вам, как я.

– Спасибо, Санечка!

И он еще раз крепко обнял меня. Он был очень взволнован, и у него немного дрожали губы.

Через час он сидел на эстраде, в том самом зале, где мы когда-то судили Евгения Онегина<sup>167</sup>, а мы, как почетные гости, сидели в президиуме по правую и левую руку от юбиляра. Мы – это Валя, надевший для торжественного дня ярко-зеленый галстук, инженер-строитель Таня Величко, которая стала высокой полной женщиной, так что

<sup>166</sup> Марк Твен – (псевдоним Сэмюэля Ленгхорна Клеменса) (1835–1910) – американский писатель.

<sup>167</sup> Евгений Онегин – герой одноименного романа в стихах А. С. Пушкина.

даже трудно было поверить, что это та самая тоненькая принципиальная Таня, и еще несколько учеников Ивана Павлыча, которые в наше время были младшими и которых мы по-настоящему даже не считали за людей. Среди этого поколения было много курсантов, и я с удовольствием узнал трех ребят из моего пионеротряда<sup>168</sup>.

Потом пришел великолепный, снисходительный в белых гетрах, в очень толстом вязаном жилете артист Московского драматического театра Гришка Фабер. Вот кто несколько не переменялся! С таким видом, как будто все, что происходит в этом зале, относится только к нему, он шикарно расцеловал юбиляра в обе щеки и сел, заложив ногу за ногу. Он сразу занял очень много места в президиуме, и стало казаться, что это его юбилей, а вовсе не Кораблева. С туманным видом он посмотрел на публику, потом вынул гребешок и причесался. Я написал ему записку: «Гришка, подлец, здорово!» Он прочитал и, снисходительно улыбаясь, помахал мне рукой.

Это был превосходный вечер, и он был так хорош потому, что все, кто выступал, говорили чистую правду. Никто не врал – без сомнения потому, что о Кораблеве не трудно было говорить чистую правду, – ведь он никогда и не требовал ничего другого от своих учеников.

Я бы хотел, чтобы через двадцать пять лет работы обо мне говорили так, как об Иване Павлыче в этот вечер.

От родителей, от выпуска тридцать первого года, от рабочих мебельной фабрики, от райсовета, от гороно! Все с цветами – и одна корзина больше другой. Но вот председатель объявил, что «от имени актеров, вышедших из стен нашей школы, сейчас выступит Григорий Иванович Фабер», и два здоровых парня принесли такую корзину, что все ахнули, – шепот так и побежал по рядам.

Гришка встал. Как всегда, он говорил прекрасно, только слишком орал, и мне показалось странным, что в театре его не научили говорить потише. Он назвал Ивана Павлыча «учителем жизни в искусстве» и добавил, что лично для него это сыграло огромную роль. Потом он еще раз расцеловал Кораблева и сел, очень довольный собой. Цветов на эстраде становилось все больше, и Иван Павлыч сидел очень красный и время от времени растерянно поправлял усы. Кажется, он стеснялся, что чувствует себя таким счастливым. Когда его хвалили, у него становились страдающие глаза.

Потом выступил лейтенант, который в наше время учился в каком-то там пятом классе, и сказал, что, поскольку товарищ Фабер говорил от имени артистов, он позволит себе произнести приветствие от имени курсантов и командиров Рабоче-крестьянской Красной Армии, также вышедших из стен этой школы.

– Дорогой Иван Павлыч, – сказал я, когда председатель дал мне слово, – теперь позвольте мне сказать от имени летчиков, потому что немало ваших учеников летают над нашей великой Советской страной, и все они без сомнения, присоединятся к каждому моему слову. Говорят, что писатели – инженеры человеческих душ. Но вы – тоже инженер человеческих душ. Однажды, например, проснувшись рано утром, я обнаружил, что мой сосед, не отрываясь, смотрит на потолок, и так внимательно, что даже не отвечает на мои вопросы. Я проследил за его взглядом и увидел, что на потолке нарисован черный кружок величиной с полтинник. Это повторилось и на следующий день. Два месяца мой сосед каждое утро смотрел на этот черный кружок. Как вы думаете, зачем он это делал? Конечно, он сам мог бы ответить на этот вопрос, потому что в данную минуту он является моим соседом за этим столом. – Валя смущенно засмеялся, а за ним президиум и весь зал. – Но так и быть – скажу за него: он развивал силу взгляда. Чей же взгляд так поразил его? Знаменитый взгляд Ивана Павлыча Кораблева. Дорогой Иван Павлыч! Теперь я могу вам откровенно признаться: мы не

---

<sup>168</sup> Пионеры – члены Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина – массовой детской коммунистической организации в СССР.

выдерживали вашего взгляда. Бывало, натворишь что-нибудь и только соберешься соврать, а встретишь вас или только вспомнишь о вас – и невольно говоришь правду. По-моему, это и есть самое главное, чему должна учить нас школа.

Я кончил речь и пошел к Ивану Павлычу целоваться. С другой стороны к нему полез целоваться Валька, и мы столкнулись лбами.

До сих пор мне хлопали довольно жидко, но когда мы столкнулись лбами, раздались оглушительные аплодисменты.

После меня выступила Таня Величко, но я уже не слушал ее, потому что приехал Николай Антоныч.

Он вошел в зал – толстый, солидный, снисходительный, в каких-то широких брюках, и, немного наклонясь вперед, стал пробираться к президиуму. Я видел, как наша бедная старая Серафима, та самая, которая когда-то по комплексному методу обучала нас «утке», побежала перед ним, расчищая дорожку, – а он шел, не глядя на нее и не улыбаясь.

Я не видел его после той безобразной сцены, когда он кричал на меня и ломал пальцы, а потом плевался, – и нашел, что с тех пор он значительно переменялся. За ним шел какой-то человек, тоже довольно толстый и тоже немного наклонясь вперед и не улыбаясь.

Без сомнения я бы никогда не догадался, что это за человек, если бы Валя не шепнул мне в эту минуту: «А вот и Ромашка».

Как, это Ромашка? Такой причесанный, солидный, с таким большим, белым, вполне приличным лицом, в таком превосходном сером костюме? Куда делись желтые кошачьи космы? Куда делись неестественно круглые глаза – глаза совы, – которые не закрывались на ночь?

Все было приглажено, прибрано, по возможности смягчено, и даже тяжелый квадратный подбородок стал теперь не очень квадратный, а скорее полный и тоже вполне приличный. Если бы Ромашка мог по своему желанию вылепить себе новое лицо, он бы лучше, кажется, не вылепил. Пожалуй, на свежего человека он мог теперь произвести даже приятное впечатление.

Николай Антоныч прошел в президиум, он за ним, и все, что делал Николай Антоныч, делал за ним Ромашка. Николай Антоныч сдержанно, но в общем сердечно поздравил Кораблева, – не поцеловал, а только протянул руки. И Ромашка только протянул руки. Николай Антоныч окинул взглядом президиум и прежде всех поздоровался с заведующим горно. И вслед за ним – Ромашка. Но – может быть, это покажется странным – Ромашка держался увереннее, смелее.

Меня Николай Антоныч не заметил, то есть сделал вид, что меня здесь нет. Но Ромашка, дойдя до меня, остановился и слегка развел руками, как будто удивляясь – я ли это? И как будто я никогда не бил его ногой по морде.

– Здравствуй, Ромашка! – сказал я равнодушно.

Он перекосялся, но сейчас же сделал вид, что мы, как старые друзья, так и должны называть друг друга: «Санька, Ромашка». Он подсел ко мне и стал что-то говорить, но я довольно презрительно остановил его и отвернулся, как будто слушая Таню.

Не слушал я Таню! Все во мне кипело и бурлило, и только усилием воли я сохранил прежнее спокойное выражение.

Торжественная часть кончилась, и гостей пригласили к столу. Ромашка догнал меня в коридоре.

– Правда, прекрасно прошел юбилей Ивана Павлыча?

У него даже голос стал мягче, круглее.

– Да, очень хорошо.

– В самом деле, жаль, что мы так редко встречаемся. Все-таки старые товарищи. Ты где служишь?

– В гражданской авиации.

– Это я вижу, – сказал он и засмеялся. – Нет, «где» в другом смысле, в территориальном.

– На Крайнем Севере.

– Да! Черт! Совсем забыл! Ведь Катя же мне говорила! В Заполярье!

Катя! Катя ему говорила. Мне стало жарко, но я ответил совершенно спокойно:

– Да, в Заполярье.

Он замолчал. Потом спросил осторожно:

– Надолго... к нам?

– Еще не знаю, – ответил я тоже осторожно. – Это зависит от многих обстоятельств.

Мне самому понравилось, что я так спокойно, осторожно ответил, и с этой минуты все мое волнение как рукой сняло. Я стал холоден, любезен и хитер, как змея.

– Катя говорила, что ты собираешься выступить с докладом. Кажется, в Доме ученых?

– Нет, в Географическом обществе.

Ромашка посмотрел на меня с удовольствием – как будто он был доволен, что я собираюсь прочитать доклад в Географическом обществе, а не в Доме ученых. Так оно и было, но тогда я еще ничего не знал.

– Что же это за доклад?

– А вот приходи, – сказал я равнодушно. – Это тебе будет интересно.

Он снова перекосялся, на этот раз заметно.

– Да, – сказал он, – нужно записать и не пропустить. – И он стал что-то аккуратно записывать в блокноте. – Как он называется?

– Забытая полярная экспедиция.

– Постой–ка! Это об экспедиции Ивана Львовича?

– Об экспедиции капитана Татаринова, – возразил я сухо.

Но он пропустил мимо ушей мою поправку.

– По новым материалам?

Знакомый тупой расчет мелькнул у него в глазах, и я сразу догадался, в чем дело.

«Ага, подлец, – подумал я хладнокровно, – тебя подослал Николай Антоныч. Тебе поручено узнать, не собираюсь ли я снова доказывать, что в гибели экспедиции виноват именно он, а не какой-то там фон Вышимирский!»

– Да, по новым.

Ромашка внимательно посмотрел на меня. На секунду он превратился в прежнего Ромашку, подсчитывающего, сколько процентов прибыли получится, если я проговорюсь, что это за материалы.

– Кстати, об экспедиции, – сказал он. – Ведь у Николая Антоныча тоже есть материалы. У него много писем и есть очень интересные, он мне как-то показывал. Ты бы к нему обратился!

«Ага, понятно, – подумал я снова. – Николай Антоныч поручил тебе свести нас, чтобы поговорить об этом деле. Он боится меня. Но он хочет, чтобы я сделал первый шаг. Не тут-то было!»

– Да нет, – ответил я равнодушно. – Он ведь, в сущности, мало знает. Как ни странно, но я знаю больше о его собственном участии в экспедиции, чем он сам.

Это был хорошо рассчитанный удар, и Ромашка, который все-таки был тупица, хотя и сильно развился, вдруг открыл рот и посмотрел на меня с откровенным затруднением.

«Катя, Катя», – подумал я и почувствовал, что у меня сердце сжимается от обиды за нее, за себя.

– Да-а, – протянул Ромашка. – Такие-то дела.



– Да, такие дела.

Мы подошли к столу, и разговор прекратился. С трудом я досидел до конца этот вечер – только ради Ивана Павлыча, чтобы его не обидеть. У меня было неважное настроение, и очень хотелось выпить, но я выпил только одну рюмку – за юбиляра. Ромашка произнес этот тост. Он поднялся и долго, с достоинством ждал, когда за столом станет тихо. Самодовольное выражение мелькнуло на его лице, когда одна фраза вышла особенно складно. Он сказал что-то насчет «дружбы, связывающей всех учеников нашего дорогого юбиляра». При этом он обратился ко мне и поднял рюмку, показывая, что пьет и за меня. Я тоже вежливо приподнял рюмку. Должно быть, у меня был при этом не очень приветливый вид, потому что Иван Павлыч внимательно посмотрел сперва на него, потом на меня и вдруг – я не сразу вспомнил, что это значит, – положил руку на стол и показал на нее глазами. Рука поднялась, похлопала по столу и спокойно опустилась. Это был наш старый условный знак. Не волноваться! Мы оба одновременно рассмеялись, и мне стало немного веселее.

### Глава 3

#### Без названия

В этот день у меня было назначено свидание с одним работником «Правды»<sup>169</sup>: я хотел рассказать ему о своих находках. Два раза он откладывал – все был занят; наконец позвонил, и я поехал в «Правду».

Это был длинный внимательный дядя в очках, немного косой, так что все время казалось, что он смотрит в сторону и думает о чем-то своем. «Некоторым образом спец по летчикам», – сказал он. Кажется, он искренне заинтересовался моим рассказом, во всяком случае, со второго слова стал записывать что-то в блокнот. Он заставил меня нарисовать мой способ крепления самолета во время пурги и сказал, что я должен послать об этом статью в журнал «Гражданская авиация». Тут же он позвонил в «Гражданскую авиацию» и сговорился, кому и когда я сдам материал. Он очень хорошо понял – так мне показалось – значение экспедиции «Св. Марии» и сказал, что сейчас, когда у всех к Арктике такой огромный интерес, это своевременная и нужная тема. – Но об этом уже была статья, – сказал он. – Помнится, в «Советской Арктике».

– В «Советской Арктике»?

– Да, в прошлом году.

Это была новость! Статья об экспедиции капитана Татаринова в «Советской Арктике» в прошлом году?

– Я не читал этой статьи, – сказал я. – Во всяком случае, автор не знает того, что знаю я. Я разобрал дневники штурмана – единственного члена экспедиции, который добрался до Большой Земли.

В эту минуту я понял, что передо мной настоящий журналист. У него вдруг заблестели глаза, он стал быстро записывать и даже сломал карандаш. Очевидно, это было что-то вроде сенсации. Он так и сказал:

– Да это сенсация!

Потом запер свой кабинет на ключ и повел меня к «начальству», как он объявил в коридоре.

У «начальства» я кратко повторил свой рассказ, и мы условились:

а) что я завтра принесу дневники в редакцию,

---

<sup>169</sup> «Правда» – газета, долгое время бывшая ежедневным центральным органом партии большевиков, (впоследствии коммунистической партии) и наиболее влиятельным советским изданием, фактически – главной газетой страны.

- б) что «Правда» пошлет на мой доклад сотрудника и
- в) что я напишу о своих находках статью, а там уже «мы посмотрим, где ее напечатать».

Мне нужно было поговорить в «Правде» и о розысках экспедиции, но я почему-то решил, что это особый вопрос, не имеющий отношения к печати. Жаль, потому что журналисты посоветовали бы, к кому обратиться в Главсевморпути, а может быть, даже позвонили бы по телефону.

Я просидел в приемной часа два – все дожидался чести увидеть одного из секретарей Главного управления. Наконец дождался. Меня провели в кабинет, и тут я просидел еще полчаса. Секретарю было некогда: в кабинет поминутно заходили моряки, летчики, радисты, инженеры, столяры, агрономы, художники, – и все время нужно было делать вид, что он прекрасно разбирается в авиации, агрономии, живописи и радио. Наконец он обратился ко мне.

– Исторически интересно, – сказал он, когда я кое-как окончил свой рассказ. – У нас другие задачи, более современные.

Я возразил, что прекрасно понимаю, что задача Главсевморпути отнюдь не заключается в поисках пропавших экспедиций. Но поскольку в этом году к Северной Земле отправляется высокоширотная экспедиция, вполне можно дать ей небольшое параллельное задание – обследовать район гибели капитана Татаринова.

– Татаринов, Татаринов... – припоминая, сказал секретарь. – Он об этом писал?

Я возразил, что он не мог об этом писать, так как экспедиция вышла из Петербурга приблизительно двадцать лет тому назад и последнее полученное известие было от 1914 года.

– Хорошо, тогда какой же Татаринов об этом писал?

– Татаринов – это капитан, – объяснил я терпеливо. – Он вышел осенью 1912 года на шхуне «Святая Мария» с целью пройти Северным морским путем, то есть тем самым Главсевморпутем, в управлении которого мы находимся. Экспедиция не удалась, но попутно капитаном Татариновым были сделаны важные географические открытия. Есть все основания утверждать, что Северная Земля, например, была открыта им, а не Велькицким.

– Ну да, совершенно верно, – сказал секретарь. – Об этой экспедиции была статья, и я ее читал.

– Чья статья?

– По-моему, тоже Татаринова. Экспедиция Татаринова, статья Татаринова. Так что же вы предлагаете?

Я повторил свое предложение.

– Ладно, напишите докладную записку, – сказал секретарь таким тоном, как будто он сожалел, что мне придется писать это докладную записку, а потом она останется лежать у него в столе...

Я вышел.

Это не могло быть совпадением! В книжном магазине на улице Горького я перелистал все номера «Советской Арктики» за прошлый год. Статья называлась «Об одной забытой полярной экспедиции» – название моего доклада! – и была подписана: «Н. Татаринов». Ее написал Николай Антоныч!

Это была большая статья, написанная в духе воспоминаний, но в то же время с научным оттенком. Она начиналась рассказом о том, как летом 1912 года в Петербурге, у Николаевского моста, стояла шхуна «Св. Мария»: «Еще свежа была белая краска на ее стенах и потолках, как зеркало, блестело полированное красное дерево ее мебели, и

ковры украшали полы ее кают. Кладовые и трюм были набиты всевозможными запасами. Чего только там не было! Орехи, конфеты, шоколад, различные консервированные компоты, ананасы, ящики с варенье и, печенье, пастила и много другого – вплоть до самого существенного, до консервированного мяса и целых штабелей муки и крупы».

Было смешно читать, как Николай Антоныч начинал, прежде всего, с продовольствия, – для меня это было лишней уликой. Но дальше он писал поумнее. Указывая, что экспедиция была снаряжена на общественные средства, он скромно намекал, что именно ему впервые пришла в голову мысль «пройти по стопам Норденшельда»<sup>170</sup>. Он с горечью указывал на препятствия, которые чинила ему реакционная печать и морское министерство. Он приводил надпись, которую сделал морской министр на рапорте о том, что «Св. Мария» пропала без вести: «Жаль, что капитан Татаринов не вернулся. За небрежное обращение с казенным имуществом я бы немедленно отдал его под суд». С еще большей горечью он писал о том, как архангельские промышленники обманули его брата, подсунув ему плохих, невыезженных собак, едва ли не проданных уличными мальчишками «по двугривенному<sup>171</sup> за пару», и как вообще пошатнулась организация всего дела, только что Николай Антоныч вследствие болезни был вынужден отойти от него. Он не называл фамилий промышленников – еще бы! Только один из них был обозначен буквой В. Николай Антоныч обвинял В. в том, что тот нажился на поставках мяса, которое пришлось выбросить в море, еще не дойдя до Югорского Шара. Эта часть статьи была написана со знанием дела. Николай Антоныч даже приводил цитату из Амундсена: «Удача любой экспедиции полностью зависит от ее снаряжения», – и блестяще доказывал справедливость этой мысли на экспедиции своего «покойного брата». Он приводил отрывки из писем «покойного брата», который горько жаловался на торгашей, воспользовавшихся тем, что стоянка в Архангельске была сокращена и нужно было торопиться с выходом в море.

О самом путешествии Николай Антоныч почти не писал. Он упоминал только о том, что в Югорском Шаре «Св. Мария» встретила несколько торговых пароходов, стоявших на якорях в ожидании, когда разойдутся льды, заполнявшие южную часть Карского моря. Согласно рассказу одного из капитанов, «Св. Мария» на рассвете семнадцатого сентября смело вошла в Карское море и скрылась за линией горизонта, за сплошной линией льдов. «Задача, которую поставил перед собой И. Л. Татаринов, – писал дальше Николай Антоныч, – не была выполнена. Но попутно было сделано замечательное открытие. Речь идет об открытии Северной Земли, которую капитан Татаринов назвал «Землею Марии»...»

Я купил этот номер «Советской Арктики» – тем более, что в статье были ссылки на другие статьи того же автора по тому же вопросу, – и вернулся в гостиницу. Нельзя сказать, что я вернулся в хорошем настроении. Мне почему-то казалось, что раз уж напечатана эта ложь и раз уж так давно напечатан – больше года, – значит, все кончено! Поздно возражать, и никто не станет слушать моих возражений. Он предупредил их. Это была ложь, но ложь, перепутанная с правдой. Он первый указал на значение экспедиции «Св. Марии». Он первый указал, что Северная Земля была открыта капитаном Татариновым за полгода до того, как ее впервые увидел Велькицкий, – конечно, он взял это из письма капитана, которое я передал Кате. Он опередил меня во всем.

Я расхаживал по своему номеру и свистел.

---

<sup>170</sup> Норденшельд – Норденшельд Адольф-Эрик, барон, знаменитый шведский путешественник, (1832–1901), исследовал Шпицберген, запад. берег Гренландии, Карское море и устье Енисея и доказал возможность морского сообщения Европы с Сибирью

<sup>171</sup> Двугривенный – название русской разменной монеты достоинством в 20 копеек.

По правде говоря, больше всего мне хотелось сейчас поехать на вокзал и взять билет Москва – Красноярск, а оттуда самолетом до Заполярья. Но я не поехал на вокзал, – наоборот, сел за докладную записку. Я писал ее целый день, а когда работаешь целый день, разные невеселые мысли приходят и уходят, – ничего не поделаешь, помещение занято.

#### **Глава 4** **Много нового**

Когда я вошел, Иван Павлыч сидел на корточках и растапливал печку, и это была такая привычная картина – Иван Павлыч в своем старом толстом мохнатом френче<sup>172</sup>, растапливающий печку, что мне даже показалось, что не было всех этих лет, что я по-прежнему школьник и что сейчас будет страшный «гром», как в девятом классе, когда я уехал в Энск за Катей. Но он обернулся. «Как постарел», – подумал я, и все мигом вернулось на свое место.

– Наконец-то! – сказал Кораблев довольно сердито. – Что же ты ко мне не заехал?

– Спасибо, Иван Павлыч!

– Ты же писал – ко мне заедешь?

– Я бы все-таки вас стеснил.

Он посмотрел на меня, даже закрыл один глаз, чтобы оценить во всех деталях. Это был хозяйский взгляд – как на своих рук дело. Должно быть, я все-таки понравился, потому что он с удовольствием расчесал усы и велел мне садиться.

– Я тебя вчера как следует не рассмотрел, – сказал он, – некогда было.

Он накрыл на стол, достал из стенного шкафа бутылочку, нарезал хлеба, потом вытащил из-за окна холодную телятину и тоже нарезал. По-прежнему он жил один, но в старой сырой квартире стало уютнее и, кажется, не так сыро. Мне только не понравилось, что пока я рассказывал, он выпил эту бутылочку и почти не закусывал, – это меня огорчило...

Я сказал, что сейчас расскажу ему только самое главное, – но разве вспомнишь, что самое главное, когда через столько лет встречаешься с родным человеком? Иван Павлыч расспрашивал меня о Севере, о летной работе, и все оставался недоволен, что я отвечаю так кратко.

– Иван Павлыч, дорогой, что мне рассказывать об этом? Ведь я еще мало летал. Ну, чуть не замерз однажды! Вы помните доктора, который лечил меня, когда я удрал из школы? Вы еще ко мне приходили в больницу.

– Помню.

– Он тоже живет в Заполярье. Я его разыскал, и это единственный дом, в котором я бываю. Между прочим, замечено, Иван Павлыч, что я всю жизнь прислоняюсь к чужим семьям. Когда маленький был – к Сковородниковым, – помните, я вам рассказывал. Потом к Татариновым. А теперь к доктору.

– Пора, брат, уже и свое завести, – серьезно сказал Кораблев.

– Нет, Иван Павлыч.

– Почему так?

– У меня не идет это дело.

Кораблев помолчал. Он налил себе, мы чокнулись, выпили, и он снова налил. Потом растегнул френч – приготовился к длинному разговору.

---

<sup>172</sup> Френч – куртка, названная по имени британского фельдмаршала Джона Дентона Френча.

– Послушай, Саня, помнишь, что ты сказал мне, когда уезжал из Москвы? Ты сказал: «Теперь мне остается хоть умереть, но доказать, что я прав». Ну, как? Доказал? Это был неожиданный вопрос, и я ответил не сразу. Конечно, я помнил наш разговор. Я помнил, как Кораблев кричал: «Что ты сделал, Саня! Боже мой, что ты сделал!» И как он плакал и говорил, что я во всем виноват, потому что я настаивал, что в письме капитана речь шла о Николае Антоныче, а на самом деле речь шла о каком-то фон Вышимирском.

На месте Кораблева я не стал бы напоминать об этом разговоре. Но ему, как видно, очень хотелось, чтобы я о нем вспомнил. Он серьезно смотрел на меня и, кажется, был чем-то втайне доволен.

– Я не знаю, кому это нужно, чтобы я что-то доказывал, – возразил я мрачно. – Не вижу, что это кому-нибудь нужно.

– Вот тут-то ты и ошибаешься, Саня, – сказал Кораблев. – Это очень нужно – и для тебя, и для меня, и еще для одного человека. Тем более, что ты оказался прав. Я смотрел на него во все глаза. Прошло пять лет после нашего разговора. Я знал теперь об экспедиции капитана Татарина больше всех на свете. Я разыскал дневники штурмана и прочитал их – это была самая трудная работа в моей жизни. Мне повезло: я встретился со старым ненцем, последним человеком, который своими глазами видел нарты, принадлежавшие экспедиции, и на этих нартах – мертвеца, – быть может, самого капитана. И я не нашел ни единого доказательства своей правоты.

И вот теперь, когда я вернулся в Москву и зашел к своему старому учителю, который – так мне казалось – давно забыл об этой истории, – теперь мне говорят: «Ты оказался прав!»

– Иван Павлыч, – начал я не очень твердым голосом, – вы все-таки не должны утверждать такие вещи, если у вас нет...

Я хотел сказать: «неопровержимых подтверждений», но он остановил меня. Как будто позвонили. Кораблев озабоченно закурил губу, оглянулся и взял меня за плечо.

– Вот что, Саня... Мне нужно поговорить с одним человеком, – сказал он. – А ты тут посиди.

И он провел меня в соседнюю комнату, напоминавшую большой, заваленный книгами шкаф, с дырявой зеленой портьерой на месте двери.

– И послушай – тебе это полезно.

Я забыл сказать, что Иван Павлыч в этот вечер сразу показался мне каким-то странным. Несколько раз он принимался тихонько свистать. Он расхаживал, положив руки на голову, и в конце концов, съел черенок от груши, которым ковырял в зубах. Теперь, посадив меня в «шкаф», он поспешно убрал со стола водку, потом вынул что-то из письменного стола, съел немного, подышал, широко открыв рот. Потом пошел открывать двери.

Как вы думаете, с кем он вернулся из передней? С Ниной Капитоновной! Это была Нина Капитоновна – согнувшаяся, еще больше похудевшая, со старческими тенями вокруг глаз, в своей неизменной бархатной безрукавке.

Она что-то говорила, но я не слушал, глядя, как Иван Павлыч заботливо усаживает гостью. Он стал было наливать ей чаю, но она остановила:

– Не хочу. Только что напилась. Ну, как?

– Да что-то неважно, Нина Капитоновна, – сказал Кораблев. – Спину ломит.

– Ну? Застариковал! Придумал тоже! Спину ломит. А нужно бомбангье натереть. И пройдет.

– Как, как вы сказали? Бомбангье?

– Бомбангье. Мазь такая. А вы водку пьете?

– Честное слово, не пью, Нина Капитоновна, – сказал Кораблев. – Совершенно бросил. Изредка одну рюмку перед обедом. Но это даже и врачи советуют.

– Нет, пьете. Вот я, когда была молодая, на хуторах жила. У меня ведь отец казак был. Бывало придет, на ногах не держится и говорит: «Это ничего, а самая смерть – это ежедневно пить по одной рюмке перед обедом».

Кораблев засмеялся. Нина Капитоновна посмотрела и тоже начала смеяться.

Потом она рассказала о какой-то пьянице–графине, которая «с утра, как проснется, – хлоп стакан водки! И ходит. Желтая такая, опухшая, простоволосая. Походит, походит и выпьет. Утром она еще нормальная, а к обеду уже качается. А вечером – полный дом гостей. Одета прекрасно, садится за рояль и поет. И добрая! Все к ней ходили. Чуть что – к графине! Прекрасный человек была! А пьяница!»

Кажется, Кораблеву не очень понравился этот пример, потому что он постарался перевести разговор на другую тему. Он спросил, как поживает Катя.

Нина Капитоновна тихонько махнула рукой.

– Ссоримся мы все с ней, – сказала она со вздохом. – Она очень самолюбивая. Одного дела не добьется – и за другое. От этого она такая и нервная.

– Нервная?

– Нервная. И гордая. И все молчит, – сказала Нина Капитоновна. – Я ведь на этих-то, что молчат, насмотрелась. Мне это ужасно не нравится, что она все молчит. Ну что молчать, я не понимаю. Скажи, что тебя тяготит. А она – нет.

– А вы бы у нее спросили, Нина Капитоновна.

– Не скажет. Я сама такая. Никогда не скажу.

– Я как-то встретил ее, и мне показалось – ничего, – сказал Кораблев. – Она в театр шла – одна, правда, и это мне показалось странным. Но она была довольна весела и, между прочим, сказала, что ей предлагают комнату при геологическом институте.

– Предлагали. А она не переехала.

– Почему?

– Жалеет его.

– Жалеет? – снова переспросил Кораблев.

– Жалеет. И в память матери жалеет, и так. А он без нее – вот как: приходит, сейчас: «А Катя где? Звонила?»

Я сразу понял, кто это «он»: Николай Антоныч.

– Вот и не уехала. И все ждет кого-то.

Нина Капитоновна пересела на другое кресло, поближе.

– Я один раз письмо читала, – шепотом, лукаво сказала она и оглянулась, как будто Катя могла ее видеть. – Должно быть, они в Энске подружились, когда Катя на каникулах ездила. Его сестра. И она пишет: «В каждом письме одолевает просьбами: где Катя, что с ней, я бы все отдал, лишь бы увидеть ее. Он не может без тебя жить, и я не понимаю вашей беспричинной ссоры».

– Простите, Нина Капитоновна, я не понял. Чья сестра?

– Чья? Да этого. Вашего.

Кораблев невольно посмотрел в мою сторону, и я через дырку в портьере встретился с его глазами. Моя сестра? Саня?

– Ну что ж, наверно, так и есть, – сказал Кораблев, – наверно, и не может жить. Очень просто.

– «Одолевает просьбами, – с выражением повторила Нина Капитоновна. – И не может без тебя жить». Вот как! А она без него не может.

Кораблев снова посмотрел в мою сторону.

Мне показалось, что он улыбается под усами.

– Ну вот. А сама за другого собралась?

– Не собралась она. Не ейный это выбор. – Она так и сказала: «ейный».

– Не хочет она за этого Ромашова и я его не хочу. Попович.

– Как попович?

– Попович он. И брехливый. Что ему ни скажи, он сейчас же добавит. Я таких ненавижу. И вороватый.

– Да полно, Нина Капитоновна! Что вы!

– Вороватый. Он у меня сорок рублей взял, якобы на подарок, и не отдал. Конечно, я не напоминала. И все суется, суется. Боже мой! Если бы не старость моя...

И она горько махнула рукой.

Теперь представьте себе, с каким чувством я слушал этот разговор! Я смотрел на старушку через дырку в портьере, и эта дырка была как бы объективом, в котором все, что произошло между мной и Катей, с каждой минутой становилось яснее, словно попадало в фокус. Все приблизилось и стало на свое место, и этого всего было так много – и так много хорошего, что у меня сердце стало как-то дрожать и я понял, что страшно волнуясь. Только одно было совершенно непонятно: я никогда не «одолевал» сестру просьбами и никогда не писал ей, что «не могу жить без Кати».

– Санька выдумала это, вот что, – сказал я себе. – Она все врала ей. И все это было правдой.

Нина Капитоновна еще рассказывала что-то, но я больше не слушал ее. Я так забылся, что стал расхаживать в своем «шкафу» и пришел в себя, лишь, когда услышал строгое покашливание Кораблева.

Так я и сидел в «шкафу», пока Нина Капитоновна не ушла. Не знаю, зачем она приходила, – должно быть, просто душу отвести. Прощаясь, Кораблев поцеловал ей руку, а она его в лоб – они и прежде всегда так прощались.

Я задумался и не слышал, как он вернулся из передней, и вдруг увидел над собой, между половинками портьеры, его нос и усы.

– Жив?

– Жив, Иван Павлыч.

– Что скажешь?

– Скажу, что я страшный, безнадежный дурак, – ответил я, схватившись за голову. – Как я говорил с ней! Ох, как я говорил с ней! Как я ничего не понял! Как я ничего не сказал ей, а ведь она ждала! Что же она чувствовала, Иван Павлыч! Что она теперь думает обо мне!

– Ничего, передумает.

– Нет, никогда! Вы знаете, что я сказал ей: «Я буду держать тебя в курсе».

Кораблев засмеялся.

– Иван Павлыч!

– Ты же писал, что без нее жить не можешь.

– Не писал! – возразил я с отчаянием. – Это Санька выдумала. Но это правда! Иван Павлыч! Это абсолютная правда. Я не могу жить без нее, и у нас действительно беспричинная ссора, потому что я думал, что она меня давно разлюбила. Но что же делать теперь? Что делать?!

– Вот что, Саня: у меня назначено на девять часов деловое свидание, – сказал он. – В одном театре. Так что ты...

– Ладно, я сейчас уйду. А можно мне сейчас зайти к Кате?

– Она тебя выгонит, и будет совершенно права.

– Пусть выгонит, Иван Павлыч! – сказал я и вдруг поцеловал его. – Черт его знает, я не понимаю, что теперь делать? Как вы думаете, а?

– Теперь мне нужно переодеться, – сказал Кораблев и пошел в «шкаф», – а что касается тебя, то тебе, по-моему, нужно прийти в себя.

Я видел, как он снял френч и, подняв воротник мягкой рубахи, стал повязывать галстук.

– Иван Павлыч! – вдруг заорал я. – Пойдите! Я совсем забыл! Вы сказали, что я был тогда прав, когда мы спорили, о ком идет речь в письме капитана?

– Да.

– Иван Павлыч!

Кораблев вышел из «шкафа» причесанный, в новом сером костюме, еще молодой, представительный.

– Сейчас мы поедим в театр, – сказал он серьезно, – и ты все узнаешь. У тебя будет такая задача: сидеть и молчать. И слушать. Понимаешь?

– Ничего не понимаю. Едем.

## **Глава 5** **В театре**

Московский драматический театр! Если судить по Грише Фаберу, можно было представить, что это большой, настоящий театр, в котором все актеры носят такие же шикарные белые гетры и так же громко, хорошо говорят. Вроде МХАТ. Но оказалось, что это маленький театр на Сретенке, в каком-то переулке.

Шел, как об этом извещала освещенная витрина у входа, спектакль «Волчья тропа», и в списке актеров мы тотчас же отыскали Гришу. Он играл доктора: «Доктор – Г. Фабер». Эта роль почему-то стояла на последнем месте.

Гриша встретил нас в вестибюле, такой же великолепный, как всегда, и немедленно пригласил в свою уборную.

– Я его позову, когда начнется второй акт, – загадочно сказал он Кораблеву.

Кого «его»? Я взглянул на Кораблева, но он в эту минуту вправляя в свой длинный мундштук папиросу сделал вид, что не заметил моего взгляда.

В Гришиной уборной сидели еще трое артистов, и у них почему-то был такой вид, как будто они сидят в своей уборной. Но пока Гриша усаживал нас, они деликатно вышли, и тогда он извинился за помещение.

– В моей личной уборной сейчас ремонт, – сказал он.

Мы заговорили о нашем школьном театре, вспомнили трагедию «Настал час», в которой Гриша когда-то играл приемыша-еврея, и я сказал, что, по-моему, он просто великолепно исполнял эту роль. Гриша засмеялся, и вдруг вся его важность слетела.

– Санька, я не понимаю, ты же тогда рисовал, – сказал он. – Что это ты вдруг стал летать на небо? Ходи к нам в театр, какого черта! Мы сделаем из тебя художника. Что, плохо?

Я сказал, что согласен. Потом Гриша еще раз извинился – скоро на сцену, его ждет гример – и вышел. Мы остались одни.

– Иван Павлыч, дорогой, объясните вы мне наконец, в чем дело? Зачем вы привезли меня сюда? Кто это «он»? С кем вы хотите меня познакомить?

– А ты глупостей не наделаешь?

– Иван Павлыч!

– Ты уже сделал одну глупость, – сказал Кораблев. – Даже две. Во-первых, не заехал ко мне. А во-вторых, сказал Кате: «Я буду держать тебя в курсе!»

– Иван Павлыч, ведь я же ничего не знал! Вы мне просто писали: заезжай ко мне, и я не подозревал, что это так важно. Скажите мне, кого мы тут ждем? Кто этот человек и почему вы хотите, чтобы я его видел?



– Ну ладно, – сказал Кораблев. – Только помни уговор: сидеть и не говорить ни слова. Это – фон Вышимирский.

Вы знаете, что мы сидели в Гришиной уборной в Московском драматическом театре. Но в эту минуту мне показалось, что все это происходит не в уборной, а на сцене, потому что едва Иван Павлыч произнес эти слова, как в комнату, нагнувшись, чтобы не удариться о низкий переплет двери, вошел фон Вышимирский.

Я сразу понял, что это он, хотя до сих пор мне даже и в голову никогда не приходило, что этот человек существует на свете. Мне всегда казалось, что Николай Антоныч выдумал фон Вышимирского, чтобы свалить на него все мои обвинения. Это была просто какая-то фамилия, и вот она вдруг реализовалась и превратилась в сухого длинного старика, сгорбленного, с желтыми седыми усами. Теперь он был, понятно, просто Вышимирский, а никакой не «фон». На нем была форменная куртка с блестящими пуговицами – гардеробщик! – на голове седой хохол, под подбородком висели длинные морщинистые складки кожи.

Кораблев поздоровался с ним, и он легко, даже снисходительно протянул ему руку.

– Вот, оказывается, кто меня ждет – товарищ Кораблев, – сказал он, – да еще не один, а с сыном. Сын? – спросил он быстро и быстро посмотрел на меня и на Кораблева, и снова на меня и на Кораблева.

– Нет, это не сын, а мой бывший ученик. А теперь он летчик и хочет познакомиться с вами.

– Летчик и хочет познакомиться, – неприятно улыбаясь, сказал Вышимирский. – Чем же летчика заинтересовала моя персона?

– Ваша персона интересует его в том отношении, – сказал Кораблев, – что он, видите ли, пишет историю экспедиции капитана Татаринова. А вы, как известно, принимали в этой экспедиции самое деятельное участие.

Кажется, это замечание не очень понравилось Вышимирскому. Он снова быстро взглянул на меня, и в его старых, водянистых глазах мелькнуло что-то – страх, подозрение? Не знаю.

Но тут же он приосанился и затрепал, затрепал. Поминутно он называл Ивана Павлыча «товарищ Кораблев» и хвастался невыносимо. Он сказал, что это была великая, историческая экспедиция и что он много работал, очень много, «чтобы все было великолепно». При этом он ни минуты не мог усидеть на месте – вставал, делал разные движения руками, хватал себя за левый ус и нервно тянул его вниз и так далее.

– Но это было очень давно, – наконец сказал он, как будто удивившись.

– Ну, не очень давно, – возразил Кораблев. – Незадолго до революции.

– Да, незадолго до революции. Я тогда не служил в артели<sup>173</sup> инвалидов. Но это временное, эта служба, потому что у меня большие заслуги. Мы тогда много трудились. Это были большие труды.

Я хотел спросить, в чем, собственно говоря, заключались его труды, но Кораблев посмотрел на меня ровным, как бы ничего не выразившим взглядом, и я послушно закрыл рот.

– Николай Иваныч, вы мне как-то рассказывали об этой экспедиции, – сказал он. – У вас, помнится, сохранились какие-то бумаги и письма. У меня к вам просьба: повторите ваш рассказ вот этому молодому человеку, которого вы можете называть просто Саня. Назовите день и час, когда к вам придти, и оставьте ему адрес.

– Пожалуйста! Буду очень рад! Я вас прошу к себе, хотя заранее извиняюсь за квартиру. Прежде у меня была квартира в одиннадцать комнат, и я этого не скрываю, а,

---

<sup>173</sup> Артель – добровольное объединение людей для совместной работы или иной коллективной деятельности.

наоборот, пишу в анкете, потому что принес много пользы народу. За это я хлопотал персональную пенсию, и мне ее дадут, потому что у меня большие заслуги. Эта экспедиция – только одна капля в море! Я построил мост через Волгу.

И он снова затрепал, затрепал. Со своим острым седым хохлом на голове он был похож на старую, замученную птицу.

Потом лампочка в Гришиной уборной на мгновение погасла, – кончился акт! – и этот призрак прошлого века исчез так же внезапно, как и появился.

Весь этот разговор продолжался минут пять, но мне показалось, что он продолжался очень долго, как это бывает во сне. Кораблев посмотрел на меня и засмеялся, – должно быть, у меня был глупый вид.

– Иван Павлыч!

– Что, милый?

– Это он?

– Он.

– Может ли это быть?

– Может.

– Тот самый?

– Тот самый.

– Что он рассказывал вам? Он знает Николая Антоныча? Он у них бывает?

– Ну, нет, – сказал Кораблев. – Вот именно – нет.

– Почему?

– Потому что он ненавидит Николая Антоныча.

– За что?

– За разные штуки.

– Что же он рассказывал вам? Откуда взялась эта доверенность на имя фон Вышимирского, – помните, вы мне о ней говорили?

– А-а! Вот в этом все и дело! – сказал Кораблев. – Доверенность! Он затрясся, когда я спросил у него об этой доверенности.

– Иван Павлыч, прошу вас, расскажите вы мне все это толком! Вы думаете, это было хорошо, что вы в последнюю минуту сказали, что придет Вышимирский? Я только растерялся и, наверное, показался ему идиотом.

– Напротив, ты ему очень понравился, – серьезно сказал Кораблев. – У него взрослая дочь, и на всех молодых людей он смотрит с одной точки зрения: годен в женихи или не годен? Ты, безусловно, годен: молод, недурен собой, летчик.

– Иван Павлыч, – сказал я с упреком, – я вас не узнаю, честное слово. Вы очень переменялись, просто очень! Зная, как все это для меня важно, вы надо мной смеетесь.

– Ну, ладно, Саня, не сердись, все расскажу, – сказал Кораблев. – А пока давай-ка отсюда удирать, а то, как словит нас сейчас Гриша да как засадит смотреть пьесу в Московском драматическом театре...

Но удрать не удалось. Лампочка еще раз мигнула, и в уборную поспешно вошел Гриша. Он был с рыжими бакенбардами, с длинным белым носом и гораздо больше похож на рыжего из цирка, чем на доктора, но на рыжего со смелым, благородным выражением лица. Мы с Иваном Павлычем не узнали его, и, к сожалению, последние слова: «Да как засадит смотреть пьесу в Московском драматическом театре», без сомнения, донеслись до него. Но Гриша, очевидно, не нашел в этих словах ничего обидного, а даже, наоборот, понял их как наше горячее желание немедленно пройти в зал и посмотреть пьесу и его самого в роли доктора.

– В чем дело, я вас сейчас же устрою! – сказал он.

По дороге – он вел нас какими-то внутренними артистическими ходами – я спросил, почему у него такой странный для доктора грим. Но он ответил важно:

– Это так задумано.

И я не нашелся, что ему возразить.

Иван Павлыч, кажется, был невысокого мнения о Гришином даровании. Но мне он искренне нравился, я находил в нем талант. В этой пьесе у него была очень маленькая роль, и, по-моему, он провел ее превосходно. Выйдя от больного, он задумался и довольно долго стоял на авансцене<sup>174</sup>, «играя на нервах» и заставляя зрителя гадать, что же он сейчас скажет. Жаль, что по роли ему пришлось произнести совсем не то, что можно было ожидать, судя по всей его фигуре и смелому выражению лица. Он великолепно соображал что-то, выписывая рецепт, а принимая деньги, сделал неловкое движение рукой, как настоящий доктор. Пожалуй, он мог бы говорить не так громко. Но вообще он прекрасно провел роль, и я серьезно сказал Ивану Павлычу, что, по-моему, из него выйдет хороший актер.

Когда он взял деньги и вышел, налетев по дороге на стул, что тоже вышло вполне естественно, мы с Иваном Павлычем больше не смотрели на сцену.

Мне все время хотелось поговорить о Вышимирском, но в ложе зашикали, чуть только я раскрыл рот, и я успел только спросить:

– Как вы нашли его?

И Иван Павлыч успел ответить:

– Очень просто: его сын учится в нашей школе.

## Глава 6

### Опять много нового

Я никогда ничего не понимал в векселях<sup>175</sup> – самого этого слова уже не было, когда я начал учиться. Что такое «заемное письмо»? Что такое «передаточная надпись»<sup>176</sup>? Что такое «полис»<sup>177</sup>? Не полис, это все знают, а именно «полис»? Что такое «дисконт»<sup>178</sup>? Не дисконт, а «дисконт».

Когда эти слова попадались мне в книгах, я почему-то всегда вспоминал энское «присутствие»<sup>179</sup> – железные скамейки в полутемном высоком коридоре, невидимого чиновника за барьером, которому униженно кланялась мать. Это была прежняя, давно забытая жизнь, и она вновь постепенно оживала передо мной, когда Вышимирский рассказывал мне историю своего несчастья.

Мы сидели в маленькой комнате с подвальным окном, в котором все время была видна метла и ноги: наверно, стоял дворник. В этой комнате все было старое – стулья с перевязанными ножками, обеденный стол, на который я поставил локоть и сейчас же снял, потому что крайняя доска только и мечтала обвалиться. Везде была грязная обивочная материя – на окне вместо занавески, на диване поверх рваной обивки, и этой же материей было прикрыто висевшее на стене платье. Новыми в комнате были только

---

<sup>174</sup> Авансцена – передняя, открытая или несколько выдвинутая в зрительный зал часть сцены перед занавесом.

<sup>175</sup> Вексель – ценная бумага в виде долгосрочного обязательства, составленного в письменном виде по определенной форме.

<sup>176</sup> Передаточная надпись – используется для передачи прав по векселю.

<sup>177</sup> Полис – свидетельство, выдаваемое страховым обществом, с обозначением качества и ценности страхуемого имущества, а также срока и суммы страхования.

<sup>178</sup> Дисконт (от англ. *discount*) – 1) скидка; 2) покупка векселей или облигаций по цене ниже номинальной.

<sup>179</sup> Присутствие (присутственное место) – государственное учреждение в дореволюционной России.

какие-то дощечки, катушки, мотки проволоки, с которыми возился в углу за своим столом сын Вышимирского, мальчик лет двенадцати, круглолицый и загорелый. И сам этот мальчик был совершенно новый и бесконечно далек от того мира, который я смутно вспоминал теперь, слушая рассказ Вышимирского с его дисконтами и векселями.

Это был длинный путанный рассказ с бесконечными отступлениями, в которых было много вздора. Решительно все, что он делал в жизни, старик ставил себе в заслугу, потому что «все это для народа, для народа». В особенности он напирал на свою службу в качестве секретаря у митрополита Исидора, – он объявил, что прекрасно знает жизнь духовного сословия и даже специально изучил ее в надежде, что это «пригодится народу». Разоблачить этого митрополита он был готов в любую минуту.

Почему-то он ставил себе в заслугу и другую свою службу – у какого-то адмирала Хекерта. У этого адмирала был «умалишенный сын», и Вышимирский возил его по ресторанам, чтобы никто не мог догадаться, что он умалишенный, потому что «они скрывали это от всех»...

Но вот он заговорил о Николае Антоныче, и я развесил уши. Я был убежден, что Николай Антоныч всегда был педагогом. Типичный педагог! Ведь он и дома всегда поучал, объяснял, приводил примеры.

– Ничего подобного, – злобно сморщившись, возразил Вышимирский. – Это на худой конец, когда ничего не осталось. У него были дела. Он играл на бирже, и у него были дела. Богатый человек, который играл на бирже и вел дела.

Это была первая новость. За ней последовала вторая. Я спросил, какая же связь между экспедицией капитана Татаринова и биржевыми делами? Почему Николай Антоныч взялся за нее? Это было выгодно, что ли?

– Он взялся бы за нее с еще большей охотой, если бы экспедиция была на тот свет, – сказал Вышимирский. – Он на это надеялся, очень надеялся. Так и вышло!

– Не понимаю.

– Он был влюблен в его жену. Об этом тогда много говорили. Много говорили, очень. Это были большие разговоры. Но капитан ничего не подозревал. Он был прекрасный человек, но простой. И служака, служака!

Я был поражен.

– В Марью Васильевну? Еще в те годы?

– Да, да, да, – нетерпеливо повторил Вышимирский. – Тут были личные причины. Вы понимаете – личные. Личность, личность, личные. Он был готов отдать все свое состояние, чтобы отправить этого капитана на тот свет. И отправил.

Но любовь – любовью, а дело – делом. Николай Антоныч не отдал своего состояния, напротив – он его удвоил. Он принял, например, гнилую одежду для экспедиции, получив от поставщика взятку. Он принял бракованный шоколад, пропахший керосином, тоже за взятку.

– Вредительство, вредительство, – сказал Вышимирский. – План! Вредительский план! Впрочем, сам Вышимирский прежде был, очевидно, другого мнения об этом плане, потому что он принял в нем участие и был послан Николаем Антонычем в Архангельск, чтобы встретить там экспедицию и дополнить ее снаряжение. Вот тут-то и появилась на свет доверенность, которую Николай Антоныч показывал Кораблеву. Вместе с этой доверенностью Вышимирскому были переведены деньги – векселя и деньги...

И, сердито сопя носом, старик вынул из комода несколько векселей. В общем, вексель – это была расписка в получении денег с обязательством вернуть их в указанный срок.

Но эта расписка писалась на государственной бумаге, очень плотной, с водяными знаками, и имела роскошный и убедительный вид. Вышимирский объяснил мне, что эти векселя ходили вместо денег. Но это были не совсем деньги, потому что «векселедатель» вдруг мог объявить, что у него нет денег.

Тут были возможны разные жульнические комбинации, и в одной из них Вышимирский обвинял Николая Антоныча.

Он обвинял его в том, что векселя, которые Николай Антоныч перевел на его имя вместе с доверенностью, были «безнадежные», то есть что Николай Антоныч заранее знал, что «векселедатели» уже разорились и ничего платить не станут. А Вышимирский этого не знал и принял векселя как деньги, – тем более, что «векселедатели» были разные купцы и другие почтенные по тем временам люди. Он узнал об этом, лишь, когда шхуна ушла, оставив долгов на сорок восемь тысяч. В уплату этих долгов никто, разумеется, не принимал «безнадежных» векселей.

И вот Вышимирский должен был заплатить эти долги из своего кармана. А потом он должен был заплатить их еще раз, потому что Николай Антоныч подал на него в суд, и суд постановил взыскать с Вышимирского все деньги, которые были переведены на его имя в Архангельск.

Конечно, я очень кратко рассказываю здесь эту историю. Старик рассказывал ее два часа и все вставал и садился.

– Я дошел до Сената<sup>180</sup>, – наконец грозно сказал он. – Но мне отказали.

Ему отказали – и это был конец, потому что имущество его было продано с молотка. Дом – у него был дом – тоже продан, и он переехал в другую квартиру, поменьше. Жена у него умерла от горя, и на руках остались малолетние дети. Потом началась революция, и от второй квартиры, поменьше, осталась одна комната, в которой ему теперь приходится жить. Конечно, «это – временное», потому что «правительство вскоре оценит его заслуги, которые у него есть перед народом», но пока ему приходится жить здесь, а у него взрослая дочь, которая владеет двумя языками и из-за этой комнаты не может выйти замуж: мужу некуда въехать. Вот дадут персональную пенсию, и тогда он переедет.

– Куда-нибудь, хоть в дом инвалидов, – сказал он, горько махнув рукой.

Очевидно, этой взрослой дочери очень хотелось замуж, и она его выживала.

– Николай Иваныч, – сказал я ему. – Можно мне задать один вопрос: вы говорите, что он прислал вам эту доверенность в Архангельск. Каким же образом она снова к нему попала?

Вышимирский встал. У него раздулись ноздри, и седой хохол на голове затрясся от негодования.

– Я бросил эту доверенность ему в лицо, – сказал он. – Он побежал за водой, но я не стал ее пить. Я ушел, и со мной был обморок на улице. Да что говорить!

И он снова горько махнул рукой.

Я слушал его с тяжелым чувством. В этом рассказе было что-то грязное, такое же, как и все вокруг, так что мне все время хотелось вымыть руки. Мне казалось, что наш разговор будет новым доказательством моей правоты, таким же новым и удивительным, каким было внезапное появление этого человека. Так и вышло. Но мне было неприятно, что на этих новых доказательствах лежал какой-то грязный отпечаток. Потом он снова заговорил о пенсии, что ему «непременно должны дать персональную пенсию, потому что у него сорок пять лет трудового стажа». К нему уже приходил один

---

<sup>180</sup> Сенат – высшее судебно-административное учреждение в царской России.

молодой человек и взял бумаги и, между прочим, тоже интересовался Николаем Антонычем, а потом не пришел.

– Обещал хлопотать хлопотать, – сказал Вышимирский, – а потом не пришел.

– Николаем Антонычем?

– Да, да, да! Интересовался, как же!

– Кто же это?

Вышимирский развел руками.

– Был несколько раз, – сказал он. – У меня взрослая дочь, знаете, и они тут пили чай и разговаривали. Знакомство, знакомство!

Слабая тень улыбки пробежала по его лицу: должно быть, с этим знакомством были связаны какие-то надежды.

– Да, любопытно, – сказал я. – И взял бумаги?

– Да. Для пенсии, для пенсии. Чтобы хлопотать.

– И спрашивал о Николае Антоновиче?

– Да, да. И даже – не знаю ли я еще кого-нибудь... Может быть, известно еще кому-нибудь, что он проделывал... эта птица! Я послал его к одному.

– Интересно. Что же это за молодой человек?

– Такой представительный, – сказал Вышимирский. – Обещал хлопотать. Он сказал, что все это нужно для пенсии, именно персональной, именно!

Я спросил, как его фамилия, но старик не мог вспомнить.

– Как-то на «ша», – сказал он.

Потом пришла взрослая дочь, которую действительно нужно было срочно выдать замуж. Но это была нелегкая задача, и вовсе не потому, что «мужу некуда въехать». Дело в том, что у дочери был огромный нос, и она шмыгала им с необыкновенно хищным видом. Не знаю, был ли это хронический насморк, или дурной характер заставлял ее поминутно делать такое движение, но когда я увидел, как она угрожающе шмыгнула на отца, мне сразу стало ясно, почему старику так хочется переехать в дом инвалидов.

Я очень приветливо поздоровался с нею, и она побежала куда-то и вернулась совсем другая: прежде на ней был какой-то арабский бурнус<sup>181</sup>, а теперь – нормальное платье. Мы разговорились: сперва о Кораблеве – это был наш единственный общий знакомый, – потом о его ученике, который по-прежнему возился в углу со своими катушками и не обращал на нас никакого внимания. У нас был бы даже приятный разговор, если бы не это движение, которое она делала носом. Она сказала, что не любит кино за то, что в кино все люди «какие-то мертвенно-бледные», но в это время старик опять влез со своей пенсией.

– Нюточка, как фамилия того молодого человека? – робко спросил он.

– Какого молодого человека?

– Который обещал похлопотать насчет пенсии.

Нюточка сморщилась. У нее дрогнули губы, и сразу несколько чувств отразилось на лице. Главным образом – негодование.

– Не помню, кажется, Ромашов, – отвечала она небрежно.

---

<sup>181</sup> Бурнус – мужской или женский плащ с рукавами или без них, как правило, очень широкий.

## Глава 7

### «А у нас гость!»

Ромашка! Ромашка бывал у них! Он обещал старику выхлопотать персональную пенсию, он ухаживал за Ньютой с ее носом! В конце концов, он пропал, взяв какие-то бумаги, и старик даже не мог в точности припомнить, что это были за бумаги. Сперва я думал, что это другой Ромашов, однофамилец. Нет, это был он. Я подробно описал его, и Ньюта сказала с ненавистью:

– Он!

Он ухаживал за ней, это совершенно ясно. Потом он перестал ухаживать, иначе она не стала бы ругать его так, как она его ругала. Он ходил к старику и выведывал все, что тому было известно о Николае Антоныче. Он собирал сведения. Зачем? Зачем он взял у Вышимирского эти бумаги, из которых, во всяком случае, можно вывести одно заключение, что до революции Николай Антоныч был не педагогом, а грязным биржевым дельцом?

Я возвращался от Вышимирского, и у меня голова кружилась. Тут могло быть только два решения: или для того, чтобы уничтожить все следы этого прошлого, или для того, чтобы держать Николая Антоныча в своих руках.

Держать его в руках? Зачем? Ведь это его ученик, самый преданный, самый верный! Так было всегда, еще в школе, когда он подслушивал, что ребята говорили о Николае Антоныче, а потом доносил ему. Это поручение! Николай Антоныч поручил ему выяснить все, что знает о нем Вышимирский. Он подослал Ромашку, чтобы взять бумаги, которые могли повредить ему как советскому педагогу.

Я зашел в кафе и съел мороженого. Потом выпил какой-то воды. Мне было очень жарко, и я все думал и думал. Ведь все-таки прошло много лет с тех пор, как мы с Ромашкой расстались после окончания школы. Тогда это была подлая, холодная душа. Но к Николаю Антонычу он был искренне привязан – или нам это казалось? Теперь я не знал его. Быть может, он переменялся? Быть может, без ведома Николая Антоныча, из одной привязанности к нему он хотел уничтожить эти бумаги, которые могут бросить тень на доброе имя его учителя, его друга?

Но это была уже ерунда, и стоило только вспомнить самого Ромашку с его бледным лицом и неестественно круглыми глазами, чтобы вернуться к реальному представлению о нем.

Я съел еще мороженого, и девушка, которая мне подавала, засмеялась, когда я попросил третью порцию. Должно быть, ей понравилось, что я ем так много мороженого, потому что она подошла к зеркалу и стала поправлять наколку. Нет, он ничего и никогда не сделал бы из одной привязанности к этому человеку. Здесь была какая-то тайная цель – я был в этом уверен. Я только не мог догадаться, что это была за цель, потому что мне приходилось судить по старым отношениям между Николаем Антонычем и Ромашкой, а новые я знал очень плохо.

Это могла быть какая-нибудь очень простая цель, связанная с повышением по службе. Ведь Николай Антоныч был профессором, а Ромашка его ассистентом. Даже деньги – не даром же в школе у него начинали пылать уши, когда он говорил о деньгах. Какое-нибудь жалованье, черт его знает!

Я позвонил Вале – мне хотелось посоветоваться с ним: ведь он все-таки бывал у Татариновых последние годы, но его не оказалось дома. Он где-то шляется, как всегда, когда был очень нужен!

«Нет, не жалованье, не карьера, – продолжал я думать. – Этого он добился другими средствами, более простыми, стоит только посмотреть на него».

Пора было ехать домой, но вечер еще только что подошел, и это был такой московский вечер, такой не похожий на мои вечера в Заполярье, что мне захотелось пройтись пешком, хотя до гостиницы было далеко.

И я медленно пошел – сперва по направлению к улице Горького, потом по Воротниковскому переулку. Знакомые места! Гостиница осталась в стороне, а я все шел по Воротниковскому, а потом свернул на Садово-Триумфальную мимо нашей школы. А от Садово-Триумфальной, как известно, очень близко до Второй Тверской-Ямской, и я вышел на нее через несколько минут и остановился перед воротами знакомого дома. Я заглянул в ворота – и увидел знакомый маленький чистый двор и знакомый каменный сарай, в котором я когда-то колол дрова – помогал старушке. Вот лестница, по которой я летел кубарем, а вот обитая черной клеенкой дверь и медная дощечка с затейливо написанной фамилией: «Н. А. Татаринов»...

– Катя, я к тебе. Не прогонишь?

Потом Катя говорила, что едва она меня увидела, как сразу поняла, что я «совсем другой, чем был третьего дня у Большого театра». Но одного она не могла понять: почему, придя к ней неожиданно и «совсем другим», я весь вечер не сводил глаз с Николая Антоныча и Ромашки.

Конечно, это преувеличение, но я действительно посматривал на них. В этот вечер у меня голова работала, как на экзамене, и я все угадывал и понимал с полуслова. Забыл сказать, что, еще сидя в кафе, я купил цветы. Я шел к Татариновым с цветами в руках, и это было как-то неловко: с тех пор, как мы с Петькой таскали левкой в энском садоводстве и после спектакля продавали их публике за пять копеек пучок, я не ходил по улицам с цветами в руках. Теперь, когда я пришел, нужно было отдать эти цветы Кате... Но я почему-то положил их на столик рядом с фуражкой.

Вероятно, я все-таки волновался, потому что сказал что-то, и у меня невольно зазвенел голос, и Катя быстро посмотрела мне прямо в лицо.

Мы пошли было в ее комнату, но в эту минуту Нина Капитоновна вышла из столовой. Я поклонился. Она посмотрела с недоумением и церемонно кивнула.

– Бабушка, это Саня Григорьев. Ты не узнала?

– Саня? Господи! Да неужели?

Она испуганно оглянулась, и через открытую дверь столовой я увидел Николая Антоныча, сидевшего в кресле с газетой в руках. Он был дома!

– Здравствуйте, Нина Капитоновна, дорогая! – сказал я. – Помните ли вы еще меня? Наверно, давно забыли?

– Вот! Забыла! Ничего я не забыла, – отвечала старушка.

И мы еще целовались, когда из столовой вышел и остановился в дверях Николай Антоныч.

Это была минута, когда мы снова оценили друг друга. Он мог не заметить меня, как он не заметил меня на юбилее Кораблева. Он мог подчеркнуть, что мы – незнакомы. Он мог, наконец, хотя это было довольно рискованно, снова указать мне на дверь. Он не сделал ни того, ни другого, ни третьего.

– А, молодой орел, – приветливо сказал он. – Залетел, наконец, и к нам? Давно пора. И он смело протянул мне руку.

– Здравствуйте, Николай Антоныч!

Катя смотрела на нас с удивлением, старушка растерянно хлопала глазами, но мне было очень весело, и я мог теперь разговаривать с Николаем Антонычем сколько угодно.

– Да-а... Ну что ж, прекрасно. – Николай Антоныч серьезно смотрел на меня. – Давно ли, кажется, был мальчик, а вот, поди же, полярный летчик. И ведь что за профессию выбрал! Молодец!



– Обыкновенная профессия, Николай Антоныч, – отвечал я. – Такая же, как и всякая другая.

– Такая же? А самообладание? А мужество во время опасных случаев? А дисциплина – не только служебная, но и внутренняя, так сказать, самодисциплина!

По старой памяти мне стало тошно от этих фальшивых круглых фраз, но я слушал его очень внимательно, очень вежливо. Он показался мне гораздо старше, чем на юбилее, и у него было усталое лицо. Когда мы проходили в столовую, он обнял Катю за плечи, и она чуть заметно отстранилась.

В столовой, между прочим, сидела одна из тетюшек Бубенчиковых, но теперь я уже не мог различить, была ли она той самой, которая хотела побить меня щеткой, или той, которая утешала козу. Во всяком случае, теперь она встретила меня очень любезно.

– Ну, ждем, ждем! – сказал Николай Антоныч, когда Нина Капитоновна, робко суетившаяся вокруг меня, налила мне чаю и подвинула все, что стояло на столе. – Ждем полярных рассказов. Слепые полеты, вечная мерзлота, дрейфующие льды, снежные пустыни!

– Все в порядке, Николай Антоныч, – возразил я весело. – Льды, как льды, пустыни, как пустыни.

Николай Антоныч засмеялся.

– Я встретил однажды старого приятеля, который в настоящее время служит в нашем торгпредстве<sup>182</sup> в Риме, – сказал он. – Я его спрашиваю: «Ну, как Рим?» А он отвечает: «Да ничего! Рим как Рим». Похоже, правда?

У него был снисходительный тон. Катя слушала нас, опустив глаза. Нужно было поддерживать разговор, и я действительно стал рассказывать о ненцах, о северной природе и, между прочим, о том, как мы с доктором летали в Ванокан. Нина Капитоновна все интересовалась, высоко ли я летаю, – и это напомнило мне тети Дашино письмо, которое я получил еще в Балашовской школе: «Раз уж не судьба тебе, как все люди, ходить по земле, то прошу тебя, Санечка, летай пониже».

Я рассказал о том, как Миша Голомб стащил у меня письмо и как с тех пор, стоило мне надеть шлем, как со всего аэродрома неслись крики:

– Саня, летай пониже!

Тот же Миша организовал в школе комический журнал под названием: «Летай пониже». В журнале был специальный отдел «Техника полета в рисунках» с такими стихами:

Хорошо скользить, когда есть высота,

Плохо выравнивать на уровне крыши!

Саня, не нужно собой рисковать, –

Тетушка просит летать пониже.

Кажется, я довольно удачно рассказал эту историю, все смеялись, и громче всех Николай Антоныч. Он так и закатился! При этом он побледнел, – он всегда немного бледнел от смеха.

Катя почти не сидела за столом, все вставала и подолгу пропадала на кухне, и мне казалось, что она уходит, просто чтобы остаться одной и немного подумать: такое у нее было выражение, когда она возвращалась. В одну такую минуту она, вернувшись, зачем-то подошла к буфету с плетеной сахарницей в руках и, как видно, забыла, зачем подошла. Я посмотрел ей прямо в глаза, и она ответила мне озабоченным, недоумевающим взглядом.

---

<sup>182</sup> Торгпредство – торговое представительство СССР в иностранном государстве.

Должно быть, Николай Антоныч заметил, как мы обменялись взглядами. Тень легла на его лицо, и он стал говорить еще медленнее и круглее.

Потом пришел Ромашка. Нина Капитоновна открыла ему, и я слышал, как она сказала в передней с робким ехидством:

– А у нас гость!

Он довольно долго топтался в передней, – наверно, прихорашивался, – потом вошел и нисколько не удивился, увидев меня.

– А, вот что это за гость! – кисло улыбаясь, сказал он. – Рад, рад, очень рад. Очень рад. Видно было, как он рад. Вот я действительно был рад! Едва он вошел, я стал следить за каждым его движением. Я не спускал с него глаз. Что это за человек? Каков он стал? Как он относится к Николаю Антонычу, к Кате? Вот он подошел к ней, заговорил с ней, и каждое его движение, каждое слово были как бы маленькой загадкой для меня, которую я тут же разгадывал и снова и снова напряженно, внимательно следил за ним и думал о нем.

Теперь, когда я увидел их рядом – его и Катю, мне стало даже смешно: так он был ничтожен в сравнении с ней, так некрасив и мелок. Он очень уверенно заговорил с ней, и я отметил в уме: «Слишком уверенно». Он что-то шутливо сказал Нине Капитоновне – никто не улыбнулся, и я отметил в уме: «Даже Николай Антоныч».

Впрочем, они сейчас же заговорили о своих профессиональных делах – о защите какой-то диссертации, которую Николай Антоныч считал плохой, а Ромашка – хорошей.

Это было сделано, конечно, для того, чтобы подчеркнуть, что мое присутствие для них безразлично. Но мне это даже понравилось, потому что я мог теперь молча сидеть, смотреть на них, слушать и думать.

«Нет, – думал я, – это не прежний Ромашка, который как бы гордился тем, что Николай Антоныч распоряжался им беспрекословно. Он говорит с ним пренебрежительно, почти нагло, и Николай Антоныч отвечает морщась, устало, Это сложные отношения, и они очень не нравятся Николаю Антонычу. Я был прав. Это – не поручение. Он взял у Вышмиурского бумаги не для того, чтобы уничтожить их. Он сделал это, чтобы продать их Николаю Антонычу, – вот что на него похоже! И, должно быть, дорого взял. Или еще не продал, торгует».

Катя что-то спросила у меня, я ответил, Ромашка, слушая Николая Антоныча, посмотрел на нас с беспокойством, – и вдруг одна мысль медленно прошла среди других и как будто остановилась в стороне, дожидаясь, когда я подойду к ней поближе. Это была очень странная мысль, но вполне реальная для того, кто с детских лет знал Ромашова. Но сейчас я не мог останавливаться на ней, потому что она была страшная, и лучше было сейчас об этом не думать. Я только как бы взглянул на нее издалека. Потом Николай Антоныч с Ромашкой зачем-то пошли в кабинет, и мы остались со старушками, одна из которых ничего не слышала, а другая притворялась, что ничего не слышит.

– Катя, – негромко сказал я. – Завтра в семь часов тебя просил зайти Иван Павлыч. Ты придешь?

Она молча кивнула.

– Ничего, что я пришел? Мне очень хотелось тебя увидеть.

Она снова кивнула.

– И забудь, пожалуйста, об этом вечере третьего дня. Все не то и не так, и вообще считай, что мы еще не встречались.

Она смотрела на меня молча – и ничего не понимала.

## Глава 8

### Верен памяти

Что же это была за мысль? Я думал над нею весь вечер и не заметил, как заснул, а утром проснулся с таким чувством, как будто и не спал – все думал.

Так было весь день. С этой мыслью я поехал в Главсевморпуть, в Географическое общество, в редакцию одного полярного журнала. По временам я забывал о ней, но это было так, как будто я просто оставлял ее у подъезда, а потом выходил и встречался с ней, как со старой знакомой.

В шестом часу, усталый и раздраженный, я добрался до Кораблева. Он работал, когда я пришел, – проверял тетради. Две большие кипы лежали подле него на столе, и он сидел в очках и читал, держа наготове руку с пером и время от времени безжалостно подчеркивая ошибки. Не знаю, что это была за работа – на каникулах, когда школа закрыта. Но он и на каникулах умел находить работу.

– Иван Павлыч, вы работайте, а я немного посижу. Ладно? Устал.

И некоторое время мы сидели в полной тишине, прерываемой только скрипом пера да сердитым ворчанием Кораблева. Прежде я не замечал, чтобы он так сердито ворчал за работой.

– Ну, Саня, как дела?

– Иван Павлыч, я хочу задать вам один вопрос.

– Пожалуйста.

– Вы знаете, что у Вышимирского до последнего времени бывал Ромашов?

– Знаю.

– А вам известно, зачем он к нему приходил?

– Известно.

– Иван Павлыч, – сказал я с упреком. – Вот я вас опять не узнаю, честное слово! Вам была известна такая вещь, и вы мне ничего не сказали.

Кораблев серьезно посмотрел на меня. Он был очень серьезен в этот вечер – должно быть, немного волновался, поджидая Катю, и не хотел, чтобы я догадался об этом.

– Я тебе много чего не сказал, Саня, – возразил он. – Потому что ты, хотя теперь и пилот, а вдруг можешь взять, да и двинуть кого-нибудь ногой по морде.

– Когда это было! Иван Павлыч, дело в том, что мне пришла в голову одна мысль. Конечно, может быть, я ошибаюсь. Тем лучше, если я ошибаюсь.

– Вот видишь, ты уже волнуешься, – сказал Кораблев.

– Я не волнуюсь, Иван Павлыч. Вы не думаете, что Ромашка мог потребовать от него... мог сказать, что он будет молчать, если Николай Антоныч поможет ему жениться на Кате?

Кораблев ничего не ответил.

– Иван Павлыч! – заорал я.

– Волнуешься?

– Я не волнуюсь. Но я одного не могу понять: как же Катя-то могла позволить ему даже думать об этом? Ведь это же Катя!

Кораблев задумчиво прошелся по комнате. Он снял очки, и у него стало грустное лицо. Я заметил, что он несколько раз взглянул на портрет Марьи Васильевны, тот самый, где она снята с коралловой ниткой на шее, портрет, который по-прежнему стоял у него на столе.

– Да, Катя, – медленно сказал он. – Которой ты совершенно не знаешь.

Это была новость. Я не знаю Катю!

– Ты не знаешь, как она жила эти годы. А я знаю, потому что... интересовался, – быстро сказал Кораблев. – Тем более, что ею больше никто, кажется, особенно не интересовался.

Это было сказано обо мне.

– Она очень тосковала после смерти матери, – продолжал он. – И рядом с нею был один человек, который тосковал так же, как она, или, может быть, еще больше Ты знаешь, о ком я говорю.

Он говорил о Николае Антоныче.

– Очень опытный, очень сложный человек, – продолжал Кораблев. – Человек страшный. Но он действительно всю жизнь любил ее мать, всю жизнь – не так мало. И эта смерть очень сблизила их, – вот в чем дело.

Он стал закуривать, и у него немного дрожали пальцы, когда он чиркнул спичкой, а потом тихонько положил ее в пепельницу.

– И вот появился Ромашов, – продолжал он. – Должен тебе сказать, что ты и его не знаешь. Это – тоже Николай Антоныч, только в другом роде. Во-первых, он энергичен. Во-вторых, у него нет совсем никакой морали – ни плохой, ни хорошей. В-третьих, он способен на решительный шаг, то есть человек дела. И вот этот человек дела, который очень хорошо знает, что ему нужно, в один прекрасный день явился к своему учителю и другу и говорит ему: «Николай Антоныч, вообразите, оказывается, этот Григорьев был совершенно прав. Вы действительно обокрали экспедицию капитана Татаринова. Кроме того, за вами числятся еще разные штуки, о которых вы не упоминали в анкетах...» Нина Капитоновна слышала этот разговор. Она его не поняла и прибежала ко мне. Ну, а я – понял.

– Так, – сказал я. – Интересно.

Мы помолчали.

– Ну, а дальше что же? – продолжал Кораблев. – Можно судить по результатам. Ты знаешь Николая Антоныча – он действует не торопясь: вероятно, сперва это было сказано полушутя, между прочим. Потом все серьезнее, чаще.

– Иван Павлыч, но ведь он же все-таки ее не уговорил, верно?

– Саня, Саня, ты чудак! Если бы он ее уговорил, разве стал бы я тебе писать, чтобы ты приехал? Но кто знает! Быть может, он добился бы своего, в конце концов, как он добился...

Я понял, что он хотел сказать: «Как он добился того, что Марья Васильевна стала его женой».

Я не знал, оставаться мне или уйти, – было уже семь часов, и каждую минуту могла позвонить Катя. Мне было просто физически трудно уйти от него. Я молча смотрел, как он курит, опустив седую голову и вытянув длинные ноги, и думал о том, как он глубоко любил Марью Васильевну, и как ему не повезло, и как он верен ее памяти, – вот почему он так пристально следил все эти годы за Катиной жизнью.

Потом он спохватился и сказал, что мне лучше уйти.

– Без тебя мне будет удобнее говорить с нею.

Он проводил меня, и мы расстались до завтра.

Было еще совсем светло, когда я вышел на улицу; солнце заходило, отражаясь в окнах на другой стороне Садовой.

Я стоял у подъезда и смотрел вдоль улицы – оттуда должна была придти Катя. Должно быть, я довольно долго ждал, потому что окна стали темнеть по очереди, слева направо. Потом я увидел ее – и вовсе не там: она вышла из Оружейного переулка и стояла на тротуаре, дожидаясь, пока проедут машины. Мне стало почему-то страшно, когда я

увидел, как она переходит улицу, задумчивая, в том самом платье, в котором она была у Большого театра, и очень грустная. Теперь она была совсем близко, но она шла, опустив голову, и не видела меня. Впрочем, я и не хотел, чтобы она меня видела. Я мысленно пожелал ей бодрости и всего самого лучшего, что я только мог пожелать ей в эту минуту, и до самого подъезда проводил ее взглядом. Она исчезла в подъезде, но мысленно я шел за нею – я видел, как Иван Павлыч встречает ее, волнуясь и стараясь казаться совершенно спокойным, и как он долго, нервно вставляет папиросу в свой длинный мундштук<sup>183</sup>, прежде чем начать разговор...

Теперь окна стали быстро темнеть, и красноватый отсвет держался только в двух крайних окнах крайнего дома, выходящего на Оружейный; в этом доме, когда я учился, был художественный подотдел Московского Совета.

Было только восемь часов, и мне не хотелось идти домой. Я долго сидел в садике какого-то дома; из этого садика был виден подъезд нашей школы. Несколько раз я заходил во двор, чтобы посмотреть, не зажегся ли уже свет в квартире Кораблева. Но они говорили в сумерках – Иван Павлыч говорил, а Катя слушала и молчала.

Другой разговор представился мне, когда я смотрел на эти темные окна: так же вдруг вставал и начинал расхаживать по комнате Кораблев, сложив руки на груди, не находя себе места. И Марья Васильевна сидела выпрямившись, с неподвижным лицом и иногда поправляла узкой рукой прическу: «Монтигемо Ястребиный Коготь, я его когда-то так называла». Уже не бледная, а какая-то белая, она сидела перед нами и все курила, везде был пепел – и у нее на коленях. Она была неподвижна, спокойна, только иногда слабо потягивала широкую коралловую нитку на шее, точно эта нитка ее душила. Они боялись правды, потому что не в силах была ее перенести. А Катя не боится правды, и все будет хорошо, когда она узнает ее.

...Давно уже горел свет, и на шторе я видел длинный черный силуэт Кораблева. Потом Катя появилась рядом с ним, но скоро ушла, как будто сказала только одну длинную фразу.

Теперь на улице совсем стемнело, и это было прекрасно, потому что стало, наконец, неудобно, что я так долго сижу в этом садике и время от времени хожу смотреть на окна.

И вдруг Катя вышла из подъезда одна и медленно пошла по Садовой.

Без сомнения, она шла домой. Но, как видно, она не очень-то торопилась домой, у нее было о чем подумать, прежде чем вернуться домой. Она шла и думала, и я шел за ней, и это было так, как будто мы одни шли в огромном городе, совершенно одни – Катя и я за ней, но она меня не видала. Трамваи оглушительно звенели, подлетая к площади, ревели перед красным огнем светофора машины, и мне казалось, что очень трудно думать, когда вокруг такой дьявольский шум, – еще не то придумаешь, не то, что нужно! Не то, что так нужно и мне, и ей, и капитану, если бы он был жив, Марье Васильевне, если бы она была жива, – всем живым и мертвым.

## Глава 9

### Все решено. Она уезжает

В номере давно уже было совершенно светло, но я забыл погасить лампу и, должно быть, поэтому казался себе в зеркале немного бледным. Мне было холодно, и на спине

---

<sup>183</sup> Мундштук – небольшая полая трубочка из кости, янтаря, серебра, дерева или других материалов, в которую вставляют папиросу.

то появлялась, то проходила «гусиная кожа». Я снял трубку. Долго не отвечали. Наконец ответили, и я узнал Катин голос.

– Катя. Это я. Ничего, что так рано?

Она сказала, что ничего, хотя еще только пробило восемь.

– Не разбудил?

– Нет.

Я не спал эту ночь и был уверен, что и она не спала ни минуты.

– Катя, можно мне приехать?

Она помолчала.

– Приезжай.

Совершенно незнакомая девушка, довольно толстая, с белокурыми косами вокруг головы, открыла мне и покраснела, когда я спросил:

– Катя дома?

– Дома.

Я рванулся куда-то, сам не знаю, куда, в общем – к Кате, но эта девушка закрыла дверь перед моим носом и сказала насмешливо:

– Что вы, товарищ командир! Не так скоро.

Потом она захохотала – и так оглушительно, и так без всякого повода, что тут уже не узнать ее было невозможно.

– Кирен!

Катя вышла из столовой, как раз когда мы шагнули друг к другу через какие-то чемоданы и чуть было не обнялись с разбегу, но Кирен застенчиво попятилась, и пришлось просто пожать ей руку.

– Кирен, да вы ли это? Откуда?

– Она самая, – хохоча, сказала Кирен. – Только, пожалуйста, не называйте меня Кирен. Я теперь уже не такая дура.

И мы снова стали усердно трясти друг другу руки... Должно быть, она ночевала у Кати, потому что на ней был Катин халат, от которого все время отлетали пуговицы, пока мы укладывали вещи. Два открытых чемодана стояли в передней, потом в столовой, и мы укладывали в эти чемоданы белье, книги, какие-то приборы, – словом, все, что было Катина в этом доме. Она уезжает. Куда? Я не спрашивал. Она уезжает. Все решено. Она уезжает.

Я не спрашивал, потому что я и так знал каждое слово ее разговора с Кораблевым и каждое слово, которое она сказала Николаю Антонычу, когда вернулась домой.

Николая Антоныча не было в городе, – кажется, он был где-то в области, в Волоколамске, но все равно я знал каждое слово, которое она сказала бы ему, если бы, вернувшись от Кораблева, она нашла его дома.

Решительная, бледная, она ходила, громко разговаривала, распоряжалась, Но это было спокойствие потрясенного человека, и я чувствовал, что сейчас не нужно говорить ни о чем. Я только крепко пожал ее руки и поцеловал их, и она в ответ тихонько сжала мои пальцы.

Но вот кто действительно растерялся – старушка. Она сурово встретила меня, только кивнула и гордо прошла мимо. Потом вдруг вернулась и с мстительным видом сунула в чемодан какую-то блузку.

– И очень хорошо. А что же? Так и нужно.

Она долго сидела в столовой и ничего не делала, только критиковала нашу укладку, а потом сорвалась и как ни в чем не бывало, побежала на кухню ругать домработницу за то, что та чего-то там мало купила.

– Я ей тыщу раз говорила: видишь ливер – бери, – сказала она мне, вернувшись, – видишь заднюю часть хорошую – бери. «Да как же так, да я без вас не знаю». А что тут знать? Нерешительная. Я таких терпеть не могу.

– Бабушка, ничего не нужно, – сказала Катя.

– Не нужно? Как это так? Взяла бы.

Потом материальные заботы оставляли ее, и она начинала вздыхать и украдкой пить у буфета лавровишневые капли. Время от времени она забегала куда-нибудь, где никого не было, и уговаривала себя не волноваться. Но недолго действовали на нее эти самоуговоры – и снова нужно было бежать к буфету и украдкой пить лавровишневые капли...

Не много времени понадобилось нам, чтобы уложить Катини вещи. У нее было мало вещей, хотя она уезжала из дому, в котором провела почти всю свою жизнь. Все здесь принадлежало Николаю Антонычу. Но зато из своих вещей она ничего не оставила, – она не хотела, чтобы хоть одна какая-нибудь забытая мелочь могла ей напомнить о том, что она жила в этом доме.

Она уезжала отсюда вся – со всей своей юностью, со своими письмами, со своими первыми рисунками, которые хранились у Марьи Васильевны, с «Еленой Робинзон» и «Столетием открытий», которое я брал у нее в третьем классе.

В девятом классе я брал у нее другие книги, и, когда дошла очередь и до них, она позвала меня к себе и прикрыла дверь.

– Саня, я хочу подарить тебе эти книги, – сказала она немного дрожащим голосом. – Это папины, я всегда очень берегла их. Но теперь мне хочется подарить их тебе. Здесь Нансен, потом разные лоции и его собственная.

Потом она провела меня в кабинет Николая Антоныча и сняла со стены портрет капитана – прекрасный портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и светлыми живыми глазами.

– Не хочу оставлять ему, – сказала она твердо, и я унес портрет в столовую и бережно упаковал его в тюк с подушками и одеялом.

Это была единственная вещь, принадлежавшая Николаю Антонычу, которую Катя увозила с собой. Если бы она могла, она увезла бы самую память о капитане из этого подлого дома.

Не знаю, кому принадлежал маленький морской компас, который когда-то так поразил меня, – тайком от Кати я сунул и его в чемодан. Во всяком случае, он принадлежал капитану.

Вот и все. Вероятно, это было самое пустынное место на свете, когда, уложив вещи и взяв в руки пальто, мы прощались с Ниной Капитоновной в передней. Она оставалась, но ненадолго – пока Катя не переедет в комнату, которую ей предлагал институт.

– Ненадолго, – торжественно сказала старушка, заплакала и поцеловала Катю.

Кира споткнулась на лестнице, села на чемодан, чтобы не скатиться, и захохотала. Катя сердито сказала ей: «Кирка, дура!» А я шел за ними, и мне казалось, что я вижу, как Николай Антоныч поднимается по этой лестнице, звонит и молча слушает, что говорит ему старушка. Дрожащей рукой он проводит по лысой голове и идет в свой кабинет, механически переставляя ноги, как будто боится упасть. Один в пустом доме.

И он догадывается, что Катя не вернется никогда.

## Глава 10

### На Сивцевом Вражке

До сих пор это был самый обыкновенный кривой московский переулок, вроде Собачьей Площадки, на которой когд-то жил Петька. Но вот Катя переехала на Сивцев Вражек – и с тех пор он удивительно переменялся. Он стал именно тем переулком, в котором жила Катя и который поэтому был ничуть не похож на все другие московские переулки. И самое название, которое всегда казалось мне смешным, теперь стало значительным и каким-то «Катиным», как все, что было связано с нею...

Каждый день я приходил на Сивцев Вражек. Кати с Кирой еще не было дома, и меня встречала и занимала разговорами Кирина мама. Это была чудная мама, артистка-декламаторша, выступавшая в московских клубах с чтением классических произведений, маленькая, сидящая и романтическая – не то, что Кира. Обо всем она говорила как-то восторженно, и сразу было видно, что она обожает литературу. Это тоже было не очень похоже на Киру, особенно если вспомнить, с каким трудом она когда-то одолела «Дубровского» и как была убеждена, что в конце концов «Маша за него вышла».

С этой мамой мы разговаривали иной раз часа по два, к сожалению, все о какой-то Варваре Рабинович, тоже декламаторше, но знаменитой, у которой Кирина мама собиралась брать уроки, но раздумала, потому что эта Варвара приняла ее с «задранным носом».

Потом являлась Кира – и каждый раз говорила одно и то же:

– Ай-ай-ай, опять одни, в темноте. Интересно, интересно... Саня, я просто дрожу за мать, – говорила она трагически. – Она в тебя влюбилась. Мамочка, что с тобой? Такое увлечение на старости лет! Боюсь, что это может кончиться плохо.

И, как всегда, мама обижалась и уходила на кухню, а Кира топала за ней – объясняться и целоваться.

Потом приходила Катя. Иван Павлыч был прав – я не знал ее. И дело вовсе не в том, что я не знал многих фактов ее жизни, – например, что в прошлом году ее партия (она работала начальником партии) нашла богатое золотое месторождение на Южном Урале или что на выставке фотолюбителей ее снимки заняли первое место. Я не знал ее душевной твердости, ее прямодушия, ее справедливого, умного отношения к жизни – всего, что Кораблев так хорошо назвал «нелегкомысленной, серьезной душой». Мне казалось, что она гораздо старше меня, – особенно, когда она начинала говорить об искусстве, от которого я здорово отстал за последние годы. Но вдруг в ней показывалась прежняя Катька, увлекавшаяся взрывами и глубоко потрясенная тем, что «сопровождается добрыми пожеланиями тлаксканцев, Фердинанд Кортес<sup>184</sup> отправился в поход и через несколько дней вступил в Гонолулу». О Фердинанде Кортесе я вспомнил, увидев на одном фото Катю верхом, в мужских штанах и сапогах, с карабином через плечо, в широкополой шляпе. Геолог-разведчик! Капитан был бы доволен, увидев это фото.

Так прошло несколько дней, а мы еще не говорили о том, что произошло после нашей последней встречи, хотя произошло так много, что разговоров об этом могло бы, кажется, хватить на целую жизнь. Мы как будто чувствовали, что нужно сначала хорошенько вспомнить друг друга. Ни слова о Николае Антоныче, о Ромашове, о том, что я виноват перед ней. Но это было не так-то легко, потому что почти каждый вечер на Сивцев Вражек приходила старушка.

---

<sup>184</sup> Фердинанд Кортес (Фернандо Кортеса) (1485–1547) – испанский конкистадор, завоевавший Мексику и уничтоживший государственность ацтеков.



Сперва она приходила торжественная, церемонная, в платье с буфами<sup>185</sup> и все рассказывала истории – это было, когда Николай Антоныч еще не вернулся. Так, она рассказала о своей подруге, которая вышла замуж за «попа-стрижака», и как поп нажился, а потом вышел на амвон<sup>186</sup> и говорит: «Граждане, я пришел к убеждению, что бога нет». Не знаю, к чему это было рассказано, – должно быть, старушка находила между этим попом и Николаем Антонычем какое-то сходство.

Но вот однажды она прибежала расстроенная и сказала громким шепотом: «Приехал». И сейчас же заперлась с Катей. Уходя, она сказала сердито:

– Нужно тактику иметь – жить с людьми.

Но Катя ничего не ответила, только молча, задумчиво поцеловала ее на прощанье.

Назавтра старушка пришла заплаканная, усталая, с зонтиком и села в передней.

– Заболел, – сказала она. – Доктора к нему позвала. Гомеопата. А он его прогнал.

Говорит: «Я ей отдал всю жизнь, и вот благодарность».

Она всхлипнула.

– «Это последнее, что держало меня в жизни. Теперь – конец». В этом роде.

Очевидно, это был еще не конец, потому что Николай Антоныч поправился, хотя сильный сердечный припадок действительно уложил его на несколько дней в постель.

Он звал Катю. Но она не пошла к нему. Я слышал, как она сказала Нине Капитоновне:

– Бабушка, больного или здорового, живого или мертвого, я не хочу его видеть. Ты поняла?

– Поняла, – отвечала Нина Капитоновна. – Вот и отец ее такой был, – уходя, жаловалась она Кириной маме. – Как переломит ее – у-у. Хоть под поезд бросай! Фанатичная<sup>187</sup>.

Но Николай Антоныч поправился, и старушка повеселела. Теперь она забегала иногда по два раза в день – и таким образом у нас все время были самые свежие новости о Николае Антоныче и Ромашке. Впрочем, о Ромашке однажды упомянула и Катя.

– Он заходил ко мне на службу, – кратко сказала она, – но я попросила передать, что у меня нет времени и никогда не будет.

– ... Письмо пишут, – однажды сообщила старушка. Все летчик Г., летчик Г. Донос, поди. И этот просто из себя выходит, – попович-то. А Николай Антоныч молчит. Распух весь, сидит и молчит. В шали моей сидит...

Несколько раз на Сивцев Вражек приходил Валя, и тогда все бросали свои дела и разговоры и смотрели, как он ухаживает за Кирой. И он действительно ухаживал за ней по всем правилам и в полной уверенности, что об этом никто не подозревает.

Он приносил Кире цветы в горшках – всегда одни и те же, так что ее комната превратилась в маленький питомник чайных роз и примул. Меня и Катю он видел, очевидно, в каком-то полусне, а наяву только Киру и иногда Кирину маму, которой он тоже делал подарки, – так, однажды он принес ей «Чтец-декламатор» издания 1917 года.

Время от времени он просыпался и рассказывал какую-нибудь забавную историю из жизни тушканчиков или летучих мышей.

Хорошо, что Кире не много нужно было, чтобы рассмеяться...

---

<sup>185</sup> Буфы – собранные в пышные сборки части одежды (на рукавах, юбках).

<sup>186</sup> Амвон – в православной церкви возвышение перед алтарем, с которого произносятся проповеди, читается Евангелие.

<sup>187</sup> Фанатичный – человек, который имеет преувеличенное (чрезмерное) влечение к определенному предмету, одержимый какой-либо идеей.

Так проходили эти вечера на Сивцевом Вражке – последние вечера перед моим возвращением на Север.

У меня было много хлопот: нельзя сказать, что мое предложение организовать поиски экспедиции капитана Татаринова было встречено с восторгом; или я бестолково взялся за дело?

Я написал несколько статей: о моем способе крепления самолета во время пурги – в журнал «Гражданская авиация», о дневниках штурмана – для «Правды» и докладную записку – в Главсевморпуть. Через несколько дней, как раз накануне отъезда, я должен был выступить со своим основным сводным докладом о дрейфе «Св. Марии» на выездной сессии Географического общества.

Очень веселый, я однажды вернулся к себе в первом часу ночи. Я подошел к портю за ключом, и он сказал:

– Вам письмо.

И дал мне письмо и газету.

Письмо было очень краткое: секретарь Географического общества извещал меня, что мой доклад не может состояться, так как я своевременно не представил его в письменном виде. Газета, только что я взял ее в руки, сама развернулась на сгибе.

Статья называлась: «В защиту ученого». Я начал ее читать, и строчки слились перед моими глазами...

## Глава 11

### День хлопот

Вот что было написано в этой статье:

1. Что в Москве живет известный педагог и общественник, профессор Н. А. Татаринов, автор ряда статей по истории завоевания и освоения Арктики.
2. Что некий летчик Г. ходит по разным полярным учреждениям и всячески чернит этого уважаемого ученого, утверждая, что профессор Татаринов обокрал (!) экспедицию своего двоюродного брата капитана И. Л. Татаринова.
3. Что этот летчик Г. собирается даже выступить с соответствующим докладом, считая, очевидно, свою клевету крупным научным достижением.
4. Что Управлению Главсевморпути следовало бы обратить внимание на этого человека, позорящего своими действиями семью советских полярников.

Статья была подписана «И. Крылов», и я удивился, как у редакции хватило совести подписывать такую статью именем великого человека. Я не сомневался, что Николай Антоныч сам написал ее, – это и было то «письмо», о котором говорила старушка. Газета была прислана почтой на мое имя.

«Черт возьми, а если это не он? – Был уже третий час, а я все ходил и думал. – Вот письмо из Географического общества – это, без сомнения, он. Еще Кораблев говорил, что Николай Антоныч состоит членом этого общества, и ругал меня за то, что я рассказал о своем докладе Ромашке. Но и статья – это он! Он растерялся. Катя уехала, и он растерялся».

И мне представилось, как он сидит в старушкиной шали и молчит, а Ромашка грубит ему. Это было очень возможно!

«...Меньше всего следовало бы им желать, чтобы меня вызвали в Главсевморпуть и потребовали объяснений! Только этого я и добиваюсь». Я думал об этом уже лежа в

постели. «Позорящего своими действиями...» Какими действиями? Еще ни с кем я не говорил о нем. Они надеются, что я отступлю, испугаюсь...

Очень может быть, что если бы не эта статья, я так и уехал бы из Москвы, почти ничего не сделав для капитана. Но статья подстегнула меня. Теперь я должен был действовать – и чем скорее, тем лучше.

Не следует думать, что я был так же спокоен, как теперь, когда вспоминаю об этом. Несколько раз я ловил себя на довольно диких мыслях, в которых, между прочим, прекрасно разбирается уголовный розыск. Но стоило мне вспомнить Катю и ее слова: «Больного или здорового, живого или мертвого, я не хочу его видеть», как все становилось на место, и я сам удивлялся спокойствию, с которым говорил и действовал в этот хлопотливый день.

С утра был намечен план – очень простой, но, пожалуй, по этому плану видно, что мне уже надоело разговаривать с делопроизводителями и секретарями.

1. Поехать в «Правду». Все равно, мне нужно было в «Правду», потому что я должен был перед отъездом сдать обещанную статью.

2. Поехать к Ч.

Эта мысль – поехать к Ч., к знаменитому Ч., который был когда-то героем Ленинградской школы, а потом стал Героем Советского Союза, которого знает и любит вся страна, – была у меня еще ночью, но тогда она показалась мне слишком смелой. Удобно ли звонить ему? Помнит ли он меня? Ведь мы расстались, когда я был учлетом! Но теперь я решился – что же, он не откажется принять меня, даже если не помнит! Не знаю, кто подошел к телефону, должно быть жена.

– Это говорит летчик Григорьев.

– Да.

– Дело в том, что мне очень нужно повидать товарища Ч., – я назвал его по имени и отчеству. – Я приехал из Заполярья и вот... очень нужно.

– А вы заходите.

– Когда?

– Лучше сегодня, он в десять часов приедет с аэродрома...

Я приехал в «Правду» и на этот раз часа два ждал своего журналиста. Наконец он пришел.

– А, летчик Г.? – сказал он довольно приветливо. – Который позорит?

– Он самый.

– Что же так?

– Позвольте объясниться, – сказал я спокойно.

Это был очень серьезный разговор в кабинете ответственного редактора, разговор, во время которого на стол по очереди были положены:

а) Последнее письмо капитана (копия).

б) Письмо штурмана, которое начиналось словами: «Спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров» (копия).

в) Дневники штурмана.

г) Заверенная доктором запись рассказа охотника Ивана Вылки.

д) Заверенная Кораблевым запись рассказа Вышмиурского.

е) Фотоснимок латунного багра с надписью «Шхуна “Св. Мария”».

Кажется, это был удачный разговор, потому что один серьезный человек крепко пожал мне руку, а другой сказал, что в одном из ближайших номеров «Правды» будет напечатана моя статья о дрейфе «Св. Марии».

От «Правды» до квартиры Ч. по меньшей мере, шесть километров, но только на полпути я вспоминаю, что можно было воспользоваться трамваем. Я лечу, как сумасшедший, и думаю о том, как я сейчас расскажу ему об этом разговоре в «Правде». И вот я поднимаюсь по лестнице, по чистой лестнице нового дома, останавливаюсь перед дверью и вытираю лицо – очень жарко – и стараюсь медленно думать о чем-нибудь – верное средство перестать волноваться.

Дверь открывается, я называю себя и слышу из соседней комнаты его низкий окаяющий голос:

– Ко мне?

И вот этот человек, которого мы полюбили в юности и с каждым годом, не видя его в глаза, только слыша о его гениальных полетах, с каждым годом любили все больше, выходит ко мне и протягивает сильную руку.

– Товарищ Ч., – говорю я и называю его по имени и отчеству, – едва ли вы помните меня. Это говорит Григорьев. То есть не говорит, а просто Григорьев. Мы встречались в Ленинграде, когда я был учлетом.

Он молчит. Потом говорит с удовольствием:

– Ну как же! Орел был! Помню!

И мы идем в его кабинет, и я начинаю свой рассказ, волнуясь еще больше, потому что оказалось, что он меня помнит...

Это была та самая встреча с Ч., когда он подарил мне свой портрет с надписью: «Если быть – так быть лучшим». Он сказал, что я из той породы, «у которых билет дальнего следования». Он выслушал меня и сказал, что завтра же будет звонить начальнику Главсевморпути о моем проекте.

## **Глава 12**

### **Ромашка**

В двенадцатом часу ночи я простился с Ч. и вернулся к себе. Поздний час для гостей. Но меня ждал гость – правда, непрошенный, но все-таки гость.

Портье<sup>188</sup> сказал:

– К вам.

И навстречу мне поднялся Ромашка.

Нужно полагать, что он не только душой, но и телом приготовился к этому визиту, потому что таким роскошным я его еще не видел. Он был в каком-то широком пальто стального цвета и в мягкой шляпе, которая не сидела, а стояла на его большой неправильной голове. От него пахло одеколоном.

– А, Ромашка, – сказал я весело. – Здравствуй, Сова!

Кажется, он был потрясен таким приветствием.

– А, да, Сова, – улыбаясь, сказал он. – Я совсем забыл, что так меня называли в школе. Но удивительно, как ты помнишь эти школьные прозвища!

Он тоже старался говорить в непринужденном духе.

– Я, брат, все помню. Ты ко мне?

---

<sup>188</sup> Портье – служащий, ведающий хранением ключей, приемом почты и иным обслуживанием в вестибюле гостиницы.

– Если ты не занят.

– Ничуть, – сказал я. – Абсолютно свободен.

В лифте он все время внимательно смотрел на меня: как видно, прикидывал, не пьян ли я и, если пьян, какую выгоду можно извлечь из этого дела. Но я не был пьян – был выпит только один стакан вина за здоровье великого летчика и моего старшего друга...

– Вот ты где живешь, – заметил он, когда я вежливо предложил ему кресло. – Хороший номер.

– Ничего.

Я ждал, что сейчас он спросит, сколько я плачу за номер. Но он не спросил.

– Вообще это хорошая гостиница, – сказал он, – не хуже «Метрополя».

– Пожалуй.

Он надеялся, что я первый начну разговор. Но я сидел, положив ногу на ногу, курил и с глубоким вниманием изучал «Правила для приезжающих», лежавшие под стеклом, которым был покрыт письменный стол. Тогда он вздохнул довольно откровенно и начал.

– Саня, нам нужно поговорить об очень многих вещах, – сказал он серьезно. – И мы, кажется, достаточно культурные люди, чтобы обсудить и решить все это мирным путем. Не так ли?

Очевидно, он еще не забыл, как я однажды решил «все это» не очень мирным путем. Но с каждым словом голос его становился тверже.

– Я не знаю, какие непосредственные причины побудили Катю внезапно уехать из дому, но я вправе спросить: не связаны ли эти причины с твоим появлением?

– А ты бы спросил об этом у Кати, – отвечал я спокойно.

Он замолчал. У него запылали уши, а глаза вдруг стали бешеные, лоб разгладился. Я смотрел на него с интересом.

– Однако мне известно, – начал он снова немного сдавленным голосом, – что она уехала с тобою.

– Совершенно верно. Я даже помогал ей укладывать вещи.

– Так, – сказал он хрипло. Один глаз у него теперь был почти закрыт, а другим он косил – довольно страшная картина. Таким я видел его впервые.

– Так, – снова повторил он.

– Да, так.

– Да.

– Мы помолчали.

– Послушай, – начал он снова. – Мы с тобой не договорили тогда на юбилее Кораблева. Должен тебе сказать, что в общих чертах я знаю эту историю с экспедицией «Святой Марии». Я тоже интересовался ею так же, как и ты, но, пожалуй, с несколько иной точки зрения.

Я ничего не ответил. Мне была известна эта точка зрения.

– Между прочим, тебе, кажется, хотелось узнать, какую роль играл в этой экспедиции Николай Антоныч. По крайней мере, так я мог судить по нашему разговору.

Он мог судить об этом не только по нашему разговору. Но я не возражал ему. Я еще не понимал, куда он клонит.

– Думаю, что могу оказать тебе в этом деле серьезную услугу.

– В самом деле?

– Да.

Он вдруг бросился ко мне, и я инстинктивно вскочил и стал за кресло.

– Послушай, послушай, – пробормотал он, – я знаю о нем такие вещи! Я знаю такую штуку! У меня есть доказательства, от которых ему не поздоровится, если только умеючи взяться за дело. Ты думаешь – он кто?

Три раза он повторил эту фразу, придвинувшись ко мне почти вплотную, так что мне пришлось взять его за плечи и слегка отодвинуть. Но он этого даже не заметил.

– Такие штуки, о которых он сам забыл, – продолжал Ромашка. – В бумагах.

Конечно, он говорил о бумагах, взятых им у Вышимирского.

– Я знаю, отчего вы поссорились. Ты говорил, что он обокрал экспедицию, и он тебя выгнал. Но это – правда. Ты оказался прав.

Второй раз я слышал это признание, но теперь оно доставило мне мало удовольствия. Я только сказал с притворным изумлением:

– Да что ты?

– Это он! – с каким-то подлым упоением повторил Ромашка. – Я помогу тебе. Я тебе все отдам, все доказательства. Он у нас полетит вверх ногами.

Нужно было промолчать, но я не удержался и спросил:

– За сколько?

Он опомнился.

– Ты можешь принять это как угодно, – сказал он. – Но я тебя прошу только об одном: чтобы ты уехал.

– Один?

– Да.

– Без Кати?

– Да.

– Интересно. То есть, иными словами, ты просишь, чтобы я от нее отступился?

– Я люблю ее, – сказал он почти надменно.

– Ага, ты ее любишь! Это интересно. И чтобы мы не переписывались, не правда ли?

Он молчал.

– Подожди-ка минутку, я сейчас вернусь, – сказал я и вышел.

Заведующая этажом сидела у столика в вестибюле; я попросил у нее разрешения позвонить по телефону и, пока разговаривал, все время смотрел вдоль коридора, не ушел ли Ромашка. Но он не ушел – едва ли ему могло придти в голову, кому я звоню по телефону.

– Николай Антоныч? Это говорит Григорьев. – Он переспросил. Наверно, решил, что ослышался. – Николай Антоныч, – сказал я вежливо, – извините, что я так поздно беспокою вас. Дело в том, что мне необходимо вас видеть.

Он молчал.

– В таком случае, приезжайте ко мне, – наконец сказал он.

– Николай Антоныч! Как говорится, не будем считаться визитами. Поверьте мне, это очень важно, и не столько для меня, как для вас.

Он молчал, и мне было слышно его дыхание.

– Когда? Сегодня я не приеду.

– Нет, именно сегодня. Сейчас. Николай Антоныч, – сказал я громко, – поверьте мне хоть один раз в жизни. Вы приедете. Я вешаю трубку.

Он не спросил, в каком номере я остановился, и это было, между прочим, лишним подтверждением, что газету со статьей «В защиту ученого» прислал именно он. Но сейчас мне было не до таких мелочей. Я вернулся к Ромашке.

Не запомню, когда еще я так врал и изворачивался, как в эти двадцать минут, пока не приехал Николай Антоныч. Я притворился, что мне совсем не интересно, кем прежде был Николай Антоныч, расспрашивал, что это за бумаги, и уверял гнусавым от хитрости голосом, что не могу уехать без Кати. Но вот в дверь постучали, я крикнул:

– Войдите!

И Николай Антоныч вошел и, не кланяясь, остановился у порога.

– Здравствуйте, Николай Антоныч! – сказал я.

Я не смотрел на Ромашку, потом посмотрел: он сидел на краешке стула, втянув голову в плечи, и беспокойно прислушивался – настоящая сова, но страшнее.

– Вот, Николай Антоныч, – продолжал я очень спокойно, – вам, без сомнения, известен этот гражданин. Это некто Ромашов, ваш любимый ученик и ассистент и без пяти минут родственник, если я не ошибаюсь. Я пригласил вас, чтобы передать в общих чертах содержание нашего разговора.

Николай Антоныч все стоял у порога – очень прямой, удивительно прямой, в пальто и со шляпой в руке. Потом он уронил шляпу.

– Этот Ромашов, – продолжал я, – явился ко мне часа полтора тому назад и предложил следующее: он предложил мне воспользоваться доказательствами, из которых следует: во-первых, что вы обокрали экспедицию капитана Татаринова, а во-вторых, еще разные штуки, касающиеся вашего прошлого, о которых вы не упоминаете в анкетах.

Вот тут он уронил шляпу.

– У меня создалось впечатление, – продолжал я, – что этот товар он продает уже не в первый раз. Не знаю, может быть, я ошибаюсь.

– Николай Антоныч! – вдруг закричал Ромашка. – Это все ложь. Не верьте ему. Он врет.

Я подождал, пока он перестанет кричать.

– Конечно, теперь это, в сущности, все равно, – продолжал я, – теперь это дело только ваших отношений. Но вы сознательно...

Я давно чувствовал, что на щеке прыгает какая-то жилка, и это мне не нравилось, потому что я дал себе слово разговаривать с ними совершенно спокойно.

– Но вы сознательно шли на то, что этот человек может стать Катиным мужем. Вы уговаривали ее – из подлости, конечно, – потому что вы его испугались. А теперь он же приходит ко мне и кричит: «Он у нас полетит вверх ногами».

Как будто очнувшись, Николай Антоныч сделал шаг вперед и уставился на Ромашку. Он смотрел на него долго, так долго, что даже и мне трудно было выдержать эту напряженную тишину.

– Николай Антоныч, – снова жалостно пробормотал Ромашка.

Николай Антоныч все смотрел. Но вот он заговорил, и я поразился: у него был надорванный, старческий голос.

– Зачем вы пригласили меня сюда? – спросил он. – Я болен, мне трудно говорить. Вы хотели уверить меня, что он негодяй. Это для меня не новость. Вы хотели снова уничтожить меня, но вы не в силах сделать больше того, что уже сделали – и непоправимо. – Он глубоко вздохнул. Действительно, я видел, что говорить ему было трудно.

– На ее суд, – продолжал он так же тихо, но уже с другим, ожесточенным выражением, – отдаю я тот поступок, который она совершила, уйдя и не сказав мне ни слова, поверив подлой клевете, которая преследует меня всю жизнь.

Я молчал. Ромашка дрожащей рукой налил стакан воды и поднес ему.

– Николай Антоныч, – пробормотал он, – вам нельзя волноваться.

Но Николай Антоныч с силой отвел его руку, и вода пролилась на ковер.

– Не принимаю, – сказал он и вдруг сорвал с себя очки и стал мять их в пальцах. – Не принимаю ни упреков, ни сожаления. Ее дело. Ее личная судьба. А я одного ей желал: счастья. Но память о брате я никому не отдам, – сказал он хрипло, и у него стало угрюмое, одутловатое<sup>189</sup> лицо с толстыми губами. – Я, может быть, рад был бы поплатиться и этим страданием – уж пускай до смерти, потому что мне жизнь давно не нужна. Но не было этого, и я отвергаю эти страшные, позорные обвинения. И хоть не

---

<sup>189</sup> Одутловатый – обрюзгший, кажущийся опухшим.

одного, а тысячу ложных свидетелей приведите, – все равно никто не поверит, что я убил этого человека с его мыслями великими, с его великой душой.

Я хотел напомнить Николаю Антонычу, что он не всегда был такого высокого мнения о своем брате, но он не дал мне заговорить.

– Только одного свидетеля я признаю, – продолжал он, – его самого, Ивана. Он один может обвинить меня, и если бы я был виноват, он один бы имел на это право.

Николай Антоныч заплакал. Он порезал пальцы очками и стал долго вынимать носовой платок. Ромашка подскочил и помог ему, но Николай Антоныч снова отстранил его руки.

– Здесь бы и мертвый, кажется, заговорил, – сказал он и, болезненно, часто дыша потянулся за шляпой.

– Николай Антоныч, – сказал я очень спокойно, – не думайте, что я намерен отдать всю жизнь, чтобы убедить человечество в том, что вы виноваты. Для меня это давно ясно, а теперь и не только для меня. Я пригласил вас не для этого разговора. Просто я считал своим долгом раскрыть перед вами истинное лицо этого прохвоста. Мне не нужно то, что он сообщил о вас, – больше того, я давно знаю все это. Хотите ли вы сказать ему что-нибудь?

Николай Антоныч молчал.

– Ну, тогда пошел вон! – сказал я Ромашке.

Он бросился было к Николаю Антонычу и стал ему что-то шептать. Но, как бесчувственный, стоял, глядя прямо перед собой, Николай Антоныч. Только теперь я заметил, как он постарел за эти дни, как был удручен и жалок. Но я не жалел его, – только этого еще не хватало.

– Вон! – снова сказал я Ромашке.

Он не уходил, все шептал. Потом он подхватил Николая Антоныча под руку и повел его к двери. Это было неожиданно – тем более, что я выгонял именно Ромашку, а не Николая Антоныча, которого сам же и пригласил. Мне хотелось еще спросить у него, кто написал статью «В защиту ученого» – И. Крылов не потомок ли баснописца? Но я опоздал, – они уже уходили.

Кажется, я все-таки не поссорил их. Они медленно шли под руку вдоль длинного коридора, и только на одну минуту Николай Антоныч остановился. Он стал рвать волосы. У него не было волос, но на пальцах оставался детский пух, на который он смотрел с мучительным изумлением. Ромашка придержал его за руки, почистил его пальто, и они степенно пошли дальше, пока не скрылись за поворотом.

Накануне отъезда Ч. позвонил мне и сказал, что он говорил с начальником Главсевморпути и сам прочитал ему мою докладную записку. Ответ положительный. В этом году уже поздно посылать экспедицию, но в будущем году – вполне вероятно. Проект разработан убедительно, подробно, но маршрутная часть нуждается в уточнении. Историческая часть весьма интересна. Буду вызван, извещение получу дополнительно.

Весь этот день я провел в магазинах: мне хотелось подарить что-нибудь Кате, мы опять расставались. Это было нелегкое дело. Бабу на чайник? Но у нее не было чайника. Платье? Но я никогда не мог отличить креп-сатэна от фай-дешина<sup>190</sup>. Лейку?<sup>191</sup> Лейка была бы ей очень нужна, но на лейку не хватало денег.

Без сомнения, я так бы ничего и не купил, если бы не встретил на Арбате Валю. Он стоял у окна книжного магазина и думал – прежде я бы безошибочно определил: о зверях. Но теперь у него был еще один предмет для размышлений.

---

<sup>190</sup> Виды материи.

<sup>191</sup> Лейка – фотоаппараты, выпускаемые одноименной немецкой компанией «Leica».



– Валя, – сказал я. – Вот что. У тебя есть деньги?  
– Есть.  
– Сколько?  
– Рублей пятьсот, – отвечал Валя.  
– Давай все.  
Он засмеялся.  
– А что – ты опять собираешься в Энск за Катей?  
Мы пошли в фотомагазин и купили лейку...

Для всех я уезжал ночью в первом часу, но с Катей мы стали прощаться с утра – я все забегал к ней то домой, то на службу. Мы расставались ненадолго: в августе она должна была приехать ко мне в Заполярье, а я ждал, что меня вызовут еще раньше – быть может, в июле. Но все-таки мне было немного страшно – как бы опять не расстаться надолго...

Валя принес на вокзал «Правду» с моей статьей. Все было напечатано совершенно так же, как я написал, только в одном месте исправлен стиль, а вся статья сокращена приблизительно наполовину. Но выдержки из дневника были напечатаны полностью: «Никогда не забуду этого прощанья, этого бледного вдохновенного лица с далеким, взглядом. Что общего с прежним румяным, полным жизни человеком, выдумщиком анекдотов и забавных историй, кумиром команды, с шуткой подступавшим к самому трудному делу. Никто не ушел после его речи. Он стоял с закрытыми глазами, как будто собираясь с силами, чтобы сказать прощальное слово. Но вместо слов вырвался чуть слышный стон, и в углу глаз сверкнули слезы...»

Мы с Катей читали это в коридоре вагона, и я чувствовал, как ее волосы касаются моего лица, и чувствовал, что она сама чуть сдерживает слезы.

## **Часть 7**

### **Разлука**

#### **Глава 1**

##### **Пять лет**

Не помню, где я читала стихотворение, в котором годы сравниваются с фонариками, висящими «на тонкой нити времени, протянутой в уме».

И одни фонарики горят ярким, великолепным светом, а другие чадят и дымно вспыхивают в темноте.

Мы живем в Крыму и на Дальнем Востоке. Я – жена летчика, и у меня много новых знакомых – жен летчиков в Крыму и на Дальнем Востоке... Так же, как они, я волнуюсь, когда в отряд приходят новые машины. Так же, как они, я без конца звоню в штаб отряда, надоедаю дежурному, когда Саня уходит в полет и не возвращается в положенное время. Так же, как они, я уверена, что никогда не привыкну к профессии мужа, и так же, как они, в конце концов, привыкаю. Это почти невозможно, но я не оставляю своей геологии, хотя старенькая профессорша, которая до сих пор зовет меня «деточкой», утверждает, что «не выйди я замуж, да еще за летчика, давным давно получила бы кандидата». Она берет свои слова обратно, когда поздней осенью 1936 года я возвращаюсь в Москву с Дальнего Востока с новой работой, которую я сделала вместе с Саней. Аэромагнитная разведка! Поиски железных руд с самолета. Теперь Иван Павлович не мог бы сказать: «Ты его не знаешь». Как в заброшенном, покинутом доме горит по ночам загадочный свет и длинные, тонкие полоски

пробиваются между щелями заколоченных ставен, так в далекой глубине Саниных мыслей и чувств я вижу свет арктических звезд, озаривших его детские годы. Закрыты, заколочены ставни. Но светлые полосы пробиваются, падают на дорогу, по которой мы идем, то находя, то теряя друг друга.

– Саня, теперь я поняла, кто ты.

Мы в купе международного вагона Владивосток–Москва. Невероятно, но факт – десять суток мы проводим под одной крышей, не расставаясь ни днем, ни ночью. Мы завтракаем, обедаем и ужинаем за одним столом. Мы видим друг друга в дневные часы – говорят, что есть женщины, которым это не кажется странным.

– Кто же?

– Ты – путешественник.

– Да, Владивосток–Иркутск, отлет с Приморского аэродрома, семь сорок четыре.

– Это ничего не значит. Тебя не пускают. Но все равно – ты путешественник по призванию, по страсти. Только путешественник мог спросить, сколько лет рыбе, которую мы съели за обедом.

Он смеется.

– Только путешественники так боятся канцелярских бумаг. Только путешественники так стесняются, когда дарят цветы. Только путешественники так свистят и думают о своем и по утрам мучают своих жен зарядкой из двадцати четырех упражнений.

– Не считая холодного обтирания.

– Да. Только путешественники так не стареют.

– Я старею.

– Ты знаешь, мне всегда казалось, что у каждого человека есть свой характерный возраст. Один родится сорокалетним, а другой на всю жизнь остается мальчиком девятнадцати лет. Ч. такой, и ты – тоже. Вообще многие летчики. Особенно те, которые любят перелетать океаны.

– А ты думаешь, я из тех, которые любят перелетать океаны?

– Да. Ты не бросишь меня, когда перелетишь океан?

– Нет. Но меня вернут с полдороги.

Я молчу. «Меня вернут» – это уже совсем другой разговор. Это разговор о том, как жизнь моего отца, которую Саня сложил из осколков, разлетевшихся от Энска до Таймыра, попала в чужие руки. Портрет капитана Татарина висит в Географическом обществе, в Арктическом институте. Поэты посвящают ему стихи, в огромном большинстве довольно плохие. В БСЭ<sup>192</sup> помещена большая статья о нем, подписанная скромными инициалами Н. Т. Его путешествие вошло в историю русского завоевания Арктики наряду с путешествиями Седова, Русанова<sup>193</sup>, Толя<sup>194</sup>...

И чем выше поднимается его имя, тем все чаще произносится рядом с ним имя его двоюродного брата, почтенного ученого-полярника, пожертвовавшего всем своим состоянием, чтобы организовать экспедицию «Св. Марии», и посветившего всю свою жизнь биографии великого человека.

Заслуги Николая Антоныча оценены по достоинству, книга «В ледяных просторах» издается каждый год для детей и для взрослых. В газетах сообщается о каких-то «ученых советах» под его председательством. На «ученых советах» он произносит речи, и в этих речах я нахожу следы старого спора, окончившегося в тот день и час, когда женщину с очень белым лицом вынесли на холодный каменный двор и навсегда

---

<sup>192</sup> БСЭ – Большая советская энциклопедия, наиболее известная и полная советская универсальная энциклопедия.

<sup>193</sup> Русанов –

увезли из дома. Но нет, еще не кончился этот спор! Недаром же почтенный ученый не устает повторять в своих книгах, что в гибели капитана Татаринова виноваты «промышленники» и, в частности, некто фон Вышимирский. Недаром почтенный ученый приводит доводы, которыми некогда пытался уличить во лжи школьника, разгадавшего его тайну.

Теперь он молчит, этот школьник. Но все впереди.

Он молчит и работает без устали, днем и ночью. На Волге он опыляет водоемы. Он возит почту Иркутск–Владивосток и счастлив, когда удастся за двое суток доставить во Владивосток московские газеты. Он получает звание пилота второго класса, и не он, а я оскорблена за него, когда он просит – в который раз! – отправить его на Север и когда вместо ответа его снова превращают в «воздушного извозчика», на этот раз между Симферополем и Москвою. Что же это за тайная тень, которая каждый раз ложится поперек его дороги? Не знаю. Не знает и он.

Он работает, и ему говорят, что он работает превосходно. Но только я одна догадываюсь, как устал он от этих однообразных рейсов, похожих один на другой, как тысяча братьев...

– На днях я нашел старую записную книжку. Знаешь, что написано на первой странице?

В белом платье я стою рядом с ним на белой, нарядной палубе парохода. Саня в отпуске, и я так счастлива, что он в отпуске и что мы вдруг решили поехать в Севастополь, а оттуда и сами не знаем куда.

– «Вперед» – называется его корабль. «Вперед», – говорит он и действительно стремится вперед. Нансен об Амундсене...» Это было моим девизом, когда мне было четырнадцать лет. Здорово, да? А теперь вперед и назад. Москва–Симферополь.

...То разгорается, то гаснет фонарик, то горе, то радость освещает его колеблющийся свет. Время бежит, не оглядываясь, и останавливается лишь на один вечер, когда Саня рассказывает – не мне – всю свою жизнь. В саду клуба летчиков в Татарском поселке происходит этот большой разговор. Сад разбит вдоль покатого склона, дорожки сбегают вниз и через заросли цветущего иудина дерева пробираются к морю. Гравий скрипит под осторожными шагами входящих летчиков. Вдруг налетает ветер и вместе с ним лепестки вишен и яблонь из садов Ай-Василя<sup>195</sup>. Это открытое партийное собрание, открытое в буквальном смысле слова – на площадке перед эстрадой, под южным, быстро темнеющим небом.

Саня рассказывает связно, спокойно, но я-то знаю, что скрывается за этими внезапными паузами, которыми он останавливает себя, когда начинает говорить слишком быстро. Волнуется. Еще бы!

Я слушаю Саню – и наша полузабытая юность встает передо мной, как в кино, когда чей-нибудь голос неторопливо говорит о своем, а на экране идут облака и вдоль широкой равнины далеко простирается туманная лента реки. Утро. И юность кажется мне туманной, счастливой.

Худенький черный комсомолец с хохолком на макушке судит Евгения Онегина в четвертой школе. На катке он впервые говорит мне, что идет в летную школу. Я вижу

---

<sup>195</sup> Ай-Василь – то же, что Васильевка, населенный пункт на территории Украины.

его в Энске, в Соборном саду, потрясенного тем, что он прочел в старых письмах. В Москве, на Севере, снова в Москве – перед целым миром он готов отстаивать свою правоту.

Но довольно воспоминаний! Послушаем, что о нем говорят.

Его воспитала школа. Советское общество сделало его человеком – вот что о нем говорят. Он выделяется своей начитанностью, культурностью. Как летчик он еще в 1934 году получил благодарность от Ненецкого национального округа за отважные полеты в трудных полярных условиях и с тех пор далеко продвинулся вперед, усвоив, например, технику ночного полета. Конечно, у него есть недостатки. Он вспыльчив, обидчив, нетерпелив. Но на вопрос: «Достоин ли товарищ Григорьев звания члена партии?» – мы должны ответить: «Да, достоин».

...Зимой 1937 года Саню перебрасывают в Ленинград, мы живем у Беренштейнов, и все, кажется, было бы хорошо, если бы, просыпаясь по ночам, я не видела, что Саня лежит с открытыми глазами. Каждую неделю на Невском в театре кинохроники мы смотрим испанскую войну<sup>196</sup>. Юноши в клетчатых рубашках скрываются среди развалин Университетского городка под Мадридом с винтовками в руках – и вот поднялись, пошли в атаку. Пятый полк получает оружие. Из осажденного Мадрида увозят детей, и матери плачут и бегут за автобусами, а дети машут, машут – да правда ли это? Правда. Так пускай же никогда и нигде не повторится эта горькая правда. Никогда и нигде! Откуда же эти подступившие к горлу слезы, это горькое предчувствие, этот вихрь волнения, вдруг пронесшийся в темноте маленького, душного зала?

А через две недели мы с Саней стоим в тесной передней у Беренштейнов, среди каких-то старых шуб и ротонд<sup>197</sup>, стоим и молчим. Последние четверть часа перед новой разлукой! Он едет в штатском, у него странный, незнакомый вид в этом модном пальто с широкими плечами, в мягкой шляпе.

– Саня, это ты? Может быть, это не ты?

Он смеется:

– Давай считать, что не я. Ты плачешь?

– Нет. Береги себя, мой дорогой, мой милый.

Он говорит «я вернусь» и еще какие-то ласковые перепутанные слова. А я не помню, что говорю, только помню, что прошу его не пренебрегать парашютом. Он не всегда берет с собой парашют.

Куда он едет? Не знаю. Он говорит, что на Дальний Восток. Почему в штатском? Почему, когда я начинаю спрашивать его об этой командировке, он не сразу отвечает на мои вопросы, а сперва подумает, потом скажет? Почему, когда поздней ночью ему звонят из Москвы, он отвечает только «да» или «нет», а потом долго ходит по комнате и курит, взволнованный, веселый и чем-то довольный? Чем он доволен? Не знаю, мне не положено знать. Почему я не могу проводить его на вокзал – ведь он же едет на Дальний Восток!

– Это не совсем удобно, – отвечает Саня, – я еду не один. Может быть, я еще не уеду. Если это будет удобно, я позвоню тебе с вокзала.

---

<sup>196</sup> Испанская война – гражданская война в Испании в 1936–1939 гг., закончившаяся установлением диктатуры генерала Франко.

<sup>197</sup> Ротонда – верхняя теплая женская одежда без рукавов в виде длинной накидки.

Он звонил мне с вокзала – поезд отходит через десять минут. Не нужно беспокоиться, все будет прекрасно. Он будет писать мне через день. Конечно, он не станет пренебрегать парашютом...

Время от времени я получаю письма с московским штемпелем. Судя по этим письмам, он аккуратно получает мои. Незнакомые люди звонят по телефону и спрашивают о моем здоровье. Где-то за тысячи километров, в горах Гвадаррамы<sup>198</sup>, идут бои, истыканная флажками карта висит над моим ночным столиком, Испания, далекая и таинственная, Испания Хосе Диаса<sup>199</sup> и Долорес Ибаррури<sup>200</sup> становится близка, как улица, на которой я провела свое детство.

В дождливый мартовский день республиканская авиация, «все, что имеет крылья», вылетает навстречу мятежникам, задумавшим отрезать Валенсию от Мадрида. Это победа под Гвадалахарой<sup>201</sup>. Где-то мой Саня?

В июле армия республиканцев отбрасывает мятежников от Брунето. Где-то мой Саня? Баскония отрезана, на старых гражданских самолетах, в тумане, над горами нужно лететь в Бильбао<sup>202</sup>. Где-то мой Саня?..

«Командировка затягивается, – пишет он, – мало ли что может случиться со мной. Во всяком случае, помни, что ты свободна, никаких обязательств».

У букиниста<sup>203</sup> на проспекте Володарского я покупаю русско-испанский словарь 1836 года, изорванный, с пожелтевшими страницами, и отдаю его в переплетную. По ночам я учу длинные испанские фразы: «Да, я свободна от обязательств перед тобой. Я бы просто умерла, если бы ты не вернулся». Или: «Дорогой, зачем ты пишешь письма, от которых хочется плакать?»

Я бормочу эти испанские фразы, и, должно быть, дико, странно звучат они в темноте, потому что «научная няня», думая, что я брежу, встает и тихо крестит меня...

И вдруг происходит то, что казалось невозможным, невероятным. Происходит очень простая вещь, от которой все становится в тысячу раз лучше – погода, здоровье, дела. Он возвращается, – поздней ночью звонит Москва, испуганная Розалия Наумовна будит меня, я бегу к телефону... А еще через несколько дней похудевший, загорелый и впрямь чем-то похожий на испанца, он стоит передо мной. Своими руками я прикрепляю орден Красного Знамени<sup>204</sup> к его гимнастерке.

...Осенью мы отправляемся в Энск. Петя с сыном и «научной няней» проводят в Энске каждое лето, в каждом письме тетя Даша зовет нас в Энск, и вот мы едем наконец – утром решаем, а вечером я стою у вагона и ругаю Саню, потому что до отхода поезда осталось не больше пяти минут, а его еще нет – поехал за тортом. Он вскакивает на ходу – запыхавшийся, веселый.

– Чудачка, у них же там нет таких тортов!

– Сколько угодно!

– А конфеты?

---

<sup>198</sup> Гвадаррама – город в Испании.

<sup>199</sup> Хосе Диас – (1895–1942), деятель испанского и международного рабочего движения.

<sup>200</sup> Долорес Ибаррури – (1895–1989) – деятель испанского и международного рабочего движения.

<sup>201</sup> Победа под Гвадалахарой – победа республиканцев в 1937 году.

<sup>202</sup> Город в Испании.

<sup>203</sup> Букинист – человек, занимающийся покупкой и продажей подержанных и старинных книг, печатных изданий.

<sup>204</sup> Орден Красного Знамени – одна из высших правительственных наград в СССР.

Пожалуй, таких конфет действительно нет в Энске: даже нельзя понять, как открывается коробка, и на маленьком красном медальоне написано золотыми буквами: «Будьте здоровы, живите богато».

Мы долго сидим в полутемном купе, не зажигая огня.

Когда это было? Как взрослые, мы возвращались из Энска, и старые нигилистки<sup>205</sup> с большими смешными муфтами на шнурах провожали нас. Маленький небритый мужчина все гадал, кто мы такие: брат и сестра? Не похожи! Муж и жена? Рановато! А какие были яблоки – красные, крепкие, зимние! Почему получается, что такие яблоки едят только в детстве?

– Это и был день, когда я влюбился в тебя.

– Нет. Ты влюбился, когда мы однажды шли с катка и ты угощал меня стручками, а я отказалась, и ты отдал стручки какой-то девчонке.

– Это ты тогда влюбилась.

– Нет, я знаю, что ты. А то бы не отдал.

Он думает очень серьезно.

– А когда же ты?

– Не знаю... Всегда.

Мы стоим в коридоре и, как тогда, провожаем глазами ныряющие и взлетающие провода. Все уже не то и не так, а все-таки по-прежнему – счастье. Толстый усатый проводник все поглядывает на нас – или на меня? – и, вздохнув, говорит, что у него тоже красивая дочка...

Энск. Раннее утро. Трамваи еще не ходят, и нужно идти через весь город пешком. Вежливый оборванец несет наши вещи и болтает, болтает без конца – напрасно мы уверяем его, что сами родом из Энска. Он знает всех: покойных Бубенчиковых, тетю Дашу, судью, в особенности судью, с которым ему не раз приходилось встречаться.

– Где же?

– В судебной камере Ленинского района.

На площади, у вozов, с которых колхозники продают яблоки и капусту, с большим кочаном в руках, постаревшая, задумчивая – взять или нет? – стоит тетя Даша.

Саня окликает ее, она по-стариковски строго глядит на него из-под очков и вдруг беспомощно роняет кочан на землю.

– Санечка! Милые вы мои! Да как же это? На базар пришли?

– Нет, тетя Даша, это мы по дороге. Тетя Даша – жена.

Он подводит меня к тете Даше, и на Энском базаре прекращается торговля – даже лошади, и те, вынув морды из мешков, с интересом смотрят, как я целуюсь с тетей Дашей...

Дом Маркузе на Гоголевской с львиными мордами по обеим сторонам подъезда. Завтрак в тети Дашином вкусе, после которого страшно подумать, что бывают на свете еще обед и ужин. Разговор по телефону с судьей, который находится в районе на выездной сессии, судя по слабому, далекому голосу – где-то на той стороне земного шара. Маленький Петя, которому уже третий год, – а давно ли, кажется, обсуждался генеральный вопрос: давать ему соску или нет, укачивать его на руках или в кроватке?

---

<sup>205</sup> Нигилист – человек, отрицающий общепринятые правила, нормы, точки зрения.

Большого Петю мы находим в Соборном саду, на том самом месте, где он и Саня лежали когда-то, стараясь днем увидеть луну и звезды. Здесь они читали письмовник, здесь дали друг другу «кровавую клятву дружбы».

Сложив ноги, как турок, Петя сидит, держа на коленях большой полотняный альбом. Он пишет Решетки – то место, где Песчинка сливается с Тихой, и Покровский монастырь, белый, строгий, уже врезан в огромный солнечный воздух, а за ним, на том берегу, поля и поля.

– Виноват, гражданин, вы тут маляра не видали?

Он оборачивается и с изумлением смотрит на нас.

– Тут маляр проходил, – продолжает Саня, – такой в пиджачке, конопатый.

И Петя вскакивает – неуклюжий, длинный, худой.

– Приехали? И Катя? Ну, молодцы! Вот рад! Ну, рассказывайте! Саня, ведь ты оттуда?

– Я оттуда.

Часа два мы сидим у башни старца Мартына, потом спускаемся вниз на набережную и садами обходим весь город. Как он хорош осенью! Как красны клены в Ботаническом саду! Как хорошо пройтись по заброшенной, забытой аллее к обрыву, под которым правильными рядами стоят низкие яблони, обмазанные чем-то белым!

– Когда-то мы лазили сюда за яблоками. И ты врал, что у сторожей ружья заряжены солью.

– А вот и не врал! Интересно, какими мы были мальчиками? Вот ты, например, видишь себя мальчиком? Я – нет.

– Ты был довольно странным мальчиком. Помнишь, ты однажды выдумал, что у крыс бывает царица-матка? А Туркестан? Это была мечта. Ты уже и тогда был художником, во всяком случае – человеком искусства.

– А мне казалось, что именно ты будешь художником. Ведь ты хорошо лепил. Почему ты бросил?

Я смотрю на Саню – выдать или нет, но он делает мне страшные глаза, и я не говорю ни слова. В свободное время он и теперь еще лепит, разумеется, для себя.

Судья приезжает поздно вечером, когда мы его уже давно не ждем. Вдруг где-то за углом начинает стрелять и фыркать «газик»<sup>206</sup>, и старик появляется на дорожке в белом запыленном картузе<sup>207</sup>, с двумя портфелями в руках.

– Ну, которые тут гости? Сейчас умоюсь и приду целоваться.

И мы слышим, как он долго, с наслаждением кряхтит в кухне, и тетя Даша ворчит, что он снова залил весь пол, а он все кряхтит и фыркает и говорит: «Ох, хорошо!» – и, наконец, появляется, причесанный, в туфлях на босу ногу, в чистой толстовке<sup>208</sup>. По очереди он тащит нас на крыльцо – рассматривать, сперва меня, потом Саню. Орден он рассматривает отдельно.

– Ничего, – говорит он с удовольствием. – Шпала<sup>209</sup>?

– Шпала.

– Значит, капитан?

– Капитан.

---

<sup>206</sup> «Газик» – автомобиль-внедорожник производства Горьковского (сейчас Нижний Новгород) автозавода.

<sup>207</sup> Картуз – головной убор с козырьком.

<sup>208</sup> Толстовка – просторная, длинная мужская рубашка, носившаяся навывпуск.

<sup>209</sup> Шпала – имеются в виду знаки различия званий в Красной Армии; одна шпала на петлицах соответствовала званию капитана.

И он крепко жмет Санину руку.

Так проходит этот прекрасный вечер в Энске, – мы так редко собираемся всей семьей, а между тем очень любим друг друга, и теперь, когда мы, наконец, встречаемся, всем кажется странным, что мы живем в разных городах.

До поздней ночи мы сидим за столом и болтаем, болтаем без конца. Мы вспоминаем Сашу и говорим о ней просто, свободно, как если бы она была среди нас. Она среди нас – с каждым месяцем маленький Петя все больше становится похож на нее: тот же монгольский разрез глаз, те же поросшие мягкими темными волосиками виски.

Наклоняя голову, он так же высоко поднимает брови...

Саня рассказывает об Испании, и странное, давно забытое чувство охватывает меня: я слушаю его, как будто он рассказывает о ком-то другом. Так это он, вылетев однажды на разведку, увидел пять «юнкеров»<sup>210</sup> и без колебаний пошел к ним навстречу? Это он, проносясь между «юнкерами», стрелял почти наугад, потому что не попасть было невозможно? Это он, закрыв перчаткой лицо, в прогоревшем реглане<sup>211</sup>, посадил разбитый самолет и через час поднялся в воздух на другом самолете?

Судья слушает его – и детским удовольствием сияют его глаза из-под косматых седых бровей. С бокалом в руке он встает и произносит речь – еще в поезде Саня говорил мне, что судья непременно скажет речь.

– Не буду говорить высоких слов, хотя то, что ты сделал, Саня, стоит, чтобы говорить об этом высокими словами. Когда-то ты сказал мне, что хочешь стать летчиком, и я спросил: «Военным?» Ты ответил: «Полярным. А придется – военным». И вот – военный, боевой летчик, ты сидишь передо мной, и я с гордостью вспоминаю, что могу законно считать тебя за родного сына. Но и другие мысли приходят в голову, когда я вижу тебя перед собой. Я хочу сказать о твоей благородной мечте найти экспедицию капитана Татарина, мечте, согревшей твои молодые годы. Ты как бы поставил своей задачей вмешаться в историю и исправить ее по-своему. Это правильно. На то мы и большевики-революционеры. И, зная тебя с детских лет, я верю, что рано или поздно, но ты решишь эту большую задачу.

Мы чокаемся, и Саня говорит по-испански:

– Salud!.. Будем считать, что «путешествие в жизнь» еще только началось, – говорит он.

– Корабль вчера покинул гавань, и еще виден вдалеке маяк, пославший ему прощальный привет: «Счастливого плавания и достижений». Когда-то, маленькие, но храбрые, мы шли по темным и тихим улицам этого города. Мы были вооружены одним финским ножом на двоих, тем самым ножом, для которого Петя сшил чехол из старого сапога. Но мы были вооружены лучше, чем это может показаться с первого взгляда.

Мы шли, потому что дали друг другу клятву: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Мы шли – и путь еще не кончен.

И, высоко подняв бокал, Саня пьет до дна и со звоном разбивает его о стену...

В 1939 году мы в Москве – и часто бываем у Вали и Киры на Сивцевом Вражке. Тесно стало в квартире на Сивцевом Вражке.

В «кухне вообще» спит маленькая беленькая девочка с косичками и с таким же большим, крепким, как у мамы Киры, носом. В чулане, из которого Валя когда-то сделал фотолaborаторию, висят пеленки. В «собственно кухне» Саня едва не садится на

---

<sup>210</sup> «Юнкерс» – немецкий самолет-бомбардировщик.

<sup>211</sup> Реглан – одежда (пальто, плащ и т. п.) такого покроя, при котором рукав составляет с плечом одно целое. Названа по имени английского генерала Реглана, введшего этот фасон в середине 19 в. Кожаные плащи или куртки-регланы носили военные с 30-х годов 20 в.



сверток, из которого выглядывает серьезное, рассеянное личико с черной прядкой волос на лбу – не хватает, кажется, только очков в роговой оправе, чтобы услышать лекцию о гибридах чернобурых лисиц.

Девочка уже читает стихи «с выражением», и вы чувствуете солидную школу Кириной мамы, во всем противоположную школе окончательно зазнавшейся Варвары Рабинович.

О чем же – бродяги и путешественники – мы с Саней думаем, сидя среди таких милых, таких «детных» друзей на Сивцевом Вражке?

Конечно, о том, что всю жизнь мы живем под чужой крышей, о том, что у нас нет своего дома, хотя бы такого маленького и тесного, как у Вали и Киры.

И мы решаем, что теперь у нас будет такой дом – в Ленинграде...

То разгорается, то гаснет фонарик, то горе, то радость освещает его колеблющийся свет.

В ясный зимний день мы стоим у Кремлевской стены, перед черной мраморной дощечкой, на которой высечено простое имя человека, которого мы любили. Саня вспоминает, как однажды он шел к нему, стараясь медленно думать, чтобы перестать волноваться, и, когда пришел, обратился к нему, как будто по телефону:

– Товарищ Ч.? Это говорит Григорьев.

Прошел уже год, как большой город назван именем этого человека, сотни прекрасных улиц, театры, парки, сады, а нам с Саней все странным кажется, что никогда больше мы не услышим его низкий окающий голос...

В 1941 году мы переезжаем в Ленинград – окончательно, если это удастся. Мы снимаем дачу из трех комнат, с колодцем и старым, красивым, похожим на древнерусского стрельца хозяином, которого Петя немедленно принимается рисовать. Мы живем на даче всей семьей – оба Пети с «научной няней» в этом году не поехали в Энск, – купаемся в озере, пьем чай из настоящего пузатого медного самовара, и мне кажется странным, что такой прекрасной тишины, такого счастья другие женщины даже не замечают.

По субботам мы встречаем Саню. Всей семьей мы отправляемся на станцию, и, разумеется, больше всех ждет дядю Саню маленький Петя – в тайной надежде на этот раз получить броненосец. Надежда оправдывается – с большим великолепным кораблем Саня прыгает со ступенек прошедшего мимо нас вагона, машет нам, но почему-то идет рядом с вагоном. Поезд останавливается, он протягивает руку. Маленькая, сухонькая старушка спускается по лесенке с бодрым, озабоченным лицом. В одной руке у нее зонтик, в другой – полотняный кошель-саквояж<sup>212</sup>. Я готова не поверить глазам. Но это бабушка – в нарядном чесучовом костюме, в задорной соломенной шляпке, бабушка, которую Саня почтительно ведет под руку, оберегая от шумной толпы, сразу заполнившей небольшой перрон...

## Глава 2

### О чем рассказала бабушка

Нужно сказать, что некоторые черты в характере моей бабушки стали казаться мне загадочными в последнее время. Всегда она с иронией относилась к картам, а тут вдруг

---

<sup>212</sup> Кошель-саквояж – холщовая или кожаная дорожная сумка.

увлеклась гаданьем, да так, что стала носить с собою колоду. Гадала она на червонного короля, с которым, очевидно, у нее были сложные отношения.

– Так ты вот что задумал, голубчик, – говорила она сердито, – хорошо! А казенный дом тебе не по вкусу?..

Вдруг она вскакивала среди разговора и спешила домой – «по хозяйству», хотя только что жаловалась, что дома скучно и нечего делать.

– Нет, нужно идти, – испуганно говорила она. – Как же! Обязательно нужно! Всегда она очень любила ходить в кино, а теперь даже испугалась, когда я ее пригласила.

– Ходить в кинотеатр, – сказала она степенно, – следует исключительно в зависимости от качества фильма.

«Исключительно в зависимости от качества» – так обстоятельно моя бабушка прежде не говорила.

Разумеется, я догадывалась, кто был червонный король, которому в глубине души бабушка сулила казенный дом, и почему она вдруг начинала спешить домой, и откуда эти длинные круглые фразы. Николай Антоныч – вот кто занимал все мысли моей бедной бабки.

Это была его власть, его удивительное влияние!

Не раз я принималась уговаривать ее пожить со мной хотя бы те немногие дни, которые мы с Саней проводили в Москве, – какое там, не хотела и слышать!

– Уйду, а он найдет, – сказала она загадочно. – Нет, уж, видно, судьба такая.

– Как это найдет? Очень ты ему нужна! Да он тебя и искать не станет.

Бабушка помолчала.

– Нет, станет! Для него это важно.

– Почему?

– Потому что тогда выходит – все по его. Если я в его доме живу. Не по-вашему.

Небось, он мне каждый вечер читает.

Каждый вечер Николай Антоныч читал бабушке свою книгу...

Мне очень хотелось, чтобы она переехала к нам, когда мы решили устроить свой дом в Ленинграде. Но с каждой новой встречей я убеждалась в том, что это невозможно. Все меньше бабушка ругала Николая Антоныча и все больше говорила о нем с каким-то суеверным<sup>213</sup> страхом. Очевидно, в глубине души она была убеждена в его сверхъестественной силе.

– Я только подумаю, а он уже знает, – однажды сказала она. – На днях задумала пироги печь, а он говорит. «Только не с саго. Это тяжело для желудка».

Что же должно было случиться, чтобы, вдруг появившись на станции Л., моя бабушка бодро зашагала к нам с зонтиком в одной руке и полотняным саквояжем – в другой?

Дорогой она спросила, обязательно ли прописываться у нас на даче.

– Можно и так жить, без прописки, – отвечала я. – А почему это тебя беспокоит?

– Нет уж! Пускай пропишут, – махнув рукой, сказала бабушка, – теперь мне все равно.

Я тысячу раз писала и рассказывала ей о большом и маленьком Пете, о покойной Саше; Петя даже и бывал у нас, когда я девушкой жила на 2-й Тверской-Ямской, так что бабушка была с ним знакома. Но она так церемонно поздоровалась с ним, как будто увидала впервые. Маленького Петю она поцеловала с рассеянным видом, а о «научной няне» холодно заметила, что у нее «зверское выражение лица».

Не было ни малейших сомнений, что бабушка потрясена. Но чем? Это была загадка.

---

<sup>213</sup> Суеверный – основанный на предрассудках.

В мезонине<sup>214</sup> – мы снимали две комнаты «с мезонином», который был как будто нарочно построен для бабушки: такой же маленький и сухонький, как она, – она, прежде всего, проверила шпингалеты на окнах и запираются ли двери на ключ. – Ну, ладно, бабка, мне это надоело, – сказала я решительно. – Вот я закрою двери, никто не услышит. И чтобы сейчас же рассказать, в чем дело.

Бабушка помолчала.

– И расскажу! Ишь, напугала!

...Она поспала, умылась и явилась к столу помолодевшая, нарядная, в платье с буфами и в кремовых ботинках с длиннейшими носами.

– Экономку<sup>215</sup> взял, – сказала она без предисловий. – И говорит: «Не экономка, а секретарь. Это будет мне помощь». А она мне на плиту грязные туфли ставит. Вот тебе и помощь!

Грязные туфли на плиту поставила какая-то Алевтина Сергеевна. Это было очень интересно. Мы сидели в саду, бабушка гордо рассказывала, и пока еще трудно было понять, в чем дело. Я видела, что Пете до смерти хочется ее нарисовать, и погрозила ему, чтобы не смел. Сане я тоже погрозила – он едва удерживался от смеха. Серьезно слушал только маленький Петя.

– Если ты секретарь, зачем туфли совать, где я готовлю? Это я не позволю никогда. А может быть, я сегодня плиту затоплю?

– Ну?

– И затопила.

– Ну?

– И сгорели, – гордо сказала бабушка. – Не ставь.

Мы так и покатались со смеху.

Словом, экономка осталась без туфель, и это заставило Николая Антоныча пригласить к себе бабушку для серьезного разговора.

– «Я такой, я сякой!» – И бабушка надулась и изобразила, как Николай Антоныч говорит о себе. – А ты помолчи, если лучше всех. Пускай другие скажут. Квартиру мне показал: «Нина Капитоновна, выбирайте!»

Квартиру Николай Антоныч получил в новом доме на улице Горького, и моей бедной бабке было предложено выбрать любую комнату в этой великолепной квартире. Целый месяц он разъезжал по Москве – выбирал мебель. Квартира на 2-й Тверской-Ямской должна была, по мысли Николая Антоныча, превратиться в «Музей капитана Татаринова». Очевидно, его мало смущало то обстоятельство, что капитан Татаринов никогда не переступал порога этой квартиры.

– А я поклонилась и говорю: «Покорно вас благодарю. Я еще по чужим домам не жила».

Именно после этого разговора бабушке пришла в голову мысль – удрать от Николая Антоныча и переехать к нам. Но как же она боялась его, если вместо того, чтобы просто сложиться и уехать, она, прежде всего, помирилась с ним и даже постаралась расположить к себе экономку. Она разработала сложный психологический план, основанный на отъезде Николая Антоныча в Болшево, в Дом отдыха ученых. Впервые за двадцать лет она снялась с места и тайно исчезла из Москвы, с зонтиком в одной руке и полотняным саквояжем – в другой...

...Саня всегда вставал в седьмом часу, и мы еще до завтрака шли купаться. Так было и этим утром, которое ничем, кажется, не отличалось от любого воскресного утра.

<sup>214</sup> Мезонин – надстройка над средней частью жилого дома, часто имеет балкон.

<sup>215</sup> Экономка – нанятая женщина, занимающаяся ведением домашнего хозяйства.

Конечно, ничем! Но почему же я так помню его? Почему я вижу, точно это было вчера, как мы с Саней, взявшись за руки, бежим вниз по косогору и он, балансируя, скользит по осине, переброшенной через ручей, а я снимаю туфли, иду вброд, и нога чувствует плотные складки песчаного дна? Почему я могу повторить каждое слово нашего разговора? Почему мне кажется, что я до сих пор чувствую сонную, туманную прелесть озера, наискосок освещенного солнцем? Почему с нежностью, от которой начинает щемить на душе, я вспоминаю каждую незначительную подробность этого утра – капельки воды на смугло-румяном Санином лице, на плечах, на груди и его мокрый хохолок на затылке, когда он выходит из воды и садится рядом со мной, обняв руками колени? Мальчика в засученных штанах, с самодельной сеткой, которому Саня объяснял, как ловить раков – на костер и на гнилое мясо? Потому что прошло каких-нибудь три-четыре часа, и все это – наше чудное купанье вдвоем, и сонное озеро с неподвижно отраженными берегами, и мальчик с сеткой, и еще тысяча других мыслей, чувств, впечатлений, – все это вдруг ушло куда-то за тридевять земель и, как в перевернутом бинокле, представилось маленьким, незначительным и бесконечно далеким...

### Глава 3

#### «Помни, ты веришь»

Если бы можно было остановить время, я бы сделала это в ту минуту, когда, бросившись в город и уже не найдя Саню, я зачем-то слезла с трамвая на Невском и остановилась перед первой сводкой главного командования, вывешенной в огромном окне «Гастронома»<sup>216</sup>. Стоя перед самым окном, я прочитала сводку, потом обернулась, увидела серьезные, взволнованные лица, и странное чувство вдруг охватило меня: это чтение происходило уже в какой-то новой, неизвестной жизни. В неизвестной, загадочной жизни был этот вечер, первый теплый вечер за лето, и эти бледные, шагающие по тротуару тени, и то, что солнце еще не зашло, а над Адмиралтейством<sup>217</sup> уже стояла луна. Первые в этой жизни слова были написаны жирными буквами во всю ширину окна, все новые и новые люди подходили и читали их, и ничего нельзя было изменить, как бы страстно этого ни хотелось.

Розалия Наумовна передала мне Санину записку, и я все вынимала ее из сумочки и читала.

«Милый Пира-Полейкин, – было торопливо написано на голубоватом листке из его блокнота, – обнимаю тебя. Помни, ты веришь».

Когда мы жили в Крыму, у нас был пес Пират, который всегда ходил за мной, когда я поливала клумбы, и Саня смеялся и называл нас обоих сразу «Пира-Полейкин»...

«Помни, ты веришь» – это были его слова. Я как-то сказала, что верю в его жизнь. У него было превосходное настроение, вот в чем дело! Мы не простились, он уехал в одиннадцать, а в городе я его уже не застала, но об этом он даже не упоминал в своей записке, это было совершенно не важно.

---

<sup>216</sup> Гастроном – магазин продовольственных товаров.

<sup>217</sup> Адмиралтейство – один из красивейших архитектурных памятников Петербурга, построенный по проекту архитектора А. Д. Захарова. Адмиралтейство в Санкт-Петербурге было основано в 1704 году по проекту Петра I. В 18 веке Адмиралтейством называли центр военного кораблестроения. Там находились верфи, доки, мастерские, склады для вооружения и снаряжения кораблей. Строительство кораблей на Адмиралтейской верфи продолжалось до 1844 года. Позднее в здании размещались морские ведомства, а с 1925 года здесь расположено Высшее военно-морское училище.

Зачем-то я вернулась на дачу, провела там ночь, кажется, не спала ни одной минуты, и все-таки спала, потому что вдруг проснулась растерянная, с бьющимся сердцем: «Война. Ничего нельзя изменить».

Я встала и разбудила няню.

– Нужно укладываться, няня. Мы завтра едем.

– Семь пятниц на неделе! – сердито зевая, сказала няня.

Она сидела на кровати сонная, в длинной белой кофте и ворчала, а я ходила из угла в угол и не слушала ее, а потом распахнула окно. И там, в молодом, легком лесу, была такая тишина, такое счастье покоя!

Бабушка услышала наш разговор и позвала меня.

– Ну, Катя, что с тобой? – спросила она строго.

– Бабушка, мы не простились! Как это вышло, что мы не простились!

Она глядела на меня и целовала, потом украдкой перекрестила. «Хорошо, что не простились, – примета хорошая: значит, скоро вернется», – говорила она, а я чувствовала, что плачу и что я больше не могу, не могу, а что не могу, и сама не знаю...

Петя приехал вечерним поездом, озабоченный, усталый, но решительный, что было вовсе на него не похоже.

От него я впервые услышала о том, что детей будут вывозить из Ленинграда, и так дико показалось мне, что нужно уезжать с дачи, где было так хорошо, где мы с няней посадили цветы – левкой и табак – и первые нежные ростки уже показались на клумбах. Везти маленького Петю в переполненном, грязном вагоне, в жару – весь июнь был холодный, а в эти дни началась жара, духота, – и не только в Ленинград, а куда-то еще, в другой, незнакомый город!

Петя сказал, что Союз художников отправляет детей в Ярославскую область. Петеньку и Нину Капитоновну он уже записал. Насчет няни сложнее – придется хлопотать.

Очень быстро он уложил вещи, сбегал куда-то за подводой и отправился наверх, к бабушке, которая объявила, что в Ярославскую область она не поедет. Не знаю, о чем они говорили и почему именно к Ярославской области у бабушки было такое отвращение, но через полчаса они спустились вниз, очень довольные друг другом, и бабушка сейчас же принялась пришивать к мешкам лямки и язвительно критиковать научные действия няни.

Все что-то делали, кроме меня; даже маленький Петя, который деловито укладывал в детский фанерный чемоданчик свои игрушки и старался открутить у паяца голову, потому что она не влезала в чемоданчик.

Усталая, разбитая, я сидела среди всего этого разгрома и беспорядка отъезда и в конце концов, дождалась того, что Петя подошел ко мне и сказал ласково:

– Катя, голубчик, очнитесь!

... Не стану рассказывать о том, как мы вернулись в Ленинград, как Петя потащил меня в Союз художников и сказал кому-то, что я все могу, и как меня сейчас же засадили за бесконечные списки.

Детей приказано было отправлять без мам и нянек, и главная борьба шла вокруг этих мам и нянек, которых вычеркивали и потом они каким-то образом снова оказывались в списках.

Должно быть, я неважно справлялась с этим делом, потому что маленькая свирепая художница вдруг отобрала у меня эти списки, и уж у нее-то, надо полагать, ни одна мама или няня не получила ни малейшего снисхождения. Наша няня была вычеркнута одной из первых.

Ярославскую область нужно было еще отстаивать в горсовете, так же, как классные, а не товарные вагоны, так же, как сотни других вещей, которые невозможно было предвидеть, потому что все, что происходило в эти дни, никогда не происходило прежде.

И мы ходили в горсовет и к ректору Академии художеств, чтобы он позвонил в горсовет, принимали вещи и продукты в дорогу, шили нарукавники с номерами, и как-то получилось, что я тоже стала одной из тех женщин, которые должны были все знать и к которым обращались другие.

Отъезд был назначен на пятое июля, потом на шестое. Теперь кажется странным, что эти волнения и сборы, это горе предстоящей разлуки с детьми, каждый час подступавшие все ближе и, наконец, охватившие весь огромный четырехмиллионный город, что все это продолжалось всего несколько дней.

... Состав запоздал, и дети долго стояли в зале ожидания между рядами взрослых, – это было сделано, чтобы родители не мешали посадке. Но ряды давно сбились, и матери, усталые, подурневшие, давно уже стояли подле своих детей. Было жарко, дети просили пить, нужно было уговаривать их потерпеть, и эта пыль и духота июльского дня тоже как-то участвовали в общем горе разлуки.

Наконец двинулись – сперва старшие школьники, потом младшие, потом совсем маленькие, шести и семилетние дети. Они шли, взявшись за руки, бодро, но это было невозможно, невозможно видеть без слез, как они идут, такие маленькие и уже с мешками за спиной! Уезжают куда-то, – куда? Еще дома я сразу расстраивалась, когда под руки попадался Петенькин заплечный мешок. Каждый двинулся за своим ребенком, и я двинулась вслед за Петенькой, который шел в паре с кругленькой, аккуратной девочкой. Как все, я остановилась в заторе у входных дверей – дальше родителей не пускали. Как все, я проводила его взглядом, прикусив губу, чтобы все-таки не заплакать, а потом побежала на багажную станцию, потому что привезли вещи и нужно было присматривать, чтобы детский багаж не спутали со взрослым.

Поезд должен был отойти в четыре часа и отошел совершенно точно. Петя прибежал в последнюю минуту – потом я узнала, что он ездил с ректором<sup>218</sup> в Смольный<sup>219</sup>. Сына подали ему через окно, он взял его на руки и немного постоял, прижав к лицу его черную головку. Бабушка стала нервничать, и тогда он торопливо поцеловал мальчика и поскорее передал обратно...

До сих пор я волнуюсь, вспоминая, как уезжали дети, между прочим, еще потому, что не в силах рассказать об этом со всей полнотой. Казалось бы, так много пришлось пережить за годы войны, такие странные, необычайно сильные впечатления поразили душу и остались в ней навсегда, а все же эти дни стоят передо мной отдельно, как бы в стороне...

---

<sup>218</sup> Ректор – руководитель высшего учебного заведения.

<sup>219</sup> Смольный – исторический и архитектурный памятник в Санкт-Петербурге. Здание бывшего Смольного института благородных девиц (построено в 1806–1808, архитектор Дж. Кваренги). Во время событий, описываемых в романе в здании находился областной комитет партии – высший орган партийного руководства Ленинградом. С 1991 года в здании Смольного располагается мэрия Санкт-Петербурга.

## Глава 4

### «Неприменно увидимся, но не скоро»

От бабушки долго не было телеграммы, хотя в Худфонде<sup>220</sup> говорили, что эшелон благополучно прибыл и что в Ярославле детей встретили с цветами. Но из Ярославля они должны были ехать еще в какой-то Гнилой Яр, и мне почему-то казалось, что детям не может быть хорошо в селе с таким отвратительным названием. От Кирки я получила отчаянное письмо, она тоже куда-то эвакуировалась со всеми ребятами и мамой. Валя остался в Москве – это была их первая разлука, – и, к моему изумлению, она боялась не фашистских бомб, которые, разумеется, могли залететь и на Сивцев Вражек, а какой-то Жени Колпакчи, которая кокетничала с Валею. Письмо было размазанное, бедная Кирка плакала над ним, и я от души пожалела ее, хотя было совершенно ясно, что с войной она поглупела.

Саня – это было самое большое беспокойство, с мучительными снами, в которых я сердилась на него – за что? – и он слушал, нахмурясь, бледный и ужасно усталый... В конторе бывшего кино «Элит» Розалия Наумовна устроила санитарный пост, и оборонная тройка райсовета предложила мне работать сестрой, потому что Розалия Наумовна сказала, что у меня «большой опыт ухода за больными».

– Имейте в виду, товарищ Татаринова-Григорьева, – сказал мне по секрету седой добродушный доктор, член оборонной тройки<sup>221</sup>, – что если вы откажетесь, мы немедленно отправим вас на строительство укреплений...

Работать на укреплениях, или «на окопах», как говорили в Ленинграде, было, разумеется, тяжелее, чем сестрой. Но я поблагодарила и отказалась.

Мы поехали под вечер и всю ночь рыли противотанковые рвы за Средней Рогаткой. Грунт попался глинистый, твердый, и нужно было сперва дробить его киркой, а уж тогда пускать в ход лопату. Я попала в бригаду одного из ленинградских издательств, уже показавшую высокий класс по «рытью могилы для Гитлера», как шутили вокруг. Это были почти исключительно женщины: машинистки, корректоры, редакторы, и я удивилась, что многие из них почему-то были прекрасно одеты. У одной черненькой хорошенькой редакторши я спросила, почему она приехала на рытье окопов в таком нарядном платье, и она засмеялась и сказала, что у нее «просто нет ничего другого». Меня всегда интересовал этот круг людей совсем другого мира – мира театра, литературы, искусства. Но, очевидно, не до искусства было этим красивым, интеллигентным девушкам, дробившим кирками твердую, как камень, темно-красную глину, и даже когда заходил разговор о чем-нибудь в этом роде – о последней театральной премьере или о том, что художнику Р. не следовало братья за оформление «Сильвы»<sup>222</sup>, – за всем этим мучительно неотвратимо стояла война, о которой забыть было невозможно.

Я оказалась в паре с черненькой редакторшей, и она сказала, что вчера отправились на фронт ее муж и два брата. О младшем она очень беспокоилась – он слабый, еще совсем мальчик, и муж очень отговаривал его, но ничего нельзя было сделать. Я рассказала ей о Сане, и некоторое время мы работали молча – в глубине окопа ставили носилки на землю, другие девушки наваливали на носилки глину, мы тащили ее наверх и опрокидывали на отвесной стороне окопа. Я не сказала ей, что с первого дня войны у

---

<sup>220</sup> Худфонд – Художественный фонд СССР – общественная организация при Союзе художников СССР, созданная в 1940 году.

<sup>221</sup> Оборонная тройка – группа, состоящая из трех представителей власти, занимавшихся вопросами, связанными с организацией обороны города, эвакуации промышленных предприятий, учреждений, населения и т.п.

<sup>222</sup> «Сильва» – известная оперетта венгерского композитора Имре Кальмана.

меня не было известий о Сане. Накануне я звонила матери одного летчика из его отряда, и она сказала, что получила письмо из Рыбинска. Быть может, и Саня в Рыбинске? Должно быть, там формируется летная часть. Но с равным основанием я могла назвать и другой город в Советском Союзе. Больше я не должна была знать, где он и что с ним. Если он умрет, я не буду знать, когда и как это случилось. Быть может, в этот час я буду в театре, или буду спать, ничего не чувствуя, или буду разговаривать с кем-нибудь и смеяться, как сейчас, когда бригадир посоветовал нам работать машинально, то есть думая о чем-нибудь другом, и мы с черненькой редакторшей посмотрели друг на друга и рассмеялись. Это был превосходный совет – нам было о чем подумать.

Ночь переломилась незаметно; в сером, неопределенно рассеянном свете, неподвижно стоявшем между небом и землей, вдруг проглянуло что-то утреннее, свежее, точно самый ветерок, пробежавший по полю и тронувший кусты, которыми были замаскированы зенитки, был другого, утреннего света. Вдали, над городом, поднялись и скрылись в лучах еще невидимого солнца серебристые, похожие на огромных добродушных рыб аэростаты воздушного заграждения.

Все немного побледнело к утру, одной девушке стало дурно, но все-таки наша бригада закончила свой «урок» раньше других. Хотелось пить, и моя новая подруга потащила меня в очередь за квасом. Палатки были разбиты возле старенькой, заброшенной церкви, мы стали в очередь, и редакторша вдруг предложила мне забраться на колокольню.

Это было глупо, у меня ныла спина, и вообще я очень устала, но я так же неожиданно согласилась.

По воткнутым в землю носилкам, на которых висела стенгазета<sup>223</sup>, я отыскала наш участок, к нему уже подходили новые люди. Неужели мы сделали так мало? Но он переходил в другой, другой – в третий, и так далеко, как достигал взгляд, женщины дробили глину в глубоких, трехметровых, с одной стороны отвесных, с другой – покатых рвах, выбрасывали лопатами, вывозили на тачках... Среди них не было ни одной, которая не рассмеялась бы от души, если бы месяц тому назад ей сказали, что, бросив дом, свою работу, она ночью поедет за город в пустое поле и будет рыться в земле и строить рвы, бастионы, траншеи... Но они поехали, и вот почти уже закончены эти гигантские пояса, охватывающие город и обрывающиеся лишь у дорог, на которых стоят скрещенные рельсы.

Не знаю, как объяснить чувство, с которым я смотрела на бедное поле, разрезанное огромными полукружиями и освещенное неярким медленным светом ленинградского солнца. Мне стало страшно, как перед бурей, от которой никуда не уйдешь. Но и смелость, какая-то молодая, веселая, вдруг проснулась в душе.

В полдень я вернулась домой и у подъезда встретила взволнованную Розалию Наумовну, которая объявила, что только что видела, как на Невском задержали шпиона.

– Такой толстый, с усами, – типичная шпионская рожа! Тьфу! – И она плюнула с отвращением. – И какое счастье, что со мной не было Берты! Она сошла бы с ума! Берта была очень пуглива.

На площадке второго этажа мы остановились, потому что Розалия Наумовна стала изображать, как это случилось. В это время какой-то военный, спускавшийся по лестнице, громко стуча сапогами, не дойдя до нас, перегнулся через перила, посмотрел вниз, и я узнала Лури.

---

<sup>223</sup> Стенгазета – сокращение стенная газета – вывешиваемая на стене рукописная или машинописная газета, обычно посвящается праздникам или текущим событиям.



Лури был штурман, Санин товарищ, они вместе работали на Севере, потом расстались, и где бы Саня ни служил, он всегда говорил, что ему не хватает Лури. «Шурку бы сюда!» – писал он мне из Испании. Время от времени Лури появлялся у нас – веселый, хвастливый, с бородой, которая делала его похожим на иностранца.

– Катерина Ивановна! – Он лихо откозырял мне. – Стучал, звонил, потерял надежду и бросил письмо в ящик.

– От Сани?

– Так точно.

И так же лихо Лури откозырял Розалии Наумовне.

Он сказал, что у него, к сожалению, ровно пятнадцать минут, и я не стала читать при нем Санино письмо, только взглянула, и одна фраза в конце прочлась сама собой:

«Непременно увидимся, но не скоро».

– Откуда вы? Вы в армии? В Ленинграде? Где Саня?

Лури был в армии и в Ленинграде. На эти два вопроса ему нетрудно было ответить. Но я еще раз настойчиво спросила:

– Где Саня?

И, немного подумав, он неопределенно ответил:

– В полку.

– Вы не хотите сказать, да? Но он здоров?

– Как штык, – смеясь, сказал Лури.

Розалия Наумовна побежала ставить кофе, хотя Лури повторил и даже «покаялся честью, что у него ровно пятнадцать минут»; мы остались одни, и я выудила у него, что где-то – неизвестно где – организуется полк особого назначения<sup>224</sup>, что в основном летный состав – ГВФ<sup>225</sup>, по полторы-две тысячи часов налета, и что сейчас все переучиваются на новых машинах.

Что-то очень холодное медленно вошло в сердце, когда я услышала эти слова: «полк особого назначения», но я не стала спрашивать, что это такое, – все равно Лури не ответил бы. Я только спросила, долго ли Саня будет переучиваться, и Лури, снова подумав, отвечал, что недолго. На все он отвечал помолчав, подумав, и тревога сквозила за его беспечным тоном.

Я написала Сане несколько слов, и Лури ушел, столкнувшись на пороге с Розалией Наумовной и пообещав еще раз зайти, «если это будет возможно». Мы еще несколько минут постояли у открытой двери и, прощаясь, вдруг обнялись, крепко расцеловались...

Письмо было грустное, хотя о том, что оно грустное, только я одна могла догадаться. Саня спрашивал о Пете большом и маленьком и советовал немедленно увезти мальчика из Ленинграда.

«Хорошо бы в Энск, к старикам!» Но тут же он беспокоился о судьбе и тете Даше, и можно было понять из одной осторожной фразы, что Энск бомбили, хотя он был еще очень далеко от линии фронта. Словом, Саня что-то знал, что-то плохое, вот откуда это «непременно увидимся, но не скоро».

Да, не скоро. Наступают трудные дни. Я расхаживала, стараясь ступать только на темные квадратики паркета, и когда я шла к окну, темные были одни, а когда назад – другие.

Полк особого назначения – «ну что ж, и нечего холодеть», – это было сказано сердцу, с которым снова что-то сделалось, когда я вслух повторила эти слова. «Он был в Испании и вернулся. Нужно только почаще писать ему, что я верю».

---

<sup>224</sup> Полк особого назначения – специальное вооруженное формирование.

<sup>225</sup> ГВФ – сокращенное Гражданский военный флот.

Вот когда я почувствовала, что смертельно устала. Я легла, закрыла глаза, и сразу все поехало: девушки, поднимающие носилки с тяжелой, твердой глиной, тачки, медленно сползающие по доскам, солнце, поблескивающее на темно-красных срезах окна. Потом откуда-то появился свет, неяркий, медленный после белой ночи, все стало бледнеть, уходить, и я почувствовала, что засыпаю. Все было хорошо, очень хорошо, только хотелось, чтобы не было этого унылого долгого стона, или песни, которую кто-то завел за спиной...

– Катя, тревога!

Розалия Наумовна трясла меня за плечо.

– Вставайте, тревога!

...В конце июля я встретила на Невском Варю Трофимову, жену одного летчика, Героя Советского Союза, с которым Саня служил в «авиации спецприменения». Когда-то мы с этой Варей ездили к мужьям в Саратов, и еще тогда я, помнится, удивилась, узнав, что она зубной врач.

Это была высокая, румяная женщина, сильная, с решительной походкой. Чем-то она напоминала мне Кирку, особенно когда громко смеялась, показывая длинные красивые зубы.

– А Гриша-то мой, – вздохнув, сказала она. – Берлин бомбит. Читали?

Мы разговорились, и она предложила мне работать в стоматологической клинике Военно-медицинской академии.

Я задумалась, и Варя сразу же сказала, что «прежде нужно посмотреть, что это такое», а то она порекомендовала одну дамочку, а та «поработала два дня и ушла, потому что ей, видите ли, не понравился запах».

«Дамочек» Варя ненавидела – это я тоже помнила еще со времен саратовской поездки. Нужно сказать, что запах действительно был невозможный, и я почувствовала это, едва войдя в коридор, по обеим сторонам которого были, расположены палаты. Запах был такой, что меня сразу стало тошнить, и тошнило все время, пока Варя Трофимова знакомила меня с другими сестрами, с рентгенологом, с женой главного врача и с кем-то еще и еще.

Здесь лежали люди, раненные в лицо. Только что я пришла, как привезли юношу, у которого все лицо было сорвано миной...

И, ухаживая за этими людьми, – я поняла это на второй или третий день работы, – нужно было все время как бы уверять их, что это ничего не значит, что не беда, если останется рубец, что нужно только потерпеть и почти ничего не будет заметно. Мне случалось потом работать в клинике полевой хирургии, и там не было этой тайной, но сквозящей за каждым словом боязни уродства, этого ужаса, с которым человек бросал первый взгляд на свое обезображенное лицо, этого бесконечного стояния перед зеркалом накануне выписки, этих беспомощных попыток приукрасить себя, прихорошиться...

Впрочем, нужно сказать, что иногда мы вовсе не кривили душой, уверяя, что «ничего не будет заметно». Я прежде никогда не думала, что можно, например, сделать новый нос или пересадить на лицо кусок кожи. Сколько раз случалось, что на первых перевязках страшно было взглянуть на раненого, а через два-три месяца он возвращался в свою часть с едва заметными следами ран, которые должны были, казалось, обезобразить его навсегда.

Мне было трудно в стоматологической клинике, особенно первое время, и я была рада, что мне трудно и что нужно так внимательно следить за каждым словом и держаться уверенно, даже когда очень тяжело на душе.

Петина часть стояла на Университетской набережной. Сразу же после отъезда детей он записался в народное ополчение. В свободное время я забегала к нему, мы сидели на бревнах, сваленных у парапета, или прохаживались от Филологического института до Сфинксов<sup>226</sup>. Другие памятники были уже сняты или завалены мешками с песком, а Сфинксы почему-то еще лежали, как прежде, в далекие мирные времена, до 22 июня 1941 года. Бесстрастно уставясь на всю эту скучную человеческую возню, лежали они на берегу Невы, и у них были широко открытые глаза и высокомерные лапы. У Пети становилось доброе, хитрое лицо, когда он смотрел на Сфинксов.

– Сделать такую лапу и умереть, – как-то сказал он мне и стал длинно, интересно рассказывать, почему это гениальная лапа.

Мы с Розалией Наумовной перечинили ему все белье, но он ничего не взял, хотя белье, которое он получил в батальоне, было гораздо хуже. Вообще он очень старался поскорее стать настоящим солдатом.

## Глава 5

### Брат

Накануне я была у него, и он ничего не сказал – очевидно, приказ был получен ночью. Я дежурила. Розалия Наумовна вызвала меня и сказала, что Петя звонил домой, просил зайти: если можно – немедленно, но, во всяком случае, не позже полудня. Мое дежурство кончалось только в полдень, но я отпросилась. Варя Трофимова заменила меня, и еще не было десяти часов, как я уже была у Филологического института. Знакомый боец из Петинского батальона мелькнул в окне, я окликнула его.

– Сковородникова? Сейчас сообразим...

Петя торопливо вышел из ворот, мы поздоровались и пошли по набережной, к Сфинксам.

– Катя, мы сегодня уходим, – сказал он. – Я очень рад.

Он замолчал. Он был взволнован.

– Никто не думал. Мы должны были на днях отправиться в учебный поход. Но, очевидно, положение изменилось.

Я кивнула. Раненые в последнее время поступали из-под Луги – нетрудно было догадаться о том, что положение изменилось.

– Я написал письма, – продолжал он и стал рыться в сумке. – И хотел просить вас...

Вот это не нужно посылать.

Он достал конверт, не заклеенный, ненаписанный, и протянул его мне.

– Это – Петьке. Вы ему отдадите, если меня...

Он хотел сказать «убьют», даже губы сложил, и вдруг улыбнулся по-детски.

– Понятно, не сейчас отдадите, а так – лет через десять.

– Саня никогда не стал бы писать таких писем.

– У него нет сына.

Должно быть, у меня немного дрогнуло лицо, потому что он испугался – подумал, что обидел меня... Мы остановились, и он крепко взял меня за руку.

– Что же Саня? Где он?

– Не знаю.

---

<sup>226</sup> Сфинксы – в древнем Египте сфинкс – каменное изваяние лежащего льва с человеческой головой. Египетские сфинксы на Университетской набережной являются одним из неофициальных символов Санкт-Петербурга. Сфинксам на Университетской набережной около 3,5 тыс. лет. В Петербург сфинксы прибыли в 1832 году, а в апреле 1834-го их водрузили перед Академией художеств на Университетской набережной.

– Я писал ему на ППС<sup>227</sup>, но не получил ответа. Все равно – он жив, и с ним ничего не случится.

– Почему?

Он помолчал.

– Верю, что не случится. Помните, он говорил: «Небо меня не подведет. Вот за землю я не ручаюсь».

И правда, Саня так говорил. Но это было давно, а теперь, во время войны, как-то пусто прозвучали эти слова.

– А это отцу. – Петя достал из сумки второе письмо. – Если он жив.

Видите, все такие письма, что никак не пошлешь почтой, – добавил он горько. – Работы мои возьмут в Русский музей. Я уже сговорился.

Я даже руками всплеснула.

– Да нет, это просто так, – поспешно сказал Петя, не потому, что могут убить, а вообще. И Косточкин сделал то же, и Лифшиц, и Назаров.

Это были художники.

– Мало ли что может случиться... Да не со мной же, господи, – добавил он уже нетерпеливо. – Или вы думаете, что Москву бомбят, а Ленинград так и не тронут? Я этого не думала. Но он так распорядился всеми своими делами, как будто в глубине души и не надеялся на возвращение.

– Нам еще кажется, что мы – одно, а война – другое, – задумчиво сказал он. – А на самом деле...

В конце концов, он стал совать мне свои часы, но тут уж я возмутилась и стала так ругать его, что он засмеялся и положил часы обратно.

– Чудачка, мне же выдали новые, с компасом, – сказал он. – Ведь вы знаете, Катя, кто я? Младший лейтенант, – пожалуйста, не шутите!

Не знаю, когда он успел получить младшего лейтенанта, – он всего-то был в армии месяц. Но он сказал, что еще в академии прошел курс и числился командиром запаса. Мы дошли до Сфинксов и, как всегда, остановились у того места, где почему-то был снят парапет и кусок сломанных перил болтался на таях<sup>228</sup>. Вздохнув, Петя уставился на Сфинксов – прощался? Длинный, подняв голову, стоял он, и что-то орлиное было в этом худом профиле с гордо прикрытыми, рассеянными глазами. «Плевал он на эту смерть», как рассказывал мне потом, через много дней, командир его батальона. Как ни странно, но именно в этот день, прощаясь с Петей у Сфинксов, я почувствовала эту гордость, это презрение.

Он знал, что я всегда считала Петеньку за сына. Но, наверно, нужно было еще раз сказать ему об этом всеми словами. Расставаясь, непременно нужно говорить все слова – уж кому-кому, а мне-то пора было этому научиться! Но я почему-то не сказала ему и, вернувшись домой, сразу же пожалела об этом.

Он снова взял меня за руки, поцеловал руки, мы крепко обнялись, и он чуть слышно сказал:

– Сестра...

Я проводила его до института и пешком пошла на Петроградскую, хотя чувствовала усталость после бессонной ночи.

Жарко было, свежий асфальт у Ростральных колонн<sup>229</sup> плавился и оседал под ногами. Легкий запах смолы доносился от барок, стоявших за Биржевым мостом, и Нева,

---

<sup>227</sup> ППС – почтовые полевые станции, которые были созданы непосредственно в воинских частях.

<sup>228</sup> Тали – система блоков для подъема тяжестей

<sup>229</sup> Ростральные колонны в Санкт-Петербурге расположены на стрелке Васильевского острова перед зданием Биржи, архитектор Ж. Ф. Тома-де-Томон. Ростральная колонна (лат. *columna rostrata*, от лат. *rostrum* – нос корабля) – отдельно стоящая колонна, украшенная носами кораблей (рострами) или их

великолепная, просторная, не шла, а шествовала, раскинувшись на две такие же великолепные, просторные Невы, именно там, где это было прекрасно. И странно, дико было подумать о том, что в какой-нибудь сотне километров отсюда немецкие солдаты, обливаясь потом, со звериной энергией рвутся к этим зданиям, к этому праздничному летнему сиянию Невы, к этому новому, молодому скверу между Биржевым и Дворцовым мостами.

Но пока еще тихо, спокойно было вокруг, в сквере играли дети, и старый сторож с металлическим прутиком в руке шел по дорожке, останавливаясь время от времени, чтобы наколоть на прутик бумажку.

## Глава 6 Теперь мы равны

Как прежде я помнила по числам все наши встречи с Саней, так же теперь я запомнила, и, кажется, навсегда, те дни, когда получала от него письма. Второе письмо, если не считать записочки, в которой он называл меня «Пира-Полейкин», я получила 7 августа – день, который потом долго снился мне и как-то участвовал в тех мучительных снах, за которые я даже сердилась на себя, как будто за сны можно сердиться.

Я ночевала дома, не в госпитале, и рано утром пошла разыскивать Розалию Наумовну, потому что квартира оставалась пустая. Я нашла ее во дворе: трое мальчиков стояли перед ней, и она учила их разводить краску.

– Слишком густо так же плохо, как и слишком жидко, – говорила она. – Где доска? Воробьев, не чешись. Попробуйте на доске. Не все сразу.

По инерции она и со мной заговорила деловым тоном:

– Противопожарное мероприятие: окраска чердаков и других деревянных верхних частей строений. Огнеупорный состав. Учю детей красить.

– Розалия Наумовна, – спросила я робко, – вы еще не скоро вернетесь домой? Мне должны позвонить.

Я ждала звонка из Русского музея. Петины работы давно были упакованы, но за ними почему-то не присылали.

– Через час. Пойду с детьми на чердак, задам каждому урок и буду свободна. Катя, да что же это я! – сказала она живо и всплеснула руками. – Вам же письмо, письмо! У меня руки в краске, тащите!

Я залезла к ней в карман и вытащила письмо от Сани...

Как всегда, я сначала пробежала письмо, чтобы поскорее узнать, что с Саней ничего не случилось, потом стала читать еще раз, уже медленно, каждое слово.

«Помнишь ли ты Гришу Трофимова? – писал он уже в конце, прощаясь. – Когда-то мы вместе с ним распыляли над озерами парижскую зелень. Вчера мы его похоронили».

Я плохо помнила Гришу Трофимова, он сразу же куда-то улетел, едва я приехала в Саратов, и я вовсе не знала, что он служит в одном полку с Саней. Но Варя, несчастная Варя мигом представилась мне – и письмо выпало из рук, листочки разлетелись.

...Пора было ехать в госпиталь, но я зачем-то побрела домой, совсем забыв, что отдала Розалии Наумовне ключ от квартиры. На лестнице меня встретила «научная няня» и сразу стала жаловаться, что никак не может устроиться – никто не берет, потому что «не хватает питания», и что одна домработница поступила в Трест зеленых

---

скульптурными изображениями. Традиция использовать в качестве элемента парадных сооружений ростры вражеских кораблей существовала уже в Древнем Риме.

насаждений, а ей уже не под силу, и т.д. и т.д. Я слушала ее и думала: «Варя, бедная Варя».

Уже приехав в госпиталь и не зайдя в «стоматологию», где она могла увидеть меня, я снова перечла письмо и вдруг подумала о том, что Саня прежде никогда не писал мне таких писем. Я вспомнила, как однажды в Крыму он вернулся бледный, усталый и сказал, что от духоты у него весь день ломит затылок. А наутро жена штурмана сказала мне, что самолет загорелся в воздухе, и они сели с бомбами на горящем самолете. Я побежала к Сане, и он сказал мне смеясь:

– Это тебе приснилось.

Саня, который всегда так оберегал меня, который сознательно не хотел делить со мной все опасности своей профессиональной жизни, вдруг написал – и так подробно – о гибели товарища. Он описал даже могилу Трофимова. Саня описал могилу!

«В середине мы положили неразорвавшиеся снаряды, потом крупные стабилизаторы, как цветы, потом поменьше, и получилась как бы клумба с железными цветами».

Не знаю, может быть, это было слишком сложно – недаром Иван Павлович когда-то говорил, что я понимаю Саню слишком сложно, – но «теперь мы равны» – вот как я поняла его письмо, хотя об этом не было сказано ни слова. «Ты должна быть готова ко всему – я больше ничего от тебя не скрываю».

Шкаф с халатами стоял в «стоматологии», я поскорее надела халат, вышла на площадку – госпиталь был через площадку – и, немного не дойдя до своей палаты, услышала Варин голос.

– Нужно сделать самой, если больной еще не умеет, – сердито сказала она.

Она сердилась на сестру за то, что та не промыла больному рот перекисью водорода<sup>230</sup>, и у нее был тот же обыкновенный, решительный голос, как вчера и третьего дня, и та же энергичная, немного мужская манера выходить из палаты, еще договаривая какие-то распоряжения. Я взглянула на нее: та же, та же Варя! Она ничего не знала. Для нее еще ничего не случилось!

Должна ли я сказать ей о гибели мужа? Или ничего ненужно, а просто в несчастный день придет к ней «похоронная» – «погиб в боях за родину», – как приходит она к сотням и тысячам русских женщин, и сперва не поймет, откажется душа, а потом забьется, как птица в неволе, – никуда не уйти, не спрятаться. Принимай – твое горе. Не поднимая глаз, проходила я мимо кабинета, в котором работала Варя, как будто я была виновата перед ней, в чем – и сама не знала.

День тянулся бесконечно, раненые все прибывали, пока, наконец, в палатах не осталось мест, и старшая сестра послала меня к главврачу спросить, можно ли поставить несколько коек в коридоре.

Я постучалась в кабинет, сперва тихо, потом погромче. Никто не отвечал. Я приоткрыла дверь и увидела Варю.

Главврача не было, должно быть она ждала его, стоя у окна, немного сутулясь, и крепко, монотонно выбивала пальцами дробь по стеклу.

Она не обернулась, не слышала, как я вошла, не видела, что я стою на пороге.

Осторожно она сделала шаг вдоль окна и несколько раз сильно ударила головой об стену.

Впервые в жизни я увидела, как бьются головой об стену. Она билась не лбом, а как-то сбоку, наверно чтобы было больнее, и не плакала, с неподвижным выражением, точно это было какое-то дело. Волосы вздрагивали – и вдруг она прижалась лицом к стене, раскинула руки...

---

<sup>230</sup> Перекись водорода – прозрачная жидкость без цвета и запаха. Используется в лечебных целях: для дезинфекции и т.п.

Она знала. Весь этот трудный, утомительный день, когда пришлось даже отложить несрочные операции, потому что не хватало рук на приеме, когда больных некуда было класть и все нервничали, волновались, она одна работала так, как будто ничего не случилось. В первой палате она учила разговаривать одного несчастного парня, лежавшего с высунутым языком, – и знала. Она долго скучным голосом отделявала повара за то, что картофель был плохо протерт и застревал в трубках, – и знала. То в одной, то в другой палате слышался ее сердитый, уверенный голос – и никто, ни один человек в мире не мог бы догадаться о том, что она знала.

## Глава 7

### «Екатерине Ивановне Татариновой-Григорьевой»

Все чаще я оставалась в госпитале на ночь, потом на двое-трое суток и, наконец, стала приходить домой только тогда, когда Розалия Наумовна просила меня об этом.

– Что-то мне стало скучно без вас, Катя, – говорила она.

«Скучно» – это означало, что она снова не знает, что делать с Бертой, которая становилась все более пугливой и молчаливой и уже не ходила по очередям, а целые дни лежала на диване и, главное, почти перестала есть.

Плохи были ее дела, и я советовала Розалии Наумовне немедленно увезти ее из Ленинграда. Но Розалия Наумовна боялась отпустить ее одну, а сама об отъезде не хотела и слышать.

...Тихо было в квартире и пусто, тонкие полоски света лежали на мебели, на полу, солнце сквозило через щели закрытых ставен. Я подсела к Берте, задумалась, потом очнулась, как от сна, от беспокойных, утомительных мыслей, которые точно за руку увели меня из этой комнаты, где стояла мебель в чехлах и худенькая старушка в чистой ночной кофточке сидела и с детским вниманием вырезала бумажные салфетки – за последнее время это стало ее любимым занятием.

– Вот так возьмешь, да и сойдешь с ума...

Должно быть, я сказала это вслух, потому что Берта на мгновение оторвалась от своих салфеток и рассеянно посмотрела на меня.

– Там вас ждут, Катя, – сказала она, помолчав.

– Кто ждет?

– Не знаю.

Я побежала к себе. Совершенно незнакомый старый человек спал в моей комнате, сложив на животе руки.

– Он сказал, что знает меня? – спросила я, выйдя на цыпочках и вернувшись к Берте.

– Роза говорила с ним. А что?

– Да ничего, просто я вижу этого человека первый раз в жизни.

– Что вы говорите? – с ужасом спросила Берта. – Он же сказал, что знакомый!

Я успокоила ее. Но никогда у меня не было такого почтенного знакомого, длинного, бородатого, с полосками от пенсне<sup>231</sup> на носу. Мне стало смешно. Вот так штука! Это был моряк – китель и противогаз висели на стуле.

Наконец он проснулся. Длинно зевнув, он сел и, как все близорукие люди, пошарил вокруг себя – должно быть, искал пенсне. Я кашлянула. Он вскочил.

– Катерина Ивановна?

– Да.

---

<sup>231</sup> Пенсне – очки без заушных дужек, держащиеся на носу с помощью зажимающей переносицу пружины.

– В общем, Катя, – добродушно сказал он. – А я вот пришел и уснул, как это ни странно.

Я смотрела на него во все глаза.

– Вам, конечно, трудно меня узнать. Но зато с вашим Саней мы знакомы... сколько, давай Бог?

Он считал в уме.

– Двадцать пять лет. Господи ты мой! Двадцать пять лет, не больше и не меньше.

– Иван Иванович?

– Он самый.

Это был доктор Иван Иванович, о котором я тысячу раз слышала от Сани. Он научил Саню говорить, и я даже помнила эти первые смешные слова: «Абрам, кура, ящик». Он летал с Саней в Ванокан, и если бы не его удивительная энергия, плохо было бы дело, когда трое суток Сане пришлось «пурговать» без малейшей надежды на помощь! Мне всегда казалось, что даже в том восторге, с которым Саня говорил о нем, было что-то детское, сказочное. И действительно, он был похож на доктора Айболита, со своим румяным морщинистым лицом, с толстым носом, на котором задорно сидело пенсне, с большими руками, которыми он смешно размахивал, когда говорил, точно бросал вам в лицо какие-то вещи.

– А я-то ломала голову, какой же знакомый! Доктор, но откуда же вы? Вы же были где-то далеко?

– Нет, недалеко. На шестьдесят девятой параллели.

– Вы моряк?

– Я моряк, красивый сам собою, – сказал доктор. – Все расскажу. Один стакан чаю!

Он зачем-то поцеловал меня, приложился бородкой, и я побежала ставить чай. Потом вернулась и сказала, что Саня до сих пор возит с собой стетоскоп, который доктор когда-то забыл в занесенной снегом избушке в глухой далекой деревне под Энском. Он засмеялся, и через несколько минут мы сидели и разговаривали, как будто тысячу лет знакомы. Так оно и было – хотя не тысячу, но очень давно, с тех пор, когда я впервые услышала о нем от Сани.

Доктор служил на флоте совсем недавно, с начала войны. Он сам попросился, хотя Ненецкий национальный округ протестовал и какой-то Ледков говорил с ним целую ночь – все убеждал остаться. Но доктор настоял. Его сын Володя был в армии на Ленинградском фронте, и доктор считал, что надо воевать, а не сидеть у черта на куличках. Он был назначен в Полярное на базу подводного флота. Полярное – это не Заполярье. Это военный городок на Кольском заливе, в двух тысячах километров от Заполярья. Морские летчики в Полярном сказали ему, что Саня в АДД (авиация дальнего действия), что он летал на Кенигсберг и что один из полков АДД, по слухам, вскоре прилетит на Север.

– Как на Кенигсберг? Я ничего не знаю.

– Здрости! – сердито сказал доктор. – А кто должен знать, голубчик, если не вы?

– Откуда? Ведь Саня об этом не напишет.

– Положим, – согласился доктор. – Все равно, надо знать, надо знать.

Я принесла чай, он залпом выпил стакан и сказал: «Недурственно».

– Сейчас на фронтах тяжело, – сказал он. – Я видел Володю, и он тоже говорил, что тяжело. Именно здесь, под Ленинградом. Позвольте, но я же привез вам письмо!

– От кого?

– От старого друга, – загадочно сказал доктор и стал искать противогаз, который висел у него под носом: очевидно, письмо было в противогазе. – Служит с Володей в одной



части. Именно он сказал мне, что вы в Ленинграде. Уезжая, просил передать вам письмо.

«Екатерине Ивановне Татариновой-Григорьевой», – было написано на конверте – и адрес, очень подробный. И второй адрес – госпиталя, на случай, если доктор не найдет меня дома. Почерк был ясный, острый и незнакомый. Нет, знакомый. С изумлением я смотрела на конверт. Письмо было от Ромашова.

– Ну, что? – торжественно спросил доктор. – Узнала?

– Узнала. – Я бросила письмо на стол. – Вы с ним знакомы?

– Познакомились у Володи. Превосходный человек. Заведует хозяйством, и Володя говорит, что он без него, как без рук. Очень милый. К сожалению, уехал.

Я что-то пробурчала.

– Да, очень милый, – продолжал доктор. – Пьет, правда, но кто не пьет?

– Интересно, откуда же он знает, что я в Ленинграде?

– Вот так раз! Разве он у вас не был?

Я промолчала.

– Да-с, – поглядев на меня поверх пенсне, сказал доктор. – Я полагал, что именно друг. Он, например, рассказал мне всю вашу жизнь, особенно последние годы, о которых я знал очень мало.

– Это страшный человек, доктор.

– Ну да!

– И вообще, ну его к черту. Еще чаю?

Доктор выпил второй стакан, тоже залпом, потом стал угощать меня концентратом – шоколад с какао.

– Очень странно, – задумчиво сказал он. – И что же, не станете читать письмо?

– Нет, прочитаю.

Я разорвала конверт. «Катя, немедленно уезжайте из Ленинграда, – было написано крупно, торопливо. – Умоляю вас. Нельзя терять ни минуты. Я знаю больше, чем могу написать. Да хранит Вас моя любовь, дорогая Катя! Вот видите, какие слова. Разве я посмел бы написать их, если бы не сходил с ума, что вы останетесь одна в Ленинграде? До Тихвина можно доехать на машине. Но лучше поездом, если они еще ходят. Не знаю, боже мой! Не знаю, увижу ли я Вас, моя дорогая, счастье мое и жизнь...»

## Глава 8

### Это сделал доктор

Каждый вечер мы собирались на Петроградской<sup>232</sup>. Как-то я пригласила Варю Трофимову, и с доктором она впервые заговорила о муже. Он что-то спросил очень просто, она ответила, и сразу стало видно, как это важно для нее – говорить о муже, и как трудно скрывать свое горе. На другой день она принесла его письма, мы вспомнили саратовскую поездку, даже всплакнули – это было так давно, и мы были тогда такие девчонки! У нее были спокойные, грустные глаза, когда я ее провожала. Ей стало легче жить.

Это сделал доктор.

За ту неделю, что он провел у нас, положение на Ленинградском фронте ухудшилось, немцы подтянули свежие силы, тревоги начинались с утра. Я плохо спала – волновалась за Саню. Однажды, когда я только что легла, не раздеваясь, доктор постучал, вошел и в темноте сунул мне в руку маленького медвежонка.

---

<sup>232</sup> Петроградская сторона – район Ленинграда (Петербурга).

– Работа Панкова, – сказал он, – отличный ненецкий мастер. На память. От имени доктора Ивана Ивановича этот белый медведь будет говорить вам, что Саня вернется. Конечно, это была просто ерунда, но теперь, когда тоска добиралась до сердца, я вынимала из сумки медвежонка, смотрела на него, и, честное слово, мне становилось веселее.

По утрам доктор пел или бормотал стихи, комические, должно быть, собственного сочинения, потом долго мылся в ванной и уверял, что между его мытьем и немецкими налетами существует таинственная связь: стоит ему залезть в ванну, как немедленно начинается тревога. Так и было несколько раз. К столу он приходил с мокрой, симпатичной бородкой и первым делом бросал мне стул, который я должна была поймать за ножки и бросить обратно. У него были какие-то веселые странности. Он любил удивлять.

Да, это была отличная неделя, которую доктор провел у меня! Это было так, как будто в грозе и буре вдруг послышался спокойный человеческий голос.

Но вот пришел день, когда он сложил свой мешок и связал книги, которые накопил в Ленинграде.

Я поехала провожать его...

Кажется, никогда еще на Невском не было так много народу. Беспokoйно оглядываясь на усталых, запыленных детей, женщины везли на садовых тележках узлы, сундуки, корыта... Не городские, загорелые старики, сгорбясь, шагали по тротуарам навстречу движению. Это были колпинцы, детскосельцы... Пригороды входили в город! Добрых два часа мы добирались до Московского вокзала. Я не позволила доктору тащить через площадь его мешок, потащила сама и остановилась на углу Старо-Невского, чтобы взяться удобнее. Иван Иванович прошел вперед. Широкий подъезд был совершенно пуст – это показалось мне странным.

«Наверно, теперь садятся с Лиговки<sup>233</sup>», – подумала я.

Удивительно, как запомнилась мне эта минута: площадь Восстания, залитая солнцем, длинный доктор в морской шинели, поднимающийся по ступеням, тень, которая сломилась на ступенях, поднималась за ним, тревожная пустота у главного входа... Дверь была закрыта. Доктор постучал. Полная женщина в железнодорожной фуражке выглянула и сказала ему не знаю что, два слова. Он постоял, потом медленно вернулся ко мне. У него было строгое лицо.

– Ну-ка, давайте сюда мешок, Катя, – сказал он, – и – айда домой. Последняя дорога перерезана. Поезда больше не ходят...

Доктор улетел через несколько дней.

## Глава 9 Отступление

Шофер в первый раз вел машину на этот участок фронта, и несколько раз мы останавливались у развилки дорог, чтобы посмотреть на карту. Мы ехали уже больше часу, и я удивлялась, что немцы все-таки еще далеко от Ленинграда. Но здесь был самый отдаленный участок – за Ораниенбаумом через Гостилицы, по направлению к Копорью. Моряки держали эти места под огнем дальнобойных судовых батарей. Мы ехали в дивизию народного ополчения<sup>234</sup>, и дорогой я стала надеяться, что увижу Петю, потому что он служил именно в этой дивизии, и я даже знала фамилию комиссара<sup>235</sup> полка.

---

<sup>233</sup> Лиговка – Лиговский проспект в Ленинграде (Петербурге). Московский вокзал, на который приехала Катя, расположен таким образом, что имеет и боковой вход со стороны Лиговского проспекта.

Уже волокли тягачи навстречу нам подбитые пушки. Легко раненные по двое, по трое брели по открытой, среди полей, пыльной дороге. Где-то впереди дорога простреливалась, об этом мне сказала коротенькая, крепкая, с детскими щечками санитарка Паня. Косички у нее были заплетены вокруг головы, и каждый раз, когда машину подбрасывало на выбоинах, она не могла удержаться от смеха. Мы проскочили место, которое простреливалось, хотя что-то раза два рванулось за нами, и, приоткрыв заднюю дверь, я увидела на дороге опускающееся облачко пыли. На полном ходу мы влетели в деревню, шофер затормозил, и пока он ругался, рассматривая надорванное крыло, мы с Паней пошли искать командира медсанбата. Деревня была самая обыкновенная, и все вокруг самое обыкновенное: свежие плетни из ракиты, кое-где пустившие ростки, кирпичные очаги во дворах, амбары с оторванными, повисшими на одной петле дверями, за которыми чувствовалась прохладная темнота и пахло молодым сеном. Здесь стоял штаб дивизии, а передовая была отсюда за два-три километра, «вон там, где лесочек», сказала мне сандружинница в штанах, с большим наганом на ремне, указав в ту сторону, где луга переходили в жидкий перелесок, а за ним, сияя под солнцем, стояла березовая роща. Раненых приказано было везти, когда начнет смеркаться, поближе к ночи, и только что выдавалась свободная минута, как я начинала искать Петю. Я спрашивала раненых, сандружинниц, связного комиссара дивизии, о котором мне сказали, что он знает всех командиров. Комиссар Петиного полка, тот самый, фамилию которого я знала, накануне был убит – об этом мне сообщили в политотделе<sup>236</sup>. – Скорняков тоже убит, – сказал мне огромный, плотный человек с двумя шпалами<sup>237</sup> инструктора политотдела. Должно быть, я побледнела, потому что он перестал есть суп – я застала его за обедом – и, оглянувшись, строгим, рычащим голосом спросил командира, лежащего под шинелью на лавке: – Рубен, Скорняков убит? Командир под шинелью сказал, что убит. – Сковородников, – не своим голосом поправила я. – Почему Скорняков? Младший лейтенант Сковородников! – Сковородников? Такого не знаю. Обедали? – Да, спасибо. У меня ноги еще дрожали, когда я вышла из политотдела...

Самолет кружил над деревней, сандружинницы<sup>238</sup> шли задними дворами, и слышно было, как они кричали: «Маруся, воздух!» Снаряды все чаще ложились вдоль улицы и теперь стало ясно, что немцы бьют не по батареям, а по самой деревне. Наши отходили – в одну минуту деревня наполнилась людьми в грязных, красных от глины шинелях и так же быстро опустела. Худенький горбоносый юноша со сжатыми губами, с

---

<sup>234</sup> Народное ополчение – добровольческие военные формирования из лиц, не подлежащих первоочередному призыву по мобилизации, создаваемые в помощь регулярной армии. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. создавалось в 1941–1942 гг. из дивизий народного ополчения (в Ленинграде 10, в Москве – 16, а также в других городах), а также коммунистических рабочих батальонов и полков, истребительных батальонов, большинство которых позже влилось в действующую армию.

<sup>235</sup> Комиссар – в СССР политический работник, наделенный командными полномочиями.

<sup>236</sup> Политотдел – орган, руководящий партийной работой в армии и в некоторых высших государственных учреждениях. Политический отдел – название партийных органов, назначаемых высшими партийными инстанциями.

<sup>237</sup> С двумя шпалами – две «шпалы» в системе воинских различий соответствовали званию майора.

<sup>238</sup> Сандружинницы – члены санитарной дружины, подвижного формирования медицинской службы.

разлетающимися бровями забежал в медсанбат<sup>239</sup>, попросил напиток. Паня подала ему – и с такой сильной, чистой нежностью, какой я не испытала ни к кому на свете, я смотрела, как он пьет, как ходит вверх и вниз его худой кадык, как со злобой косятся его глаза на дорогу, по которой еще отходили наши.

Мы выехали в девятом часу, и весь медсанбат снялся вместе с нами. Березовая роща, которая еще так недавно была легкой, сияющей, спокойной, теперь горела, и ветер гнал прямо на нас темные, шаткие столбы дыма. Это было кстати: мы без труда проскочили ту часть дороги, которая простреливалась, – на выезде из деревни. Теперь не так трясло – машина была полна, но каждый раз, когда она ныряла в рытвину, раздавался стон, и мы с Паней совсем замotalись, следя, чтобы кто-нибудь из раненых не ударился головой о раму.

Это было 8 сентября – день, когда, готовясь к решительному штурму, немцы впервые начали серьезно бомбить Ленинград. Мрачное зарево пожара летело навстречу машине. Мы выехали на Международный, и стало казаться, что весь город охвачен огнем. Говор слышался среди раненых, и в красных отблесках, искоса забегавших в автобус, я увидела, что один из них, плечистый моряк с забинтованной головой, рвет на себе тельняшку и плачет.

## Глава 10

### А жизнь идет

Деревянные щиты перед окнами магазинов уже постарели, потрескались, облупились; в садах и парках давно заросли травой щели и траншеи; в квартирах с утра был полумрак, потому что тревога объявлялась по многу раз в день и не имело смысла все время открывать и закрывать ставни. «Окопы», на которые я ездила в июле, давно превратились в сильные укрепления с дзотами, стальные каркасы для которых отливались на заводах.

Кажется, никогда в жизни я столько не работала, как этой осенью в Ленинграде. Я училась на курсах РОКК<sup>240</sup> ездила на фронт и даже получила благодарность в приказе за то, что под сильным огнем вывезла раненых с линии фронта.

А писем все не было – все чаще приходилось мне вынимать из сумки белого медвежонка. Писем не было – напрасно искала я Саню среди летчиков, награжденных за полеты в Берлин, Кенигсберг, Плоешти.

Но я работала, «набирая скорость», как на сумасшедшем поезде, который мчится вперед, не разбирая сигнальных огней, – только свистит и бросается в сторону ветер осенней ночи!

И вот пришел день, когда поезд промчался мимо, а я одна осталась лежать под насыпью, одинокая, разбитая, умирающая от горя.

Еще в детстве мне почему-то было стыдно рассказывать сны. Как будто я сама доверяла себе заветную тайну, а потом сама же раскрывала ее, рассказывая то, что было известно мне одной в целом свете. Но этот сон я все-таки должна рассказать.

Я уснула в госпитале после дежурства, на десять минут, и мне приснилось, что я сижу у окна и занимаюсь испанским. Так и было, когда мы жили в Крыму: Саня сердится, что я забросила языки, и я стала снова заниматься испанским. Но разве Крым за окном?

Словно в раю, клонится вниз тяжелая ветка сливы с матовыми синими плодами, прозрачные желтые персики светятся, тают на солнце, и всюду – цветы, и цветы: табак,

<sup>239</sup> Медсанбат – медицинско-санитарный батальон, военно-медицинское формирование в армии.

<sup>240</sup> РОКК – Российское общество Красного Креста.

левкой, розы. Тишина – и вдруг оглушительный птичий крик, взмахи крыльев, волнение! Я бросаю книгу – и в сад, через стол, через окно. И что же? Коршун или ворон, не знаю, большая птица с горбатым клювом сидит на платане, раскинув острые крылья. И эта птица держит в клюве другую, маленькую, кажется, соколенка. Она держит соколенка за ноги, и тот уже не кричит, только смотрит, смотрит на меня человеческими глазами. У меня сердце падает, я кричу, ищу что-нибудь, палку, а коршун поднимается медленно и летит. Голова его повернута в сторону от меня. Летит, раскинув, распластав неподвижные крылья.

– Вот, Лукерья Ильинична, объясните сон, – сказала я нашей канцеляристке<sup>241</sup>, пожилой, старомодной и чем-то всегда напоминавшей мне тетю Дашу.

– Ваш муж прилетит.

– Почему же? Ведь улетел коршун и птичку унес?

Она подумала.

– Все равно прилетит.

Весь день я была под впечатлением этого страшного, глупого сна, а вечером уговорила Варю поехать ко мне ночевать.

Тревоги начались, как обычно, в половине восьмого. Первую мы пересидели, хотя Розалия Наумовна звонила по телефону и от имени группы самозащиты приказывала спуститься. Вторую тоже пересидели. В бомбоубежищах на меня всегда находила тоска, и я давно решила, что если мне «не повезет» – пускай это случится на свежем воздухе, под ленинградским небом. Кроме того, мы жарили кофе – важное дело, потому что это был не только кофе, но и лепешки, если к гуще прибавить немного муки.

Но началась третья тревога, бомбы упали близко, дом качнулся, точно сделал шаг вперед и назад, в кухне посыпались с полок кастрюли, и Варя взяла меня за руку и повела вниз, не слушая возражений. Женщины стояли в темном подъезде и говорили быстро, тревожно. Я узнала знакомый голос дворничихи татарки Гюль Ижбердеевой, которую все в доме почему-то называли Машей.

– Девятка побита, – сказала она. – Очень побита. Комендант велел – бери лопата, пошла, отрывать нада.

«Девятка» – это был дом, в котором помещался гастрономический магазин номер девять.

– Бери лопата, пошла. Все пошла! Кому нет лопата, там дадут. Бери, бабка, бери! Тебя побьют, тебя отрывать будут.

Она гремела в темноте лопатами, одну сунула мне, другую Варе. Ужас как не хотелось идти! Мне уже случалось «отрывать», когда разбомбили нейрохирургическую клинику Военно-медицинской академии. Но женщины в подъезде поворчали и пошли – и мы пошли за ними.

Ночь была великолепная, ясная – самая «налетная», как говорили в Ленинграде. Похожая на желтый воздушный шар луна висела над городом, первые заморозки только что начались, и воздух был легкий, крепкий. Гулять бы в такую ночь, сидеть на набережной с милым другом под одним плащом, и чтобы где-то внизу волна чуть слышно ударялась о каменный берег!

А мы шли, усталые, молчаливые, злые, с лопатами на плечах, доставать из-под развалин дома живых или мертвых.

«Девятка» была расколота надвое – бомба пробила все пять этажей, и в черном неправильном провале открылся узкий ленинградский двор с фантастическими ломаными тенями. Дом упал фасадом вперед, обломки загородили улицу, и в этой каше

---

<sup>241</sup> Канцеляристка – служащая учреждения, работница канцелярии.

битого кирпича, мебели, арматуры торчало черное крыло рояля. С третьего этажа висел, накрываясь, буфет, на стене были ясно видны пальто и дамская шляпа. Как и тогда, на развалинах клиники, тихо было вокруг, люди неторопливо, со странным спокойствием приближались к дому, и голоса были неторопливые, осторожные. Женщина закричала, бросилась на землю, ее отнесли в сторону, и снова стало тихо. Мертвый старик в белом, засыпанном известью и щебнем пальто лежал на панели, на него натыкались, заглядывали в лицо и медленно обходили. Вода залила подвалы. Прежде всего, нужно было что-то сделать с водой, и худенький ловкий сержант милиции, распорядившийся спасательными работами, поставил нас с Варей на откачку воды, к насосу. Снова двинулась и остановилась под ногами земля, и прямо над нами, догоняя друг друга, пошли в небо желтой дугой трассирующие пули. Прожектора, чудесно укорачиваясь и удлиняясь, скрестились, и мне показалось, что в одной из точек скрещения мелькнул маленький самолетик. Зенитки стали бить – только что далеко, а вот уже ближе и ближе, точно кто-то огромный шагал через кварталы, ежеминутно стреляя вверх из тысячи пулеметов. Не отрываясь от работы, я взглянула на небо и поразились: так странен был контраст между безумством шарящих прожекторов и спокойствием чистой ночи с равнодушно желтой луной, так страшна и нарядна была картина войны с коротким треском пулеметов, стремительным полетом разноцветных ракет в ясном, высоком небе. Санитарные машины остановились у веревок, которыми милиция огородила разрушенный дом. Работа шла полным ходом, шум и гулкие голоса доносились из подвала, и люди выходили, бледные, мокрые до пояса. Жертв, кажется, было немного. Раскрасневшаяся, красивая Варя выдирает из груды сломанной мебели матрацы, одеяла, подушки, укладывала раненых, делала кому-то искусственное дыхание, кричала на санитаров и два врача, приехавшие с санитарной машиной, бегали, как мальчишки, и слушались каждого ее слова. Подоткнув юбку, она спустилась в подвал и вылезла оттуда, таща за плечи мокрого человека. Худенький сержант подбежал, помог, санитары подтащили носилки. – Посадите! – повелительно сказала она. Это был красноармеец или командир, без фуражки, в почерневшей от воды шинели. Его посадили. Голова упала на грудь. Варя взяла его за подбородок, и голова легко, как у куклы, откинулась назад. Что-то знакомое мелькнуло в этом бледном лице с темно-желтыми космами волос, облепившими лоб, и несколько минут я работала, стараясь вспомнить, где я видела этого человека. – Вот так, сейчас будет здоров, – низким, сердитым голосом сказала Варя. Она разжала ему зубы, сунула пальцы в рот. Он замотался, затрепетал у нее в руках, хрипя и рывками втягивая воздух. – Ага, кусаешься, милый! – снова сказала Варя. Ручка насоса то поднималась, то опускалась, и мне то видно, то не видно было, что Варя делает с ним. Теперь он сидел, тяжело дыша, с закрытыми глазами, и при свете луны лицо его казалось белым, удивительно белым, с приплюснутым носом и квадратной нижней челюстью, точно очерченной мелом, – лицо, которое я видела тысячу раз, а теперь не верила глазам, не узнавала...

До сих пор не понимаю, почему я не позволила отправить Ромашова – это был он – в больницу. Может показаться невероятным, но я обрадовалась, когда, сидя на земле в расстегнутой шинели, он поднял глаза и сквозь туман, которым был еще полон страшноватый, неопределенный взгляд, увидел меня и сказал чуть слышно: «Катя». Он не удивился, убедившись в том, что именно я стою перед ним с какой-то бутылочкой в

руках, которую Варя велела ему понюхать. Но когда я взяла его за руку, чтобы проверить пульс, он стиснул зубы, дрожа, сказал еще раз, погромче: «Катя, Катя». К утру мы вернулись домой. Мы шли, шатаясь, мы с Варей не меньше чем Ромашов, хотя бомба не пробила над нами пять этажей и мы не болтались, не захлебывались в залитом водой подвале. Мы шли, а Маша с какой-то женщиной волокли за нами Ромашова. Он все беспокоился, не пропал ли его мешок, заплечный мешок и Маша наконец сердито сунула ему мешок под нос и сказала:

– Ты не мешок думай. Ты Бога думай. Ты жизнь, дурак, спасал. Тебе молиться, куран<sup>242</sup> читать нада!

Кофе – это было очень кстати, когда мы доплелись и, сдав Ромашова Розалии Наумовне, повалились в кухне на кровать, грязные и растрепанные, как черти.

– В общем, я так и не поняла, что это за дядя, – сказала Варя.

– Самый плохой человек на земле, – ответила я устало.

– Дура, зачем же ты его привела?

– Старый друг. Что делать?

Мне стало жарко от кофе, я начала снимать платье, запуталась, и последнее, что еще прошло перед глазами, было большое белое лицо, от которого я беспомощно отмахнулась во сне.

## Глава 11

### Ужин. «Не обо мне речь»

Он еще спал, когда мы уходили, – Розалия Наумовна постелила ему в столовой. Одеядо сползло, он спал в чистом нижнем белье, и Варя мимоходом привычным движением поправила, подоткнула одеядо. Он дышал сквозь сжатые зубы, между веками была видна полоска глазного яблока – уж такой Ромашов, что его нельзя было спутать ни с одним Ромашовым на свете!

– Так – самый плохой? – шепотом спросила Варя.

– Да.

– А, по-моему, ничего.

– Ты сошла с ума!

– Честное слово – ничего. Ты думаешь, почему он так спит? У него короткие веки.

Отчего мне казалось, что к вечеру Ромашов должен исчезнуть, как виденье, принадлежащее той исчезнувшей ночи? Он не исчез. Я позвонила – и не Розалия Наумовна, а он подошел к аппарату.

– Катя, мне необходимо поговорить с вами, – почтительным, твердым голосом сказал он. – Когда вы вернетесь? Или разрешите приехать?

– Приезжайте.

– Но я боюсь, что в госпитале это будет неловко.

– Пожалуй. А домой я вернусь через несколько дней.

Он помолчал.

– Я понимаю, что у вас нет ни малейшего желания видеть меня. Но это было так давно... Причина, по которой вы не хотели со мной встречаться...

– Ну, нет, не очень давно...

– Вы говорите об этом письме, которое я послал с доктором Павловым? – спросил он живо. – Вы получили его?

Я не ответила.

---

<sup>242</sup> Куран – искаженное Коран, священная книга мусульман.

– Простите меня.

Молчание.

– Это не случайно, что мы встретились. Я шел к вам. Я бросился в подвал, потому что кто-то закричал, что в подвале остались дети. Но это не имеет значения. Нам необходимо встретиться, потому что дело касается вас.

– Какое дело?

– Очень важное. Я вам все расскажу.

У меня сердце екнуло – точно я не знала, кто говорит со мной.

– Слушаю вас.

Теперь он замолчал и так надолго, что я чуть не повесила трубку.

– Хорошо, тогда не нужно. Я ухожу, и больше вы никогда не увидите меня. Но клянусь...

Он прошептал еще что-то; мне представилось, как он стоит, сжав зубы, прикрыв глаза, и тяжело дышит в трубку, и это молчание, отчаяние вдруг убедили меня. Я сказала, что приду, и повесила трубку.

На столе стояли сыр и масло – вот что я увидела, когда, открыв входную дверь своим ключом, остановилась на пороге столовой. Это было невероятно – настоящий сыр, голландский, красный, и масло тоже настоящее, может быть даже сливочное, в большой эмалированной кружке. Хлеб, незнакомый, не ленинградский, был нарезан щедро, большими ломтями. Кухонным ножом Ромашов открывал консервы, когда я вошла. Из мешка, лежавшего на столе, торчала бутылка...

Растрепанная, счастливая Розалия Наумовна вышла из спальни.

– Катя, как вы думаете, что делать с Берточкой? – шепотом спросила она. – Я могу ее пригласить?

– Не знаю.

– Боже мой, вы сердитесь? Но я только хотела узнать...

– Миша, – сказала я громко, – вот Розалия Наумовна просит меня выяснить, может ли она пригласить к столу свою сестру Берту.

– Что за вопрос! Где она? Я сам ее приглашу.

– Вас она испугается, пожалуй.

Он неловко засмеялся.

– Прошу, прошу!

Это был очень веселый ужин. Бедная Розалия Наумовна дрожащими руками готовила бутерброды и ела их с религиозным выражением. Берта шептала что-то над каждым куском – маленькая, седая, с остреньким носиком, с расплывающимся взглядом.

Ромашов болтал не умолкая, – болтал и пил.

Вот когда я как следует рассмотрела его!

Мы не виделись несколько лет. Тогда он был довольно толст. В лице, в корпусе, немного откинутом назад, начинала определяться солидность полнеющего человека.

Как все очень некрасивые люди, он старался тщательно, даже щегольски одеваться.

Теперь он был тощ и костляв, перетянут новыми скрипящими ремнями, одет и гимнастерку с двумя шпалами на петлицах, – неужели майор? Кости черепа стали видны. В глазах, немигающих, широко открытых, появилось, кажется, что-то новое – усталость?

– Я изменился, да? – спросил он, заметив, что я гляжу на него. – Война перевернула меня. Все стало другим – душа и тело.

Если бы стало все другим, он бы не доложил мне об этом.

– Миша, откуда у вас столько добра? Украли?

Очевидно, он не расслышал последнего слова.



– Кушайте, кушайте! Я достану еще. Здесь все можно достать. Вы просто не знаете.

– В самом деле?

– Да, да. Есть люди.

Не знаю, что он хотел сказать этими словами, но я невольно положила свой бутерброд на тарелку.

– Вы давно в Ленинграде?

– Третий день. Меня перебросили из Москвы в распоряжение начальника Военторга<sup>243</sup>. Я был на Южном фронте. Попал в окружение и вырвался чудом.

Это было правдой, страшной для меня правдой, а я слушала его небрежно, с давно забытым чувством власти над ним.

– Мы отступали к Киеву. Мы не знали, что Киев отрезан, – сказал он. – Мы думали, что немцы черт знает где, а они встретили нас под Христиновкой, в двухстах километрах от фронта. Сущий ад, – добавил он смеясь, – но об этом потом. А сейчас я хотел сказать вам, что видел в Москве Николая Антоныча. Как ни странно, он куда-то не поехал.

– В самом деле? – сказала я равнодушно.

Мы помолчали.

– Вы, кажется, собирались поговорить о чем-то, Миша? Тогда пойдете ко мне.

Он встал и выпрямился. Вздыхнул и поправил ремень.

– Да, пройдемте. Вы позволите взять с собой вино?

– Пожалуйста.

– Какое?

– Я не буду пить – какое хотите.

Он взял со стола бутылку, стаканы и, поблагодарив Розалию Наумовну, прошел за мной. Мы уселись – я на диван, он у стола, который был когда-то Сашиным и на котором так и стояли нетронутыми ее кисти в высоком бокале.

– Это длинный рассказ.

Он волновался. Я была спокойна.

– Очень длинный и... Вы курите?

– Нет.

– Многие женщины во время войны, стали курить.

– Да, многие. Меня ждут в госпитале. Вам дается ровно двадцать минут.

– Хорошо, – задумчиво, по слогам сказал Ромашов. – Вы знаете, что в августе я уехал с Ленинградского фронта. Мне не хотелось уезжать, я рассчитывал встретиться с вами. Но приказ есть приказ.

Саня часто повторял эту фразу, и мне неприятно было услышать ее от Ромашова.

– Не буду рассказывать о том, как я попал на юг. Мы дрались под Киевом и были разбиты.

Он сказал: «мы».

– В Христиновке я присоединился к санитарному эшелону, который шел в обход Киева, на Умань. Это были обыкновенные теплушки, в которых лежали раненные. Много тяжелых. Ехали три, четыре, пять дней, в жаре, в духоте, в пыли...

Берта молилась в соседней комнате.

Он встал и нервно закрыл дверь.

– Я был контужен дня за два до того, как присоединился к эшелону. Правда, легко – только по временам начинало покалывать левую сторону тела. Она у меня буреет, – напряженно улыбнувшись, добавил Ромашов. – Еще и теперь.

---

<sup>243</sup> Военторг – система торговли, предназначенная для торгово-бытового обслуживания военнослужащих, членов их семей, рабочих и служащих Советской Армии и ВМФ.

Варя, которая в ту ночь раздевала и одевала Ромашова, говорила, что у него левая сторона обожжена; должно быть, это и было то, что он назвал «буреет».

– И вот мне пришлось заняться хозяйством нашего эшелона. Прежде всего, нужно было наладить питание, и я с гордостью могу сказать, что в пути – мы ехали две недели – от голода ни один человек не умер. Но не обо мне речь.

– О ком же?

– Две девушки, студентки Пединститута из Станислава, ехали с нами.

Они носили раненым еду, меняли повязки, делали все, что могли. И вот однажды одна из них позвала меня к летчику – раненый летчик лежал в одной из теплушек.

Ромашов налил вина.

– Я спросил девушек, что случилось. «Поговорите с ним!» – «О чем?» – «Не хочет жить: говорит, что застрелится, плачет». Мы прошли к нему, – не знаю, как получилось, что в этой теплушке я не был ни разу. Он лежал вниз лицом, ноги забинтованы, но так небрежно, неумело. Девушки подсели к нему, окликнули...

Ромашов замолчал.

– Что же вы не пьете, Катя? – немного охрипнувшим голосом спросил он. – Все я один. Напьюсь, что станете делать?

– Прогоню. Досказывайте вашу историю.

Он выпил залпом, прошелся, сел, Я тоже пригубила. Мало ли летчиков на свете!

## Глава 12

### Верю

Вот эта история, как ее рассказал Ромашов.

Саня был ранен в лицо и ноги, рваная рана на лице уже подживала. Он не сказал, при каких обстоятельствах был ранен, – об этом Ромашов узнал совершенно случайно из многотиражки<sup>244</sup> «Красные соколы», где была помещена заметка о Сане. Он вез мне этот номер газеты и, без сомнения, довез бы, если бы не глупая история, когда он чуть не утонул в подвале, спасая детей. Но это не имеет значения – он помнит заметку наизусть:

«Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут четырьмя истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил один истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта он был вновь атакован, на этот раз двумя «юнкерсами». На обътой пламенем машине Григорьев успешно протаранил «юнкерс». Летчики энской части всегда будут хранить память о сталинских соколах-коммунистах капитане Григорьеве, штурмане Лури, стрелке-радисте Карпенко и воздушном стрелке Ершове, до последней минуты своей жизни борющихся за отчизну».

Может быть, текст неточен, слова стоят в другом порядке, но за содержание заметки Ромашов ручался головой. Он держал этот номер в планшете, вместе с другими бумагами, очень важными, планшет попал в воду, газета превратилась в мокрый комочек, и, когда он ее просушил, как раз той полосы, на которой была напечатана заметка, не оказалось. Но и это не имеет значения.

---

<sup>244</sup> Многотиражка – печатная газета предприятия, учреждения с значительным тиражом, в отличие от стенгазеты, изготавливающейся в одном экземпляре.

Итак, Саню считали погибшим, но он не погиб, он был только ранен в лицо и в ноги. В лицо легко, а в ноги, очевидно, серьезно – во всяком случае, сам передвигаться не мог. «Как он попал в эшелон?» – «Не знаю, – сказал Ромашов, – мы не говорили об этом». – «Почему?» – «Потому что через час после нашей встречи в двадцати километрах от Христиновки эшелон расстреляли немецкие танки». Он так и сказал: «расстреляли». Это было неожиданно – наткнуться на немецкие танки в нашем тылу. Эшелон остановился – с первого выстрела был подбит паровоз. Раненые стали прыгать под насыпь, разбежались, и немцы через эшелон стали стрелять по ним шрапнелью<sup>245</sup>. Прежде всего, Ромашов бросился к Сане. Нелегко было под огнем вытащить его из теплушки, но Ромашов вытащил, и они спрятались за колеса. Тяжело раненные кричали в вагонах: «Братцы, помогите!», а немцы все били, уже близко, по соседним вагонам. Больше нельзя было лежать за колесами, и Саня сказал: «Беги, у меня есть пистолет, и они меня не получат». Но Ромашов не оставил его, поволок в сторону, канавой, по колено в грязи, хотя Саня бил его по рукам и ругался. Потом один лейтенант с обожженным лицом помог Ромашову перетащить его через болото, и они остались вдвоем в маленькой мокрой осинової роще. Это было страшно, потому что большой немецкий десант захватил ближайшую станцию, вокруг шли бои, и немцы в любую минуту могли появиться в этой рощице, которая на открытой местности была единственным удобным для обороны местом. Необходимо было, не теряя времени, двигаться дальше. Но у Сани открылась рана на лице, температура поднялась, он все говорил Ромашову: «Брось меня, пропадешь!» А один раз сказал: «Я думал, что в моем положении придется тебя опасаться». Когда он опускал ноги, у него появлялась мучительная боль – кровь прилиwała к ранам. Ромашов сделал ему костыль: расщепил сук, сверху привязал шлем, и получился костыль. Но Саня все равно не мог идти, и тогда Ромашов пошел один, но не вперед, а назад, к эшелону, – он надеялся отыскать давешних девушек из Станислава. До эшелона он не дошел – за болотом по нему открыли огонь. Он вернулся. – Я вернулся через час или немного больше, – сказал Ромашов, – и не нашел его. Роща была маленькая, и я пересек ее вдоль и поперек. Я боялся кричать, но все же крикнул несколько раз – никакого ответа. Я искал его всю ночь, наконец, свалился, уснул, а утром нашел то место, где мы расстались: мох был сорван, примят, самодельный костыль стоял под осинкой... Потом Ромашов попал в окружение, но пробился к своим с отрядом моряков из Днепровской флотилии. Больше он ничего не слышал о Сане...

Тысячу раз представлялось мне, как я узнаю об этом. Вот приходит письмо, обыкновенное, только без марки, я открываю письмо – и все перестает существовать, я падаю без слова. Вот приходит Варя, которую я столько раз утешала, и начинает говорить о нем – сперва осторожно, издали, потом: «Если бы он погиб, что ты стала бы делать?» И я отвечаю: «Не пережила бы». Вот в военкомате я стою среди других женщин, мы смотрим друг на друга, и у всех одна мысль: «Которой сегодня скажут – убит?» Все передумала я, только одно не приходило мне в голову: что об этом расскажет мне Ромашов.

Конечно, все это была ерунда, которую он сочинил или прочитал в журнале. Вернее всего, сочинил, потому что характерный для него расчет был виден в каждом слове. Но как несправедливо, как тяжело было, что на меня за что-то свалилась эта неясная, тупая игра! Как я не заслужила, чтобы этот человек явился в Ленинград, где и без него было так трудно, – явился, чтобы подло обмануть меня!

---

<sup>245</sup> Шрапнель – артиллерийский снаряд, наполненный круглыми пулями. Предназначена для поражения главным образом живых открытых целей.

– Миша, – сказала я очень спокойно. – Вы написали мне: «Счастье мое и жизнь». Это правда?

Он молча смотрел на меня. Он был бледен, а уши – красные, и теперь, когда я спросила: «Это правда?», они стали еще краснее.

– Тогда зачем же вы придумали так мучить меня? Я должна сознаться, что иногда немного жалела вас. Этого не бывает, чтобы женщина хоть раз в жизни не пожалела того, кто любит ее так долго. Но как же вы не понимаете, тупой человек, что если бы, не дай бог, Саня погиб, я стала бы вас ненавидеть? Вы должны сознаться, что все это ложь, Миша. И попросить у меня прощенья, потому что иначе я действительно прогоню вас, как негодяя. Когда это было – то, что вы рассказывали?

– В сентябре.

– Вот видите – в сентябре. А я получила письмо от десятого октября, в котором Саня пишет, что жив и здоров и может быть, прилетит на денек в Ленинград, если позволит начальство. Ну-ка, что вы на это скажете, Миша?

Не знаю, откуда взялись у меня силы, чтобы солгать в такую минуту! Не получала я никакого письма от десятого октября. Уже три месяца, как не было ни слова от Сани. Ромашов усмехнулся.

– Это очень хорошо, что вы не поверили мне, – сказал он. – Я боялся другого. Пусть так, все к лучшему.

– Значит, все это – ложь?

– Да, – сказал Ромашов, – это ложь.

Он должен был убеждать меня, доказывать, сердиться, он должен был, – как тогда на Собачьей Площадке, – стоять передо мной с дрожащими губами. Но он сказал равнодушно:

– Да, это ложь.

И у меня забилось, упало, опустело сердце.

Должно быть, он почувствовал это. Он подошел и взял меня за руку – смело, свободно. Я вырвала руку.

– Если бы я хотел обмануть вас, я просто показал бы вам газету, в которой черным по белому напечатано, что Саня погиб. А я рассказал вам то, чего не знает никто на свете. И это смешно, – сказал он надменно, – что я сделал это будто бы из низких личных побуждений. Или я думал, что подобное известие может расположить вас ко мне? Но это – правда, которую я не смел скрыть от вас.

По-прежнему я сидела ровно, неподвижно, но все вокруг стало медленно уходить от меня: Сашин стол с кисточками в высоком бокале и этот рыжий военный у стола, фамилию которого я забыла. Я молчала, и мне не нужно было ничего, но этот военный почему-то поспешно ушел и вернулся с маленькой седой, изящной женщиной, которая схватилась за голову, увидев меня, и сказала:

– Катя, боже мой! Дайте воды, воды! Да что же с вами, Катя?

## **Глава 13**

### **Надежда**

– Варенька, что со мной? Я больна?

– Ничуть не больна – здорова.

Она махнула рукой, и, осторожно скрипя сапогами, кто-то вышел и сказал негромко.

– Очнулась.

– Кто это?

– Да все тот же – рыжий твой, – с досадой сказала Варя.

Я помолчала.

– Варенька, ты знаешь?

– Боже мой, да еще ничего не случилось. Ну, ранен, эка штука! Голубчик ты мой, – она прижалась ко мне, обняла. – Да разве можно так? Что же мне-то тогда – умереть? И ведь какая внешность обманчивая! Я бы о тебе ничего подобного никогда не сказала.

Или прежде очень измучилась? Или он сказал неосторожно?

– Нет, осторожно. Это пройдет.

– Ну, конечно, пройдет. Уже прошло. Кофе хочешь?

Я опять помолчала.

– Варенька!

– Что, голубчик?

– Я надеюсь.

– Ну, конечно, еще бы не так! И нужно надеяться! Я тебе говорю – вот запомни мои слова – никуда не денется, вернется твой Саня.

Газету «Красные соколы», в которой была напечатана заметка о Сане, очень трудно было достать в Ленинграде. Сперва я старалась достать, даже узнала у одного военного корреспондента, в какой части выходит эта газета. Потом перестала, когда Петя написал мне, что он читал заметку своими глазами: «Я думаю и думаю о вас, дорогая Катя. Саня погиб мужественно, великолепно! Для меня он был самым близким человеком на свете, с детских лет милым и любимым братом. Всегда у него что-то звенело в душе, и легче становилось жить, как, бывало, прислушаешься к этому молодому звону. Это было наше детство, наша мечта, наша клятва, которую он помнил всю жизнь. Как бы мне хотелось увидеть вас, разделить ваше горе!»

В ответ я подробно изложила рассказ Ромашова и прибавила, что не теряю надежды...

Все реже я возвращалась домой. Я кончила курсы РОКК и стала работать в госпитале уже не «общественницей», а профессиональной сестрой. И голод долго не мешал мне, куда дольше, чем, например, Варе, которая на вид была гораздо крепче, чем я. Для меня было легче, что горе свалилось на меня в такие тяжелые дни в Ленинграде, где можно было попасть под артиллерийский снаряд, лежа в своей постели, где улицы были занесены первым снегом, а окна стояли открытыми, потому что многие ленинградцы, когда еще было тепло, перешли на казарменное положение и уже не вернулись домой.

Легче потому, что, сопротивляясь всему, что принесла блокада, я невольно сопротивлялась и собственному горю. И Ромашов, как ни странно, понимал меня.

Недаром он совершенно перестал уговаривать меня уехать из Ленинграда...

Он повторил свой рассказ, и я узнала много новых подробностей, о которых в первый раз он не упомянул ни слова. Когда Ромашов с лейтенантом тащили Саню через болото, они сложили руки крестом, и он обнял их руками за шеи. Одну из девушек звали Катей, и Саня ужасно обрадовался и потом только и звал ее: «Катя, Катя!» Когда Саня сказал: «А я думал, что мне придется тебя опасаться», Ромашов только засмеялся в ответ, и это действительно было смешно – каждую минуту в рощице могли появиться немцы.

Это была правда, зачем ему лгать? Ведь если бы он захотел обмануть меня, он просто показал бы газету, в которой черным по белому напечатано, что Саня погиб. Так он сказал – и это тоже было правдой. «Но ведь это Ромашов, – так я говорила себе. – Ромашов с его немигающими глазами. Ромашов, Сова, как называл его Саня».

«Война меняет людей, – так я отвечала себе. – Он видел смерть, ему стало скучно в этом мире притворства к лжи, который прежде был его миром. Он сделал для Сани все,

что мог, – и сделал именно потому, что невозможно было предположить, что он способен на это».

Как-то мельком я сказала ему, что была бы очень рада увидеть Петю.

– Готово, – объявил он мне через несколько дней, – завтра приедет.

Возможно, что это было простым совпадением, хотя Ромашов уверял, что он устроил вызов через ректора Академии художеств. Но прошло несколько дней, и Петя приехал. Я не видела его три с половиной месяца. Я провожала его с чувством страха за его рассеянность, поэтичность, погруженность в себя – черты, которые меньше всего могли пригодиться ему на фронте. А в комнату вошел крепкий, загорелый человек, не сутулый, как прежде, а прямой, с прямым, уверенным взглядом.

Мы обнялись.

– Катя, теперь и я думаю, что Саня вернется, – сразу сказал он. – Он воскрес, когда его считали погибшим. Теперь кончено. Будет жить. Это наша такая фронтовая примета. И в части уже знают, что он жив. Иначе прислали бы извещение, это же совершенно ясно! Это было далеко не ясно, но я слушала, и у меня не было силы не верить...

Петя явился ко мне очень рано, в шестом часу утра. Мы ждали Ромашова до полудня. Петя рассказывал, и я слушала его с таким чувством, как будто это был не Петя, а его младший брат – грубоватый, румяный, в полушубке, который крепко пахнул овчиной, с желтыми пальцами, которыми он ловко сворачивал огромные «козьи ножки». Это была история характера – то, что он рассказал о себе. Художник, человек искусства, он и первые дни на фронте увидел не войну, а как бы панораму войны. Он был одно, война – другое. Но вот прошла неделя, другая. Он убил первого немца.

– Как случилось, что я, художник Сквородников, убил человека? Но я убил человека, который не имел права называть себя так. Убивая его, я защищал это право.

Так он стал «атомом войны». Больше он не наблюдал ее как художник. Он был теперь солдатом и делал все, что в его силах, чтобы стать настоящим солдатом.

– Что же мне делать в этом старом мире? – сказал он, легко оглянувшись кругом.

Мы не дождались Ромашова, и я ушла первая, потому что видела, что Пете хочется побыть одному в этом «старом мире». Обернувшись с порога, я увидела, как он взял одно из своих свернутых трубкой полотен и стал осторожно развертывать его вдруг задрожавшими, огрубевшими пальцами.

Я позвонила Ромашову из госпиталя.

– Приехал? – весело сказал он. – Вот видите. А вы сомневались!

– Да, приехал. Приходите вечером, он хочет вас видеть.

– Вечером, к сожалению, не могу, – неотложное дело.

– Нет, придете.

– Никак не могу.

– Придете, вы слышите, Миша?

И я бросила трубку.

Он пришел. Мы сидели в столовой, он появился в дверях и сразу же с протянутой рукой направился к Пете.

– Рад, рад, – сказал он, – очень рад. Признаться, я не думал, что выйдет, честное слово! Но вы, оказывается, знаменитый человек. Если бы вы не были знаменитым человеком, – ничего бы не вышло.

– Очень вам благодарен, товарищ майор, – казенным голосом отвечал Петя.

– Полно, какой майор! Интендант<sup>246</sup> второго ранга, и только! Колеса<sup>247</sup> не соберусь прицепить, вот и хожу майором!

---

<sup>246</sup> Интендант – должностное лицо в армии, ведающее провиантским, вещевым и денежным довольствием войск.

Петя посмотрел на него, потом куда-то мимо, в угол. Очевидно, он полагал, что нет ничего легче, как прицепить колеса, чтобы интенданта второго ранга впредь никто не принимал за майора.

– Ну, как на фронте, что слышно? Мне только что сказали, что Лигово взято.

– Насколько мне известно, не взято, – сказал Петя.

– Вот, извольте! А я уже думал: ну, конечно, на днях рванем в Москву в международном вагоне. Придется подождать, да?

Таковыми словами – «рванем» – об этом не говорилось в Ленинграде. Мне стало неловко. Но Петя, кажется, ничего не заметил.

Мы помолчали.

– Итак, – сказал Ромашов, – вопрос первый и единственный – Саня?

Почему он держался так неопределенно, так странно? Почему он улыбался то с какой-то робостью, то с гордым, надменным выражением? Почему он рассказал длинную историю о каких-то пожарных, которые в маскировочных халатах под артиллерийским огнем копали картошку? Не знаю, мне было все равно. Я думала только о Сане...

– Есть только один путь, – с каким-то тайным самодовольством сказал, наконец, Ромашов. – Дело в том, что эти места под Киевом находятся сейчас в руках партизанских отрядов. Без сомнения, партизаны держат связь с командованием фронта. Нужно включиться в эту связь – то есть поручить кому-то собрать все сведения о Сане. Положив ногу на ногу, подпирая кулаком подбородок, Петя, не отрываясь, смотрел на него.

– Здесь две трудности, – продолжал Ромашов. – Первая: мы в Ленинграде. Вторая: этот приказ – разыскать Саню или собрать сведения о нем может дать только одна очень высокая инстанция, и добраться до нее чрезвычайно трудно. Но нет ничего невозможного. У меня есть знакомства здесь, в Ленинградском штабе партизанских отрядов. Я сделаю это, – прибавил он побледнев. – Разумеется, если какие-либо исключительные обстоятельства не помешают.

«Исключительных обстоятельств» было сколько угодно – сама жизнь состояла из одних «исключительных обстоятельств». Все, что находилось по ту сторону Ладожского озера, давно уже называлось «Большой Землей», и поддерживать с нею даже простую телеграфную связь день ото дня становилось все труднее.

– Петя, что вы молчите?

– Я слушаю, – точно очнувшись, сказал Петя. – Что же, все правильно. Мне трудно сказать, насколько возможно рассчитывать на эту связь, особенно сейчас. Но начинать все-таки нужно немедленно. В этом отношении товарищ Ромашов совершенно прав. А в часть я бы на вашем месте написал, Катя.

– Голубчик, родная моя, – сказал он, когда Ромашов ушел, – что мне сказать вам? Он очень, очень не понравился мне, но мало ли что, правда? Это ничего не значит. В нем есть что-то неприятное, холодное, скрытное и вместе с тем какая обнаженность чувств в каждом движении, в каждом слове! Мне даже захотелось нарисовать его. Этот череп квадратный! Но все это пустяки, пустяки! Главное, что он, по-моему, человек дела.

– О да!

– И привязан к вам.

– Без сомнения.

– А вы не можете пойти вместе с ним в штаб партизанских отрядов?

– Конечно, могу.

---

<sup>247</sup> «Колесами» Ромашов называет интендантские эмблемы, прикреплявшиеся на военную одежду, до 1942 г. представлявшие собой составленные вместе половинки автомобильной шины и шестерни, каску и ключ с циркулем

– Вот и пойдите. И непременно нужно писать, запрашивать, это очень важно. Вам самой будет легче. Как вы похудели, измучились! – сказал он и взял меня за руки. – Бедная, родная! Вы, должно быть, не спите совсем?

– Нет, сплю.

– Саня вернется, вернется, – говорил он, и я слушала, закрыв глаза и стараясь удержать дрожащие губы. – Все снова будет прекрасно, потому что у вас такая любовь, что перед ней отступит самое страшное горе: встретится, посмотрит в глаза и отступит. Больше никто, кажется, и не умеет так любить, только вы и Саня. Так сильно, так упрямо, всю жизнь. Где же тут умирать, когда тебя так любят? Нельзя, никто бы не стал, я первый! А Саня? Да разве вы позволите ему умереть?

Он говорил, я слушала, и на душе становилось легче. Смутное, далекое воспоминание вдруг мелькнуло передо мной: Саня спит одетый и усталый, ночь, но в комнате светло. Худенький мальчик играет за стеной, а я лежу на ковре и слушаю, слушаю, сжимая виски. «За горем приходит радость, за разлукой – свиданье. Все будет прекрасно, потому что сказки, в которые мы верим, еще живут на земле...»

До фронта можно было доехать на трамвае, Петина дивизия стояла теперь в Славянске. Он просил не провожать его – это было рискованно, в Рыбацком без пропуска меня могли задержать. Но я поехала.

– Ну задержат, подумаешь! Комендант меня уже знает.

В трамвае было тесно, шумно, но мне все-таки еще раз удалось посмотреть бабушкины письма. Петя на днях получил от бабушки с одной почтой четыре закрытых письма и двенадцать открыток. Так и бывало в те дни в Ленинграде – по две-три недели с «Большой Земли» никто не получал ни слова, и вдруг приходила целая пачка писем. Дома я успела прочитать только открытки. В одной из них маленький Петя приписал огромными квадратными буквами: «Папа, у нас живет кролик», и я так живо представила, как он пишет, наклоня голову и поднимая брови – с той милой манерой, которую я любила и которая делала его похожим на мать. Он был здоров, сыт и в безопасности, бабушка тоже. Чего же еще желать в такое тяжелое время?

– Правда же, Петя?

– Конечно, да, – грустно отвечал он. – Но как я скучаю без него, если бы вы знали! Трамвай шел уже вдоль Рыбацкого, кто-то сказал, что на конечной остановке будут выпускать по одному, проверять документы. Петя беспокоился за меня, и я решила вернуться.

– Будьте здоровы, дорогой!

– Ладно, ладно, буду здоров, – отвечал он весело. Так бывало отвечал маленький Петя. Через головы чужих, озабоченных, занятых своими делами людей мы протянули друг другу руки, и, быть может, поэтому я подумала с раскаянием, что почти ничего о нем не узнала. «Но ведь не в последний же раз мы видимся, – сказала я себе. – Отпрошусь в госпитале, его часть стоит совсем близко».

Если бы я знала, как много дней, томительных и тревожных, пройдет, прежде чем мы встретимся снова!

## Глава 14

### Теряю надежду

Берта умерла в середине декабря, в один из самых «налетных» дней, когда бомбежка началась с утра, или, вернее, не прекращалась с ночи. Она умерла не от голода – бедная Розалия Наумовна десять раз повторила, что голод тут ни при чем.



Ей непременно хотелось похоронить сестру в тот же день, как полагается по обряду, Но это было невозможно. Тогда она наняла длинного, грустного еврея, и тот всю ночь читал молитвы над покойницей, лежавшей на полу, в саване из двух несшитых простыней – тоже согласно обряду. Бомбы рвались очень близко, ни одного целого стекла не осталось в эту ночь на проспекте Максима Горького, на улицах было светло и страшно от зарева, от розово-красного снега, а этот грустный человек сидел и бормотал молитвы, а потом преспокойно уснул; войдя в комнату с рассветом, я нашла его мирно спящим подле покойницы, с молитвенником под головой.

Ромашов достал гроб – тогда, в декабре, это было еще возможно, – и, когда худенькая старушка легла в этот огромный, грубо сколоченный ящик, мне показалось, что и в гробу она забилась в угол со страху.

Могилу нужно было копать самим – могильщики заломили, по мнению Ромашова, «неслыханную» цену. Он нанял мальчиков – тех самых, которых Розалия Наумовна учила красить.

Очень оживленный, он десять раз бегал вниз во двор, шептался о чем-то с комендантом, похлопывал Розалию Наумовну по плечу и в конце концов, рассердился на нее за то, что она настаивала, чтобы Берту так и похоронили, в саване<sup>248</sup> из несшитых простыней.

– Простыни можно променять! – закричал он. – А ей они не нужны. В лучшем случае через два дня с нее эти простыни снимут.

Я прогнала его и сказала Розалии Наумовне, что все будет так, как она хочет.

Было раннее утро, мелкий и жесткий снежок крутился и вдруг, точно торопясь, падал на землю, когда, толкаясь о стены и неловко поворачивая на площадках, Ромашов с мальчиками снесли гроб и поставили его во дворе на салазки. Я хотела дать мальчикам денег, но Ромашов сказал, что сговорился за хлеб.

– По сто грамм авансом, – весело сказал он. – Ладно, ребята?

Не глядя на него, мальчики согласились.

– Катя, вы идете наверх? – продолжал он. – Будьте добры, принесите, пожалуйста. Хлеб лежит в шинели.

Не знаю, почему он положил хлеб в шинель, – должно быть, спрятал от Розалии Наумовны или давешнего еврея. Шинель висела в передней, он давно уже носил полушубок.

Я поднялась и, помнится, подумала на лестнице, что следует одеться потеплее. Меня с ночи немного знобило, и лучше было бы, пожалуй, не ходить на кладбище, до которого считалось добрых семь километров. Но я боялась, что без меня Розалия Наумовна свалится по дороге.

Завернутый в бумагу кусок хлеба лежал в кармане шинели, я стала доставать его.

Вместе с хлебом полез какой-то мягкий мешочек. Мешочек упал, и я открыла дверь на лестницу, чтобы подобрать его – в передней было темно. Это был желтый замшевый кисет; среди других подарков мы посылали на фронт такие кисеты. Я подумала – и развязала его; карточка, сломанная пополам, лежала в нем и какие-то кольца.

«Променял где-нибудь», – подумала я с отвращением. Карточка была очень старая, покоробившаяся, с надписью на обороте, которую трудно было разобрать, потому что буквы совершенно выцвели и слились. Я уже совсем собралась сунуть карточку обратно в кисет, но странное чувство остановило меня. Мне представилось, что некогда я держала ее в руках.

---

<sup>248</sup> Саван – погребальное одеяние для покойников из белой ткани.

Я вышла – на лестнице было светлее – и стала по буквам разбирать надпись: «Если быть...» – прочитала я. Белый острый свет мелькнул перед моими глазами и ударил прямо в сердце. На фотографии было написано: «Если быть, так быть лучшим». Не знаю, что случилось со мной. Я закричала, потом увидела, что сижу на площадке и шарю, шарю, ищу это фото. Через какую-то темноту перед глазами я прочитала надпись и узнала Ч. в шлеме, делавшем его похожим на женщину, Ч. с его большим орлиным лицом, с добрыми и мрачными из-под низких бровей глазами. Это была карточка Ч., с которой никогда не расставался Саня. Он носил ее в бумажнике вместе с документами, хотя я тысячу раз говорила, что карточка изотрется в кармане и что нужно остеклить ее и поставить на стол.

С бешенством бросилась я обратно в переднюю, сорвала с вешалки шинель и, бросив ее на площадку, вывернула карманы. Саня умер, убит. Не знаю, что я искала. Ромашов утаил его. В другом кармане были какие-то деньги, я скомкала их и швырнула в пролет. Убил и взял это фото. Я не плакала. Украл документы, все бумаги и, может быть, медальон, чтобы никто не узнал, что этот мертвый в лесу, этот труп в лесу – Саня. «Другие бумаги, очень важные, они лежали в планшете», – мысленно услышала я, и словно кто-то зажег фонарь перед каждым словом Ромашова.

Это фото было в планшете. Другие бумаги и газета «Красные соколы» тоже были в планшете, но они размокли, пропали – ведь сам Ромашов сказал: «Газета превратилась в комочек». А фотография сохранилась, быть может, потому, что Саня всегда носил ее обернутой в кальку.

Внизу слышались голоса. Розалия Наумовна звала меня. Я спрятала фотографию на груди, положила кисет в карман шинели. Я повесила шинель на прежнее место и, спустившись во двор, отдала хлеб Ромашову.

Он спросил:

– Что с вами? Вы нездоровы?

Я ответила:

– Нет, здорова.

Ничего не было. Не было пустынных бесшумных улиц, по которым, медленно передвигая ноги, как в страшном медленном сне, молча шли люди. Не было застрывших среди улиц обледеневших трамваев, с которых свисали, как с крыш деревенских домов, толстые карнизы снега. Не бежал все дальше и дальше от нас узкий след салазок, на которых лежало маленькое, как у ребенка, спеленутое тело. Только теперь я вспомнила, что Ромашов распорядился оставить гроб, не поместившийся на маленьких салазках.

– Ничего, продадим, – сказал он.

И Розалия Наумовна, должно быть, сошла с ума, потому что сказала, что по обряду так и нужно – без гроба. Я вспомнила об этом и сразу забыла. Девочка с крошечным старым лицом ступила в снег, чтобы пропустить нас – двоим было не разойтись на узкой дорожке, проложенной вдоль Пушкинской. Странно болтаясь в широком пальто, прошел еще кто-то – мужчина с портфелем, висящим на веревочке через плечо. Я увидела их – и тоже сразу забыла. Я видела все: бесшумные, занесенные снегом улицы, спеленутый труп на саночках и еще другой труп, который какая-то женщина везла по той стороне, но все останавливалась и, наконец, отстала. Как тени бесшумно, бесследно скользят по стеклу, так проходил передо мной белый, потонувший в снегу, стынувший город.

Другое видела я, другое терзало сердце: вытянув ноги в грязных, желтых от крови бинтах, Саня лежит, прижавшись щекою к земле, и убийца стоит над ним – одни, одни в маленькой мокрой осинової роще!

## Глава 15

### Да спасет тебя любовь моя!

До еврейского кладбища было далеко, не добраться, и Розалия Наумовна решила похоронить сестру на Смоленском<sup>249</sup>. За шестьсот граммов хлеба грустный еврей, читавший над Бертой молитвы, согласился прийти на православное кладбище, чтобы проводить свою «клиентку», как он сказал, согласно обряду.

Я плохо помню эти проводы, продолжавшиеся весь день – от самого раннего утра до сумерек, подступивших по декабрьскому рану. Как будто старая немая кинолента шла передо мной, и сонное сознание то следовало за ней, то оступалось в снег, заваливший Васильевский остров.

Вот мы идем, не чувствуя ничего, кроме холода, усталости и нелюбви к окостеневшему трупу. Мальчики тащат Берту по очереди, в гору вдвоем, а на скатах она поспешно съезжает сама, точно торопясь поскорее освободить нас от этих скучных забот, которые она невольно нам причинила.

Блестит на солнце привязанная к трупу лопата, и, глядя на этот блеск, я почему-то вспоминаю Крым и море. Нам было так хорошо в Крыму! Саня вставал в пять часов, я готовила ему легкий завтрак, когда знала, что он идет на высокий полет. Мы купили душ «стандарт», я все приладила, устроила, и после душа Саня садился за стол в желтой полосатой пижаме. Как-то мы поехали в Севастополь, море было беспокойно, погода хмурилась – летчикам всегда давали отпуска в самое неподходящее время. Я огорчилась, и Саня сказал: «Ничего, я тебе организую погоду». И правда, только отвалил пароход, как стала прекрасная погода.

Как весело, как легко было мне стоять с ним на белой нарядной палубе, в белом платье, говорить и смеяться и стараться быть красивой, потому что я знала, что ему нравится, когда я нравлюсь другим! Как ослепительно сверкало солнце везде, куда ни кинешь взгляд, – на медных поручнях капитанского мостика, на гребешках закидывавшейся под ветром волны, на мокром крыле нырнувшей чайки!

...Сгорбившись, посинев, держа под руку Розалию Наумовну, чуть двигавшуюся – так тепло она была одета, – я плетусь за салазками, то уходящими от нас довольно далеко, то приближающимися, когда мальчики останавливаются, чтобы покурить. Мы две одинаковые жалкие старушки, я – совершенно такая же, как она. Должно быть, это сходство приходит в голову и Ромашову, потому что он догоняет нас и говорит с раздражением:

– Зачем вы пошли? Вы простудитесь, сляжете. Вернитесь домой, Катя.

Я гляжу на него: жив и здоров. В белом крепком полушубке, ремни крест на крест, на поясе кобура. Жив! Открытым ртом я вдыхаю воздух. И здоров! Я наклоняюсь и кладу в рот немного снега. Все поблескивает привязанная к трупу лопата, я все смотрю да смотрю на этот гипнотический блеск.

Кладбище. Мы долго ждем в тесной, грязной конторе с белыми полосами заиндевевшей пакли вдоль бревенчатых стен. Опухшая конторщица сидит у буржуйки, приблизив к огню толстые, замотанные тряпками ноги. Ромашов за что-то кричит на нее. Потом нас зовут – могила готова. Опираясь на лопаты, мальчики стоят на куче земли и снега. Неглубоко же собрались они запрятать бедную Берту! Ромашов посылает их за покойницей, и вот ее уже везут. Длинный грустный еврей идет за салазками и время от времени велит постоять – читает коротенькую молитву. Ромашов раскладывает на снегу веревку, ловко поднимает покойницу, ногой откатывает салазки.

---

<sup>249</sup> Смоленское – Смоленское кладбище на Васильевском острове в Ленинграде (Петербурге).

Теперь она лежит на веревках. Розалия Наумовна в последний раз целует сестру. Еврей поет, говорит то высоко, с неожиданными ударениями, то низко, как старая, печальная птица...

Мы возвращаемся в контору погреться. Мы – это я и Ромашов. Он делает мне таинственный знак, хлопает по карману, и, когда все направляются к воротам, мы заходим в контору – погреться.

– Налить?

Ох, как загорается, заходится сердце, какие горячие волны бегут по рукам и ногам! Мне становится жарко. Я расстегиваюсь, сбрасываю теплый платок; на легких, веселых ногах я хожу, хожу по конторе.

– Еще?

Опухшая женщина с жадностью смотрит на нас, я велю Ромашову налить и ей. И он наливает – «Эх, была не была!» – веселый, бледный, с красными ушами, в треухе, лихо сбитом на затылок. Мне тоже весело, я шучу: я беру со стола одну из черных крашенных могильных дощечек и протягиваю ее Ромашову:

– Для вас.

Он смеется:

– Вот теперь вы стали прежняя Катя!

– А все не ваша!

Он подходит ко мне, берет за руки. У него начинает дрожать рот, маленькие, точно детские, зубы открываются, – странно, прежде никогда я не замечала, какие у него острые маленькие зубы.

– Нет, моя, – говорит он хрипло.

Я отнимаю у него правую руку. Молоток лежит на окне – должно быть, им прибивают к могильным крестам дощечки. Очень медленно я беру с окна этот молоток, небольшой, но тяжелый, с железной ручкой...

Если бы удар пришелся по виску, я бы, пожалуй, убила Ромашова. Но он отшатнулся, молоток скользнул и рассек скулу. Женщина вскочила, закричала, бросилась в сени. Ромашов догнал ее, втолкнул назад, захлопнул дверь. Потом подошел ко мне.

– Оставьте меня! – сказала я с отчаянием, с отвращением. – Вы – убийца! Вы убили Саню.

Он молчал. Кровь лила из рассеченной скулы. Он отер ее ладонью, стряхнул на пол, но она все лила на плечо, на грудь, и весь полушубок был уже в мокрых розовых пятнах.

– Надо зажать, – не глядя на меня, пробормотал он. – У вас не найдется чистого носового платка, Катя?

– Хорошо, пусть так – я убил его! Тогда зачем же я берег это фото? Мы хотели зарыть документы, Саня держал их в руках и, должно быть, выронил фото. Я не сказал вам, что нашел его, – я боялся, что вы не поверите мне. Боже мой, вы не знаете, что такое война! Сумасшедшая мысль, что я мог убить своего! Кто бы он ни был, как бы я ни относился к нему! Убить раненого, Катя! Да это бред, которому никто не поверит! Не в первый раз Ромашов повторял эти слова: «Никто не поверит». Он боялся, что я напишу о своих подозрениях в Военный трибунал или прокурору. Он оставил конторщице на кладбище все свои деньги и хлеб, и я слышала, как он сказал ей: «Никому ни единого слова». Он не пошел в больницу. Розалия Наумовна остановила кровь и залепила пластырем большой рубец на скуле.

– Да, я не любил его, это правда, которую я не собираюсь скрывать, – продолжал Ромашов, – но когда я нашел его с отбитыми ногами, с пистолетом у виска, в грязной теплушке, я подумал не о нем – о вас. Недаром же он обрадовался, увидев меня: он

понял, что я – это его спасенье. И не моя вина, что он куда-то пропал, пока я ходил за людьми, чтобы отнести его на носилках.

Он бегал по маленькой кухне, бегал и говорил, говорил... Он брался руками за голову, и тогда на тени, метавшейся за ним по стене, бесшумно вырастали две смешные носатые морды. Детское, забытое воспоминание чуть слышно коснулось меня. «А вот корова рогатая» – это говорит мама; я лежу в кровати, а мама сидит рядом, держит руки перед стеной и смеется, что я смотрю не на тень, а на руки. «А вот козел бородатый»... У меня были мокрые глаза, но я не вытирала слез – очень холодно было вытаскивать руку из-под всех этих одеял, пальто и старого лисьего меха.

– И надо же было проклятой судьбе, чтобы я встретился с ним в эшелоне! Я мог убить его. Каждый день из теплушек выносили по несколько трупов, никто бы не удивился, если бы этого летчика, который пропал и хотел застрелиться, нашли наутро с простреленной головой! Но я не мог убить его, – закричал Ромашов, – потому что не он, а вы лежали бы наутро с простреленной головой! Я понял это, когда он спросил у одной из девушек, как ее зовут, она ответила «Катя», и у него просветлело лицо. Я понял, что ничтожен, мелок перед ним со всеми своими мыслями о его смерти, которая должна была принести мне счастье. И я решил сделать все, чтобы спасти его для вас. А теперь вы смеете утверждать, что я убил Саню! Нет, – торжественно сказал Ромашов, – клянусь матерью, которая родила меня на это несчастье и горе! Святыней моей клянусь – любовью к вам! Если он погиб, не виноват я в этой смерти ни словом, ни делом! Он стал застегивать полушубок и все не мог попасть крючком в петлю – руки дрожали. Если бы я могла, если бы смела снова поверить ему! Но равнодушно смотрела я на тощее лицо с неестественно запавшими глазами, на желтые космы волос, падающие на лоб, на безобразный пластырь, перекосивший, стянувший щеку.

– Уходите.

– Вы плохо себя чувствуете, позвольте мне остаться.

– Уходите.

Не знаю, плакал ли он когда-нибудь. Но лицо его было залито слезами, когда, опустившись на колени, он уткнулся головой в постель и замер, вздрагивая и нервно глотая. «Саня жив, – вдруг подумала я, и рванулось, замерло сердце от счастья. – Или уже не человек, а какой-то демон стоит на коленях передо мной? Нет, нет. Невозможно, невысказанно так притворяться».

– Уходите.

Не знаю, куда я гнала его. Уже скоро месяц, как он жил у нас, – Розалия Наумовна зачем-то прописала его. Была ночь и тревога. Но он вышел, и я осталась одна. «Тик-так», – стучал метроном<sup>250</sup>. Кто-то, помнится, говорил мне, что только в Ленинграде передают стук метронома во время тревоги. Стекла вздрагивали и вместе с ними – желтый листок коптилки, стоявшей на столе. Что же было там, в маленькой мокрой осиновой роще?

Под шубами, под одеялами, под старым лисьим мехом я не слышала, как сыграли отбой. Сыграли – и вновь началась тревога. «Тик-так, – застучал метроном. – Верись – не верись».

---

<sup>250</sup> Метроном – прибор для отсчета тактовых долей времени на слух, применяемый в целях установления точного исполнения темпа музыкальных произведений. Еще в первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено 1500 громкоговорителей. Радиосеть несла информацию для населения о налетах и воздушной тревоге. Знаменитый метроном, вошедший в историю блокады Ленинграда как культурный памятник сопротивления населения, транслировался во время налетов именно через эту сеть. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный ритм – отбой.

Это сердце стучало и молилось зимней ночью, в голодном городе, в холодном доме, в маленькой кухне, чуть освещенной желтым огоньком коптилки, которая слабо вспыхивала, борясь с тенями, выступавшими из углов. Да спасет тебя любовь моя! Да коснется тебя надежда моя! Встанет рядом, заглянет в глаза, вдохнет жизнь в помертвевшие губы! Прижмется лицом к кровавым бинтам на ногах. Скажет: это я, твоя Катя! Я пришла к тебе, где бы ты ни был. Я с тобой, что бы ни случилось с тобой. Пускай другая поможет, поддержит тебя, напоит и накормит – это я, твоя Катя. И если смерть склонится над твоим изголовьем и больше не будет сил, чтобы бороться с ней, и только самая маленькая, последняя сила останется в сердце – это буду я, и я спасу тебя.

## Глава 16 Прости, Ленинград!

В январе 1942 года меня увезли из Ленинграда. Я была очень слаба, врачи не велели отправлять эшелонам, и Варя устроила меня на самолет.

За день до отъезда мне позвонили из сортировочного госпиталя и сказали, что лейтенант Сквородников ранен и просил передать привет.

– Вы сестрица его?

– Да, – отвечала я дрожащим голосом. – Тяжело ранен?

– Никак нет. Надеется на встречу.

Я хотела идти, но Варя непустила меня. Вероятно, она была права – я умерла бы дорогой. Так слабо, чуть слышно билось во мне дыхание жизни, так бесконечно далеко был этот госпиталь, на Васильевском острове, – на краю света! Варя надеялась, что удастся перебросить Петю в Военно-медицинскую академию, разумеется не в «стоматологию» – он был ранен в грудь и левую руку, – а в отделение полевой хирургии. Но это отделение было очень близко от «стоматологии». Она дала мне слово, что будет ежедневно заходить к нему и вообще заботиться о его здоровье. Без сомнения, она не догадывалась о том, как важно для нее самой – не только для Пети – сдержать это слово.

Как в легком, отлетающем сне, я смутно помню высокое деревянное строение – ангар? – в котором я долго сидела на полу среди таких же, как я, закутанных молчаливых людей. Потом нас повели, куда-то узкой тропинкой по чистому снежному полю, мимо глубоких воронок, в которых валялись обломки разбитых самолетов, мимо полусасыпанных снегом розовых гор, – я не сразу догадалась, что это коровье мясо, которое на самолетах привезли в Ленинград. Потом по шаткой железной лесенке мы поднялись в самолет, пустой и холодный, с голыми лавками по бокам, с пулеметом, стоящим на подставке под откинутым прозрачным колпаком.

Вот и все. Маленький сердитый летчик в меховых сапогах прошел в кабину. Мотор заревел, качнулось и пошло мелькать направо и налево равнодушное сияющее поле. Я очнулась в эту минуту. Прости, Ленинград!

Я лечу над Ладожским озером, по которому через несколько дней пройдут первые машины с ленинградцами на «Большую Землю»<sup>251</sup>, с хлебом и мукой – в Ленинград. Вехи стоят здесь и там, намечая «дорогу жизни», люди работают по самое сердце в снегу.

Я лечу над картой великой войны, и уже не маленький сердитый летчик в меховых сапогах, а само Время сидит за штурвалом моего самолета.

---

<sup>251</sup> Большая земля – так называли в годы войны остальную часть страны, от которой Ленинград был отрезан кольцом немецкой блокады.

Вперед и вперед смотрит оно, и странные, величественные картины открываются перед его глазами. По бесконечным магистралям тянутся на восток разобранные на части цехи гигантских заводов. Запорошенные снегом, идут и идут станки, и кажется, чтобы пустить их, нужны годы и годы. Но еще не тает снег, еще скупое греет зимнее солнце, а уже в глухих заповедных степях, где прежде одни кибитки лениво тащились от юрты до юрты, где бродили стада да старый казах-пастух играл на самодельной домбре, поднимаются, и день ото дня все выше, корпуса многоэтажных зданий. Откатилась, сжалась, затаила дыхание, приготовилась к разбегу страна...

А меня чуть живую везут в Ярославль, в «ленинградские» палаты, где лежат, стараясь не думать о еде, очень тихие люди. Врачи не велят думать о еде, недоверчивых они ведут в кладовые. Полны кладовые!

Бабушка находит меня в этой больнице – и не находит: в недоумении стоит она на пороге, обводя глазами палату. Она смотрит на меня и не узнает, пока мне не становится смешно и я не окликаю ее, смеюсь и плачу...

Вперед, вперед! День и ночь. И снова день. Но давно смешались день и ночь, и кажется, само солнце не знает, когда, в какой час подняться над потрясенной землей. Немецкий солдат лежит в снегу, выставив из снежного сугроба окостеневшие ноги. Судорожно сжимает он в пальцах чужую землю, и рот его набит чужой землей – точно хотел он проглотить ее и задохся.

Русский солдат рванулся вперед, занес гранату, и в это мгновение ударила его в сердце роковая пуля. Прислонившись к сосне, так и застыл он на сорокаградусном морозе. Как ледяная статуя, он стоит с гордо откинутой головой в порыве не помнящего себя вдохновения боя.

Это – зима сорок первого года.

Но вот проходит эта памятная всему миру зима. Дыханье новых сил поднимается на всем необозримом пространстве Советского Союза. Как ветер, доносится оно до «ленинградских» палат. И вновь разгорается сердце. Жизнь стучит и зовет, и уже досада на себя, на свое бездействие и слабость томит и волнует душу...

В марте я выхожу из больницы. Бабушка ведет меня на вокзал, и голова моя кружится, кружится от бегущих, сверкающих на солнце ручейков талой воды вдоль дороги, от воздуха, от мельканья людей и машин. Мы едем в Гнилой Яр.

Напрасно казалось мне, что детям не может быть хорошо в селе с таким неприятным названием! Хорошо детям в этом селе. Петенька вырос, окреп и стал совсем деревенским мальчишкой, с облупившимся на солнце носом, с золотистыми волосиками на загорелых ногах.

Он уже стесняется, когда я целую его при других ребятах, он собирает марки и презирает Витьку Котелкова за то, что тот плакал и «ябедает» маме. Он переписывается с отцом, и – очень странно – время от времени папа передает ему привет от какой-то тетеньки по имени Варя.

– Она старая?

– Нет, молодая.

– А чего она кланяется? Познакомиться хочет?

– Наверно...

Сельское кладбище раскинулось на высоких холмах, в ясный день издали видны его кресты и пятиконечные звезды. Мы – в долине между кладбищем и дорогой, за которой бесконечные, темно-зеленые, светло-зеленые, простираются поля и поля. Мы в тени, между кустами дикой малины.

– А мама ведь тоже была молодая, когда она умерла?

– Совсем молодая.

О чем думает он, срывая травинку, по которой ползет и вдруг взлетает майский жучок?

– А дядя Саня был похож на маму?

– Был!

Он робко смотрит на меня, гладит по руке, целует. Я плачу, и слезы падают прямо на его загорелый, облупившийся нос. Обнявшись, мы молча сидим в кустах дикой малины, а поодаль сидит, косясь, равнодушная, постылая Санина смерть.

Вперед, вперед! Не оглядываясь, не вспоминая...

Лето 1942 года. Лагерь Худфонда переведен в Новосибирскую область. Я возвращаюсь в Москву, суровую, затемненную, с крышами, на которых стоят зенитки, с площадями, на которых нарисованы крыши.

Метро, такое же чистое и новое, ничуть не изменившееся за год войны. Гоголевский бульвар – дети и няни. Сивцев Вражек, кривой, узенький, милый, все тот же, несмотря на два новых дома, свысока поглядывающих на облупившихся, постаревших соседей. Знакомая грязная лестница. Медная дощечка на двери: «Профессор Валентин Николаевич Жуков». Ого, профессор! Это новость! Я звоню, стучу! Дверь открывается. Бородатый военный в очках стоит на пороге.

Разумеется, я сразу узнала его. Кто же другой мог уставиться на меня с таким неопределенно вежливым выражением? Кто же другой мог так смешно положить голову набок и поморгать, когда я спросила:

– Здесь живет профессор Валентин Николаевич Жуков?

Кто же другой мог так оглушительно заорать и наброситься на меня и неловко поцеловать куда-то в ухо? И при этом наступить мне на ногу так, что я сама заорала.

– Катя, милая, как я рад! Это чудо, что ты меня застала!

Он подхватил мой чемодан, и мы пошли – куда же, если не в «кухню вообще», ту самую, которая была одновременно кабинетом, столовой и детской. Но, боже мой, во что превратилась эта старинная уютная кухня! Какие-то плетенки<sup>252</sup> с кашей стояли на столе, пол был не подметен, обрывки синей бумаги висели на окнах...

Валя взял меня за руки.

– Все знаю, все. – У него дрогнуло лицо, и он крепко зажмурился под очками. – Дорогой друг, дорогой Саня... Но ведь есть надежда. Иван Павлыч читал мне твое письмо, мы советовались с одним полковником, и он тоже сказал, что очень многие возвращаются, очень.

Я сказала: «Да, многие», и он снова обнял меня.

– Я тебя никуда не пущу, – энергично сказал он. – Квартира совершенно пустая, и тебе будет очень удобно. Я уже немного прибрал, когда Иван Павлыч сказал, что ты приедешь. Здесь надо помыть, да? – нерешительно спросил он.

Я засмеялась. Он сел на кровать и тоже стал смеяться.

– Честное слово, некогда. Я ведь здесь почти не живу – все время на фронте. А зимой тут было очень прилично. Зимой я взял зверей к себе, потому что в институте был дьявольский холод.

Разумеется, он взял не всех зверей, а только ценные экземпляры, и это была превосходная мысль, хотя бы потому, что какая-то редкая заморская крыса, которая до сих пор решительно отказывалась иметь детей, у Вали родила – так подействовала на нее семейная обстановка. Мебель Валя сжег, и это тоже было только к лучшему,

---

<sup>252</sup> Плетенка – плетеная корзинка.



потому что Кира, без сомнения, очень огорчилась бы, увидев, во что превратили ее «ценные экземпляры».

– Но из необходимой мебели я стопил только кухонный стол, – озабоченно сказал Валя, – так что главное все-таки осталось. Вот стулья, тумбочка, которую Кира очень любила, портьеры и так далее.

Весной звери вернулись в институт, а Валя получил звание капитана и стал работать в Военно-санитарном управлении. Я спросила, кому он нужен на фронте со своими грызунами, и он сказал очень серьезно:

– А вот это уже военная тайна.

В общем, все было превосходно. Плохо только, что зимой он «пережег проклятый лимит» и свет выключили – просто пришли и перерезали провод. Но, в конце концов, день сейчас длинный, а по ночам Валя работает при спиртовой лампочке – великолепная штука!

– А воду согреть на этой лампочке можно?

Валя растерянно посмотрел на меня.

– Боже мой, что я за болван! – закричал он. – Ты с дороги, а я даже не предложил тебе чаю.

– Нет, мне нужно много воды, – сказала я, – очень много. У тебя ведро найдется?

Он только ахнул и жалобно завыл, когда, разувшись и подоткнув юбку, я с мокрой тряпкой в руке принялась наводить порядок.

Сандаля пальцами нос, он с изумлением смотрел, как я выгребая из-под кровати картофельную шелуху, как сдираю с окон грязную бумагу, как растет на полу гора заплесневелого хлеба.

Вот так-то, босиком, в подоткнутой юбке, я стояла на столе и наматывала на швабру мокрую тряпку, чтобы смести со стен паутину, когда кто-то постучал и Валя побежал в переднюю, прихватив ведро с грязной водой.

Я слышала, как он шепотом сказал кому-то: «Ничего, хорошо держится! Молодец, превосходно!» И больше уже ничего не было слышно.

Длинная фигура мелькнула мимо открытых дверей. Кто-то снял шляпу, поставил палку, вынул гребешок и расчесал перед зеркалом седые усы. Кто-то вошел, остановился и уставился на меня с удивлением.

– Иван Павлыч, дорогой!

Он знал, что я должна приехать, – мы переписывались, и не было ничего неожиданного в том, что он нашел меня у Вали; но как будто только во сне могла я увидеть эту встречу, так мы бросились в объятия друг друга. Я не сдержалась, заплакала, и он тоже всхлипнул и полез в карман за платком.

– Что же не ко мне? – сердито спросил он и стал долго вытирать глаза, усы.

– Иван Павлыч, сегодня собиралась заехать!

Я одевалась за открытой дверцей шкафа, и мы говорили, говорили без конца, о том, как я летела, как была больна, о ленинградской блокаде, о нашем наступлении под Москвой... Теперь стало видно, как постарел Иван Павлыч, как покрылся морщинами его высокий лоб и на щеках появилась неровная, старческая краснота. Но он был еще статен, изящен.

В последний раз мы виделись в сороковом году. Но, боже мой, как давно это было!

Вдруг, соскучившись по старику, мы нагрянули к нему с тортом и французским вином на Садово-Триумфальную, в его одинокую, холостую квартиру. Как он был доволен, как смаковал вино, как они с Саней хохотали, вспоминая Гришу Фабера и трагедию

«Настал час», в которой Гриша играл главную роль приемыша-еврея! До поздней ночи сидели мы у камина. То был другой мир, другое время!

– Постарел, да? – спросил он, заметив, что я все смотрю на него.

– Мы все постарели, Иван Павлыч, милый. А я?

Он помолчал. Потом сказал грустно:

– А ты, Катя, стала похожа на мать...

Был уже вечер. Валя зажег свою лампочку, но мы сразу же погасили ее – приятно было сидеть без затемнения у открытого окна, при мягком, падавшем из переуллка вечернем свете. Там, в переулке, была легкая, прозрачная темнота, а у Вали – комнатная, совсем другая. Незаметно смеркалось, и уже не Ивана Павловича я видела, а только его седые усы, и не Валю, а только его очки, поблескивающие при каком-то повороте. Это было мгновение тишины, когда с удивительной силой я почувствовала себя среди настоящих, верных, на всю жизнь друзей. «Может быть, самое тяжелое уже позади, – сказала я себе, – раз так случилось, что эти люди, которые так любят меня, – раз они будут теперь вместе со мной, чтобы все в жизни стало легче и лучше? Раз такая тишина и так смутно видны в темноте эти добрые седые усы?»

## **Часть 8**

### **Бороться и искать**

*(рассказанная Саней Григорьевым)*

## **Глава 1**

### **Утро**

Катя сидела на балконе у Нины Капитоновны; сквозь сон я слышал их негромкие, чтобы не разбудить меня, голоса. Вчерашний вечер живо представился мне.

Ради приезда Нины Капитоновны впервые был вынесен в садик обеденный стол, мы долго ждали ее, и, наконец, она явилась, торжественная, строгая, в новом платье с буфами образца 1908 года и в ботинках с пуговицами и длиннейшими носами.

Как чудно рассказала она об экономке Николая Антоныча, которая поставила на плиту свои грязные туфли! Как представляла в лицах поездку в собственной машине на новую квартиру – Николай Антоныч получил новую квартиру на улице Горького, в четыре комнаты, с газом и паровым отоплением! Она сказала голосом Николая Антоныча: «Выбирайте любую, Нина Капитоновна», и ответила своим голосом, с гордым выражением: «Мне, спасибо, Николай Антоныч, о зеленой декорации думать пора, а чужого от чужого не надо».

И я представил себе, как в Москве, в превосходной новой квартире, пользуясь светом, воздухом, газом и паровым отоплением, сидит старый человек и пишет все наоборот – то есть все белое называет черным, а все черное – белым.

Пора было вставать, четверть седьмого, но это было так приятно – лежать на спине с закрытыми глазами и слушать, как Катя ходит по старенькой дачке и сухие половицы осторожно скрипят у нее под ногами. Вот она постояла у моей двери – наверно, послушала, сплю ли я, и подумала, что жалко будить. Вот пошла на кухню и сказала «научной няне», что, может быть, сегодня не стоит идти на базар, потому что все равно с десятичасовым я уеду.

Жена! Мы так часто разлучались, и я так привык представлять ее в воображении, что представил и сейчас, хотя она была рядом: в полосатом шелковом халатике и

причесанную, или, вернее, непричесанную, именно так, как мне понравилось в то утро, когда я впервые увидел ее с этой небрежной, наскоро заколотой косой. Мы так часто разлучались, что каждый раз у нас все как бы начиналось сначала.

Половина седьмого. Она вошла на цыпочках и поцеловала меня.

– Ты сто лет спишь. Купаться пойдешь?

– А хорошо?

Это я спросил о погоде.

– Очень.

– Тогда пойдешь.

– На речку?

Речка была совсем близко, под косогором. Но мы любили купаться на озере и пошли на озеро, хотя времени было маловато.

Мало сказать, что погода была хороша, – за все лето не было такого прекрасного утра! Солнце как будто торопилось как можно скорее сделать все сияющим, великолепным. Там, на озере, оно уже сделало все великолепным и теперь, царственно раскинувшись, наступало на нас, и белый ночной парок поспешно испуганно таял, запутавшись в лесу среди маленьких елей. Только одна осина осталась от мостков через Коровий ручей, которые мы с Петей смастерили в прошлое воскресенье; я перемахнул по этой осине, а Катя пошла вброд, и, боже мой, как я запомнил ее в эту минуту! Она шла, придерживая халатик, осторожно и с наслаждением пробуя ногою песчаное дно; полотенце скользнуло с плеча, и она ловко поймала его над самой водой.

Мы поднялись наверх, к старинному шведскому кладбищу, обогнули его – вот и озеро. Вдоль низкого, осененного ракидами берега голый, синий от холода мальчик тянул сетку – ловил раков, чудак! Кто же в восьмом часу ловит раков?!

Катя стала смеяться, когда я вытащил его из воды вместе с сеткой и прочел небольшую лекцию о ловле раков, в частности голубых, которые идут исключительно на гнилое мясо. Здесь вообще была мелочь, – в Энске вот были раки!

Песок чуть дымился в тех местах, где солнце успело согреть его сквозь ветки ракиды. Здесь, под ракидами, была тень, а солнце – там, на озере, от берега несколько метров, и, как всегда, мы с Катей поплыли к солнцу и стали «загорать» в воде с закинутыми под голову руками...

Почему я вновь начинаю свой рассказ именно с этого утра, которое ничем, кажется, не отличалось от любого другого воскресного утра? Потому что такую ушла от меня прежняя жизнь, а на смену ей мгновенно возникла и по-своему распорядилась и мною, и Катей, и всеми нашими мыслями, чувствами и впечатлениями совсем другая...

Эта другая жизнь была война, и, быть может, я не стал бы писать о ней именно потому, что это была совсем другая жизнь, если бы то, что произошло со мной на войне, не переплелось самым удивительным образом с историей капитана Татаринова и «Св. Марии».

## Глава 2

### Он

Со странным чувством невозможности передать то, что я вижу, вглядываюсь я в отрывочные картины первых дней и недель войны. Я вижу большую, темную комнату крестьянской избы, стол, тускло освещенный огарком, завешенные плащ-палаткою окна. Дверь открывается, человек в расстегнутом кителе входит, шарит в печи, жадно

ест. Это – Гриша Трофимов. Другой встает с койки и садится к столу рядом с ним. Это – Лури. И я слышу тихий разговор, от которого сердце начинает биться сильно и редко.

– На Ладоге был?

Ест и молча кивает Гриша.

– Ну, и что?

– То самое.

– А на Званке?

Ест. Молчит. Был на Званке.

И смотрят друг другу в лицо ленинградцы. Это первая ночь ленинградской блокады.

Я вижу выпел с запиской, летящей через борт моего самолета, – так мы спасали людей, которые были уверены, что они находятся в окружении, и ошибались.

Я вижу первую могилу, которую мы украсили железными цветами из стабилизаторов и снарядов и над которой проносились как можно ниже, возвращаясь домой после боевых полетов.

И снова озеро встает передо мной – то самое озеро, в сонной утренней рамке которого последним виденьем явилась прежняя жизнь. Теперь оно сумрачно, хмуро. Тускло блестит, точно налитая вровень с берегами, вода, сизый дым ползет по ее туманному зеркалу. Это горит подоженный немцами лес.

Вечерами мы выходим из подземного блиндажа на склоне горы. Катера стоят под ракетами, мы мчимся среди брызг, плеска и пены по темной воде. Из стены леса, как огромные морские птицы, выплывают навстречу нам самолеты. Это – озеро Л., наша третья и четвертая база!

Я вижу многое. Но все, что я вижу, как бы проходит передо мной на фоне карты, которая каждый день открывается под крыльями моего самолета, – карты с ломающимися линиями фронта, с разливающейся все шире черной волной германского наступления.

Каждый день в часть прибывали новые летчики, все больше из ГВФ, – с одними я работал еще на Севере, с другими на Дальнем Востоке. Это были опытные пилоты, многие первого и второго класса, а трое даже «миллионеры», то есть налетавшие более миллиона километров, и забавно было наблюдать, с какими смешными ошибками становились военными эти штатские люди. Об этом мы говорили часто, очень часто и в столовой и на дому, в землянке, где мы жили втроем: я с Лури и техник. Может быть, мы говорили об этом так часто потому, что молчаливо условились не говорить о «другом». О «другом» за нас говорили газеты.

В августе я с экипажем был переброшен в распоряжение ВВС<sup>253</sup> Южного фронта.

Ночь была темная, «раменская», как назвал ее Лури. Моросил дождь, очень мелкий, переходивший в черно-белый туман, неподвижно стоявший над водою. Темно – хоть выколи глаз! Я бы не нашел катера, если бы техник не помигал нам фонариком, догадавшись, что я заблудился.

Полковник подозвал меня, и мы немного постояли молча – в темноте мне чуть видно было это энергичное, с коротким вздернутым носом, еще совсем молодое лицо.

Говорить было, в сущности, не о чем. Но он все-таки спросил, взял ли я сабы (светящиеся бомбы). Я ответил, что взял. О сабах он спросил из вежливости, потому что на последнем разборе полетов я доказывал, что сабы во много раз увеличивают точность ночного бомбометания.

---

<sup>253</sup> ВВС – Военно-воздушные силы.

...Очевидно, Лури был не в духе, иначе он не настроился бы на эту унылую румынскую станцию. Я вспомнил, как он проснулся и не узнал меня, когда я разбудил его перед полетом. У него было усталое лицо, и, садясь на койке, он не сказал своей любимой цитаты из «Ваших крыльев»: «Если вы переутомлены, лучше не летайте, пока не отдохнете...»

От самого побережья прожектора устроили за нами световую погоню; их туманные блики то возникали, то расплывались в молочной бездне над нами. Это было еще полбеда. Мы шли в снегопаде, снег задувал в щит. Теперь Лури ловит Констанцу, и черт знает какую ерунду передает эта самая Констанца! Посвистываешь и думаешь, а вокруг вырастают и клубятся темные горы. Думаешь и посвистываешь, а горы нужно обходить, а под нижней кромкой облаков не пройдешь – снегопад, леденеет машина. Посвистываешь и думаешь: «Вот видишь, а ты сердилась, что я ничего не пишу тебе о полетах».

Облака кончились именно тогда, когда стало казаться, что иначе и не бывает. Они не кончились, а как бы раздвинулись, и впереди открылся просторный коридор, наполненный великолепным утренним перламутровым светом. На нижнем слое облаков была видна наша тень и на верхнем – тоже. Это было странно, хотя бы потому, что ни один предмет в природе не может, как известно, отбрасывать одновременно две тени. Кажется, я удивился, а может быть, и нет, потому что понял, что вторая тень вовсе не наша, а «мессера»<sup>254</sup>, который шел довольно высоко над нами. Хорошо, если бы он был один. Но за ним, как рыбы на солнце, блеснули второй и третий. Согласно всем правилам, мы должны были удрать от них возможно скорее. И мы бы удрали, если бы облака не остались где-то далеко позади в виде неподвижно мрачного синего здания. Удирать было некуда, и уже – трр, трр, – точно камешки посыпались на плоскости, разбежались по кабине.

Это был самый обыкновенный, ничем не замечательный бой, и я не стану рассказывать о нем, тем более, что он окончился очень скоро. Нам сразу удалось сбить один из «мессеров» – как он был в развороте, так и упал на землю. Два других сделали горку и, мешая друг другу, попытались пристроиться к хвосту нашего самолета. Это было, конечно, умно, но не очень, потому что мы были не такие люди, чтобы позволить заходить себе в хвост. Они зашли раз – и не вышло. Зашли другой – и чуть не попали под нашу «трассу». Короче говоря, мы отстреливались, как могли, они отстали наконец, и я повел самолет по прямой, линия фронта была недалеко.

Легко сказать – я вел самолет по прямой. Четверть левой плоскости была снесена, баки пробиты, Я был ранен в ногу и в лицо, кровь заливала глаза.

...Странная слабость охватила меня. Кажется, именно в это мгновение я вспомнил детские страшные сны, в которых меня убивали, топили, – и чувство счастья, когда проснешься – и жив.

«Но теперь, – это была очень спокойная мысль, – теперь я уже не проснусь».

Должно быть, я потерял сознание, но ненадолго, потому что очнулся от звука собственного голоса, как будто стал говорить еще до того, как вернулось сознание. Я приказывал экипажу прыгать с парашютами. Радист и воздушный стрелок прыгнули, а Лури ворчливо сказал: «Ладно, ладно!», как будто речь шла о скучной прогулке, на которую он был готов согласиться только из уважения ко мне.

...Самое трудное было бороться с этим туманом, от которого закрывались глаза, слабели и падали руки. Кажется, только раз в тысячу лет мне удавалось справиться с ним, и тогда я понимал, хотя не все, но зато самое важное, то, что необходимо было

---

<sup>254</sup> «Мессер» – немецкий самолет «Мессершмидт».

исправить сию же минуту. Тысяча лет – и я с трудом вывел машину, тащить приходилось одной левой ногой. Еще тысяча – и я увидел «юнкерсы», два «юнкерса», которые были много ниже меня и, как тяжелые большие быки, неторопливо ползли нам навстречу. Это был, разумеется, конец, и они даже не торопились прикончить нас – я понял это с первого взгляда.

Лури прыгнул, они стали стрелять по нему. Убили? Потом вернулись, встали по сторонам и пошли рядом со мною.

...Какое лицо у этого немца – красивое или безобразное, старое или молодое? Мне все равно: не солдат, а убийца летит рядом со мной. Не солдат, а злодей обгоняет меня, отходит в сторону, вновь приближается и смотрит, не торопится, наслаждается своим торжеством.

Не знаю, как это объяснить, но мне представилось, что я вижу и его и себя в эту минуту: себя, схватившегося слабыми руками за руль, с залитым кровью лицом, на распадающемся самолете. И его – поднявшего очки, смотрящего на меня с выражением холодного любопытства и полной власти надо мной. Может быть, я сказал что-то Лури, забыв, что он прыгнул и что они, наверно, убили его. Немец стал проходить подо мною, плоскость с желтым крестом показалась слева. Я нажал ручку, дал ногой и бросил на эту плоскость машину.

Не знаю, куда пришелся удар, должно быть, по кабине, потому что немец даже не раскрыл парашюта. Я убил его. Что это было за счастье!

И вот огромное, великолепное чувство охватило меня. Жить! Я победил его, этого убийцу, который, повернув голову, подняв очки, хладнокровно ждал моей смерти. Жить! Мне было все равно, пока я не увидел его. Я был ранен, я знал, что они добьют меня. Так нет же! Жить! Я видел землю, вот она, совсем близко, пашня и белая пыльная дорога.

Что-то горело на мне, реглан и сапоги, но я не чувствовал жара. Это было невозможно, но мне как-то удалось сделать перелом над самой землей. Я отстегнул ремни – и это было последнее, что мне удалось сделать в этот день, в эту неделю, в этот месяц, в эти четыре месяца... Но не станем забегать вперед.

### **Глава 3**

#### **Все, что могли**

Мне очень хотелось пить, и всю дорогу, пока они тащили меня в село, я просил пить и спрашивал о Лури. В селе мне дали ведро воды, и я не понял, почему женщины громко заплакали, когда я засунул голову в ведро и стал пить, ничего не видя и не слыша. Лицо у меня было опалено, волосы слиплись, нога перебита, на спине две широкие раны. Я был страшен.

...Блаженное чувство становилось все шире, все тверже во мне. Я лежал у сарая, на сене, в деревенском дворе, и мне казалось, что это чувство идет от покалывания травинок, от запаха сена, от земли, на которой меня не убьют. Меня привезли на старой белой лошади, она была поодаль привязана к тыну, и у меня навернулись слезы от этого чувства, от счастья, когда я посмотрел на нее. Кажется, мы сделали все, что могли. Я не беспокоился о радисте и воздушном стрелке, только сказал, чтобы меня не увозили отсюда, пока они не придут, «Лури тоже жив, – с восторгом думалось мне, – иначе не может быть, если мы так прекрасно отбились. Он жив, сейчас я увижу его».

Я увидел его. Лошадь захрапела, рванулась, когда его принесли, и какая-то суровая старая женщина – единственная, которую я почему-то запомнил, – подошла и молча ткнула ее кулаком в морду.

У него было спокойное лицо, совсем нетронутое, только ссадина на щеке – должно быть, проволочкой парашютом, когда приземлился. Глаза открыты. Сперва я не понял, почему все сняли шапки, когда его опустили на землю. Давешняя старуха присела подле него и стала как-то устраивать руки... А потом я трясся на телеге в санбат; какая-то другая, не деревенская, женщина держала меня за руку, щупала пульс и все говорила:

– Осторожнее, осторожнее.

Я удивлялся и думал: «Почему осторожнее? Неужели я умираю?» Наверно, я сказал это вслух, потому что она улыбнулась и ответила:

– Останетесь живы.

И снова тряслась и подпрыгивала телега, голова лежала на чьих-то коленях, я видел Лури, лежавшего у крыльца с мертвыми сложенными руками, и рвался к нему, а меня не пускали.

Земля вставала то под левым, то под правым крылом. Какие-то люди толпились передо мной, я искал среди них мою Катю. Я звал ее. Но не Катя, у которой становилось строгое выражение, когда я обнимал ее, не Катя, которая была моим счастьем, вышла из нестройной туманной толпы и встала передо мною. Повернув голову, как птица, подняв очки, вышел он и уставился на меня с холодным вниманием.

– Ну, что, – сказал я этому немцу, – чья взяла? Я жив, я над лесом, над морем, над полем, над всей землей пролечу! А ты мертв, убийца! Я победил тебя!

## Глава 4

### «Это ты, Сова?»

Нас везли в теплушках<sup>255</sup>, только впереди были два классных вагона, и, должно быть, плохи были мои дела, если маленький доктор с умным, замученным лицом после первого же обхода велел перевести меня в классный. Я был весь забинтован – голова, грудь, нога – и лежал неподвижно, как толстая белая кукла. Санитары на станции переговаривались под нашими окнами: «Возьми у тяжелых». Я был тяжелый. Но что-то стучало, не знаю где – в голове или в сердце, – и мне казалось, что это жизнь стучит и возится, и строит что-то еще слабыми, но цепкими руками.

Я познакомился с соседями. Один из них был тоже летчик, молодой, гораздо моложе меня. Мне не хотелось рассказывать, как я был ранен, а ему хотелось, и несколько раз я засыпал под его молодой глуховатый голос.

– Только я вышел из атаки, вижу – бензозаплавщики. «Все», – думаю. Прицелился, нажимаю, бью. «Довольно, – думаю, – а то врежусь, пожалуй». Отвернул – и тут меня что-то ударило. Отошел я от этого места, нажимаю на педаль, а ноги не чувствую. «Ну, – думаю, – оторвало мне ногу». А в кабину не смотрю, боюсь...

Он летал на «Чайке»<sup>256</sup> и был ранен в районе Борушан гораздо тяжелее, чем я, – так мне казалось. Потом я понял, что ему, наоборот, казалось, что я ранен гораздо тяжелее, чем он.

---

<sup>255</sup> Теплушка – вагон, созданный на основе товарного вагона, предназначенного для перевозки грузов. В центре теплушки ставилась печка, что позволяло перевозить людей и животных в зимний период.

<sup>256</sup> «Чайка» – советский истребитель периода Великой Отечественной войны. Первоначально использовалось лишь его буквенно-цифровое обозначение – И-153. Слово «чайка» писалось с маленькой

...Это были коротенькие мирные пробуждения, когда, слушая Симакова – так звали моего соседа, – я смотрел на медленно проходящую за окнами осеннюю степь, на белые мазанки<sup>257</sup>, на тяжелые тарелки подсолнухов в огородах у железнодорожных будок. Все, кажется, было в порядке: санитары приносили и шумно ставили на пол ведра с супом, койка покачивалась, следовательно, мы двигались вперед, хотя и медленно, потому что то и дело приходилось пропускать идущие на фронт составы с вооружением.

Но были и другие пробуждения, совсем другие! Наш поезд был уже не только военно-санитарный – вот что я понял во время, одного из этих томительных пробуждений. Платформы со станками были прицеплены к теплушкам, кухня сломалась, и нужно было ждать станции, чтобы купить молока и помидоров. Маленький доктор кричал надорванным голосом и грозил кому-то револьвером. На площадках, на буферах сидели со своими узлами женщины из Умани, Винницы, и «души не хватало», как сказал один санитар, чтобы высадить этих женщин, потрясенных, потерявших все, бесчувственных от горя.

Затерянный где-то в огромной сплетающейся сетке магистралей, наш ВСП<sup>258</sup> уже не шел по назначению, а отступал вместе с народом.

...Большие, синие, твердые, как камни, мухи влетали в окна, и не согнать их было с загнивающих, не менявшихся уже третьи сутки повязок, – вот что увидел я, проснувшись вновь от жары, от тоски. Был полдень, мы стояли в поле. Босоногая девчонка с лукошком помидоров вышла из помятого квадрата пшеницы, который был виден из моего окна; несколько легко раненных бросились к ней, она остановилась и со всех ног побежала назад, роняя свои помидоры.

...Прошло всего несколько дней, как с борта моего самолета я видел то, чего не видел – так мне казалось – ни один участник войны на земле. Но как бы в алгебраических формулах раскрывалась тогда передо мной картина нашего отступления. Теперь эти формулы ожили, превратились в реальные факты.

Не с высоты шести тысяч метров теперь я видел наше отступление! Я сам отступал, измученный ранами, жаждой, жарой и еще более – невеселыми мыслями, от которых так же не мог отделаться, как от этих синих твердых мух, садившихся на бинты с отвратительным громким жужжаньем.

Это было под вечер, и мы, очевидно, уже не стояли на месте, потому что моя «люлька» ритмично покачивалась в такт движениям вагона. Заходящее солнце косо смотрело в окно, и в его красноватом луче был ясно виден пыльный, тяжелый, пропахший йодом воздух. Кто-то стонал, негромко, но противно, – даже не стонал, а гудел сквозь зубы, однотонно, как зуммер. Я окликнул соседа. Нет, не он. Но где я слышал этот унылый голос? И почему я так стараюсь вспомнить, где я его слышал?

И вдруг школьные парты выстроились передо мной, и, как наяву, я увидел много живых детских смеющихся лиц. Урок интересный – о нравах и обычаях чукчей. Но разве до урока, если пари заключено, если рыжий мальчик с широко расставленными глазами держит меня за палец и хладнокровно режет его перочинным ножом?

– Ромашка! – сказал я громко.

Он замолчал – конечно, от удивления.

---

буквы и несло лишь информацию о типе центроплана верхнего крыла, выполненного с V-образным изломом. Трудно сказать когда, но это частное определение типа крыла прижилось и стало использоваться как второе вполне официальное название самолета.

<sup>257</sup> Мазанка – строение, изба из глины, кирпича или тонкого дерева, обмазанного глиной.

<sup>258</sup> ВСП – военно-санитарный поезд.



– Это ты, Сова?

Он долго пробирался под койками, между ранеными, лежавшими на полу, и, наконец, вынырнул где-то среди торчавших забинтованных ног.

– В чем дело? – глядя прямо на меня и не узнавая, осторожно спросил он.

Мне показалось, что он стал немного больше похож на человека, хотя все еще, как говорила тетя Даша, «не страдал красотой». Во всяком случае, от его прежней мнимой внушительности теперь ничего не осталось. Он был тощ и бледен, уши торчали, как у Петрушки, левый глаз осторожно косил.

– Не узнаешь?

– Нет.

– А ну подумай.

Он никогда не умел по-настоящему скрывать своих чувств, и теперь они стали проходить передо мной по порядку или, точнее, в полном беспорядке. Недоумение. Испуг. Ужас, от которого задрожали губы. Снова недоумение. Разочарование.

– Позволь, но ты же убит! – пробормотал он.

## Глава 5

### Старые счета

В старинных русских песнях поется о доле, и хотя я совсем не фаталист<sup>259</sup>, это слово невольно пришло мне в голову, когда в газете «Красные соколы» я прочел заметку о собственной смерти. Я помню ее наизусть.

«Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут четырьмя истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил один истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта он был вновь атакован, на этот раз двумя «юнкерсами». На объятой пламенем машине Григорьев успешно протаранил «юнкерс». Летчики энской части всегда будут хранить память о сталинских соколах – коммунистах капитане Григорьеве, штурмане Лури, стрелке-радисте Карпенко и воздушном стрелке Ершове, до последней минуты своей жизни борющихся за отчизну».

Надо же было какому-то военному корреспонденту – это я узнал лишь летом 1943 года – явиться в деревню П., как только меня увезли! Колхозники видели воздушный бой, он расспросил их. Он сфотографировал остатки сгоревшей машины. Ему сказали, что я безнадежен.

Потому ли, что я действительно лишь чудом спасся от смерти, или потому, что впервые в жизни пришлось мне прочитать собственный некролог, но эта заметка произвела на меня оскорбительное впечатление. Мысли мои вдруг разбежались. Катя представилась мне. Не та Катя, которая – я это знал, – вдруг проснувшись, встает с постели и бродит по комнате, думая обо мне. Нет, другая, мрачная, постаревшая Катя, которая прочтет эту заметку и положит газету на стол, и сделает еще что-то, как будто ничего не случилось, быть может, заплетет и распустит косу с неподвижным лицом – и вдруг покатится на пол, как кукла...

– Так, – сказал я. – Бывает.

И я смял газетку и швырнул ее в окно. Ромашов ахнул. Все время, пока мы разговаривали, он поглядывал в окно, – поезд стоял. Потом подобрал газетку –

---

<sup>259</sup> Фаталист – человек, который считает, что события в его жизни уже предопределены и ничего изменить нельзя.

очевидно, ему доставляло удовольствие хоть читать, что я умер, раз уж собственными глазами он убедился в обратном.

– Итак, ты жив. Я не верю глазам! Дорогой...

Это было сказано: «дорогой».

– Черт возьми, как я рад! Это совпадение? Однофамилец? Впрочем, не все ли равно! Ты жив, это основное.

Он стал спрашивать, куда я ранен, тяжело ли, задета ли кость, и т.д. И я снова разочаровал его, сказав, что ранен легко и что знакомый врач устроил меня в классный вагон.

– Но воображаю, как будет расстроена Катя! – сказал он. – Ведь эта записка могла дойти до нее.

Я сказал: «Да, могла», и стал расспрашивать его о Москве. Ромашов мельком сказал, что нет еще и месяца, как он из Москвы.

Не только что разговаривать с ним, и притом самым мирным образом, но с первого слова дать ему понять, что между нами ничего не изменилось, – вероятно, именно так я должен был поступить. Но человек – странное существо, это старая новость. Я смотрел на его напряженное, неестественно бледное лицо, и ничто, кроме привычного презрения, перемешанного даже с каким-то интересом, не шевельнулось во мне. Разумеется, он как был, так и остался в моих глазах подлецом. Но в эту минуту он представился мне каким-то давно знакомым, привычным, так сказать, «своим» подлецом!

И он понял, все понял! Он заговорил о Кораблеве – знаю ли я, что, несмотря на свои шестьдесят три года, старик записался в народное ополчение и что в «Вечерней Москве» по этому поводу была помещена записка? Он рассказал – с ироническим оттенком – о Николае Антоныче, который получил не только новую квартиру, но и научную степень. Какую же? Доктора географических наук – и без защиты диссертации, что, по мнению Ромашова, было почти невозможно.

– И знаешь, кто сделал ему карьеру? – со злобой, с блеском в глазах сказал Ромашов. – Ты.

– Я?

– Да. Он – Татаринов, а ты сделал эту фамилию знаменитой.

Он хотел сказать, что моя работа по изучению экспедиции «Св. Марии» впервые привлекла общее внимание к личности капитана Татаринова и что Николай Антоныч воспользовался тем, что он носит ту же фамилию. И – нужно отдать Ромашову должное – он выразил эту мысль как нельзя короче и яснее.

Впрочем, меньше всего мне хотелось разговаривать с ним на эту тему. Он понял это и заговорил о другом.

– Знаешь, кого я встретил на Ленинградском фронте? – сказал он. – Лейтенанта Павлова.

– А кто такой лейтенант Павлов?

– Вот тебе и на! А он-то утверждал, что знает тебя с детства. Такой огромный, плечистый парень.

Но я никак не мог догадаться, что этот огромный, плечистый парень и есть тот самый Володя с детскими синими глазами, который писал стихи и катал меня на собаках Буське и Того.

– Да, боже мой, к нему отец приезжал, старый доктор!

– Иван Иваныч!

Даже от Ромашова мне было приятно узнать, что доктор Иван Иваныч жив и здоров и даже служит на флоте. Какой молодец!

Несколько раз Ромашов упомянул, что он был на Ленинградском фронте. Катя осталась в Ленинграде, я беспокоился о ней. Но не хватало еще, чтобы я спрашивал у Ромашова о Кате!

Вообще теперь, когда он уже немного привык к тому, что я жив, ему смертельно захотелось рассказать о себе. Он уже, кажется, гордился тем, что встретил меня в ВСП, что он ранен так же, как и я, и т.д.

Война застала его в Ленинграде заместителем директора по хозяйственной части одного из институтов Академии наук. У него была броня, но он отказался, тем более что весь институт до последнего человека записался в народное ополчение. Под Ленинградом он был ранен и остался в строю. Прежнее начальство, которое теперь стало крупным военным начальством, вызвало его в Москву. Он получил новое назначение и не доехал – под Винницей разбомбили поезд. Взрывной волной его ударило о телеграфный столб, и теперь всю левую сторону тела время от времени начинает «невыносимо ломить».

– Ведь я во сне стонал, когда ты услышал, – объяснил он. – И доктора не знают, что делать со мной, решительно не знают.

– Ну, а теперь признавайся, – сказал я строго: – что ты соврал и что правда!

– Абсолютно все правда!

– Ну да!

– Ей-Богу! Вообще прошли те времена, когда нам нужно было как-то хитрить друг перед другом.

Он сказал «нам».

– Теперь, брат, кончено. У меня одна жизнь, у тебя – другая. Что нам делить теперь? Ты, опять не поверишь, но, честное слово, я иногда удивляюсь, вспоминая историю, которая поссорила нас. В сравнении с тем, что происходит на наших глазах, она представляется просто вздором.

– Еще бы!

– И довольно об этом!

Он вопросительно посмотрел на меня. Очевидно, не был уверен – согласен ли я, что об «этом» довольно.

Но я был согласен. Не до старых счетов было мне в эти дни! Тоска томила меня. То думал я о том, что стал жалок, беспомощен со своей перебитой ногой перед лицом гигантской тени, которая надвинулась на нашу страну и вот теперь идет за нами, догоняет наш заблудившийся поезд. То госпиталь представлялся мне: день тянется бесконечно, однообразно, сестра в тапочках заходит и ставит на столик цветы, и, боже мой, как я не хотел всей душой, изо всех сил этого покоя, этих цветов на столе, этих бесшумных госпитальных шагов!

То мысль, страшнее которой я уже ничего не мог придумать, приходила ко мне. Эта мысль была: «Я больше не буду летать». Мне сразу становилось жарко, я начинал дышать открытым ртом, и сердце уходило так далеко, откуда, кажется, уже невозможно вернуться.

## Глава 6

### Девушки из Станислава

Выше я рассказал о том, как раненые бросились подбирать помидоры. Это было одно из самых горьких и томительных моих пробуждений. И вот две девушки – тогда я увидел их впервые, – одетые во что-то штатское, вдруг появились в толпе. Они даже

ничего не сделали, а только что-то сказали одному и другому быстро – певуче, по-украински, – и раненые молча разошлись по вагонам.

Это были студентки педтехникума<sup>260</sup> из Станислава – обе крупные, черные, с низкими бровями, с низкими голосами и необыкновенно «домашние», несмотря на свою решительную, сильную внешность. Только что присоединившись к нам, они достали воды и бережно роздали ее, по кружке на брата. Они принесли откуда-то не Бог весть что – лукошко калины, но как приятно было сосать горьковатую ягоду, как она освежала!

Почему среди тысяч людей, прошедших передо мной в те дни, я остановился на этих девушках, о которых даже ничего не знаю, кроме того, что одну из них звали Катей? Потому что... Но я снова забегаю вперед.

Я лежал у окна спиной к движению. Уходящая местность открывалась передо мной, и поэтому я увидел эти три танка, когда мы уже прошли мимо них. Ничего особенного, средние танки! Открыв люки, танкисты смотрели на нас. Они были без шлемов, и мы приняли их за своих. Потом люки закрылись, и это была последняя минута, когда еще невозможно было предположить, что по санитарному эшелону, в котором находилось, вероятно, не меньше тысячи раненых, другие, здоровые люди могут стрелять из пушек. Но именно это и произошло.

С железным скрежетом сдвинулись вагоны, меня подбросило, и я невольно застонал, навалившись на раненую ногу. Какой-то парень, гремя костылями, с ревом бросился вдоль вагона, его двинули, и он ткнулся в угол рядом со мной. Я видел через окно, как первые раненые, выскочив из теплушек, бежали и падали, потому что танки стреляли по ним шрапнелью.

Мой сосед Симаков смотрел рядом со мной в окно. У него было белое лицо, когда, одновременно обернувшись, мы взглянули в глаза друг другу.

– Надо вылезать!

– Пожалуй, – сказал я. – Для этого нужны пустяки: ноги.

Но все же мы сползли кое-как с наших коек, и толпа раненых вынесла нас на площадку. Никогда не забуду чувства, с необычайной силой охватившего меня, когда, преодолевая мучительную боль, я спустился с лесенки и лег под вагон. Это было презрение и даже ненависть к себе, которые я испытал, может быть, впервые в жизни. Странно раскинув руки, люди лежали вокруг меня. Это были трупы. Другие бежали и падали с криком, а я сидел под вагоном, беспомощный, томящийся от бешенства и боли.

Я вытащил пистолет – не для того, чтобы застрелиться, хотя среди тысячи мыслей, сменивших одна другую, может быть, мелькнула и эта. Кто-то крепко взял меня за кисть...

Это была одна из давешних девушек, именно та, посмуглее, которую звали Катей. Я показал ей на Симакова, который лежал поодаль, прижавшись щекой к земле. Она мельком взглянула на него и покачала головой. Симаков был убит.

– К черту, я никуда не пойду! – сказал я второй девушке, которая вдруг появилась откуда-то, удивительно неторопливая среди грохота и суматохи обстрела. – Оставьте меня! У меня есть пистолет, и живым они меня не получат.

Но девушки схватили меня, и мы все втроем скатились под насыпь. Ползущий, желтый, похожий на китайца Ромашов мелькнул где-то впереди в эту минуту. Он полз по той же канаве, что и мы; мокрая глинистая канава тянулась вдоль полотна, сразу за насыпью начиналось болото.

---

<sup>260</sup> Педтехникум – педагогический техникум, средне-специальное учебное заведение, готовящее работников для детских садов и начальной школы.

Девушкам было тяжело, я несколько раз просил оставить меня. Кажется, Катя крикнула Ромашову, чтобы он подождал, помог, но он только оглянулся и снова, не прижимаясь к земле, пополз на четвереньках, как обезьяна.

Так это было, только в тысячу раз медленнее, чем я рассказал.

Кое-как перебравшись через болото, мы залегли в маленькой осиновой роще. Мы – то есть девушки, я, Ромашов и два бойца, присоединившиеся к нам по дороге. Они были легко ранены, один в правую, другой в левую руку.

## Глава 7

### В осиновой роще

Я послал этих двух бойцов в разведку, и, вернувшись, они доложили, что на разных направлениях стоит до сорока машин, причем откуда-то взялись уже и походные кухни. Очевидно, танки, обстрелявшие наш эшелон, принадлежали к большому десанту.

– Уйти, конечно, можно. Но, поскольку капитан не может самостоятельно двигаться, лучше воспользоваться дрезиной<sup>261</sup>.

Дрезину они нашли под насыпью у разъезда.

Помнится, именно в это время, когда мы стали обсуждать, можно ли поднять дрезину и поставить ее на рельсы, Ромашов лег на спину и начал стонать и жаловаться на сильные боли. Возможно, что у него действительно начался припадок, потому что, когда девушки расстегнули его гимнастерку, у него оказалась совершенно красной левая половина тела. Прежде я никогда не слышал о подобных контузиях. Так или иначе, но в таком состоянии он, разумеется, не мог идти с бойцами к разъезду. Пошли девушки – все такие же неторопливые, решительные, не спеша переговариваясь по-украински низкими, красивыми голосами.

И мы с Ромашовым остались одни в маленькой мокрой осиновой роще.

Притворялся он или ему было действительно плохо? Пожалуй, не притворялся.

Несколько раз он дернулся, как припадочный, потом погудел и затих. Я сказал:

– Ромашов!

Он молча лежал на спине с высоко поднятой грудью, и у него был совершенно мертвый, белый нос. Я снова окликнул его, и он отозвался таким слабым голосом, как будто уже побывал на том свете и теперь без всякого удовольствия возвращается в эту рощицу, находящуюся в районе действий немецкого десанта.

– Здорово схватило! – стараясь улыбнуться, пробормотал он.

Он поднял веки и с трудом привстал, машинально снимая с лица налипшие листья осины.

Мне трудно рассказать о том, как прошел этот день, вероятно потому, что, несмотря на всю сложность положения, он был довольно скучный, в особенности по сравнению с тем, что произошло наутро. Мы ждали и ждали без конца. Я лежал под разваленной поленицей на кучах прошлогодних листьев. Ромашов сидел, как турок, поджав под себя ноги, и кто знает, о чем он думал, полузакрыв птичьи глаза и положив руки на худые колени.

Роща была сырая, а тут еще недавно прошел дождь, и повсюду – на ветках, на паутине, дрожащей от тяжести, – блестели и глухо падали крупные капли. Таким образом, мы не страдали от жажды.

---

<sup>261</sup> Дрезина – тележка, передвигаемая механически по рельсам и служащая для перевозки людей и грузов на небольшие расстояния.

Раза два заглянуло к нам солнце. Сначала оно было справа от нас, потом, описав полукруг, оказалось слева, – стало быть, прошло уже часа три, как бойцы и девушки отправились налаживать дрезину.

Уходя, та, которую звали Катей, сунула мне под голову свой заплечный мешок.

Очевидно, в мешке были сухари – что-то хрустнуло, когда я кулаком подбил мешок повыше. Ромашов стал ныть, что он умирает от голода, но я прикрикнул на него, и он замолчал.

– Они не вернуться, – через минуту нервно сказал он. – Они бросили нас.

Он оправился от своей дурноты и уже разгуливал, рискуя выдать нас, потому что рошица была редкая, а до полотна открывалась пустынная местность.

– Это ты виноват, – снова сказал он, вернувшись и садясь на корточки подле меня. – Ты отправил их всех. Нужно было, чтобы одна осталась.

– В залог?

– Да, в залог. А теперь пиши пропало! Так они и вернуться за нами! Это ручная дрезина, она вообще может взять только четырех человек.

Вероятно, у меня было плохое настроение, потому что я вытащил пистолет и сказал Ромашову, что убью его, если он не перестанет ныть. Он замолчал. Морда у него искривилась, и он, кажется, с трудом удержался, чтобы не заплакать.

Вообще говоря, плохо было дело! Уже первые сумерки, крадучись, стали пробираться в рошу, а девушки не возвращались. Разумеется, я и мысли не допускал, что они могли уехать на дрезине без нас, как это подло предполагал Ромашов. Пока лучше было не думать, что они не вернуться.

Лежа на спине, я смотрел в небо, которое все темнело и уходило от меня среди трепещущих жидких осин. Я не думал о Кате, но что-то нежное и сдержанное прошло в душе, и я почувствовал: «Катя». Это был уже сон, и если бы не Катя, я прогнал бы его, потому что нельзя было спать, я это чувствовал, но еще не знал – почему. Испания представилась мне или мое письмо из Испании, – что-то очень молодое, перепутанное, не бои, а крошечные фруктовые садики под Валенсией, в которых старухи, узнав, что мы русские, не знали, куда нас посадить и что с нами делать. «Так что все-таки помни, так я писал Кате, хотя чувствовал, что она рядом со мной, – ты свободна, никаких обязательств».

Мне было страшно расстаться с этим сном, хотя и холодно было промокшей ноге, хотя далеко сползла с плеча и подмялась шинель. Я держал Катю за руки, я не отпускал этот сон, но уже случилось что-то страшное, и нужно было заставить себя проснуться.

Я открыл глаза. Освещенный первыми лучами солнца, туман лениво бродил между деревьями. У меня было мокрое лицо, мокрые руки. Ромашов сидел поодаль в прежней сонно-равнодушной позе. Все, кажется, было, как прежде, но все было уже совершенно другим.

Он не смотрел на меня. Потом посмотрел – искоса, очень быстро, и я сразу понял, почему мне так неудобно лежать. Он вытащил из-под моей головы мешок с сухарями.

Кроме того, он вытащил флягу с водкой и пистолет.

Кровь бросилась мне в лицо. Он вытащил пистолет!

– Сейчас же верни оружие, болван! – сказал я спокойно.

Он промолчал.

– Ну!

– Ты все равно умрешь, – сказал он торопливо. – Тебе не нужно оружия.

– Умру я или нет, это уж мое дело. Но ты мне верни пистолет, если не хочешь попасть под полевой суд<sup>262</sup>. Понятно?

---

<sup>262</sup> Полевой суд – военно-полевой суд – чрезвычайный военно-судебный орган, «исключительный, чрезвычайный суд, действующий вне норм существующего в данном государстве уголовного

Он стал коротко, быстро дышать.

– Какой там полевой суд! Мы одни, и никто ничего не узнает. В сущности, тебя уже давно нет. О том, что ты еще жив, ничего неизвестно.

Теперь он в упор смотрел на меня, и у него были очень странные глаза – какие-то торжественные, широко открытые. Может быть, он помешался?

– Знаешь что? Глотни-ка из фляги, – сказал я спокойно, – и приди в себя. А уж потом мы решим – жив я или умер.

Но Ромашов не слушал меня.

– Я остался, чтобы сказать, что ты мешал мне всегда и везде. Каждый день, каждый час! Ты мне надоел смертельно, безумно! Ты мне надоел тысячу лет!

Безусловно, он не был вполне нормален в эту минуту. Последняя фраза «надоел тысячу лет» убедила меня.

– Но теперь все кончено, навсегда! – в каком-то самозабвении продолжал Ромашов. – Все равно ты умер бы, у тебя гангрена. Теперь ты умрешь скорее, сейчас, вот и все.

– Допустим! – Между нами было не больше трех шагов, и, если удачно бросить костыль, возможно, я мог бы оглушить его. Но я еще говорил спокойно. – Но зачем же ты взял планшет? Там мои документы.

– Зачем? Чтобы тебя нашли просто так. Кто? Неизвестно. (Он пропускал слова.) Мало ли валяется, чей-то труп. Ты будешь трупом, – сказал он надменно, – и никто не узнает, что я убил тебя.

Теперь эта сцена представляется мне почти фантастической. Но я не изменил и не прибавил ни слова.

## Глава 8

### Никто не узнает

Мальчиком я был очень вспыльчив и прекрасно помню то опасное чувство наслаждения, когда я давал себе полную волю. Именно с этим чувством, от которого уже начинала немного кружиться голова, я слушал Ромашова. Нужно было приказать себе стать совершенно спокойным, и я приказал, а потом незаметно отвел руку за спину и положил ее на костыль.

– Имей в виду, что я успел написать в часть, – сказал я ровным голосом, который удался мне сразу. – Так что на эту заметку ты считаешь напрасно.

– А эшелон?

С тупым торжеством он взглянул на меня. Он хотел сказать, что после обстрела ВСП нет ничего легче, как объяснить мое исчезновение. В эту минуту я понял, что он очень давно, может быть со школьных лет, желал моей смерти.

– Допустим. Но, как ни странно, ты ничего не выиграешь на этом, – сказал я что-то такое – все равно что, лишь бы затянуть время.

Поленица мешала замахнуться. Нужно было незаметно отодвинуться от нее и ударить сбоку, чтобы вернее попасть в висок.

– Выиграю я или нет, это не имеет значения! Ты все равно проиграл. Сейчас я застрелю тебя. Вот!

И он вытащил мой пистолет.

Если бы я поверил, что он действительно может застрелить меня, возможно, что он бы решился. В таком азарте я еще не видел его ни разу. Но я просто плюнул ему в лицо и сказал:

– Стреляй!

Боже мой, как он завыл и закрутился, закрипел и даже защелкал зубами! Он был бы страшен, если бы я не знал, что за этими штуками нет ничего, кроме трусости и нахальства. Борьба с самим собой – выстрелить или нет? – вот что означал этот дикий танец. Пистолет жег ему руку, он все наставлял его на меня с размаху и дрожал, так что я стал бояться, в конце концов, как бы он нечаянно не нажал собачку.

– Мерзавец! – закричал он. – Ты всегда мучил меня! Если бы ты знал, кому ты обязан своей жизнью, ничтожество, подлец! Если бы я мог, Боже мой! И зачем, зачем тебе жить? Все равно ногу отнимут. Ты больше не будешь летать.

Это может показаться смешным, но из всех его идиотских ругательств самыми обидными показались мне именно слова о том, что я больше не буду летать.

– Можно подумать, что я больше всего мешал тебе в воздухе, – сказал я, чувствуя, что у меня страшный голос, и все еще стараясь говорить хладнокровно. – А на земле мы были Орестом и Пиладом<sup>263</sup>.

Теперь он стоял боком ко мне да еще прикрыв левой ладонью глаза, как бы в отчаянии, что никак не может уговорить меня умереть. Минута была удобная, и я бросил костыль. Нужно было метнуть его, как копье, то есть сильно откинуться, а потом послать все тело вперед, выбросив руку. Я сделал все, что мог, и попал, но, к сожалению, не в висок, а в плечо и, кажется, не особенно сильно.

Ромашов остолбенел. Как кенгуру, он сделал огромный неуклюжий прыжок. Потом обернулся ко мне.

– Ах, так! – сказал он и выругался. – Хорошо же!

Не торопясь, он уложил мешки. Он связал их, чтобы было удобно нести, и надел один на правую, другой на левую руку. Не торопясь, он обошел меня, наклонился, чтобы поднять с земли какую-то ветку. Помахивая ею, он пошел по направлению к болоту, и через пять минут уже среди далеких осин мелькала его сутулая фигура. А я сидел, опершись руками о землю, с пересохшим ртом, стараясь не крикнуть ему: «Ромашов, вернись!», потому что это было, разумеется, невозможно.

## Глава 9

### Один

Оставить меня одного, голодного и безоружного, тяжело раненного, в лесу, в двух шагах от расположения немецкого десанта – я не сомневаюсь в том, что именно это было тщательно обдуманно накануне. Все остальное Ромашов делал и говорил в припадке вдохновения, очевидно надеясь, что ему удастся испугать и унижить меня. Ничего не вышло из этой попытки, и он ушел, что было вполне равносильно, а может быть, даже хуже убийства, на которое он не решился.

Не могу сказать, что мне стало легче, когда эта трезвая мысль явилась передо мною.

Нужно было двигаться или согласиться с Ромашовым и навсегда остаться в маленькой осиновой роще.

Я встал. Костыли были разной высоты. Я сделал шаг. Это была не та боль, которая без промаха бьет куда-то в затылок и от которой теряют сознание. Но точно тысячи дьяволов рвали мою ногу на части и скребли железными скребками едва поджившие раны на спине. Я сделал второй и третий шаг.

---

<sup>263</sup> Орест и Пилад – персонажи античной мифологии. Пилад, двоюродный брат Ореста, деля все горести его, не покидал его в самые тяжелые дни, готовый пожертвовать жизнью за него. Дружба их вошла в пословицу. Иносказательно выражение «как Орест и Пилад» уазывает на неразрывную дружбу. Ромашов использует это выражение иронически.



– Что, взяли? – сказал я дьяволам.

И сделал четвертый.

Солнце стояло уже довольно высоко, когда я добрался до опушки, за которой открылось давешнее болото, пересеченное единственной полоской примятой, мокрой травы. Красивые зеленые кочки-шары виднелись здесь и там, и я вспомнил, как они вчера переворачивались у девушек под ногами.

Какие-то люди ходили по насыпи – свои или немцы? Наш поезд еще горел; бледный при солнечном свете огонь перебегал по черным доскам вагонов.

Может быть, вернуться к нему? Зачем? Раскаты орудийных выстрелов донеслись до меня, глухие, далекие и как будто с востока. Ближайшей станцией, до которой нам оставалось еще километров двадцать, была Щеля Новая. Там шел бой, следовательно, были наши. Туда я и направился, если можно так назвать эту муку каждого шага.

Роща кончилась, и пошли кусты с сизо-черными ягодами, название которых я забыл, похожими на чернику, но крупнее. Это было кстати – больше суток я ничего не ел. Что-то неподвижно-черное лежало в поле за кустами, должно быть мертвый, и всякий раз, когда, навалившись на костыли, я тянулся за ягодой, этот мертвый почему-то беспокоил меня. Потом я забыл о нем – и снова вспомнил с неприятным чувством, от которого даже дрожь прошла по спине. Несколько ягод упало в траву. Я стал осторожно опускаться, чтобы найти их, и точно игла кольнула меня прямо в сердце: это была женщина. Теперь я шел к ней, как только мог быстрее.

Она лежала на спине с раскинутыми руками. Это была не Катя, другая. Пули попала в лицо, красивые черные брови были сдвинуты с выражением страдания.

Кажется, именно в это время я стал замечать, что говорю сам с собой и притом довольно странные вещи. Я вспомнил, как называется та сизо-черная ягода, похожая на чернику, – гонобобель, или голубика, – и страшно обрадовался, хотя это было не Бог весть какое открытие. Я стал вслух строить предположения о том, как была убита эта девушка: вероятнее всего, она вернулась за мной, и немцы с насыпи дали по ней очередь из автомата. Я сказал ей что-то ласковое, стараясь ее обнадежить, как будто она не была мертва, безнадежно мертва, с низкими, страдальчески сдвинутыми бровями.

Потом я забыл о ней. Я шел куда-то и болтал, и мне ужасно не нравилось, что я так странно болтаю. Это был бред, подступивший удивительно незаметно, с которым я уже не боролся, потому что бороться нужно было только с одним непреодолимым желанием – отшвырнуть костыли, натершие мне подмышками водяные мозоли, и опуститься на землю, которая была покоем и счастьем.

... Должно быть, я ничего не видел вокруг себя задолго до того, как потерял сознание, – иначе, откуда мог бы появиться рядом с моей головой этот пышный бледно-зеленый кочан капусты? Я лежал в огороде и с восторгом смотрел на кочан. Вообще все было бы превосходно, если бы пугало в черной изодранной шляпе не описывало медленные круги надо мной. Ворона, сидевшая на его плече, кружилась вместе с ним, и я подумал, что если бы не эта госпожа с плоско мигающим глазом, все на свете действительно было бы превосходно. Я закричал на нее, но таким беспомощно-хриплым голосом, что она только посмотрела на меня и равнодушно шевельнула крыльями, точно пожала плечами.

Да, все было бы превосходно, если бы я мог остановить этот медленно кружащийся мир. Может быть, тогда мне удалось бы рассмотреть рубленый некрашенный домик за огородом, крыльцо и во дворе высокую палку колодца. То темнело, то светлело одно из окон, и, кто знает, может быть, мне удалось бы увидеть того, кто ходит по дому и тревожно смотрит в окно.

Я встал. До порога было шагов сорок – пустяки в сравнении с тем расстоянием, которое я прошел накануне. Но дорого достались мне эти сорок шагов! Без сил упал я на крыльцо, загремев костылями.

Дверь приоткрылась. Мальчик лет двенадцати стоял на одном колене за табуретом. Лежа на крыльце, я не сразу различил его в глубине темноватой комнаты с низким потолком и большими двухэтажными нарами, отделенными ситцевой занавеской. Он целился прямо в меня, даже зажмурил глаз и крепко прижался щекой к прикладу. – Вот что, нужно мне помочь, – сказал я, стараясь остановить эту комнату, которая уже начала вокруг меня свое проклятое медленное движение, – я раненый летчик из эшелона.

– Кирилл, отставить! – сказал мальчик с ружьем. – Это наш.

Мне показалось, что он раздвоился в эту минуту, потому что еще один совершенно такой же мальчик осторожно выглянул из-за полога. В руке он держал финский нож.<sup>264</sup> Он еще пыхтел и моргал от волнения.

## Глава 10 Мальчики

Я плохо помню то, что было потом, и дни, проведенные у мальчиков, представляются мне в каких-то клубах пара. Пар был самый реальный, потому что большой чайник с утра до вечера кипел на таганчике<sup>265</sup> в русской печке. Но был еще и другой, фантастический пар, от которого я быстро и хрипло дышал и обливался потом. Иногда он редел, и тогда я видел себя на постели, с ногой, под которую была подложена гора разноцветных подушек. Это сделали мальчики, чтобы кровь отлила от ран. Я уже узнал, что их зовут Кира и Вова, что они сыновья стрелочника<sup>266</sup> Ионы Петровича Лескова, что отец накануне ушел на станцию, а им приказал запереться и никого не пускать. Они были близнецами – и это я превосходно знал, но все-таки пугался, когда видел их вместе: они были совершенно одинаковые, и это снова было похоже на бред.

... Точно два человека боролись во мне – один веселый, легкий, который старался припомнить и живо представить себе все самое хорошее в жизни, и другой – мрачный и мстительный, не забывающий обид, томящийся от невозможности отплатить за унижение.

То представлялось мне, как высокий бородатый человек, такой замерзший, что он даже не в силах запереть за собой дверь, входит в избу, где живем мы с сестрой. Но это не доктор Иван Иваныч. Это я. Без сил я падаю на крыльцо, дверь распаивается, мальчики целятся в меня, а потом говорят: «Это наш».

И все мне казалось, что они потому отнеслись ко мне так сердечно, что когда-то, много лет назад, мы с сестрой помогли доктору, – одинокие, заброшенные дети в глухой, занесенной снегом деревне.

То видел я себя с оскаленными от злобы зубами, с пистолетом в руке, под вагоном. Странно раскинув руки, люди лежали вокруг меня. Что же я сделал, в чем провинился,

---

<sup>264</sup> Финский нож – то же, что и *финка*, особый тип ножа, получивший широкое распространение в Российской империи и Советском Союзе в первой половине 20 в. Популярность ножей из Финляндии (пуукко) привела к тому, что финским в России стал называться практически любой нож с прямым клинком и скосом обуха («щучкой») вне зависимости от места изготовления.

<sup>265</sup> Таганчик – то же, что и *таган*: 1. Обруч – обычный металлический – на трех ножках, служащий при приготовлении пищи на огне подставкой для котла, чугуна и т.п. 2. Треножник, козлы, к которым подвешивается котел.

<sup>266</sup> Стрелочник – рабочий, ведающий переводом стрелки на железнодорожных путях.

что пропустил самое важное, самое необходимое в жизни? Как случилось, что эти люди пришли к нам и осмелились подло стрелять в раненых, точно не было на свете ни справедливости, ни чести, ни того, чему я учился в школе, ни того, во что я свято верил и что с детства привык уважать и любить?

Я старался ответить на этот вопрос и не мог, потому что у меня пропадало дыхание, и мальчики с беспокойством глядели на меня и все говорили, что если бы пришел отец, он бы что-то сделал со мной и мне сразу стало бы лучше.

И отец пришел. Без сомнения, это был он, такой же неуклюжий, как мальчики, с мрачным лицом и сияющими голубыми глазами. Они сияли в ту минуту, когда, опустив руки и сгорбившись, он остановился подле постели.

– Десант разбит, – сказал он, – мы окружили их у Щели Новой и уничтожили всех до одного.

Потом он замолчал, уставясь на меня исподлобья, и я подумал, что, должно быть, плохи мои дела, если на меня смотрят такими добрыми глазами, если у меня спрашивают имя и отчество, фамилию и звание и, вздохнув, прикалывают к стене – чтобы не затерялся – листок бумаги. Но это еще не беда, пусть прикалывает, все равно я не стану смотреть на этот листок. И, взяв стрелочника за руку, я начинаю с жаром рассказывать о том, как встретили меня его сыновья. Может быть, я рассказываю слишком долго и немного путаюсь и повторяюсь, потому что он кладет мне на лоб что-то холодное и просит, чтобы я непременно уснул.

– Усните, усните!

Я знаю, что он будет доволен, если мне удастся уснуть, и закрываю глаза и притворяюсь, что сплю. Но картина, которую я нарисовал перед ним, остается – где-то в бесконечной перспективе, между раздвинутых стен.

Тысячи маленьких домов представляются мне. Тысячи мальчиков стоят на коленях перед табуретами, на которых лежат тысячи ружей. Тысячи других прячутся за ситцевыми занавесками с ножами в руках. На великой Русской равнине, от горизонта до горизонта, в каждом доме в глубине темноватых комнат мальчики ждут врага. Ждут, чтобы убить его, когда он войдет.

## **Глава 11**

### **О любви**

Если сравнить, как это делают поэты, жизнь с дорогой, то можно сказать, что на самых крутых поворотах этой дороги я всегда встречал регулировщиков, которые указывали мне верное направление. Этот поворот отличался от других лишь тем, что меня выручил стрелочник, то есть профессиональный регулировщик.

Двое суток я пролежал в его доме, то приходя в себя, то снова теряя сознание, и, открывая глаза, неизменно видел этого мрачного человека, который стоял у моей постели, не отходя ни на шаг, точно не пускал меня в ту сторону, где дорога срывается в пропасть. Иногда он превращался в мальчика с такими же удивительно светлыми глазами, и мальчик тоже твердо стоял на своем месте и держал меня здесь, в этой комнате с маленькими окнами и низким потолком, и ни за что не пускал туда, где (если верить газете «Красные соколы») я однажды уже успел побывать.

Замечательно, что ни разу – ни наяву, ни в бреду – я не вспомнил о Ромашове. Был ли это инстинкт самосохранения? Вероятно, да – это воспоминание не прибавило бы мне здоровья.

Но когда движение было восстановлено, когда семейство – на дрезине, без сомнения той самой, до которой не добрались девушки из Станислава, – доставило меня в

Заозерье и, сияя тремя парами голубых глаз, застенчиво простилось со мной, когда я вновь оказался в ВСП и на этот раз в настоящем – с ванной, радио и вагоном читальней, – когда, вымытый, перебинтованный, сытый, с ногой, задранной к потолку по всем правилам медицинской науки, я проспал всю Среднюю Россию и уже где-то за Кировом, в другом, тыловом мире показались незатемненные, что было очень странно, окна, – вот когда я вспомнил и повторил в уме все, что произошло между мною и Ромашовым.

Я вспомнил наш разговор накануне того дня, когда эшелон обстреляли немецкие танки. – Сознайся, что у тебя в жизни были подлости, – сказал я, – то есть подлости с твоей собственной точки зрения.

– Допустим, – хладнокровно отвечал он. – Но что значит подлость? Я смотрю на жизнь, как на игру. Вот сейчас, например. Разве сама судьба не сдала нам на руки карты? Не судьба, а война сдала эти карты. Не война, а отступление, потому что, если бы не отступление, он никогда не решился бы украсть у меня пистолет и бумаги и бросить меня в лесу одного.

Точно как на суде, я разобрал его поступок со всех точек зрения, в том числе и с военно-юридической, хотя об этой науке у меня было довольно смутное представление. Я вспомнил всю историю наших отношений, очень сложную, в особенности если вообразить (теперь это было почти невозможно), что когда-то он серьезно собирался жениться на Кате.

Примирился ли он с тем, что она потеряна для него навсегда? Не знаю. Он женился на какой-то Алевтине Сергеевне, и Нина Капитоновна рассказала, что он страшно напился и плакал на свадьбе. И, слушая Нину Капитоновну, Катя смутилась и покраснела. Что же, она догадалась, что Ромашов все еще любит ее?

Без сомнения, он не помнил себя, когда кричал мне с пистолетом в руке: «Если бы ты знал, кому ты обязан жизнью!»

Но все-таки – кому?

Да, нетрудно было найти статью, согласно которой военный суд имел право расстрелять интенданта второго ранга Ромашова.

Но, быть может, есть на свете еще один суд, приговор которого по всей совести нельзя предсказать заранее? На котором обвиняемый скажет:

– Да, я хотел убить его.

И потом:

– Но не убил, потому что люблю ту, которая не в силах перенести эту смерть.

Нет такого суда! Не из любви к Кате, а из трусости он не убил меня! Да и что это за любовь, боже мой! Разве это та любовь, которая делает жизнь высокой и чистой?

Которая превращает ее во что-то новое, великолепное? Которая, не спрашиваясь, делает человека в тысячу раз интереснее и добрее, чем прежде?

Нет, то была не любовь, а какое-то, Бог весть, сложное, запутанное чувство, в котором оскорбленное самолюбие мешалось со страстью и, возможно, участвовал даже расчет, от которого (я в этом уверен) никогда не была свободна эта скучная душа подлеца.

Но все-таки я представил себе этот фантастический суд.

Я решил, что Иван Павлыч – кто же еще, если не наш старый, строгий учитель? – будет судить Ромашова. И мне померещилось, что я вижу одинокую комнату с камином и самого Ивана Павлыча в толстом мохнатом френче. Сурово вздрагивают седые усы, и глаза смотрят печально и сурово. Он сидит за столом, а Ромашов, равнодушно-сонно щуря глаза, стоит перед ним. Он думает, что я мертв давным-давно. Не все ли равно, что скажет ему наш старый учитель!

Но еще кто-то бродит по комнате, останавливается у камина, протягивает руки к огню.

Свидетельница стоит у камина и греет руки, думая о чем-то своем...

Далеко была моя свидетельница! Кто знает, жива ли она? Вот уже два месяца, как я ничего не знаю о ней. И какие два месяца – осень 1941 года!

Она живет в городе, окруженном с юга и с севера, с запада и с востока, в городе, где мы решили устроить свой дом, если это когда-нибудь станет возможно. Бомбят и обстреливают этот город и делают все, что только в силах, чтобы голодной смертью умерли его жители, которые не желают сдаваться. Льют тяжелые пушки и тащат их за тысячи километров. Из самой Германии везут бетон и заливают им стенки траншей и дотов. Каждую ночь освещают ракетами небо над Невой, чтобы не проскочила по темной воде баржа с мукой или хлебом. Трудятся ожесточенно, свирепо – все для того, чтобы умерла моя Катя.

## Глава 12 В госпитале

Не знаю, откуда взялось у меня это представление о госпитале: розы на ночном столике, ослепительные палаты, бесшумные сестры, скользящие между коек, как феи, и т.д. Должно быть, из какого-нибудь рассказа. Действительность оказалась гораздо проще.

Это было огромное здание, переполненное до такой степени, что койки стояли во всех коридорах и даже в столовой, которая была устроена, впрочем, также в каком-то проходном помещении. Прежде здесь находился медицинский институт – еще висели на стенах муляжи<sup>267</sup> с мертвыми, страшными лицами, наполовину содранными, чтобы показать, как расположены нервы. В витринах еще сохранились расписание лекций и грозные приказы деканов.

Актовый зал, в котором я лежал, вполне соответствовал своему назначению. Но для палаты он был слишком велик – мне казалось, что конец его даже исчезал из глаз, как бы в тумане. В самом деле, когда широкие наклоненные столбы зимнего солнца пересекали зал, они немного дрожали, как в настоящем тумане. Здесь лежало около ста человек, почти все рядовые бойцы. У меня не было документов, и, пока из части не прислали справку, что есть на свете такой капитан, я лежал с рядовыми бойцами. Впрочем, разница сказывалась лишь в том, что нам выдавали махорку<sup>268</sup>, а в командирские палаты – легкий табак.

Со всех фронтов собрались люди в нашей огромной палате, очень многие – с Ленинградского, и, нужно сказать, мало утешительного могли в ту зиму рассказать люди с Ленинградского фронта.

Я писал Кате еще с дороги, а из госпиталя почти каждый день. И на Петроградскую к Беренштейнам я писал, и Пете на полевую почту, и в Военно-медицинскую академию, где Катя работала с Варей Трофимовой, как она писала мне еще в июле.

Железнодорожной связи с Ленинградом не было, но все же письма доставлялись на самолетах, и я не мог понять, почему не доходят мои. Между прочим, это так и осталось загадкой. Я писал бабушке в Ярославскую область, не зная, что детский лагерь Худфонда был вторично эвакуирован куда-то под Новосибирск. Я успокаивал себя только тем, что если бы с Катей случилось несчастье, кто-нибудь непременно ответил бы мне.

---

<sup>267</sup> Муляж – точное воспроизведение (из гипса, воска, папье-маше) какого-либо объекта, обычно раскрашенное, служащее наглядным пособием.

<sup>268</sup> Махорка – растение семейства пасленовых, стебли и листья которого используются для изготовления курительного и нюхательного табака.

...Мне запомнился этот несчастный день – 21 февраля 1942 года. Одна из общественниц – так называли в госпитале женщин, которые добровольно и бесплатно ухаживали за нами, – рассказала, как она встречала на станции ленинградский эшелон с ремесленниками и учащимися спецшкол. Это была суровая женщина, которая со спокойствием, поразившим меня, однажды сказала, что у нее муж и сын погибли на фронте. Но она заплакала, рассказывая о том, как мальчиков на руках выносили из теплушек.

Я с трудом заставил себя съесть обед в этот день. Нога, уже больше месяца лежавшая в гипсе, вдруг разболелась так, что я просто не находил себе места. Врач назначил меня на рентген, и вот тут я «поддался беде», как любила говорить тетя Даша.

Во-первых, рентген показал, что нога неправильно срослась и нужно снимать гипс и ломать какие-то кости, – словом, начинать лечение сначала. Во-вторых, в кабинете был дьявольский холод, а меня держали часа полтора, и я, должно быть, простудился, потому что уже к вечеру заметил, что несу вздор, – это у меня всегда было первым признаком повышения температуры.

Короче говоря, я заболел воспалением легких. Это задержало вторичную операцию, и врачи начали серьезно опасаться, что я останусь хромым.

Но, кажется, я слишком подробно пишу о своих болезнях – скучная материя, в особенности как подумаешь, что я был ранен на третий месяц войны, не сделав почти ничего.

Почти ничего – в то время как уже совершилось «чудо под Москвой»<sup>269</sup>, как писали иностранные газеты, когда на триста километров к западу от Москвы из всех сугробов торчали окостеневшие, в дурацких эрзац-валенках ноги! Почти ничего – в то время как уже шла полным ходом работа по созданию новейшей морской авиации дальнего действия, – без меня, как будто я пятнадцать лет не крестил небо над морем во всех направлениях! Почти ничего – и я даже чувствовал, что с каждым днем от меня уходит то, что можно назвать «чувством войны», и подступает все ближе всякая ерунда госпитальной жизни.

Выше я упомянул, что из полка мне прислали справку, а вслед за ней я получил письмо от Миши Голомба, старого друга, с которым я когда-то летал на «гробах»<sup>270</sup> в летной школе Осоавиахима. Я не поверил глазам, когда взглянул на подпись. Но это был Миша; он служил теперь в нашем полку – приехал через два дня после того, как в газете появился мой некролог.

«Саня, наконец, ты удивил меня, – писал он, – причем, заметь, не тогда, когда мы получили твое письмо и убедились в том, что ты жив, но когда мне сказали, что ты сгорел. Дело в том, что это на тебя не похоже. Теперь представь, что никому, в том числе и тебе, не приходится возражать против этой ошибки. Люди стали писать на бомбах «За Григорьева», так что и после смерти ты продолжал воевать. Полковник сказал речь, в которой упомянул, что ты представлен к ордену Красного Знамени. Так что поздравляю тебя и желаю счастья и счастья».

---

<sup>269</sup> «Чудо под Москвой» – имеется в виду разгром немцев под Москвой в декабре 1941 года, показавший несостоятельность стратегии молниеносной войны и развеявший миф о непобедимости германской армии. Советские войска одержали первую крупную и крайне важную для хода войны победу: враг, подошедший вплотную к Москве, был остановлен и разгромлен.

<sup>270</sup> «Летающими гробами» летчики называют самолеты с неустранимыми недостатками конструкции.

Ранней весной я стал понемногу выходить, или, вернее, выползать, в госпитальный садик. Впервые увидел я город, в котором провел уже почти полгода, и хотя только одна улица – аллея, засаженная липами, открылась передо мной, но по ней можно было, кажется, судить и обо всем М–ове. Потом, когда меня стали выпускать в город – сперва на костыле, потом с палочкой, – я убедился в том, что не ошибся. Город был просторный, спокойный. Все лучшие улицы стремились взлететь на высокий берег Камы, и этот разбег напомнил мне родной Энск с его взгорьями на берегах Песчинки и Тихой. Прежде мне не случалось жить в М–ове, я только пролетал над ним два-три раза.

Я был в театре – Ленинградский театр оперы и балета был эвакуирован в М–ов, – и странным показалось мне то чувство возвращения времени, которое я испытал, когда раздвинулся занавес и великолепно одетые мужчины и женщины плавно, неторопливо прошли по сцене, как будто и не было никакой войны.

Конечно, не стоило бы и упоминать в этой книге, что я ходил в театр. Но, точно колесики в часах, так цепляется в жизни одно за другое. На балете «Лебединое озеро»<sup>271</sup> я встретил Аню Ильину, жену моего товарища, с которым мы служили на Дальнем Востоке. Нам с Катей нравились Ильины. Это были ровные, вежливые, веселые люди, любившие театр и спорт, в особенности теннис. Аня так и запомнилась мне с ракеткой в руке, в белом платье. И, может быть, именно потому, что они были такие вежливые, со всеми одинаково ровные и напоминавшие прекрасную пару из какого-нибудь романа, к ним относились недоверчиво и, в общем, довольно плохо. А нам с Катей всегда казалось, что они вполне заслужили свое положение и счастье. Говорили, что Ильину везет. И действительно, все у него получалось удивительно вовремя и складно. Эти удачи продолжались и во время войны, потому что, начав ее подполковником, он весной 1942 года был уже генерал-майором.

Мы с Аней обрадовались, встретившись на спектакле, и условились встретиться снова, на другой день, у нее дома. Она была здешняя. В начале войны муж отправил ее с дочкой к родителям в М–ов.

...Это был дом, не тронутый войной. Впервые после фронта и госпиталя я был в таком доме. Мы сидели в столовой. Без сомнения, те же салфеточки лежали на стеклянной доске буфета, те же безделушки стояли на кустарных резных полочках, развешанных по стенам, и шелковый коврик над тахтой, должно быть, точно так же висел до войны. Я смотрел на изящную, приветливо-ровную женщину, которая сидела в этой красивой комнате, и мне было мучительно жаль мою Катю.

– Если бы я мог поехать хоть на два-три дня в Ленинград! Я бы нашел ее. Не сомневаюсь, что она в Ленинграде. Но меня не отпустят. А Дмитрий в Москве?

– Да.

И Аня сразу поняла, почему я спросил ее о муже.

– Он поможет вам, непременно! Я сейчас же напишу ему. Что нужно сделать?

– Вызвать меня в Москву, – сказал я, – потому что иначе комиссия направит меня в тыл.

– А когда комиссия?

– В мае.

– Вот и прекрасно. Я успею получить от Мити ответ. Он знает, с кем нужно переговорить?

---

<sup>271</sup> «Лебединое озеро» – балет на музыку великого русского композитора П. И. Чайковского. В основу сюжета положены многие фольклорные мотивы, в том числе старинная немецкая легенда, повествующая о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя проклятием злого колдуна – рыцаря Ротбарта.

– С отделом кадров ВВС Наркомата<sup>272</sup> флота.  
– Досадно, что вы не можете прямо из М–ова лететь в Ленинград. Сюда ходит «Дуглас».<sup>273</sup> Правда, его давно не было, но говорят, что скоро придет. Как только подсохнут аэродромы. Я бы могла вас устроить.  
Я поблагодарил ее и сказал, что это было бы, разумеется, превосходно, но что есть на свете такая книга – «Дисциплинарный устав»<sup>274</sup>, чтение которой не располагает к подобным полетам.

Меньше всего мог я предполагать, что пройдет всего несколько дней, и я смогу лететь куда угодно, не заглядывая в эту суровую книгу.

## Глава 13 Приговор

Медицинская комиссия всегда была для меня чем-то вроде суда, причем на этом суде мне каждый раз приходилось признавать себя виновным в том, что природа не создала меня высоким, широкоплечим человеком с квадратной челюстью и мускулами, способными выжать четыре пуда. Именно с этим неприятным чувством, совершенно голый, стоял я перед комиссией в М–ове. Я приседал, закрывал глаза, протягивал вперед руки, стараясь, чтобы они не дрожали, дрыгал ногой и великолепно узнавал на большом расстоянии самые мелкие буквы. Потом старая, седая женщина-врач послушала мое сердце и принялась стучать пальцами по спине и груди. Очевидно ей что-то не понравилось у меня в груди, потому что она приостановилась, нахмурилась и снова прошлась, точно сыграла гамму. Потом сказала:

– Дышите.

Вовсе не легкие беспокоили меня, когда я шел на комиссию. Нервничая, я почему-то начинал прихрамывать на раненую ногу – вот это было неприятно, особенно когда я думал о том, как нога будет вести себя в обстановке боевого полета. Легкие у меня всегда были превосходные, хотя в детстве я перенес испанку, потом тяжелый плеврит. Но на старую сердитую майоршу медицинской службы именно мои легкие произвели почему-то невыгодное впечатление. Она стучала и вертела меня и снова стучала и заставляла ложиться, точно решила непременно доказать, что я болен, болен, болен... Болен и больше не буду летать.

Прошло уже около полугода, с тех пор как я спрятал очень далеко, в самую глубину души, эту страшную мысль – спрятал и завалил чем попало. Но она не умерла и никуда не ушла, а только притаилась где-то рядом с другим беспокойством – о Кате. И вот теперь, когда я голый стоял перед комиссией, со следами ран на ногах и спине, теперь стало невозможно скрывать эту мысль ни от себя, ни от других. Должно быть, докторша прочитала ее в моих глазах, потому что, уже взяв в руки перо, не решилась, однако, написать заключение, а передала меня председателю комиссии, низенькому толстому врачу в роговых очках, и тот тотчас же принялся энергично выстукивать меня

---

<sup>272</sup> Наркомат – народный комиссариат, то же, что современное *министерство*; в Советском государстве в 1917–46 гг. центральный орган государственного отраслевого управления.

<sup>273</sup> «Дуглас» – военный самолет фирмы «Дуглас».

<sup>274</sup> «Дисциплинарный устав» – один из общевоинских уставов Вооруженных Сил СССР. В нем излагаются основы советской воинской дисциплины, обязанности и права военнослужащих по поддержанию и укреплению воинской дисциплины.



по ребрам, по лопаткам, но не пальцами, я маленьким молотком. И молоток стучал то звонко, то глухо, точно спрашивал:

«Неужели ты болен, болен, болен? Болен и больше не будешь летать?»

– Не нужно волноваться, капитан, – сказал врач, мельком взглянув мне в лицо и засовывая резиновые трубки в большие волосатые уши. – Подлечитесь, и все будет в порядке.

Врач послушал меня и что-то отметил в истории болезни. Он повторил с ласковым выражением:

– Все будет в порядке.

Но он дал мне полугодовой отпуск, а я знал, в каких случаях медкомиссия давала подобное заключение строевому командиру в 1942 году.

Кажется, у меня был неважный вид, когда я вернулся в госпиталь, потому что мой сосед-армеец, без ног, но такой полный и румяный, что всегда было странно, когда его на носилках приносили из ванны, оторвался от книги, взглянул на меня и ничего не спросил. Потом не выдержал и все-таки спросил:

– Ну, как?

И я почему-то сказал ему, что мне дали инвалидность, хотя в заключение вовсе не было этого слова. Принесли обед, я машинально съел его и ушел, хотя мне очень хотелось лечь и сунуть голову под подушку. Да, в заключение не было этого слова, и нечего было повторять и повторять его, каждый раз точно ныряя с головой в темную илистую болотную воду!

Может быть, нужно было убеждать их – эту старую ведьму с ее костяшками, сыгравшую на моих ребрах нечто вроде похоронного марша? Этого толстяка, который и промолчал и сказал о том, что я не буду больше летать? Может быть, я должен был потребовать, чтобы меня направили в гарнизонную комиссию?

Я шел по улице-аллее, круто спускавшейся к Каме<sup>275</sup>, и свистел – не очень громко, чтобы не остановить внимания прохожих. На стене лучшего в городе здания авиашколы я в тысячный раз прочел надпись на мраморной доске: «Здесь учился Попов, изобретатель радио, гениальный русский ученый».

Прихрамывая, я поднялся на высокий берег, и мутноватая, еще весенняя, с желто-серым отливом Кама открылась передо мной с ее пристанями и пароходами, тянущими огромные баржи, свистками и голосами людей, далеко разносящимися над широкой, просторной водой...

«Жаль, что вы не можете прямо из М–ова лететь в Ленинград. Я бы могла вас устроить».

Что ж, теперь все в порядке. Садись и лети! И не нужно никаких разрешений. Из кабины ты перешел в помещение для пассажиров. Кресло удобное, откинулся и лежи, отдыхай!

Наверно, я сказал это вслух, потому что стоявшие на берегу «ремесленники»<sup>276</sup> в больших, не по росту, курточках и фуражках засмеялись и немного прошли за мной. И мне вспомнилось, как после Испании мы с Катей поехали в Энск и как мальчики в Энске ходили за мной и все делали совершенно так же, как я. Я остановился, чтобы купить в ларьке папирос, и они остановились и купили те же папиросы, что я. Мне захотелось купаться. Катя осталась в Соборном саду, а я спустился к Тихой, разделся и бросился в воду. И они разделись немного поодаль и бросились в воду, совершенно так

---

<sup>275</sup> Кама – река в европейской части России, левый и самый крупный приток реки Волги.

<sup>276</sup> «Ремесленники» – учащиеся ремесленного училища, учебного заведения, готовившего квалифицированных рабочих разных специальностей.

же, как я. Еще бы: летчик, который дрался в Испании и вернулся с орденом Красного Знамени на груди! А теперь?

Пальцы у меня немного дрожали, но я все-таки свернул папиросу, закурил и некоторое время неподвижно стоял на берегу, глядя на всю эту незнакомую разнообразную жизнь большой реки. Прошел серый пассажирский пароход. Я прочитал название «Ляпидевский»<sup>277</sup> и подумал: «А вот ты не стал Ляпидевским». Потом прошел еще один такой же небольшой пароход. Я прочел название «Каманин»<sup>278</sup> и подумал: «И Каманиным, брат, тоже!» вдалеке у пристани стоял «Мазурук»<sup>279</sup>, и я невольно улыбнулся, подумав, что мне придется до поздней ночи укорять себя, если окажется, что в Камском пароходстве все суда названы фамилиями знаменитых летчиков, да еще моих хороших знакомых.

Так или иначе, теперь никто не мешал мне лететь в Ленинград, чтобы найти жену или убедиться в том, что я потерял ее навсегда.

Три недели я ждал самолета. Привык ли я к своей болезни, или надежда тайком пробралась в сердце и стала шептать – уверять, что все обойдется, но понемногу я очнулся от неожиданного удара и привел в порядок все свои мысли и чувства.

Не о себе я думал теперь – о Кате. О ней – когда слушал по радио «Романс Нины»<sup>280</sup>, который она любила. О ней – когда смотрел разыгранный ранеными спектакль. Как редко мы бывали в театре! О ней – когда все спали в огромной палате и только здесь и там раздавался стон или быстрое, хриплое бормотанье.

Наконец Аня Ильина позвонила в госпиталь и сказала, что самолет пришел. Она познакомила меня с летчиком, огромным, добродушным майором, летавшим в М–ов по поручению штаба Ленфронта, и он охотно согласился взять меня в Ленинград.

## Глава 14 Ищу Катю

Шесть месяцев я провел на земле! Как же передать чувство, с которым я, наконец, оставил ее? Ничего не изменилось, напротив – еще горше стало у меня на душе, когда я подумал, что впервые в жизни лечу пассажиром. Но за годы работы я привык лучше чувствовать себя в воздухе, чем на земле. С наслаждением смотрел я в окно, точно проверяя, не случилось ли чего-нибудь плохого со всем этим просторным хозяйством весенних черных полей, светлых вьющихся рек, темно-зеленого бархата леса. С наслаждением прошел в кабину, всем телом почувствовав ее привычную рассчитанную тесноту. С наслаждением ждал, как пилот станет обходить грозу, – над Череповцом мы встретили ее, великолепную, с тучами, похожими на дворцы, стены которых разламывались от молний. Невольно вспомнились мне впечатления первых полетов, когда небо еще не стало для меня просто трассой.

---

<sup>277</sup> Ляпидевский – Ляпидевский Анатолий Васильевич (1908–1983), советский летчик, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. После гибели ледокольного парохода «Челюскин» (13 февраля 1934) участвовал в розыске и спасении челюскинцев и, действуя в исключительно трудных условиях, вывозил их в Уэлен.

<sup>278</sup> Каманин – Каманин Николай Петрович (1908–1982) советский военный деятель, генерал-полковник авиации.

<sup>279</sup> Мазурук –

...На случайной машине, приехавшей в Бернгардовку за матрицами<sup>281</sup> «Правды», я добрался до Литейного проспекта. Оттуда нужно было идти пешком или ждать трамвая; единственный трамвай ходил на Петроградскую – тройка. Но ленинградцы, расположившиеся на остановке, как дома, сказали, что ждать придется, возможно, около часа. Майор, которому тоже нужно было на Петроградскую, удерживал меня, тем более что у меня был тяжелый заплечный мешок – я привез для Кати продукты. Но разве мог я ждать, если должен был уже двадцать раз переводить дыхание при одной мысли, что мы с Катей, наконец, в одном городе, что, может быть, она в эту минуту... не знаю что – ждет меня, больна, умирает.

Не помня себя, пролетел я по аллее вдоль Летнего сада. Все я видел, все понимал: и огороды на Марсовом поле, среди которых стояли замаскированные зенитные батареи; и то, что никогда еще не бывало такой необыкновенной пышной зелени в Ленинграде; и то, что город был так прекрасно убран, – перед отъездом я читал в газетах о том, как триста тысяч ленинградцев весной 1942 года вышли на улицы и убрали свой город. Но все, что я видел, оборачивалось ко мне одной стороной: где Катя, найду ли я Катю? Мне казалось, что нет, не найду – если почти во всех домах были выбиты стекла и дома стояли молчаливые, как бы с печально опущенными глазами. Не найду – раз на каждой стене были впадины и разрушения от артиллерийских снарядов. Найду – раз даже у памятника Суворову на площади были засеяны морковь и свекла и молодые ростки стояли так твердо, как будто для них нельзя было и придумать лучших природных условий. Я вышел к Неве, невольно нашел глазами адмиралтейский шпиль, – и не знаю, как передать, но это было Катино – то, что он потускнел, как на старой гравюре. Мы не простились, когда началась война, но другое прощание, перед Испанией, так живо вспомнилось мне, что я почти физически увидел ее в темной передней у Беренштейнов, среди старых шуб и пальто. Что нужно сделать, чтобы все стало так, как тогда? Чтобы я снова обнял ее? Чтобы она спросила:

«Саня, это ты? Может быть, это не ты?»

Издалека увидел я дом, в котором жили Беренштейны. Дом стоял на месте и, как ни странно, показался мне еще красивее, чем прежде! Окна были целы, фасад нарядно отсвечивал, точно свежая краска еще блестела на солнце. Но чем ближе я подходил, тем все больше беспокоила меня эта загадочная нарядная неподвижность. Еще десять, пятнадцать, двадцать шагов – и кто-то сильно взял меня за сердце, потом отпустил, и оно забилось, забилось... Дома не было. Фасад был нарисован на больших фанерных листах.

Весь долгий летний день шумел в моих ушах далекий артиллерийский прибор – то набегал, то откатывался, как будто таща за собой крупную, гулкую гальку.

Весь день я искал Катю.

Женщина с треугольным зеленым лицом, которую я встретил подле разбитого дома, направила меня к доктору Ованесяну, члену райсовета. Старый армянин, черно-седой, небритый и добродушный, сидел в конторе бывшего кино «Элит» – теперь здесь помещался штаб ПВХО<sup>282</sup> района. Я спросил его, знал ли он Екатерину Ивановну Татаринову-Григорьеву. Он ответил, что, «конечно, знал и даже в начале войны предлагал ей работать у него медсестрой».

– И что же?

– Она отказалась и уехала на окопы, – сказал доктор. – И больше, я ее, к сожалению, не видел.

– Может быть, вы знали и Розалию Наумовну, доктор?

Он посмотрел на меня добрыми старыми глазами, пожевал и выпятил губу.

<sup>281</sup> Матрицы – сигнальные оттиски издания.

<sup>282</sup> ПВХО – Противовоздушная и противохимическая оборона.

– А вы кем приходитесь Розалии Наумовне?

– Никем. Просто знакомый.

– Ага.

Он помолчал.

– Это была отличная, превосходная женщина, – вздохнув, сказал он. – Мы отправили ее в стационар, но было уже поздно, и она умерла...

Я вернулся во двор разбитого дома. Фасад рухнул, но сторона, выходящая во двор, сохранилась. Сам не зная зачем, я поднялся по засыпанной щебнем лестнице до первой площадки. Дальше шли какие-то железные прутья и балки, торчавшие в пустоте лестничной клетки, и лишь на высоте третьего этажа вновь начались ступени. Когда-то в этом доме жила сестра, которую я любил. Здесь мы отпраздновали ее свадьбу. Каждый выходной день я приходил сюда, учел в синей спецовке, мечтавший о счастье великих открытий. Здесь мы с Катей всегда останавливались, когда приезжали в Ленинград, и когда бы мы ни приехали, в этом доме нас принимали, как самых близких и дорогих друзей. В этом доме Катя прожила больше года, когда я дрался в Испании. В этом доме она жила теперь, во время блокады, страдая от голода и холода, работая и помогая другим, распространяя на других свет своей чистоты и душевной силы. Где же она? Ужас охватил меня. Я сжал зубы, чтобы удержать дрожь. В эту минуту послышался детский голос, и в проломе стены, как раз над моей головой, показался мальчик лет двенадцати, смуглый и широкоскулый.

– Вам кого, товарищ командир?

– Ты здесь живешь?

– Точно.

– Один?

– Зачем один? С матерью.

– А мать сейчас дома?

– Дома.

Он показал мне, как пройти, – в одном месте по узкой доске над провалом, – и через несколько минут я беседовал с его матерью, усталой женщиной с расплывающимися глазами – татаркой, как я понял с первого ее слова. Это была дворничиха дома №79, и она, разумеется, отлично знала и Розалию Наумовну и Катю.

– Когда девятку побила, она отрывать пошла, – сказала она о Кате, и мальчик, чисто говоривший по-русски, объяснил, что «девятка» – это дом, в котором помещался гастрономический магазин №9. – Знакомый отрыла. Рыжий такой. Потом она ейной квартире жила.

– Отрыла рыжего знакомого, – быстро перевел мальчик, – и он потом жил в ейной квартире.

– Вторая старушка помирал, Хаким хоронить пошла.

– Вторая старушка – Розалии Наумовны сестра, – объяснил мальчик.

– Хаким. Когда она померла, мы ее хоронить везли. На Смоленское. И рыжий этот там был. Он нас и нанимал. Тоже военный, майор.

Теперь нужно было спросить о Кате. Мне было страшно, но я спросил. Сердито тряся головой, дворничиха сказала, что она сама «три месяца в больнице лежал, мулла звал, ни один мулла в Ленинграде нет, все мулла помер». А когда она вернулась, квартира Розалии Наумовны уже стояла пустая.

– Жакт<sup>283</sup> надо спросить, – сказала она, подумав, – а жакт тоже нет, помер. Может, уехала? Она рыжего отрыла, у него хлеб был. Большой мешок, сам нес, меня не давал.

---

<sup>283</sup> ЖАКТ – жилищно-арендное кооперативное товарищество.

А я ему сказал: «Ты дурак жадный. Мы тебе жизнь спасал. Тебе не хлеб, тебе молиться, куран читать нада».

Катя уже не жила у Розалии Наумовны, когда в дом попала бомба, – это было все, что я узнал. Я говорил еще, с какими-то женщинами, которые плакали, рассказывая о том, как помогала им Катя. Хаким привел своих товарищей, и они пожаловались на рыжего майора, который обещал им по триста граммов за «захоронение», а потом «зажил» и выдал только по двести.

Бог весть, что это был за рыжий майор. Петя? Но Петя был не майор, да и невозможно было представить, что Петя способен украсть сто граммов у голодных мальчишек. Все равно! Кто бы ни был этот человек, он помог Розалии Наумовне похоронить сестру. Кто знает, может быть в трудные дни он поддерживал Катю? На похоронах она была вместе с ним и, очевидно, не так уж была слаба, если смогла добраться до Смоленского кладбища с Петроградской. Но с тех пор никто больше не видел ее – не видел ни живой, ни мертвой.

Шел уже шестой час, когда, измученный, с головной болью, я отправился в Военно-медицинскую академию. Академия была эвакуирована, но клиники, с первого дня войны ставшие госпиталями, остались. Осталась и стоматологическая, в которой работала Катя. Меня отослали в канцелярию, и старая машинистка, чем-то напомнившая мне тетю Дашу, сказала, что Катя была очень плоха и доктор Трофимова помогла ей эвакуироваться из Ленинграда.

– Куда?

– Вот этого не могу сказать, не знаю.

– А сама доктор Трофимова в Ленинграде?

– Как отправила вашу супругу, сама сейчас же на фронт, – отвечала машинистка, – и с тех пор ни о той, ни о другой не было никаких известий.

## Глава 15

### Встреча с гидрографом<sup>284</sup> Р.

Теперь я понял, что это было наивно: полгода писать Кате, не получая в ответ ни слова, и все-таки надеяться, что стоит мне приехать в Ленинград – и, протянув руки, она встретит меня у порога. Как будто не было страшной зимы сорок первого года, эшелонов с умирающими мальчиками, специальных больниц для ленинградцев во многих городах Союза. Как будто не было этих лиц со странно расплывающимся, водянистым взглядом. Как будто не доносился то с запада, то с востока гул артиллерийской стрельбы.

Я думал об этом, сидя в канцелярии стоматологической клиники и слушая рассказ машинистки о том, как молоденький краснофлотец, как две капли воды похожий на ее погибшего сына, вдруг пришел и отдал ей триста граммов хлеба, когда у нее уже не было сил подняться с постели.

– А Катерина Ивановна найдется, – сказала она. – Ей сон приснился, что орел летит. Я говорю – муж. Она не поверила. И вот, видите, по-моему, вышло. И теперь я вам говорю – найдется!

Да, может быть. «Умирала, в то время как я, в сущности говоря, прекрасно жил в М-ове», – думал я, тупо глядя на старую женщину, которая все уверяла меня, что Катя найдется, вернется. «Обо мне заботились, меня лечили. А у нее не было ста граммов

---

<sup>284</sup> Гидрограф – исследователь, занимающийся изучением характера распределения водного стока в течение года, сезона, половодья и т.п., буквально – *водоописатель*.

хлеба, чтобы заплатить мальчикам, похоронившим Бертю». И с бешенством, с отчаяньем думал я о том, что еще в январе должен был лететь в Ленинград, настаивать, требовать, чтобы меня выписали из госпиталя, и, кто знает, быть может, вышел бы здоровее, чем сейчас, и нашел бы, спас мою Катю.

Но поздно было жалеть о том, чего никогда не вернешь. «Я – как все», – писала мне Катя из Ленинграда. Только теперь понял я, что она хотела сказать этими простыми словами.

Старая женщина, которой, вероятно, пришлось пережить гораздо больше, чем мне, все утешала меня. Я попросил у нее кипятку и угостил салом и луком, что было еще редкостью в Ленинграде.

С этой минуты как бы холод поселился в моей душе. Ко всему, что я ни делал, о чем ни думал, всегда присоединялось: «А Катя?»

...Еще в М–ове я восстановил по памяти почти все телефоны моих ленинградских знакомых. Но кому ни звонил я из клиники, никто не отвечал, точно эти звонки терялись где-то в таинственной пустоте Ленинграда. Наконец я набрал последний номер – единственный, в котором не был уверен, и долго держал трубку, слушая какие-то далекие шорохи и за ними еще более далекие нетерпеливые голоса.

– Алло, я вас слушаю, – неожиданно сказал низкий мужской голос.

– Можно попросить...

Я назвал фамилию.

– Это я.

– С вами говорит летчик Григорьев.

Молчание.

– Не может быть! Александр Иваныч?

– Да.

– Вот и не верь в судьбу! Третий день, как я только и думаю, где бы мне вас найти, дорогой Александр Иваныч.

Лет шесть тому назад, когда экспедиция по розыскам капитана Татаринова была решена и я занимался организацией ее в Ленинграде, профессор В. познакомил меня с одним моряком, ученым-гидрографом, преподавателем училища имени Фрунзе.<sup>285</sup> Мы провели вместе только один вечер, но часто потом я вспоминал этого человека, с необычайной отчетливостью нарисовавшего передо мною картину будущей мировой войны.

Он пришел тогда поздно. Катя уже спала, забравшись в кресло с ногами. Я хотел разбудить ее, он не дал, и мы стали что-то пить и закусывать маслинами – у Кати всегда были в запасе маслины.

Север глубоко занимал его. Он был уверен, что в будущей войне Север с его неисчерпаемым стратегическим сырьем должен сыграть огромную роль. Он смотрел на Северный морской путь как на военную дорогу и утверждал, что неудачи русско-

---

<sup>285</sup> Училище имени Фрунзе – старейшее военно-морское учебное заведение по подготовке кадров для ВМФ. Ведет свою историю от Школы математических и навигацких наук, созданной Петром I в Москве (1701). В 1715 на базе «навигационных» классов этой школы в Петербурге создана Морская академия. На протяжении своей 300-летней истории это учебное заведение не раз меняло название. В России и за ее пределами оно было известно как Морской кадетский корпус, Морское училище, Морской корпус, Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. И, наконец, превратилось в Санкт-Петербургский военно-морской институт, у которого есть и почетное наименование – Морской корпус Петра Великого. В 1918 в здании бывш. Морского корпуса были открыты Курсы командного состава флота, которые в 1919 реорганизованы в Училище командного состава флота. С 1922 Военно-морское училище, с 1939 Высшее военно-морское училище. В 1926 институту было присвоено имя М. В. Фрунзе.

японской кампании<sup>286</sup> были результатом непонимания этой мысли, высказанной еще Менделеевым<sup>287</sup>. Он требовал, чтобы военные базы были построены вдоль всех маршрутов, по которым идут караваны.

Помнится, тогда меня поразила эта точка зрения. Я снова оценил ее 14 июня 1942 года, за несколько дней до полета в Ленинград, когда, сидя на берегу Камы, услышал далекий голос диктора, с торжественным выражением читавшего договор между Англией и Советским Союзом. Нетрудно было догадаться, о каких путях шла речь в этом договоре, и встреча с «ночным гостем», как потом называла этого гидрографа Катя, припомнилась мне.

В 1936–1940 годах я не раз встречался с ним, читал его статьи и книгу «Моря Советской Арктики», ставшую знаменитой и переведенную на все европейские языки. С неизменной симпатией я следил за его судьбой, так же как он, кажется, следил за моею. Я знал, что он ушел из училища Фрунзе, командовал гидрографическим судном, работал в Гидрографическом управлении наркомата ВМФ<sup>288</sup>. Незадолго до войны он защищал докторскую диссертацию – объявление о ней я прочел в «Вечерней Москве». Я буду называть его Р.

...Это был редчайший случай – «раз в тысячу лет», как сказал Р., – что я застал его дома. Квартира была запечатана, и он распечатал ее и зашел к себе две минуты назад, и то лишь потому, что надолго уезжает из Ленинграда.

– Куда?

– Далеко. Вот заходите, расскажу. Где вы остановились?

– Пока нигде.

– Очень хорошо. Я жду вас.

Он жил у Литейного моста, в новом доме, в просторной квартире, разумеется, запущенной за год войны, но в которой чувствовалось что-то поэтическое, точно это была квартира артиста. Может быть, художественно сшитые куклы, стоявшие на пианино под стеклянными колпаками, внушили мне эту мысль, или множество книг на полу и на полках, или сам хозяин, встретивший меня попросту, в рубахе, под распахнувшимся воротом которой была видна полная волосатая грудь. Где-то я видел подобный портрет Шевченко. Но Р. был не поэтом, а контр-адмиралом, в чем нетрудно было убедиться, взглянув на его китель, висевший на спинке кресла.

Где и когда бы мы ни встречались, с первого слова он начинал рассказывать о том, что сейчас было для него самым главным, без сомнения, потому, что наш интерес друг к другу всегда основывался на «самом главном» и мало касался личных или служебных дел.

Но на этот раз он, прежде всего, расспросил меня о том, где я был и что делал за год войны.

– Да, не повезло, – сказал он, когда я рассказал ему о своих неудачах. – Но вы наверстаете. Что же вы, то на Балтике, то на Черноморском флоте? А Северу изменили? Ведь я считал, что вы северный человек – и навеки.

---

<sup>286</sup> Русско-японская кампания – война между Россией и Японией 1904–1905 гг. за контроль над Маньчжурией и Кореей, закончившаяся поражением России. Стала после перерыва в несколько десятков лет первой большой войной с применением новейшего оружия: дальнобойной артиллерии, броненосцев, миноносцев.

<sup>287</sup> Менделеев – Д

Это было слишком сложно – рассказывать, как я «изменил» Северу, и я только возразил, что ушел из гражданской авиации, лишь, когда потерял надежду вернуться на Север.

Р. замолчал. Не знаю, о чем он думал, щуря черные живые глаза и теребя свой казацкий чуб, поседевший и поредевший. Мы сидели в креслах у окна, разумеется выбитого, как и во всей квартире. Литейный мост был виден, а за ним суда, странно-резко раскрашенные так, чтобы трудно было разобрать, где кончается дом на набережной и начинается корабль. Пусто было на улицах – «как в пять часов утра», подумалось мне, и я вспомнил – Катя однажды сказала мне, что это было ошибкой с ее стороны, что она не родилась в Ленинграде.

Я задумался и вздрогнул, когда Р. окликнул меня.

– Знаете что, ложитесь-ка спать, – сказал он. – Вы устали. А завтра поговорим.

Не слушая возражений, он принес подушку, снял с дивана валики, заставил меня лечь.

И я мгновенно уснул, точно кто-то подошел на цыпочках и, недолго думая, набросил на все, что произошло в этот день, темное, плотное одеяло.

Было еще очень рано – должно быть, часа четыре, – когда я открыл глаза. Но Р. уже не спал – завешивал старыми газетами книжные полки, и я подумал почему-то с тоской, что сегодня он уезжает. Он подсел ко мне, не дал встать, заговорил: без сомнения, это и было то «самое важное», о чем он сказал бы мне вчера, если бы я не был так измучен.

...В наши дни каждый школьник хотя бы и общих чертах представляет себе, что происходило на большой морской дороге из Англии и Америки в Советский Союз летом 1942 года. Но именно летом 1942 года то, что рассказывал Р., было новостью даже для меня, хотя я не переставал интересоваться Севером и ловил на страницах печати каждую заметку о действиях ВВС Северного флота.

Он развернул карты, приложенные к одной из его книг, и не сразу нашел ту, на которой мог показать границы театра, – таков был, по его словам, этот огромный театр, на котором действовали наши морские и воздушные силы. Очень кратко, однако гораздо подробнее, чем мне потом приходилось читать даже в специальных статьях, он нарисовал передо мною картину большой войны, происходящей в Баренцевом море. С жадностью слушал я о смелом походе подводной лодки-малютки в бухту Петсамо, то есть в главную морскую базу врага, о Сафонове, сбившем над морем двадцать пять самолетов, о работе летчиков, атакующих транспорты под прикрытием снежного заряда, я еще не забыл, что такое снежный заряд. Я слушал его, и впервые в жизни сознание неудачи язвительно кололо меня. Это был мой Север – то, о чем рассказывал Р.

От него я впервые узнал, что такое «конвой». Он указал мне возможные «точки randevу», то есть тайно условленные пункты, где встречаются английские и американские корабли, и объяснил, как происходит передача их под охрану нашего флага.

– Вот где они идут, – сказал он и показал, разумеется в общих чертах, путь, о котором в 1942 году не принято было распространяться. – Колонна в сто-двести судов. Вы догадываетесь, не правда ли, в каком месте им приходится особенно трудно? – И не очень точно он показал это место. – Но оставим в покое западный путь, тем более что здесь (он показал где) сидят чрезвычайно толковые люди. Поговорим о другом, не менее важном... Ворота, которые немцы стремятся захлопнуть, – живо сказал он и закрыл ладонью выход из Баренцева в Карское море, – потому что они прекрасно понимают хотя бы значение энских рудников для авиамоторостроения. Но, конечно, и транзитное значение Северного морского пути ужасно не нравится им, тем более, что весной этого года они уже стали надеяться...



Он не договорил, но я понял его. Случайно мне было известно, что весной немцам удалось серьезно повредить порт, имевший для западного пути большое значение. – Представьте же себе, куда докатилась война, – продолжал Р., – если не так давно у Новой Земли немецкая подводная лодка обстреляла наши самолеты. Но и этого мало. Сегодня я лечу в Москву на самолете, который прислал за мной военный совет Северного флота. Летчик, майор Карякин, рассказал мне, что он две недели охотился за немецким рейдером<sup>289</sup>, – где, как бы вы думали? В районе... И он назвал этот очень отдаленный район.

– Короче говоря, война уже идет в таких местах, где прежде кочевали одни гидрографы да белые медведи. Так что пришлось вспомнить и обо мне, – сказал Р. и засмеялся. – И не только вспомнили, но и... – у него стало доброе, веселое лицо, – но и поручили одно интереснейшее и важнейшее дело. Конечно, я ничего не могу рассказать вам о нем, потому что это именно и есть военная тайна. Скажу только, что, прежде всего, я подумал о вас. Это, конечно, чудо, что вы позвонили. Александр Иванович, – серьезно и даже торжественно сказал он, – я предлагаю вам лететь со мною на Север.

## Глава 16

### Решение

Он уехал, и я остался один в пустой летней, как будто ничьей квартире. Все три просторные комнаты были к моим услугам, и я мог бродить и думать, думать сколько угодно. В пятнадцать часов Р. собирался вернуться, и я должен был сказать ему одно короткое слово:

– Да.

Или другое, немного длиннее:

– Нет.

И такая далекая, трудная дорога раскинулась между этими двумя словами, что я шел и шел по ней, отдыхал и снова шел, а все не видать было ни конца, ни края!

Немцы обстреливали район. Первая пристрелочная шрапнель разорвалась уже давно, а дымовое облачко, медленно рассеиваясь, все еще висело над Литейным мостом.

Разрывы, прежде далекие, вдруг стали приближаться – справа налево, грубо шагая между кварталами прямо к этому дому, к этим пустынным комнатам, по которым я бродил между «да» и «нет», находившимися так бесконечно далеко друг от друга.

... Должно быть, это была детская. Грустно повесив голову, черный одноглазый Мишка сидел на шкафу, роллер<sup>290</sup> валялся в углу, на низеньком круглом столе стояли какие-то коллекции, игры, – и мне представился маленький Р., такой же энергичный, сдержанно пылкий, со смешным казацким чубом, с круглым лицом. В этой комнате я отдыхал от «да» или «нет». Здесь можно было подумать даже о доме, который мы с Катей собирались некогда устроить в Ленинграде. А где дом, там и дети.

Все ближе подступали разрывы снарядов. Вот один ударил совсем рядом, двери распахнулись, где-то с веселым звоном посыпались стекла. В наступившей тишине чьи-то гулкие шаги слышались на улице, и, выглянув в окно, я увидел двух мальчиков с ужасными, как мне показалось, лицами, бежавших к дому. Вот они поравнялись, первый хлопнул второго по спине и с хохотом повернул обратно. Они играли в пятнашки.

---

<sup>289</sup> Рейдер – название крупных надводных военных кораблей, вспомогательных крейсеров, или переоборудованных специальным образом коммерческих судов.

<sup>290</sup> Роллер – роликовые коньки.

...Р. вернется в пятнадцать часов, и я скажу ему:

– Да.

Как не бывало полугода томительного безделья – томительного и постыдного для каждого советского человека во время войны! Я поеду на Север. Чем дальше он был от меня в эти годы, тем ближе и привлекательнее становился он для меня. Разве не дрался я, как умел, на Западе и на Юге? Но там, на Севере, нужно мне быть, защищая края, которые я понимал и любил.

И вдруг я останавливался и говорил себе:

– Катя.

Уехать и оставить ее? Уехать далеко, надолго? Не попробовать разыскать Петю, у которого – кто знает? – быть может, просто переменился номер полевой почты? Не предпринять других поисков здесь, в Ленинграде, и на Ленинградском фронте? Куда бы ни была эвакуирована Катя, при любых обстоятельствах она стремилась бы соединиться с Ниной Капитоновной и маленьким Петей. Потерять этот след, слабый, едва заметный, но, возможно, ведущий туда, где она живет, мучаясь, потому что проклятая заметка не могла не дойти до нее?

Решено! Я останусь в Ленинграде еще на несколько дней. Я найду Катю и тогда поеду на Север.

Р. вернулся в пятнадцать часов. Я сообщил ему свое решение. Он выслушал меня и сказал, что на моем месте поступил бы так же.

– Но нужно, чтобы в Москву мы приехали вместе. Я оформлю вас в управлении, а потом Слепушкин отпустит вас на две недели для устройства семейных дел. Шутка сказать – жена! Да еще такая жена! Я же помню Екатерину Ивановну. Она умница, добрая и вообще редкая прелесть!

Не буду рассказывать о том, как на другой день я вернулся на Петроградскую и снова обошел многих жильцов дома №79; о том, как в Академии художеств я пытался узнать, где Петя, и узнал лишь, что он был ранен и лежал в сортировочном госпитале на Васильевском. Скульптор Косточкин навещал его. Но этот скульптор умер от голода, а Петя (по слухам) вернулся на фронт. О том, как я выяснил, почему не доходили мои письма в детский лагерь Худфонда, который был вновь эвакуирован под Новосибирск; о том, как доктор Ованесян ходил со мною в райсовет и накричал на какого-то равнодушного толстяка, который отказался навести справку о Кате.

Эшелоны в январе шли на Ярославль, где были устроены специальные больницы для ленинградцев. Это был единственный бесспорный факт, который мне удалось установить, и, по мнению всех ленинградцев, с которыми я говорил, Катю нужно было искать в Ярославле.

Два обстоятельства убедили меня в том, что это именно так. Во-первых, лагерь Худфонда до второй эвакуации находился в Ярославской области, в деревне Гнилой Яр. Во-вторых, Лукерья Ильинична – так звали машинистку стоматологической клиники – вдруг объявила мне, что она вспомнила: доктор Трофимова отправила Катю именно в Ярославль.

– Господи Боже ты мой! – сказала она с досадой. – Да мыслимо ли в таком деле соврать? Я забыла, потому что у меня память стала слаба, и это от сахара, который я совершенно не ем. Но хотя не ем, а вспомнила! И я вам говорю – найдется она в Ярославле.

Самолет Р. уходил в полночь. Я созвонился и приехал за десять минут до старта.

## Глава 17

### Друзья, которых не было дома

Если проложить на карте Москвы путь, который я прошел в течение немногих часов между самолетом и поездом, можно подумать, что я нарочно сделал решительно все, чтобы не встретиться с теми, кого я давно и страстно хотел увидеть. Я сказал «страстно», и это было именно так, хотя одних людей я хотел увидеть по одним причинам, а других по совершенно другим. И те и другие были в Москве. Быть может, если снова взглянуть на карту, их путь прошел в этот день рядом с моим. Или пересек его двумя минутами позже. Или прошел навстречу по соседней улице, за узкой линией зданий. Так или иначе, мне не повезло, и, за одним исключением, я не встретил ни тех, ни других.

Прямо с аэродрома я поехал на Садовую, в Воротниковский переулок, к Кораблеву, – благо весь мой багаж составлял маленький чемоданчик.

...Покосился старый деревянный флигель<sup>291</sup>, затерянный среди высоких, надстроенных домов, похожий на дачу со своими ставнями и верандой. Уже не один Иван Павлыч, как прежде, занимал половину нижнего этажа, и хотя с первого взгляда непривычно пустой показалась мне Москва, однако в этом маленьком доме почти из каждого окна торчала голова. Женщины вязали на крыльце, и едва я появился, как, по меньшей мере, два десятка глаз встретили меня с любопытством, точно это было в Энске, на нашем дворе.

– Вам кого?

– Кораблева.

– А, Ивана Павлыча? По коридору вторая дверь налево.

– Это мне известно, – поднимаясь на крыльцо, сказал я. – А он дома?

– Постучитесь, кажется дома.

В последний раз я видел Ивана Павлыча перед войной. Не предупредив старика, мы с Катей вдруг явились к нему с тортом и французским вином. Он долго брился и разговаривал с нами из соседней комнаты, а мы рассматривали старые школьные фотографии.

Наконец Иван Павлыч вышел – в новой паре<sup>292</sup>, в твердом воротничке, с закрученными по-молодому усами. И теперь в темном коридоре я видел его именно таким, как в тот прекрасный памятный вечер. Сейчас он выйдет и с первого взгляда узнает меня: «Ты ли это, Саня?»

Но два и три раза постучал я в знакомую, обитую войлоком дверь. Тишина. Ивана Павлыча не было дома.

«Дорогой Иван Павлыч! – Я писал ему, отойдя в сторону, потому что женщины смотрели на меня, а мне не хотелось, чтобы они заметили, что я волнуюсь. – Не знаю, удастся ли мне снова зайти к вам. Сегодня я еду в Ярославль, куда еще в январе месяце была эвакуирована Катя. Возможно, что оттуда поеду и дальше – до тех пор, пока не найду ее. Не могу в этой записке объяснить, что произошло со мною и как мы потеряли друг друга. Если бы оказалось, что вы слышали о ней или Валя (которого, впрочем, надеюсь сегодня увидеть), прошу вас, напишите немедленно по адресу: Полярное, политуправление, контр-адмиралу Р., для меня. Дорогой Иван Павлыч, может быть, известие о моей смерти донеслось и до вас, но это пишу вам именно я, ваш Саня». Десять рук протянулось одновременно, чтобы взять у меня это письмо...

<sup>291</sup> Флигель – пристройка к жилому дому или отдельно стоящая второстепенная постройка, связанная с главным домом.

<sup>292</sup> Пара – костюмная пара (пиджак и брюки).

На метро, которое стало, кажется, еще красивее и солиднее, чем прежде, я проехал до Дворца Советов. Как будто война уже давным-давно кончилась, с таким видом сидели на Гоголевском бульваре старики, опираясь на свои стариковские толстые палки. Дети играли – и в эту минуту, занятый своими заботами и волнениями, я впервые почувствовал, что ведь это – Москва, Москва!

Медная дощечка висела на Валиной двери: «Профессор Валентин Николаевич Жуков». Ого! Профессор! Я позвонил, постучал, потом двинул в дверь ногою...

Ничего удивительного не было в том, что летом 1942 года, когда почти все москвичи жили на работе, да еще днем, в служебное время, я не застал профессора Жукова дома. Но то, что Валька, мой Валька, шлялся где-то, в то время как он был мне дьявольски нужен, возмутило меня. Я снова ударил в дверь ногою, и, как живая, она вдруг подалась. Что-то жалобно скрипнуло в ней. Я дернул за ручку, и она отворилась. Конечно, квартира была пуста, и слабая надежда, что Валька, может быть, спит, пропала в это мгновение. Я прошел в «кухню вообще», которая некогда была одновременно и столовой и детской. Как ни странно, но была прибрана «кухня вообще»! Стол покрыт скатертью, белая, вырезанная узорами бумага висела на полках. Можно было подумать, что женская рука прошлась по этим чисто обметенным стенам, по окнам, на которых стояли свежие ландыши и ночная фиалка. Валька, покупающий цветы, – нужно быть великим художником, чтобы вообразить такую картину. Я прошел в «собственно кухню». Узкая железная кровать стояла у стены, в ногах было аккуратно сложено женское платье. У Кати было когда-то такое же синее в белую горошинку платье. Что же за женщина жила в «соломенной» Валиной квартире? Кира с детьми уехала в начале войны, я знал об этом еще из первых Катиных писем. «Кто же успел окрутить тебя, милый мой?» И мне вспомнилось Катино письмо, в котором она подсмеивалась над Кирой, приревновавшей своего мужа, погруженного в изучение гибридов чернобурых лисиц, к какой-то «Женьке Колпакчи с разными глазами». Не потеряла времени Женька Колпакчи, даром что с разными глазами!

Так или иначе, но я не застал и Вали.

«Дорогой мой, милый Валечка, – написал я ему, – по дороге в Ярославль, где надеюсь найти Катю или хоть разузнать о ней, заехал к тебе и, к глубокому сожалению, не нашел тебя дома. Уже минуло полгода, как у меня нет никаких известий о Кате. Она переписывалась с Кирой, когда была в Ленинграде, – может быть, Кира или ты что-либо знаете о ней? Я был ранен, лежал в М-ове, писал тебе, но не получил ответа. Много было пережито, но насколько было бы легче, если бы мы с Катей не то что встретились, но хоть узнали друг о друге, что живы! Пиши мне на Северный флот, Полярное, политуправление, контр-адмиралу Р., для меня. Это лишь вероятный адрес, но другого у меня пока нет. Будь здоров, дорогой друг. Дверь открылась сама. Теперь тебе придется ломать ее, – это все-таки лучше, чем оставить квартиру открытой. Может быть, мне удастся перед отъездом еще раз зайти к тебе».

Я положил эту записку на стол в «кухне вообще». Потом пристроил крючок, чтобы он сам упал на петлю, сильно захлопнул дверь, и она превосходно закрылась.

Еще одно важное дело было у меня в этом районе. Недалеко от Вали жил человек, которого я непременно хотел навестить, не особенно заботясь о том, обрадуется ли гостю хозяин.

Давно собирался я навестить его!

В госпитале бессонными ночами, задыхаясь в бреду, я думал об этом свиданье. Он был мне так нужен, что, кажется, не стоило и умирать, прежде чем я не увижу его!

Не раз я рисовал себе эту встречу. То хотелось мне явиться перед ним в легкую минуту его жизни, где-нибудь в театре, когда самая мысль обо мне будет бесконечно далека от него. То где-то в гостинице я запирал дверь на ключ и смотрел на него улыбаясь. Случалось, что в предрассветном сумраке я видел его на соседней койке: поджав под себя ноги, сидел он, и странно равнодушен был взгляд плоских, полу прикрытых глаз.

## Глава 18

### Старый знакомый. Катин портрет

Однажды, проходя со мною по Собачьей Площадке, Катя сказала:

– Здесь живет Ромашов.

И указала на серовато-зеленый дом, кажется ничем не отличавшийся от своих соседей по правую и по левую руку. Но и тогда и теперь что-то неопределенно подлое померещилось мне в этих облупленных стенах.

Под воротами не висел, как до войны, список жильцов, и мне пришлось зайти в домоуправление, чтобы узнать номер квартиры.

И вот что произошло в домоуправлении: паспортистка, сердитая старомодная дама в пенсне, вздрогнула и сделала большие глаза, когда я спросил ее о Ромашове. В маленькой дощатой комнатке стояли и сидели люди в передниках, очевидно дворники, и между ними тоже как бы прошло движение.

– А вы бы ему позвонили, – посоветовала паспортистка. – У него как раз вчера телефон включили.

– Да нет, лучше я так, без звонка, – возразил я улыбаясь. – Это будет сюрприз. Дело в том, что я его старый друг, которого он считает погибшим.

Кажется, ничего особенного не было в этом разговоре, но паспортистка неестественно улыбнулась, а из соседней, тоже дощатой комнаты вышел очень спокойный молодой, с медленными движениями человек в хорошенькой кепке и внимательно посмотрел на меня.

Нужно было вернуться на улицу, чтобы зайти в подъезд, и у подъезда я немного помедлил. Оружия не было, и, может быть, стоило сказать несколько слов милиционеру, стоявшему на углу. Но я передумал: «Никуда не уйдет».

Ни одной минуты не сомневался я, что он в Москве, вероятно не в армии, а если в армии, все равно живет на своей квартире. Или на даче. По утрам он ходит в пижаме. Как живого, увидел я перед собой Ромашку в пижаме, после ванны, с торчащими желтыми космами мокрых волос. Это было видение, от которого лиловые круги пошли перед моими глазами. Нужно было успокоиться, то есть подумать о другом, и я вспомнил о том, что в семнадцать часов Р. будет ждать меня в Гидрографическом управлении.

– Кто там?

– Можно товарища Ромашова?

– Зайдите через час.

– Может быть, вы позволите мне подождать Михаила Васильевича? – сказал я очень вежливо. – Второй раз, к сожалению, не смогу зайти. Боюсь, он будет огорчен, если наша встреча не состоится.

Цепочка звякнула. Но ее не сняли, напротив – надели, чтобы, приоткрыв дверь, посмотреть на меня. Снова звякнула – вот теперь сняли. Но еще какие-то запоры двигались, железо скрежетало, звенели ключи. Старый человек в широких штанах на подтяжках, в расстегнутой нижней рубаше впустил меня в переднюю и, сгорбившись, недоверчиво уставился на меня. Что-то аристократически надменное и вместе с тем

жалкое виднелось в этом сухом, горбоносом лице. Желто-седой хохол торчал над лысым лбом. Длинные складки кожи свисали над кадыком, как сталактиты.

– Фон Вышимирский? – спросил я с недоумением. Он вздрогнул. – То есть не «фон», но все равно, Вышимирский. Николай Иваныч, не правда ли?

– Что?

– Вы не помните меня, уважаемый Николай Иваныч? – продолжал я весело. – Я же был у вас.

Он засопел.

– У меня было много, тысячи, – хмуро сказал он. – За стол садилось до сорока человек.

– Вы работали в Московском драматическом театре и еще носили такую куртку с блестящими пуговицами. Мой приятель Гриша Фабер играл рыжего доктора, и Иван Павлыч Кораблев познакомил нас в его уборной.

Почему мне стало так весело? Как хозяин, стоял я в квартире Ромашова. Через час он придет. Я немного подышал полуоткрытым ртом. Что я сделаю с ним?

– Не знаю, не знаю! Как фамилия?

– Капитан Григорьев, к вашим услугам. Вы что же, теперь живете здесь? У Ромашова? Вышимирский подозрительно посмотрел на меня.

– Я живу там, где прописан, – сказал он, – а не тут. И управдом знает, что я живу там, а не тут.

– Ясно.

Я вынул портсигар, весело хлопнул по крышке и предложил ему папиросу. Он взял. Двери в соседнюю комнату были открыты, и все там было чистое, светло-серое и темно-серое – стены и мебель: диван, перед ним круглый стол. И даже чей-то большой портрет над диваном был в гладкой светло-серой раме. «Все в тон», – тоже очень весело подумалось мне.

– Какой Иван Павлыч? Учитель? – вдруг спросил Вышимирский.

– Учитель.

– Ну да, Кораблев. Это был отличный человек, превосходный. Валечка учился у него. Нюта нет, она кончила женскую гимназию Бржозовской. А Валечка учился. Как же! Он помогал, помогал... – И на старом усатом лице мелькнуло бог весть какое, но доброе чувство.

Притворно спохватившись, старик пригласил меня в комнаты – мы еще стояли в передней – и даже спросил, не с дороги ли я.

– Если с дороги, – сказал он, – то в военной столовой по командировке можно за гроши получить вполне приличный обед с хлебом.

Он еще трещал что-то, я не слышал его. Пораженный, остановился я на пороге. Это был Катин портрет – над диваном в светло-серой раме, – великолепный портрет, который я видел впервые. Она была снята во весь рост, в беличьей шубке, которая так шла к ней и которую она шила перед самой войной. И еще хлопотала, чтобы попасть к какой-то знаменитой портнихе Манэ, и еще сердилась на меня за то, что я не понимал, что шапочка должна быть тоже меховая и такая же муфта<sup>293</sup>. Что же это значит, Боже мой? По меньшей мере, десять мыслей, толкая друг друга, встали передо мной, и в том числе одна, настолько нелепая, что теперь мне даже стыдно вспомнить о ней. О чем только не подумал я, кроме правды, которая оказалась еще нелепее, чем эта нелепая мысль!

– Признаться, я никак не ожидал встретить вас здесь, Николай Иваныч, – сказал я, когда старик сообщил, что после театра он поступил в психиатрическую, тоже в гардероб, и его уволили, потому что «сумасшедшие незаконно объявили захвоту, что

---

<sup>293</sup> Муфта – вид одежды, представляющей собой пустотелый цилиндр из теплой ткани (часто многослойной), внутрь которой прячут руки, вставляя в боковые отверстия.

он крадет суп и кушает его по ночам». – Что же, вы работаете у Ромашова? Или просто поддерживаете знакомство?

– Да, поддерживаю. Он предложил мне помочь в делах, и я согласился. Я служил секретарем у митрополита<sup>294</sup> Исидора, и не скрываю этого, а напротив, пишу в анкетах. Это была огромная работа, огромный труд. Одних писем в день мы получали полторы тысячи. Здесь тоже. Но здесь я работаю из любезности. Я получаю рабочую карточку, потому что Михаил Васильевич устроил меня в свое учреждение. И в учреждении известно, что я работаю здесь.

– А разве Михаил Васильевич теперь не в армии? Когда мы расстались, он носил военную форму.

– Да, не в армии. Как особо нужный, не знаю. У него броня<sup>295</sup> до окончания войны.

– Что же это за письма, которые вы получаете?

– Это дела, очень важные, – сказал Вышимирский, – крайне важные, поскольку мы имеем задания. В настоящее время нам поручено найти одну женщину, одну даму. Но я подозреваю, что это не задание, а личное дело. Любовь, так сказать.

– Что же это за женщина?

– Дочь исторического лица, которое я прекрасно знал, – с гордостью сказал Вышимирский. – Может быть, вы слышали, – некто Татарин? Мы разыскиваем его дочь. И давно бы нашли, давно. Но страшная путаница. Она замужем, и у нее двойная фамилия.

## Глава 19

### «Ты меня не убьешь»

Как будто жизнь остановилась с разбегу и, не рассчитав инерции движения, я крепко стукнулся лбом о воображаемую стену, с таким чувством смотрел я на старого, в общем нормального человека, стоявшего передо мной в светлой, тоже нормальной комнате и сообщившего, что Ромашов разыскивает Катю, то есть делает то же, что я. Но наш разговор продолжался, как если бы ничего не случилось. От Кати Вышимирский перешел к какому-то члену месткома, который не имел права называть его «бывшим», потому что у него «пятьдесят лет трудового стажа», а потом пустился в воспоминания и рассказал, что когда в 1908 году он выходил из театра, капельдинер<sup>296</sup> кричал: «Карета Вышимирского!», и подкатывала карета. Он ходил в цилиндре<sup>297</sup> и плаще, теперь таких вещей не носят, и «очень жаль, потому что это было красиво».

– Когда он умер? – спросил он вдруг, сильно потянув вниз свои stalactites<sup>298</sup>.

– Кто?

– Кораблев.

– Почему же умер? Он жив и здоров, Николай Иваныч, – сказал я шутливо, в то время как все дрожало во мне и я думал: «Сейчас все узнаешь, но будь осторожен». – Так вы говорите, это личное дело, да? Насчет дамы?

– Да, личное. Но очень серьезное, очень. Капитан Татарин – историческое лицо. Михаил Васильевич был в Ленинграде. Он находился в осаде и так голодал, что ел

---

<sup>294</sup> Митрополит – духовный сан в христианских церквях.

<sup>295</sup> Броня (бронь) – освобождение от мобилизации (или призыва) в армию.

<sup>296</sup> Капельдинер – служащий театра или концертного зала. Проверял у посетителей билеты, указывал места, наблюдал за порядком.

<sup>297</sup> Цилиндр – высокая твердая шляпа цилиндрической формы с узкими полями.

<sup>298</sup> Сталактиты – капельные образования в виде сосулек, гребешков, трубочек, свешивающихся с потолков и верхних частей стен пещер. Здесь использовано иронически в переносном смысле.

обойный клей. Отрывал старые обои, варил и ел. Потом он уехал в командировку за мясом, и, когда вернулся, – уже никого. Увезли.

– Куда?

– Вот это и есть вопрос, – торжественно сказал Вышимирский. – Вы знаете, что происходило с этой эвакуацией? Иди ищи! И главное, если бы ее увезли в эшелоне. Тогда только выяснить – чей? Например, Хладкомбината. Куда он уехал? В Сибирь? Значит, она в Сибири. Но ее отправили самолетом.

– Как самолетом?

– Да, именно. Очевидно, как привилегированную. И вот – пропала. Ищи. Только известно, что самолет пролетел через Хвойную, то есть именно через ту станцию, на которой Михаил Васильевич брал мясо.

Должно быть, я инстинктивно чувствовал, когда нужно помолчать, а когда произнести два или три слова. Все было в порядке. Какой-то военный, должно быть недавно из госпиталя, худой и черный, зашел к приятелю, с которым расстался на фронте, и вот спрашивает, что он поделявает и как живет. «Сейчас все узнаешь, но будь осторожен».

– Ну и как же? Нашли?

– Нет еще. Но найдем, – сказал Вышимирский, – по моему проекту. Я написал в Бугуруслан, в Центральное бюро справок, но это ерунда, потому что нам прислали десять Татариновых и сто Григорьевых, а мы не знаем, на какую фамилию напирать в качестве первой. Тогда я лично обратился во все губернские города к председателям исполкомов. Это был большой труд, большое задание. Но капитан Татаринов был мой друг, и для его дочери я три месяца писал стандартный запрос – прошу вашего распоряжения, эвакуопункт, историческое лицо, ждем ответа. И получили.

Резкий звонок раздался. Вышимирский сказал:

– Это он.

И у него стало испуганное лицо, острый седой хохол затрясся на голове, усы повисли. Он вышел в переднюю, а я, помедлив, встал у стены, подле двери, чтобы Ромашов, войдя, не сразу заметил меня.

Он мог выскочить на площадку, потому что Вышимирский в передней сказал ему:

– Вас ждут.

Он быстро спросил:

– Кто?

И старик ответил:

– Какой-то Григорьев.

Но он не выскочил, хотя вполне мог успеть – я не торопился. Он стоял в темном углу между платяным шкафом и стеною и вскрикнул, увидев меня, а потом по-детски поднял и прижал к лицу кулаки. В наружной двери торчал ключ, я повернул его, вынул и положил в карман. Вышимирский стоял где-то между нами, я наткнулся на него и переставил, как куклу. Потом зачем-то толкнул, и он механически упал в кресло.

– Ну, пойдём поговорим, – сказал я Ромашову.

Он молчал. В руках у него была кепка, он сунул ее в рот и прикусил, зажав зубами. Я снова сказал:

– Ну!

И он бешено потрянул головой.

– Не пойдешь?

Он крикнул:

– Нет!

Но это была последняя минута отчаяния, охватившего его, когда он увидел меня. Я рванул его за руку, он выпрямился, и, когда мы вошли в комнату, только один глаз



немного косил, а лицо стало уже совершенно другим, ровным, с неподвижным выражением.

– Жив, как видишь, – сказал я негромко.

– Да, вижу!

Теперь я мог рассмотреть его. Он был в легком сером костюме, на лацкане желтая ленточка – знак тяжелого ранения, в то время как он был контужен очень легко, под ленточкой – пуговица, светящаяся в темноте. Он пополнил, и если бы не торчащие красные уши, которые, кажется, не хуже этой пуговицы могли светить в темноте, никогда еще он не выглядел таким представительным господином.

– Пистолет.

Я думал, что он начнет врать, что сдал пистолет, когда демобилизовался. Но пистолет был именно той, я получил его от командира полка за бомбежку моста через Нарову. Сдавая пистолет, Ромашов выдал бы себя. Вот почему он молча выдвинул ящик письменного стола и достал пистолет. Пистолет был не заряжен.

– Документы.

Он молчал.

– Ну!

– Размокли, пропали, – поспешно сказал он. В Ленинграде бомбоубежище затопило водой. Я был без сознания. Только фото Ч. сохранилось, я передал его Кате. Я спас ее.

– В самом деле?

– Да, я спас ее. Поэтому я не боюсь. Все равно ты меня не убьешь.

– Посмотрим. Рассказывай все, скотина, – сказал я, взяв его за ворот и сразу отпустив, потому что у него мягко подалось горло.

– Я отдал ей все, когда она умирала. Ах, ты мне не веришь! – с отчаяньем закричал он, как-то подлезая под меня сбоку, чтобы заглянуть в глаза. – Но ты поверишь мне, потому что я расскажу тебе все. Ты ничего не знаешь. Я не люблю тебя.

– Неужели?

– Но за что мне любить тебя? Ты отнял у меня все, что было хорошего в жизни. Я могу многое, очень многое, – сказал он надменно. – Мне всегда везло, потому что кругом дураки. Я бы сделал карьеру. Но я плевал на карьеру!

«Плевал на карьеру» – это было сказано слишком сильно. Насколько мне было известно, Ромашов не только не плевал, а напротив, стремился сделать карьеру, разбогатеть и т.д. И это вполне удалось ему, в особенности, если вспомнить, что он всегда, еще в школе, был ужасным тупицей.

– Так слушай же, – сказал Ромашов, побледнев еще более, хотя это было, кажется, уже невозможно. – Ты поверишь мне, потому что я скажу тебе все. Экспедиция по розыскам капитана Татаринова – я провалил ее! Сперва я помогал Кате, потому что был уверен, что ты поедешь один. Но она решила ехать с тобой, и тогда я провалил экспедицию. Я написал заявление, очень рискованное, – я бы сам полетел вверх тормашками, если бы мне не удалось его подтвердить. Но мне удалось.

Стопочка бумаги лежала в сером кожаном бьюаре<sup>299</sup> с золотыми буквами «М.Р.». Я потянул один лист, и Ромашов замер, вытаращив глаза и глядя куда-то поверх моей головы. Казалось, он стремился заглянуть вперед, в свое будущее, чтобы узнать, угадать, чем грозит ему это простое движение, которым я потянул из бьюара лист бумаги и положил его перед собой.

– Да, запиши, – сказал он, – этот человек, который остановил экспедицию, был впоследствии сослан и умер. Но все равно, запиши, если для тебя все это еще имеет значение.

---

<sup>299</sup> Бювар – настольная папка, обычно с писчей и пропускной бумагой, конвертами.

– Ни малейшего, – ответил я хладнокровно.

– Я написал, что ты маньяк<sup>300</sup> со своей идеей найти капитана Татарина, который где-то пропал двадцать лет назад, что ты всегда был маньяк, я знаю тебя со школы. Но что за всем этим стоит другое, совершенно другое. Ты женат на дочери капитана Татарина, и этот шум вокруг его имени необходим тебе для карьеры. Я писал не один.

– Еще бы!

– Ты помнишь статью «В защиту ученого»? Николай Антоныч напечатал ее, мы сослались на нее в заявлении.

– То есть в доносе?

Я уже записывал, и как можно быстрее.

– Да, в доносе. И мы подтвердили, подтвердили все! Одну бумажку я подсунул Нине Капитоновне, она подписала, и как трудно было устроить, чтобы ее не вызывали потом, Боже мой, как трудно! Ты даже не знаешь, как все это повредило тебе! И в ГВФ, и потом, когда ты был уже в армии, наверно, наверно!

Как передать чувство, с которым выслушал я это признание? Я не знал, зачем говорит он правду, – впрочем, очень скоро стал ясен этот несложный расчет. Но как бы обратным светом озарилось все, о чем волей-неволей думалось мне, где бы я ни был и что бы ни случилось со мною.

## Глава 20

### Тень

– Это началось давно, еще в школе, – продолжал Ромашов. – Я должен был просиживать ночи, чтобы ответить урок так же свободно, как ты. Мне хотелось не думать о деньгах, потому что я видел, что деньги нисколько не занимают тебя. Я мечтал стать таким, как ты, стать тобою, и мучился, потому что всегда и во всем ты был выше и сильнее, чем я.

Трясущимися пальцами он вынул из стеклянной коробочки, стоявшей на столе, папиросу и стал искать огонь. Я чиркнул зажигалкой. Он прикурил, затянулся и бросил.

– Случалось, что я встречал тебя на улицах, – прячась в подъездах, я шел за тобою, как тень. Я сидел в театре за твоею спиной, и кажемся, боже мой, чем же отличался я от тебя? Но я знал, что вижу другое на сцене, потому что на все смотрел другими глазами, чем ты. Да, не только Катя была нашим спором. Все, что я чувствовал, всегда и везде боролось с тем, что чувствовал ты. Вот почему я знаю все о тебе: ты работал в сельскохозяйственной авиации на Волге, потом на Дальнем Востоке. Ты снова стал проситься на Север – тебе отказали. Тогда ты поехал в Испанию – господи, это было так, как будто все, над чем я трудился долгие годы, неожиданно совершилось само. Но ты вернулся, – с отвращением закричал Ромашов, – и с тех пор все пошло хорошо у тебя. Ты поехал с Катей в Энгельс, – видишь, я знаю все и даже то, что ты давно забыл. Ты мог забыть, потому что был счастлив, а я – нет, потому что несчастен.

Он судорожно вздохнул и закрыл глаза. Потом открыл, и что-то очень трезвое, острое, бесконечно далекое от этих страстных признаний мелькнуло в его быстром взгляде. Я молча слушал его.

– Да, я хотел разлучить вас, потому что эта любовь всю жизнь была твоим удивительным счастьем. Я умирал от зависти, думая, что ты любишь просто потому,

---

<sup>300</sup> Маньяк – человек, одержимый какой-либо идеей, психически нездоровый, с неадекватным поведением.

что любишь, а я – еще и потому, что хочу отнять ее у тебя. Быть может, это смешно, что с тобой я говорю о любви! Но кончился спор, я проиграл, и что теперь для меня это унижение в сравнении с тем, что ты жив и здоров и что судьба снова обманула меня! Телефонный звонок послышался в передней. Вышимирский сказал:

– Да, пришел. Откуда говорят?

Но почему-то не позвал Ромашова.

– И вот началась война. Я сам пошел. У меня была броня, но я отказался. Убьют – и прекрасно! Но втайне я надеялся – ты погибнешь, ты! Под Винницей я лежал в сарае, когда один летчик вошел и остановился в дверях, читая газету, «Вот это ребята! – сказал он. Жаль, что сгорели». – «Кто?» – «Капитан Григорьев с экипажем». Я прочел заметку тысячу раз, я выучил ее наизусть. Через несколько дней я встретил тебя в эшелоне.

Это было очень странно – то, что он как бы искал у меня же сочувствия в том, что, вопреки его надеждам, я оказался жив. Но он был так увлечен, что не замечал нелепости своего положения.

– Ты знаешь, что было потом. Бред, о котором мне совестно вспомнить! Еще в поезде меня поразило, что ты как бы не думал о Кате. Я видел, что эта грязь и бестолочь терзают тебя, но все это было твоим, ты отдал бы жизнь, чтобы не было этого отступления. А для меня это значило лишь, что ты снова оказался выше и сильнее меня.

Он замолчал. Как будто и не было никогда на свете осиновой рощи, кучи мокрых листьев и поленицы, которая помешала мне размахнуться, как будто я не лежал, опершись руками о землю и стараясь не крикнуть ему: «Вернись, Ромашов!» – так он сидел передо мною, представительный господин в легком сером костюме. У меня даже руки заныли – так захотелось ударить его пистолетом.

– Да, это глубокая мысль, – сказал я, – кстати, подпиши, пожалуйста, эту бумагу.

Пока он каялся, я писал «показание», то есть краткую историю провала поисковой партии. Это было мукой для меня, я не умею писать канцелярских бумаг. Но «показание М. В. Ромашова», кажется, удалось, может быть потому, что я так и писал: «Подло обманув руководство Главсевморпути» и так далее...

Ромашов быстро прочитал бумагу.

– Хорошо, – пробормотал он, – но прежде я должен объяснить тебе...

– Ты сперва подпиши, а потом объяснишь.

– Но ты не знаешь...

– Подписывай, подлец! – сказал, я таким голосом, что он отодвинулся с ужасом и как-то медленно, словно нехотя, застучал зубами.

– Пожалуйста.

Он подписал и злобно бросил перо.

– Ты должен благодарить меня, а ты хочешь сыграть на моей откровенности. Ладно!

– Да, хочу сыграть.

Он посмотрел на меня и, должно быть, вот когда от всей души пожалел, что не прикончил меня в осиновой роще!

– Я вернулся в Москву, – продолжал он, – и сразу же стал хлопотать, чтобы меня перевели в Ленинград. Я ехал через Ладожское, немцы топили суда, но я добрался – и вовремя. Слава Богу, слава Богу, – добавил он торопливо, – еще день, много два, и мне досталось бы лишь похоронить ее.

Возможно, что это была правда. Еще, когда Вышимирский сказал, что Ромашов был в Ленинграде, я вспомнил рыжего майора, о котором рассказывали дворничиха и дети. «Она рыжего отрыла, у него хлеб был. Большой мешок, сам нес, мне не давал». Но

другое волновало меня. Ромашов мог уверить Катю, что я погиб – разумеется, в бою, а не в осиновой роще.

– И вот Ленинград. Ты не представляешь, что это было. Я получал триста грамм и половину приносил Кате. В конце декабря мне удалось достать немного глюкозы, я искусал себе пальцы, пока нес ее Кате. Я свалился подле ее постели, она сказала: «Миша!» Но у меня не было силы подняться. Я спас ее, – мрачно повторил он, как будто страшная мысль, что я могу не поверить, снова поразила его, – и если сам не погиб, то лишь потому, что твердо знал, что нужен ей и тебе.

– И мне?

– Да, и тебе. Сквородников написал ей, что ты убит, она была полумертвая от горя, когда я приехал. И ты бы видел, что с нею случилось, когда я сказал, что видел тебя! Я понял в эту минуту, что жалок, – полным голосом сказал Ромашов, так громко, что в передней послышался даже какой-то стук, точно Вышимирский свалился со стула, – жалок перед этой любовью. И горько, мучительно раскаялся я в эту минуту, что хотел убить тебя. Это был ложный шаг. Твоя смерть не принесла бы мне счастья.

– Все?

– Да, все. В январе меня командировали в Хвойную, я отлучился на две недели, привез мясо, но квартира была уже пуста. Варя Трофимова, наверно ты знаешь ее, отправила Катю самолетом.

– Куда?

– В Вологду, я выяснил точно. А потом в Ярославль.

– Кого ты запросил в Ярославле?

– Эвакопункт, у меня знакомый начальник.

– И получил ответ?

– Да. Но там только написано, что она прошла через эвакопункт и отправлена в больницу для ленинградцев.

– Покажи-ка.

Он нашел в столе и подал письмо. «Станция Всполье, – прочитал я. – В ответ на ваш запрос...»

– А почему Всполье?

– Там эвакопункт, это в двух километрах от Ярославля.

– Теперь все?

– Все.

– Так слушай же меня, – стараясь не волноваться, сказал я Ромашову. – Я не могу прощать или не прощать тебя, что бы ты ни сделал для Кати. Это уже не наш личный спор, после того, что ты сделал со мной. Не со мной спорил ты, когда хотел добить меня, тяжело раненного, обокрал и бросил в лесу одного. Это – воинское преступление. Ты его совершил, и тебя, прежде всего, будут судить как подлеца, который нарушил присягу.

Я взглянул ему прямо в глаза – и поразился. Он не слушал меня. Кто-то поднимался по лестнице, двое или трое, стук шагов гулко отдавался в лестничной клетке. Ромашов беспокойно оглянулся, привстал. Постучали, потом позвонили.

– Открыть? – спросил за стеной Вышимирский.

– Нет! – крикнул Ромашов. – Спросите, кто, – как бы опомнясь, добавил он негромко и прошелся по комнате легким, почти танцующим шагом.

– Кто там?

– Откройте, из домоуправления.

Ромашов вздохнул сквозь сжатые зубы.

– Скажите, что меня нет дома.

– Я не знал. Тут звонили, и я сообщил, что вы дома.

– Конечно, дома, – сказал я громко.

Ромашов бросился на меня, схватил за руки. Я оттолкнул его. Он завизжал, потом пошел за мною в переднюю и встал, как прежде, между стеною и шкафом.

– Одну минуту, – сказал я, – сейчас открою.

Вошли двое – пожилой мужчина, очевидно управдом<sup>301</sup>, судя по угрюмому, хозяйскому выражению лица, и тот молодой, с медленными движениями, в хорошенькой кепке, которого я видел в домоуправлении. Сперва молодой посмотрел на меня, потом, не торопясь, – на Ромашова.

– Гражданин Ромашов?

– Да.

Вышмировский лязгнул зубами так громко, что все обернулись.

– Оружие?

– Не имеется, – отвечал Ромашов почти хладнокровно. Только какая-то жилка билась на его неподвижном лице.

– Ну что же, соберите вещи. Немного: смену белья. Управдом, пройдите с арестованным. Товарищ капитан, прошу вас предъявить документы...

– Николай Иванович, это чушь, ерунда! – громко сказал Ромашов откуда-то из второй комнаты, где он собирал в заплечный мешок свои вещи. – Я вернусь через несколько дней. Все та же глупая история с требухой. Помните, я рассказывал вам – требуха из Хвойной.

Вышмировский снова лязгнул. По всему было видно, что он никогда не слышал ни о какой требухе.

– Саня, я надеюсь, что ты найдешь ее в Ярославле, – еще громче сказал Ромашов, – передай ей...

Я видел из передней, как он уронил мешок и немного постоял с закрытыми глазами.

– Ладно, ничего, – пробормотал он.

– Виноват, не найдется ли у вас стакана воды? – сказал Вышмировскому человек в хорошенькой кепке.

Вышмировский подал. Теперь все стояли в передней – Ромашов с мешком за спиной, управдом, который так и не сказал ни слова, растерянный Вышмировский с пустым стаканом в руке. Минуту все молчали. Потом агент толкнул дверь.

– До свидания, простите за беспокойство.

И вежливо пригласил Ромашова пройти.

Вероятно, если бы у меня было время, я бы постарался найти глубокий смысл в том, что судьба, явившись на квартиру Ромашова в лице представителя московской милиции, так решительно помешала закончить наш разговор. Но поезд в Ярославль отходил в 20.20, а мне еще нужно было:

а) явиться к Слепушкину, и не только явиться, но оформить, что могло занять часа полтора;

б) зайти в наградной отдел – еще в М-ове я получил известие, что мой второй орден Красного Знамени утвержден и я могу получить в наркомате документ;

в) достать что-нибудь на дорогу: почти все, что я привез из М-ова, я оставил одному балтийскому летчику однополчанину в Ленинграде;

г) достать билет, что, впрочем, мало беспокоило меня, потому что я уехал бы и без билета.

Кроме того, мне еще нужно было написать о Ромашове военному прокурору.

Все это казалось мне совершенно необходимым, то есть моя жизнь в оставшиеся до поезда четыре или пять часов должна была состоять именно из этих забот. А на самом

---

<sup>301</sup> Управдом – сокращенное от слов *управляющий домом*. Основная обязанность управдома — обеспечение технической эксплуатации дома в соответствии с требованиями.

деле мне нужно было просто вернуться к Вале Жукову, от которого я был в пяти минутах ходьбы, и тогда – кто знает? – у меня, может быть, нашлось бы время даже и для того, чтобы подумать над той смесью правды и лжи, которой пытался оправдаться передо мною Ромашов.

Я даже постоял на Арбатской площади: «Не заглянуть ли хоть на две минуты к Вале?» Но вместо Вали я зашел в парикмахерскую – нужно было побриться и сменить воротничок, прежде чем являться в Гидрографическое управление, где один контр-адмирал намеревался представить меня другому.

Ровно в 17 часов я пришел к Слепушкину, а в 18 был уже зачислен в кадры ГУ с откомандированием на Крайний Север, в распоряжение Р. Два или три года тому назад за этими скупыми канцелярскими словами открылась бы передо мною далекая дикая линия сопок, освещенная робким солнцем первого полярного дня, а теперь, полный забот и волнений, я машинально сунул удостоверение в карман и, думая о том, что напрасно не попросил Р. снести с Ярославлем по военному телеграфу, вышел из управления.

Не буду рассказывать о том, как я потерял полтора часа в наградном отделе, и т.д. Но об этой, последней в Москве, памятной встрече я должен рассказать.

Очень усталый, с заплечным мешком в одной руке, с чемоданом в другой, на станции «Охотный ряд» я спустился в метро. Служебный день кончился, и хотя летом 1942 года в метро было еще просторно, перед эскалатором стояла толпа. Движущаяся лента поднималась навстречу, я всматривался в лица москвичей, вдруг подумав, что за весь этот хлопотливый, утомительный день так и не увидел Москвы. Издалека приметил я грузного человека в толстой кепке, в пальто с широкими квадратными плечами, который не поднимался, а плыл, выросал, снисходительно дожидаясь, когда доставит его наверх эта шумная машина.

Это был Николай Антоныч.

Узнал ли он меня? Едва ли. Но если и узнал – что было ему до какого-то маленького капитана в потертом кителе, с некрасивым мешком, из которого торчала горбушка хлеба?

Равнодушно скользнул он по моему лицу сонными и властными глазами.

## **Часть 9**

### **Найти и не сдаваться**

#### **Глава 1**

##### **Жена**

Точно сиянием светящейся бомбы озарен ночной, незнакомый вокзал на Всполие, полный забот, трудов и волнений войны. Чего не увидишь в этом ярком, неестественном свете! Старший собирает команду, ругаясь, и люди строятся, не выпавшиеся, хмурые, – война! На платформе в ларьке выдают довольствие по командировкам, по аттестату, и бережно берут черный хлеб солдатские руки, – война! Девочка лет пяти потерялась, отстала от эшелона, и уже по радио зовут ее мать – зовут и не могут дозваться, – война! Моряк с мешком в одной руке, с чемоданом в другой слезает с московского поезда, спрашивает, где эвакуопункт, и становится в очередь к начальнику в маленькой грязной комнате, битком набитой сидящим, стоящим и спящим народом, – война!

Все вижу я и все помню. Но медленно среди света и тени находит дорогу сознание, над которым зажглась и повисла гигантская светящаяся бомба войны.

Я вижу себя шагающим в город вдоль ночных, по-летнему тихих полей. Проектора бродят в покорном, мерцающем покорными звездами небе, Вот и город – на каждой улице меня останавливает и проверяет документы комендантский патруль. Вот и больница для ленинградцев – дежурная сестра обстоятельно объясняет мне, что прошло уже три месяца, как в больнице нет ни одного ленинградца.

– Канцелярия откроется в девять часов, – говорит она, – а сейчас половина четвертого ночи.

Я ложусь на клеенчатый низкий диван. Я сплю и не сплю. Где моя Катя?

Наутро главный врач ведет меня в свой кабинет белый стол, матовые окна, низкая белая кушетка, покрытая свежей простыней. Далекое воспоминание охватывает меня – семнадцатилетний мальчик, я сижу в приемном покое, я там, за приоткрытой дверью, на низкой белой кушетке лежит Марья Васильевна с белым, точно вырезанным из кости лицом.

– Имя, отчество, фамилия, возраст? – спрашивает главный врач.

Я называю имя, отчество, фамилию, возраст, и, завязывая халат, входит сестра, которой он поручает найти Катину карточку и историю болезни.

Мы курим и разговариваем, разговариваем и курим. Тысяча английских самолетов вновь атаковала Бремен. Что в Москве – правда ли, что подняли хлебную норму?

Теперь, когда между нами, США и Англией подписано соглашение, не думаю ли я, что скоро откроется второй фронт?

А в соседней комнате сестра перебирает карточки. Карточка – смерть, карточка – жизнь.

Звонит телефон, и главный врач долго ругает завхоза. Я молчу. Насколько все-таки легче молча ждать, что принесет мне сестра – Катину смерть или жизнь!

И сестра возвращается, наконец. Еще доругивая завхоза, главный врач берет карточку в маленькие, почти детские руки.

– Ну что ж, все в порядке, – говорит он – Состояние приличное. Выписалась в марте месяце сорок второго года.

Наверно, я бледнее немного больше, чем полагается в подобных случаях, потому что он встает, обходит стол и, положив руку на мое плечо, повторяет:

– Состояние приличное. Выписалась в марте месяце сорок второго года.

И от души смеется, когда я прихожу в отчаяние, узнав, что в феврале у Кати было всего сорок два процента гемоглобина.

Уехала с лагерем в Новосибирск, теперь это совершенно ясно. Хорошо бы в самый город... Нет! Лагерь расположился в каком-то колхозе, в двухстах километрах от Новосибирска.

В Ярославском облисполкоме я записываю точный адрес: станция Верхне-Ядомская, село Большие Лубни, Щукинского района, Щукинского сельсовета, и так далее – из двадцати пяти слов телеграммы Катин адрес занимает семнадцать. Я прибавляю к нему свой – и для того, чтобы выразить все, что я чувствую и думаю, остается четыре слова. Кроме этой телеграммы, я отправляю из Ярославля еще три: в Энск тете Даше с извещением, что Катя жива и я вскоре надеюсь ее увидеть. В Москву Вале Жукову о том, что я не нашел Катю и что она, очевидно, выехала с лагерем в Новосибирск. В Москву же Слепушкину с просьбой разрешить мне дальнейшие розыски жены, как это было условлено в личном разговоре.

К сожалению, мне не удалось достать отдельный номер, а так хотелось остаться одному, отдохнуть и подумать! Впрочем, мой сосед, пожилой пехотный майор, без сомнения, нуждался в отдыхе не меньше, чем я, потому что в восемь часов вечера уже завалился спать, и ничто не могло разбудить его – ни скрип койки, на которой всю ночь

я ворочался с боку на бок, ни то, что дежурная по коридору дважды приходила проверять затемнение.

Ночью он проснулся, чтобы покурить, и долго молча сидел, поджав под себя ноги, как турок. Я тоже закурил. Ничего я не знал о нем, он ничего обо мне – но мы молчали и думали об одном, глядя на красные огоньки наших папирос в темноте. Война соединила нас, двух незнакомых мужчин, в этом номере, и то, о чем мы думали, было войной. Накануне, после двухсот пятидесяти дней обороны, наши части оставили Севастополь.

Сосед докурил и уснул, я тоже. Но, должно быть, ненадолго, потому что в коридоре кто-то громко сказал.

– Половина второго.

Севастополь представился мне – не тот суровый, раскаленно-пыльный, как бы рванувшийся навстречу своей великой доле, который я видел в сентябре сорок первого года, а прежний, полный смеха и молодых голосов. По воскресеньям мы с Катей приезжали в Севастополь; катера стояли у причалов, на Историческом бульваре, так далеко, как только видит глаз, моряки гуляли с девушками в белых платьях и газовых шарфах. Мы любили смешную игру, которую придумала Катя: как будто она – моя девушка, мы только что познакомились и теперь, так же как эти ребята, должны назначать свиданья, писать письма и называть друг друга на «вы». Как прекрасно все было тогда! Я вставал в пять часов, а Катя уже готовила завтрак – легкий, когда я шел на высокий полет. Потом был жаркий, интересный день, и не только потому, что были интересные полеты, а потому, что я знал, что впереди еще «наше время», когда мы будем купаться в черной, опрокинувшей небо воде и маяк на Хараксе будет медленно загораться и гаснуть.

Наверно, это было очень трудно – быть моей женой. Но Катя говорила, что ей было трудно, только когда она не знала, где я и что со мной.

И с необычайной ясностью вспомнилась мне наша единственная за всю жизнь ссора. Это было в Ленинграде, в 1936 году, когда поисковая партия была решена и со дня на день мы должны были ехать на Север. Не прошло и месяца, как скончалась, оставив маленького сына, моя сестра Саня, мы волновались, не знали, как оставить ребенка, и решились наконец, когда покойная Розалия Наумовна нашла «научную няню».

Решились и собрались – и вдруг Петенька захворал.

...Бледная, расстроенная, Катя сидела над бельевой корзиной, в которой лежал, раскинувшись, больной ребенок, и горько заплакала, едва я вошел. Я обнял ее.

– Да что с тобой, полно же, – говорил я и гладил ее по мокрой щеке. – Ты поедешь. Ты догонишь нас в Архангельске, вот и все.

Что еще я мог ей сказать? В Архангельске поисковая партия должна была провести не более суток.

– О, как мне не хочется снова расставаться с тобой!

– Еще все устроится.

– Ничего не устроится. Всю зиму я хлопотала, чтобы экспедиция состоялась. Я сделала все, чтобы ты уехал, и вот теперь ты уедешь, и я даже не буду знать, где ты и что с тобой.

– Катя! Катя!

– Не нужно мне ничего. Не нужно этой экспедиции, все равно ты ничего не найдешь.

Господи, неужели не стою я этого счастья, о котором другие женщины даже и не думают никогда! Да мало ли что может случиться с тобой!

Она видела, что я начинаю сердиться. Но она была в отчаянии, у нее сердце томилось, она вставала и начинала ходить, крепко прижимая руки к груди.

– Я знаю, ты не хотел, чтобы я ехала с тобой! Вот скажи, что это неправда.



– Ну, полно!

– Хорошо, – сказала она с тем спокойным отчаянием, которого, кажется, испугалась сама, – кончим этот спор. Я еду. Ты не хочешь, я знаю, потому что не любишь меня... Мы говорили до утра. На другой день Петеньке стало лучше, а еще через день он был совершенно здоров.

Это был первый и последний разговор о том, что всю жизнь мучило и волновало ее. Ей было тяжело, когда она думала, что никогда не проникнет в тот мир, ради которого я так часто забывал о ней, покидал ее! И еще тяжелее, когда она старалась не думать об этом.

Что же нужно было переломить в душе, чтобы проводить меня, как она проводила меня в Испанию? Когда в Сарабузе я впервые повел в ночной полет свою эскадрилью, от жены своего штурмана я случайно узнал, что Катя не спала всю ночь, дожидаясь меня. Где же ты, Катя? У нас одна жизнь, одна любовь – приди ко мне, Катя! Впереди еще много трудов и забот, война еще только что началась. Не покидай меня. Катя! Я знаю, тебе было трудно со мной, ты очень боялась за меня, всю жизнь мы встречались под чужой крышей, а разве я не понимаю, как нужен, как важен для женщины дом? Может быть, я мало любил тебя, мало думал о тебе... Прости меня, Катя!

...Не знаю, наяву или во сне я умолял ее не покидать меня, хоть присниться, не верить тому, что я никогда не вернусь!

## Глава 2

### Еще ничего не кончилось

Не знаю, было ли часа четыре ночи, когда, открыв глаза, я увидел над собой бледное, сонное лицо дежурной по коридору.

– Вы Григорьев?

– Да.

– Телеграмма. Надо расписаться. Зайдите, товарищ, – сказала она, и, осторожно стуча сапогами, красноармеец вошел и остановился у порога. – С военного телеграфа.

Я расписался и вскрыл телеграмму. «Немедленно выезжайте Архангельск прибытие сообщите Лопатин».

Разумеется, телеграмма была из ГУ. Но почему не Слепушкин, с которым я договорился о дальнейших розысках Кати, если не найду ее в Ярославле, ответил мне, я какой-то Лопатин? Почему немедленно? Почему в Архангельск? Правда, для любых гидрологических работ по Северному морскому пути основной базой оставался Архангельск. Но разве Р. не говорил, что мы встретимся в Полярном, где его планы должен был утвердить командующий Северным флотом?

Все это разъяснилось – и очень скоро. Но тогда, в Ярославле, в маленьком, грязном номере гостиницы, приподняв синюю бумажную штору, я читал и перечитывал телеграмму, и досадное чувство запутанности, неясности, которое чем-то грозило Кате и отнимало у меня надежду вскоре увидеть ее, – это чувство все больше волновало меня.

Так ничего и не придумав, я вновь отправился на телеграф, и в село Большие Лубни, Щукинского района, Щукинского сельсовета и т.д. полетела еще одна, на этот раз срочная телеграмма. Накануне я послал простую, потому что у меня было только семьсот рублей, а путь предстоял далекий.

Теперь мне предстоял недалекий путь – только тысяча километров на север от Кати... С той минуты, как в М-ове я занял место в пассажирской кабине, прошло всего восемь дней. Но так много увидел я за эти восемь дней, что душа как бы отказалась принять

все впечатления и согласилась лишь на те, которые были связаны с моей судьбой. Более полугода я видел одно и то же: стены госпитальной палаты – и за ними чужой уральский город на берегу Камы. Но вот он остался бог весть где, пропал, потонул в сизой дымке, как не был, а навстречу мне полетели моментальные снимки Ленинграда, Москвы, Ярославля. Я сказал моментальные. Но это были как бы запечатленные навек моментальные снимки. И равно вечен был суровый, требовательный Ленинград с его забитыми окнами-веками, под которыми таилась небывалая воля, и ночной вокзал на Всполье с его бессонницей, усталостью и грязью войны...

Вот что я узнал, явившись прямо с поезда в штаб Беломорской военной флотилии; Лопатин, которого я ругал всю дорогу, оказался начальником отдела кадров Гидрографического управления – лишь теперь я припомнил, что в наркомате слышал эту фамилию. Никакой путаницы не было в его телеграмме. Со времени моего отъезда из Москвы на Крайнем Севере произошли события, которые заставили контр-адмирала Р. немедленно вылететь к месту назначения. В Полярном ни ему, ни мне уже нечего было делать, потому что командующий флотом, инспектируя базы, сам выехал в Архангельск. Свидание его с Р. состоялось третьего дня. Очевидно, план «интереснейшей штуки» был утвержден, потому что немедленно после этого свидания Р. вылетел на Диксон. Без сомнения, он очень торопился или мог обойтись без меня, иначе на мой счет в штабе флотилии были бы оставлены указания...

– Вы опоздали, капитан, – сказал мне начальник отдела кадров, добродушный седой человек, с усами и подусниками, похожий на старого матроса времен первой севастопольской обороны<sup>302</sup>. – Ума не приложу, что теперь с вами делать. Вдогонку посылать не станем.

И он приказал мне явиться через несколько дней...

Но как изменился Архангельск, как, оставшись самим собою, он стал удивительно не похож на себя!

Американские матросы бродили по улицам, в шапочках с помпонами, в клешах, в шерстяных рубашках, обтягивающих талию и свободно выпущенных на штаны. Англичане; с начальными буквами HMS (его величества корабль) на бескозырке, держались немного строже, но и у них был беспечный вид, совершенно отличавший их от наших моряков и казавшийся мне странным. Негры встречались на каждом шагу, черные и оливково-черные, должно быть, мулаты. Китайцы стирали рубахи в Северной Двине, прямо под набережной, и, громко болтая на своем гортанно-глухом языке, растягивали их под солнцем между большими камнями.

А Двина, такая просторная, русская, что другой такой, казалось, и не могло быть на свете, свободно раскинувшись, вела вперед свои полные воды. Как ножом отваливая сверкающую волну, проходили катера все на ту сторону, к торговому порту...

Не иностранцы, на которых я смотрел с острым, но поверхностным любопытством, занимали меня в эти дни. Это был город Седова, Пахтусова. На кладбище в Соломбале я долго стоял у могилы «корпуса штурманов поручика и кавалера Петра Кузьмича Пахтусова, скончавшегося 36 лет от роду от понесенных в походах трудов и огорчений». Отсюда капитан Татаринов повел в далекий путь свою белую шхуну. Здесь умер в городской больнице штурман Климов, единственный участник экспедиции, добравшийся до Большой Земли. В местном музее экспедиции «Св. Марии» был посвящен целый отдел, и среди знакомых экспонатов я нашел интересные, новые для

---

<sup>302</sup> Первая Севастопольская оборона – оборона Севастополя в ходе Крымской войны 1853–1856 гг. Ее участником был великий писатель Лев Толстой, создавший цикл «Севастопольские рассказы».

меня воспоминания художника П., друга Седова, о том, как штурман Климов был найден на мысе Флора.

С утра, написав очередное письмо в село Большие Лубни и не зная, чем еще заняться, я спускался вниз к Кузнечихе. Острый запах соснового бора стоял над рекой, мост был разведен, маленький парходик, огибая бесконечные плоты, возил народ к пристани от пролета. Куда ни взглянешь, везде было дерево и дерево – узкие деревянные мостки вдоль приземистых николаевских зданий, в которых были разбиты теперь госпитали и школы, деревянные мостовые, а на берегах целые фантастические здания из штабелей свежеспиленных досок. Это была Соломбала, и я нашел дом, в котором жил капитан Татаринов летом 1913 года, когда снаряжалась «Св. Мария».

Он спускался с крыльца этого маленького бревенчатого дома и шел через садик – широкоплечий, высокий, в белом кителе, с усами, по-старинному загнутыми вверх. Упрямо наклонив голову, он слушал какого-нибудь купца Демидова, который требовал у него денег за солонину или «приготовление готового платья». А там, в торговом порту, среди тяжелых грузовых парходов с боковыми колесами была чуть видна тонкая и стройная шхуна – слишком тонкая и стройная, чтобы пройти из Архангельска во Владивосток вдоль берегов Сибири.

Одно незначительное, но важное для меня событие странным образом оживило эти туманные картины.

... Накануне пришел конвой, и я поехал в порт Б. посмотреть, как разгружают иностранные суда.

Ого, как вырос, каким просторно-прочно-солидным стал этот старинный порт! Должно быть, километра два прошел я вдоль причалов, а все еще не было конца подъемным кранам, складывающим в высокие прямоугольные штабеля военные и невоенные грузы. И порт еще достраивали, удлиняли. Я дошел до конца и остановился, чтобы одним взглядом окинуть плавно заворачивающую, как бы откинувшуюся назад линию – панораму причалов. И вот именно в эту минуту маленький парходик, энергично пыхтя, обогнул большое американское судно с «харрикейном»<sup>303</sup> на носу и стал подходить к причалу. Я взглянул на его название: «Лебедин», и, помнится, подумал, что это красивое имя стало, очевидно, традиционным в северных водах. Так звался парход, на котором друзья и родные Татаринова подошли к его шхуне, чтобы в последний раз обнять капитана и пожелать ему «счастливого плавания и достижений». Возможно ли, что это тот самый «Лебедин», который в одной статье был назван «первым русским ледоколом»? Конечно, нет!

Матрос катил по сходням бочку с горючим, я попросил его позвать капитана, и минуту спустя румяный парень лет двадцати пяти, в простой синей спецовке, вышел на палубу, вытирая тряпкой черные от масла руки.

– Товарищ капитан, у меня к вам исторический вопрос, – сказал я. – Вы случайно не знаете, до революции ваш буксир тоже звался «Лебедином»?

– Да.

– Когда он спущен?

– В 1907 году.

– И всегда ходил под этим названием?

– Всегда.

Я объяснил ему, в чем дело, и он со спокойной гордостью оглядел свое судно, точно никогда и не сомневался, что оно займет свое место в истории русского флота. Быть

---

<sup>303</sup> «Харрикейн» – военный самолет.

может, это покажется немного смешным, но встреча с «Лебедином» обрадовала и необычайно оживила меня. Я прочел жизнь капитана Татаринова, но последняя ее страница осталась закрытой.

«Еще ничего не кончилось, – как будто сказал мне этот старый буксир с таким румяным, молодым капитаном. – Кто знает, может быть, придет время, когда тебе удастся открыть и прочитать, эту страницу».

Явившись в третий раз к начальнику отдела кадров, я попросил его послать меня в полк или, если это невозможно, направить в распоряжение командования ВВС Северного флота.

Без сомнения, он был уже в курсе моих личных и служебных дел, потому что, помолчав, спросил с добродушно-одобрительным видом:

– А здоровье?

Я отвечал, что здоровье в полном порядке. Это была правда или почти правда – на Севере я всегда чувствовал себя лучше, чем на юге, западе и востоке.

– Ладно, чем в такое время болтаться без дела, пускай найдут применение, – неопределенно, но вполне разумно сказал начальник отдела кадров.

Конечно, он имел в виду применение на земле. «Черта с два, буду летать», – немедленно подумал я, глядя на его старую, но крепкую руку, которая вывела и дважды подчеркнула мою фамилию на перекидном блокноте-календаре.

### **Глава 3**

#### **Свободная охота**

Все превосходно – капитан является в полк, командир полка представляет его товарищам, экипажу. Этот задумчивый, равнодушный штурман-латыш с трубкой, в широких штанах, заменит ли он дорогого погибшего Лури?

Среди летчиков капитан находит своих бывших учеников еще по Балашовской школе. Он живет в новом рубленом доме, стены которого еще пахнут смолой, в просторной комнате, вместе со своим экипажем, и вид из окна напоминает ему молодость в маленьком городе за Полярным кругом.

С изумлением он убеждается в том, что многие летчики знают его и даже считают несправедливым (разумеется, без малейших оснований), что у него только два ордена, а не четыре. Итак, все прекрасно. Но на деле все далеко не так прекрасно, как это кажется с первого взгляда. На деле капитан не спит по ночам, читая и перечитывая письмо из села Большие Лубни, в котором какой-то директор Перышкин сообщает ему, что Катерина Ивановна Григорьева-Татаринова, насколько ему известно, выехала из лагеря еще в мае месяце, то есть «до отъезда такового в Новосибирскую область», причем о бабушке и маленьком Пете директор Перышкин почему-то не упоминает ни слова.

На деле полк, в который командующий ВВС направил капитана, – торпедно-бомбардировочный; следовательно, капитан должен изучить новую специальность.

На деле он глубоко потрясен, потому что в первом же полете убеждается, что совершенно отвык от Севера, так отвык, что забыл даже «чувство земли», которое здесь всегда было немного другим.

Но все это еще не беда. Все придет в свое время. Все можно исправить, кроме непоправимого, которое приходит не спрашиваясь и от которого никуда не уйдешь.

Я не стану особенно много рассказывать о воздушной войне на Севере, хотя это очень интересно, потому что нигде не проявились с таким блеском качества русского летчика, как на Севере, где ко всем трудностям и опасностям полета и боя часто присоединяется плохая погода и где в течение полугода стоит полярная ночь. Один британский офицер при мне сказал: «Здесь могут летать только русские». Конечно, это было лестное преувеличение, но мы вполне заслужили его.

Сама обстановка боя на Севере тоже была куда сложнее, чем на других воздушных театрах войны. Немецкие транспорты обычно шли почти вплотную к высоким берегам – так близко, как только позволяла приглубость<sup>304</sup>. Топить их было трудно – не только потому, что вообще очень трудно топить транспорты, а потому, что выйти на транспорт из-под высокого берега невозможно или почти невозможно. Мы не могли пользоваться почти половиной всех румбов (180°), а попробуйте-ка без этой половины атаковать корабль, над которым нужно пройти как можно ниже, чтобы торпеда, сброшенная в воду, вернее попала в цель! При этом корабль не ждет, разумеется, когда его утопят, а вместе с конвоем открывает огонь из всех своих зениток, пулеметов и орудий главного калибра. Сжав зубы, не узнавая себя в азарте боя, лезешь ты в этот шумный разноцветный ад!

Вероятно, если бы час за часом, день за днем рассказать, как мы жили на Н., получилась бы однообразная картина. Полеты и разборы полетов. Ученье, то есть те же полеты. Обеды в длинном деревянном бараке и за столом – разговор о полетах. По вечерам – офицерский клуб, открывшийся при мне, которым в особенности увлекалась молодежь, с завидной легкостью переходившая от смертельной опасности торпедной атаки к танцам и болтовне с девушками. Девушкам – младшим офицерам – разрешалось в штатском платье являться на эти вечера.

Быть может, именно эти переходы, как ничто другое, отражали не простоту или мнимое однообразие, а, напротив, необычайность, почти фантастичность, которой на самом деле была полна наша жизнь. Лететь в темноте под крутящимся снегом, лететь над морем на пробитом, как решето, самолете, после боя, который еще звенит в остывающем теле, и через два часа явиться в светлые нарядные комнаты офицерского клуба, пить вино и болтать о пустяках – как же нужно было относиться к смерти, чтобы не замечать этого контраста или, по меньшей мере, не думать о нем? Впрочем, и я думал о нем только в первые дни.

Выше я упомянул, что в особенности молодежь увлекалась клубом. Но почти весь полк состоял из молодых людей – только трем или четверем «старикам», вроде меня, было за тридцать. Герой Советского Союза, которого все называли просто Петей, потому что иначе и нельзя было назвать этого румяного горбоносого юношу с азартно вылупленными глазами, командовал полком. Ему едва исполнилось двадцать четыре года.

Это тоже был вопрос, о котором стоило подумать, – один из многих вопросов, которые неожиданно-негаданно накатили на меня, когда я приехал на Север. Новое поколение летчиков было выдвинуто войной, поколение, у которого нам еще приходилось кое-чему поучиться. Разумеется, между нами не было никакой пропасти – почему-то полагается думать, что между «отцами и детьми» непременно должна быть пропасть. Но что-то было – недаром же на Н. я был менее осторожен, чем всегда, и легче шел на разные рискованные штуки.

Кто знает, может быть именно потому, что я так «помолодел», судьба, которая сурово расправилась со мной в начале войны, здесь, на Н., отнеслась ко мне совершенно иначе.

---

<sup>304</sup> Приглубость – глубина.

В июле я ходил еще с бомбами на Киркинес – и довольно удачно, как показали снимки. В начале августа я уговорил командира полка отпустить меня на «свободную охоту» – так называется полет без данных разведки, но, разумеется, в такие места, где наиболее вероятно встреча с немецким конвоем. И вот в паре с одним лейтенантом мы утопили транспорт в четыре тысячи тонн. Утопил, собственно говоря, лейтенант, потому что моя торпеда, сброшенная слишком близко, сделала мешок под килем и «ушла налево». Но все было проверено в этом бою, в том числе и раненая нога, которая вела себя превосходно. Я был доволен, хотя на разборе полетов командир эскадрильи (некогда в Балашове я чуть не отчислил его от школы, потому что у него никак не выходил разворот) с неопровержимой ясностью доказал, что именно так «не следует топить транспорты». Через два-три дня ему пришлось повторить свои доказательства, потому что я прошел над транспортом еще ниже – так низко, что принес домой кусок антенны, застрявшей в плоскости самолета. При этом транспорт – мой первый – был потоплен, так что доказательства, не потеряв своей стройности, приобрели лишь теоретическое значение.

Короче говоря, в середине августа я утопил второй корабль – в шесть тысяч тонн, охранявшийся сторожевиком и миноносцем. На этот раз я шел в паре с командиром эскадрильи и, к своему удовольствию, заметил, что он атаковал еще ниже, чем я. Разумеется, самому себе он выговора не сделал.

Так шла моя жизнь – в общем, очень недурно. В конце октября командующий ВВС поздравил меня с орденом Александра Невского.

У меня были уже и друзья на Н. – неподвижный, молчаливый штурман, с трубкой, в широких штанах, оказался умным, начитанным человеком. Правда, он говорил немного, а в полете и вообще не говорил, но зато на вопрос: «Где мы?» – всегда отвечал с точностью, которая меня поражала. Мне нравилась его манера выводить на цель. Мы были разные люди, но невозможно не полюбить того, кто каждый день рядом с тобой делит тяжелый, рискованный труд полета и торпедной атаки. Если уж нас ждала смерть, так общая, в один день и час. А у кого общая смерть, у тех и общая жизнь. Не только со своим штурманом я близко сошелся на Н. Но это была не та дружба, по которой я тосковал. Недаром же от этой поры у меня сохранилась груда не отправленных писем – я надеялся, что мы с Катей прочтем их после войны. Между тем друг, и самый истинный, был так близко, что стоило только сесть на катер – и через двадцать минут я мог обнять его и рассказать ему все, о чем я рассказывал Кате в своих не отправленных письмах.

#### **Глава 4**

##### **Доктор служит в Полярном**

Всю ночь мне снилось, что я снова ранен, доктор Иван Иванович склоняется надо мной, я хочу сказать ему: «Абрам, вьюга, пьют», – и не могу, онемел. Это был повторяющийся сон, но с таким реальным, давно забытым чувством немоты я видел его впервые. И вот, проснувшись еще до подъема и находясь в том забытии, когда все чувствуешь и понимаешь, но даешь себе волю ничего не чувствовать и не понимать, я стал думать о докторе и вспомнил рассказ Ромашова о том, как доктор приезжал к сыну на фронт. Не знаю, как это объяснить, но что-то неясное и как бы давно беспокоившее меня почудилось мне в этом воспоминании. Я стал перебирать его слово за словом и понял, в чем дело: Ромашов сказал, что доктор служит в Полярном.

Тогда, в эшелоне, я решил, что это просто вздор. Представить, что доктор может расстаться с городом, в котором даже олени поворачивали головы, когда он проходил! С домом на улице его имени! С ненцами, которые прозвали его «изгоняющим червей» и приезжали советоваться о значении примуса в домашнем хозяйстве! Ромашов ошибся – не в Полярном, а в Заполярье.

Но в то утро на Н., сам не зная почему, я подумал: «А вдруг не ошибся?»

В самом деле – мог ли доктор приехать из Заполярья, которое было за тридевять земель, в Ленинград летом 1941 года? Что, если он действительно служит в Полярном и я вот уже три месяца живу бок о бок с моим милым, старым, дорогим другом?..

Дежурный вошел, сказал негромко:

– Подъем, товарищи.

И захолопал глазами, увидев, что одной рукой я поспешно натягиваю брюки, а другой снимаю китель, висевший на спинке стула.

Замечательно, что доктор вспомнил обо мне в тот же день и час – он уверял меня в этом совершенно серьезно. Накануне он прочел приказ о моем награждении и сперва не подумал, что это я, потому что «мало ли Григорьевых на свете». Но на другой день, под утро, еще лежа в постели, решил, что это без сомнения я, и так же, как я, немедленно бросился к телефону.

– Иван Иванович, дорогой, – сказал я, когда хриплый, совершенно невероятный для Ивана Ивановича голос донесся до меня, как будто с трудом пробившись сквозь вой осеннего ветра, разгулявшегося в то утро над Кольским заливом. – Это говорит Саня Григорьев. Вы узнаете меня? Саня!

Осталось неизвестным, узнал ли меня доктор, потому что хриплый голос перешел в довольно мелодичный свист. Я бешено заорал, и телефонистка, оценив мои усилия, сообщила, что «докладывает военврач второго ранга Павлов».

– Что докладывает? Вы ему скажите – говорит Саня!

– Сейчас, – сказала телефонистка. – Он спрашивает, идете ли вы сегодня в полет.

Я изумился:

– При чем тут полет? Вы ему скажите – Саня.

– Я сказала, что Саня, – сердито возразила телефонистка. – Будете ли вы сегодня вечером на Н. и где вас найти?

– Буду! – заорал я. – Пускай идет в офицерский клуб. Понятно?

Телефонистка ничего не сказала, потом что-то переставилось в трубке, и уже как будто не она, а кто-то другой буркнул:

– Придет.

Я еще хотел попросить доктора заглянуть в политуправление<sup>305</sup>, узнать, нет ли для меня писем, – прошло дней десять, как я не справлялся о письмах, между тем адрес политуправления в Полярном был оставлен Кораблеву и Вале. Но больше ничего уже не было слышно.

Конечно, это было чертовски приятно – узнать, что доктор в Полярном и что я сегодня увижу его, если не разыграется шторм. Но все-таки для меня так и осталось загадкой, почему, придя в клуб, я выпил сперва белого вина, потом красного, потом снова белого и т.д. Разумеется, все было в порядке, тем более, что командующий ВВС ужинал в соседней комнате с каким-то военным корреспондентом. Но знакомые девушки, время

---

<sup>305</sup> Политуправление – политическое управление, военно-политический орган, призванный руководить всей партийно-политической работой в Вооруженных Силах.

от времени, между фокстротами<sup>306</sup>, садившиеся за мой столик, очень смеялись, когда я объяснял им, что если бы я умел танцевать, у меня была бы совершенно другая, блестящая жизнь. Все неудачи произошли только по одной причине – никогда в жизни я не умел танцевать.

В сущности, здесь не было ничего смешного, и мой штурман, например, который, задумчиво посасывая трубочку, сидел напротив меня, сказал, что я совершенно прав. Но девушки почему-то смеялись.

В таком-то прекрасном, хотя и немного грустном настроении я сидел в офицерском клубе, когда у входа появился и стал осторожно пробираться между столиками высокий пожилой моряк с серебряными нашивками, по-моему, доктор Иван Иваныч. Возможно, что я подумал о том, как он сгорбился и постарел, как поседела его борода! Но все это, разумеется, был только мираж, а на деле прежний загадочный доктор моего детства шел ко мне, подняв очки на лоб и собираясь, кажется, взять меня за язык или заглянуть в ухо.

– Доктор, я хочу пригласить вас к больному, – сказал я серьезно. – Интересный случай! Человек может произнести только шесть слов: кура, седло, ящик, вьюга, пьют и Абрам. – Саня!

Мы обнялись, взглянули друг на друга и опять обнялись.

– Дорогой Иван Иваныч, я немного пьян, неправда ли? – сказал я, заметив, что тень огорчения скользнуло по его доброму, смешному лицу. – Мы чертовски продрогли на аэродроме, и вот... Познакомьтесь, майор Озолин.

– Давно ли ты здесь, Саня? – говорил доктор, когда штурман, пробормотав что-то, ушел, чтобы не мешать нашей встрече. – Каким образом мы могли так долго не встретиться, Саня?

– Три месяца. Конечно, я виноват.

– Разве ты не знал, что я в Полярном? Ведь я же оставил Катерине Ивановне адрес!

– Кому?

Должно быть, у меня дрогнуло лицо, потому что он поправил очки и уставился на меня с тревожным выражением.

– Твоей жене, Саня, – осторожно сказал он. – Надеюсь, она здорова? Я был у нее в Ленинграде.

– Когда?

– В прошлом году, в августе месяце. Где она, где она? – спрашивал он, подвинувшись ко мне совсем близко и беспокойно моргая.

– Не знаю. Можно вам налить?

И я взялся за бутылку, не дожидаясь ответа.

– Полно, Саня, – мягко сказал доктор и отставил в сторону сперва свой стакан, потом мой. – Расскажи мне все. Ты помнишь Володю? Он убит, – вдруг скандал он, как будто чтобы доказать, что теперь я могу рассказать ему все. И у него глаза заблестели от слез под очками.

Опустив головы, сидели мы в светлом, шумном офицерском клубе. Оркестр играл фокстроты и вальсы, и медь слишком гулко отдавалась в небольших деревянных залах. Молодые летчики смеялись и громко разговаривали в коридоре, отделявшем гостинные от ресторана. Быть может, вот этот, лет двадцати, с таким великолепным разворотом плеч, с такими сильными, сросшимися бровями, еще сегодня ночью, в тумане, над холодным, беспокойным морем, увидит смерть, которая, как хозяйка, войдет в кабину его самолета... Точно что-то огромное, каменное, неудобное было внесено в дом, где

---

<sup>306</sup> Фокстрот – танец свободной композиции, основанный на скользких шагах, выполняемый в паре (в положении друг против друга).



мы прекрасно жили, и теперь, чтобы разговаривать, танцевать и смеяться, не думая об этом каменном и неудобном, нужно было умереть, как умер Володя.

Когда-то он писал стихи, и четыре строчки о том, как «эвенок Чолкар приезжает из школы домой», до сих пор я знал наизусть. Он гордился тем, что в Заполярье приезжал МХАТ, и встречал артистов с цветами. Это было счастье для доктора, что у него был такой сын, и вот старик сидит передо мной, повесив голову и стараясь справиться со слезами.

– Но где же Катя, что с ней?

Я рассказал, как мы потеряли друг друга.

– Господи, да ведь это же ты пропал, не она!– с изумлением сказал доктор. – Ты воевал на трех морях, был ранен, лежал в госпитале, не она. Жива и здорова! – торжественно объявил он. – И разыскивает тебя день и ночь. И найдет – или я не знаю, что такое женщина, когда она любит. Вот теперь действительно налей. Мы выпьем за ее здоровье...

Уже было сказано самое главное, уже прошла горькая минута сознания, что жизнь продолжается, хотя я не нашел жену и не знаю, жива ли она, а доктор потерял сына, а мы все никак не могли перешагнуть через эту минуту. Слишком много было пережито за последние годы – так много, что прежние мостики между нами показались теперь хрупкими и далекими. Но у нас был один общий могущественный интерес, и едва отступило видение горя, как он ворвался в нашу беседу.

Конечно, это был Север. Как два старых опытных врача у постели больного, мы заговорили о том, как защитить Север, как уберечь его, как сделать, чтобы он стал самым лучшим, веселым и гостеприимным местом на свете. Я рассказал доктору об однополчанах, о молодежи, которая превосходно дерется и при этом очень мало думает о будущем Севера и еще меньше о его прошлом.

– Некогда, вот и не думают, – сказал доктор. – Может быть, и правильно, что не думают, – добавил он помолчав.

Но, вместо того чтобы доказать, что это правильно, он стал рассказывать «о тех, кто думает», то есть о коренных северянах.

Он рассказал о братьях Анны Степановны, которые служили на транспортных судах, а теперь на морских охотниках сражаются так, словно всю жизнь были военными моряками.

– Нет, ничего не пропало даром, – заключил он. – А что Север – фасад наш, как писал Менделеев, для меня никогда еще не было так очевидно, как теперь, во время войны! Пора было уходить. Мы остались в ресторане одни. У доктора еще не было ночлега, следовательно, чтобы устроить ему койку, нужно было пораньше вернуться в полк. Вообще вечер кончился, в этом не было никаких сомнений. Но, боже мой, как не хотелось соглашаться с тем, что он уже кончился, в то время как мы не сказали друг другу и десятой доли того, что непременно хотели сказать! Ничего не поделаешь! Спустившись вниз, мы надели шинели, и теплый, светлый, немного пьяный мир остался за спиной, и впереди открылась черная, как вакса, Н., по которой гулял нехороший, невежливый, невеселый нордовый ветер.

## **Глава 5**

### **За тех, кто в море**

Подводники были главными людьми в здешних местах – и не только потому, что в начале войны они сделали очень много, едва ли не больше всех на Северном флоте, но

потому, что характерные черты их быта, их отношений, их напряженной боевой работы накладывали свой отпечаток на жизнь всего городка. Нигде не может быть такого равенства перед лицом смерти, как среди экипажа подводной лодки, на которой либо все погибают, либо все побеждают. Каждый военный труд тяжел, но труд подводников, особенно на «малютках», таков, что я бы, кажется, не согласился променять на один поход «малютки» десять самых опасных полетов. Впрочем, еще в детстве мне представлялось, что между людьми, спускающимися так глубоко под воду, непременно должен быть какой-то тайный уговор, вроде клятвы, которую мы с Петькой когда-то дали друг другу.

В паре с одним капитаном мне удалось потопить третий транспорт в конце августа 1942 года. «Малютка» знаменитого Ф. с моей помощью утопила четвертый. Об этом не стоило бы и упоминать – я шел пустой и мог только сообщить в штаб координаты германского судна, но Ф. пригласил меня на «поросенка», и с этого «поросенка» начались события, о которых стоит рассказать.

Кто не знает знаменитой флотской традиции – отмечать каждое потопленное судно торжественным обедом, на котором командование угощает победителей жареным поросенком? Накануне были пущены ко дну транспорт, сторожевик и эсминец, и озабоченные повара в белых колпаках внесли не одного, а целых трех поросят в просторную офицерскую столовую, где буквой «П» стояли столы и где за перекладной этой буквы сидел адмирал – командующий Северным флотом.

Аппетитные, нежно-розовые, с бледными, скорбными мордами поросята лежали на блюде, и три командира стояли над ними с большими ножами в руках. И это было традицией – победители должны своими руками разделить поросенка на части. Ну и части! Огромный ломоть, набитый кашей и посыпанный затейливыми стружками хрена, плывет ко мне через стол! И нужно справиться с ним, чтобы не обидеть хозяев. Адмирал встает с бокалом в руке. Первый тост – за командиров-победителей, за их экипажи. Я смотрю на него – он приезжал в наш полк, и мне запомнилось живое, молодое движение, с которым, закинув голову, он остановился, слушая командира полка, отдававшего рапорт. Он молод – всего на четыре года старше меня. Впрочем, я помню его еще по Испании.

За тех, кто в море, – второй тост! Звенят стаканы. Стоя пьют моряки за братьев, идущих на подвиг в пустыне арктической ночи. За воинскую удачу и спокойствие сердца в опасный, решительный час!

Теперь адмирал смотрит на меня через стол – я сижу справа от него, среди гостей-журналистов, которым Ф. с помощью вилки и ножа наглядно показывает, каким образом был потоплен эсминец. Не сводя с меня глаз, адмирал что-то говорит соседу, и сосед, командир дивизиона, произносит третий тост. За капитана Григорьева, который «умело навел на германский караван подводную лодку». И адмирал показывает жестом, что пьет за меня...

Много было выпито в этот вечер, и я не стану перечислять всех тостов, тем более, что журналисты, о которых я упомянул, рассказали об этом «тройном поросенке» в периодической прессе. Скажу только, что адмирал исчез совершенно неожиданно – вдруг встал и вышел. Проходя за моим стулом, он наклонился и, не давая мне встать, сказал негромко:

– Прошу вас сегодня зайти ко мне, капитан.

## Глава 6

### Большие расстояния

Машина оторвалась, и через несколько минут эта каша из дождя и тумана, до которой на земле нам не было никакого дела, стала важной частью полета, который, как всякий полет, складывается из: а) задачи и б) всего, что мешает задаче.

Мы пошли «блинчиком», то есть с маленьким креном, развернулись и встали на курс. Итак, задача, или «особое задание», как сказал адмирал: немецкий рейдер (очевидно, вспомогательный крейсер) прошел в Карское море, обстрелял порт Т. и бродит где-то далеко на востоке. Я должен был найти и утопить его – чем скорее, тем лучше, потому что наш караван с военными грузами шел по Северному морскому пути и находился сравнительно недалеко от этого порта. Да и вообще нетрудно было представить себе, что может сделать в мирных водах большой военный корабль!

...Как ни лень было тянуть, а пришлось добираться до пяти с половиной. Но и здесь не было ничего, кроме все той же унылой облачной каши, которую кто-то вроде самого господи-бога круто размешивал великанской ложкой.

Итак – найти и утопить! Нельзя было даже сравнивать, насколько первое было сложнее второго! Но как был поражен адмирал, когда я исправил на его карте почти все острова восточной части архипелага Норденшельда<sup>307</sup>!

– Вы были там?

– Нет.

Он не знал, что я был и не был там. Карта архипелага Норденшельда была исправлена экспедицией «Норда» перед самой войной. Я не был там. Но когда-то в этих местах прошел капитан Татаринев и мысленно я, вслед за ним, тысячу раз.

Да, прав был доктор Иван Иванович: ничто не пропадает даром! Жизнь поворачивает туда и сюда и падает, пробиваясь, как подземная река в темноте, в тишине вечной ночи, и вдруг выходит на простор, к солнцу и свету, как вышла сейчас моя машина из облачной каши, выходит, и оказывается, что ничто не пропадает даром!

Это была привычная мысль – как шла бы моя жизнь на Севере, если бы Катя нашлась и мы вместе жили на Н.

Она бы проснулась, когда в четвертом часу ночи я зашел бы домой перед полетом. Она была бы румяная, теплая, сонная. Быть может, войдя, я поцеловал бы ее не так, как всегда, и она сразу поняла бы, как важно и интересно для меня то, что поручил адмирал.

Так это было тысячу раз, но будет ли когда-нибудь снова?

Вот мы сидим и пьем кофе, как в Сарабузе, Ленинграде, Владивостоке, когда я будил ее ночью. В халатике, с косами, заплетенными на ночь, она молча смотрит на меня и вдруг бежит куда-то, вспоминает, что у нее есть что-то вкусное для меня – пьяная вишня<sup>308</sup> или маслины, которые мы оба любили. И потом, в полете, весь экипаж хвалит мою жену и ест маслины или пьяную вишню.

Да, это была моя Катя, с ее свободой и гордостью и любовью, от которой вечно, должно быть до гроба, будет кружиться моя голова. Катя, о которой я ничего не знаю, кроме того, что ее нет со мной. Хотя бы, поэтому нужно непременно найти и утопить этот рейдер.

– Штурман, курс!

---

<sup>307</sup> Архипелаг Норденшельда – острова в юго-восточной части Карского моря, протянувшиеся с запада на восток на 93 км.

<sup>308</sup> Пьяная вишня – бисквитный торт с вишнями, который готовится по особому рецепту.

На три градуса разошлись пилотский и штурманский курсы и превосходно сошлись, когда из карманов были выброшены портсигары, фонарики, зажигалки...

О чем я думал? О Кате. О том, что лечу в те места, куда некогда должен был отправиться с нею и куда меня не пускали так долго. Разве не знал я, наверное, безусловно, что придет время, и я прилечу в эти места? Разве не чертил с точностью до полуградуса маршрут, по которому, как в детском ослепительном сне, прошли люди со шхуны «Св. Мария» – прошли, тяжело дыша, с закрытыми, чтобы не ослепнуть, глазами? Прошли, и впереди – большой человек, великан в меховых сапогах...

Но это был уже бред. Я прогнал его. Новая Земля была недалеко.

Вы бы соскучились, если бы я стал подробно рассказывать о том, как мы искали рейдер. Однообразна пустыня арктических морей, трудно найти замаскированную, чуть заметную полоску военного корабля в этой беспредельной пустыне. Добрых две недели мы перелетали с базы на базу. Один из полетов продолжался семь часов – лучше, если бы он был покороче, потому что, пройдя над Карским морем в двух направлениях и вернувшись к Новой Земле, мы не нашли ее, как будто эти огромные острова до сих пор просто по ошибке значились на географической карте. Пока хватало горючего, в черном тумане мы ходили над ней, и если бы ветер, на наше счастье, не проделал в тумане небольшую светлую дырку, пожалуй, мне бы не удалось дописать эту книгу. Мы бросились к этому пятнышку, сразу закрыли газ и благополучно сели.

В другой раз мы на шлюпке подрулили под птичий базар. Миллионы черно-белых кайр<sup>309</sup> сидели на скалах – так много, что весь берег мили на две казался круто посыпанным солью. Они кричали, хлопали крыльями, свистели, срывались и, расталкивая соседей, вновь садились на отвесные скалы, и в общем оглушительном шуме слышались отдельные возгласы, точно это и был базар, на котором ссорились, сидя на возах, бранчливые бабы. Вонь была страшная, и, разумеется, взглянув на это любопытное явление, нужно было немедленно отвернуть. Но стрелок-радиотехник, где-то читавший о чайках-бургомистрах, на беду, нашел пару этих огромных птиц, сидевших отдельно над общим гнездовьем и как будто с важностью наблюдавших за порядком на шумном базаре. Он выстрелил и убил бургомистра. Но, боже мой, как расплатились мы за этот злосчастный выстрел! Все пропало – и земля, и небо! Черно-белая буря крыльев снялась с берега и рванулась над шлюпкой, крича свистя и разрывая воздух. Шум гигантского водопада обрушился на нас – и хорошо, если бы только шум! Сутки после этого случая мы мылись сами и отмывали шлюпку, причем я нашел помет даже в боковом, застегнутом на пуговицу кармане реглана.

В общем, это были две тяжелые недели на Новой Земле. Каждый раз мы стартовали с надеждой встретить рейдер, хотя мне давно было ясно, что его нужно искать гораздо восточнее, и ходили, ходили над морем, пока не кончалось горючее и пока штурман не спрашивал меня хладнокровно:

– Домой?

И «дом» открывался – причудливо изрезанные дикие горы, синие ледники, как бы расколотые вдоль и готовые скользнуть в бездонные снеговые ущелья.

Но вот пришла минута, когда кончилась наша «новоземельская жизнь» – превосходная минута, о которой стоит рассказать немного подробнее.

Я стоял у амбара, крыша которого была обложена тушками убитых птиц, а на стенах распялены шкуры тюленей. Два маленьких ненца, похожих на пингвинов в своих меховых костюмах с глухими рукавами, играли на берегу, а я разговаривал с их родителями – маленькой, как девочка, мамой и таким же папой, с коричневой,

---

<sup>309</sup> Кайры – морские птицы, распространенные в северном полушарии. В период гнездования обитают на побережьях.

высовывающейся из малицы головой. Помнится, речь шла о международных делах, и хотя анализ безнадежного положения Германии был взят мною из очень старого номера «Правды», ненец собирался сегодня же рассказать его приятелю, который жил сравнительно недалеко от него – всего в двухстах километрах. Маленькая жена едва ли разбиралась в политике, но кивала блестящей черной, стриженной в скобку головкой и все говорила:

– Холосо, холосо.

– Хочешь ехать на фронт? – спросил я ненца.

– Хоцу, хоцу.

– Не боишься?

– Зацем бояться, зацем?

Это и была минута, когда я увидел штурмана, который бежал ко мне, – не шел, а именно, бежал по берегу от мыска, за которым стоял самолет.

– Перебазируемся!

– Куда?

– В Заполярье!

Он сказал «в Заполярье», и, хотя не было ничего невозможного в том, что нас перебрасывали в Заполярье, то есть именно в те места, где, по-моему, и нужно было разыскивать рейдер, я был поражен! Ведь это было мое Заполярье!

– Не может быть!

Штурман уже принял прежний хладнокровно-неторопливый, латышский вид.

– Прикажете проверить?

– Не нужно.

– Когда вылетаем?

– Через двадцать минут.

## Глава 7

### Снова в Заполярье

Не дорога, а засаженная кедрми аллея вела к городу от аэродрома, и, глядя на эти шумные, богато раскинувшиеся кедры, я невольно подумал о том, что все-таки давно я не был в этом городе моей молодости и самых смелых за всю жизнь надежд.

Мне не сразу удалось найти улицу доктора Павлова по той причине, что в «мои» времена на этой улице стоял только один дом, принадлежавший самому доктору, а все остальные существовали лишь на плане, висевшем в окрисполкоме. Теперь среди высоких соседей затерялся маленький дом, в котором за чтением дневников штурмана Климова я некогда проводил свои вечера. Что это были за милые молодые вечера! Осторожно поскрипывали в соседней комнате половицы под легкими шагами Володи. Доктор вдруг кричал, крепко потирал руки и читал вслух понравившееся ему место из книги, а потом начинал кричать на ежа, который почему-то любил жевать его ночные туфли. Анна Степановна входила ко мне – большая, решительная, справедливая, которой можно было все сказать, все доверить, – и молча ставила передо мной тарелку с огромным куском пирога.

...Она и теперь не согнулась, не поддалась горю, только поседела, и две большие, глубокие складки повисли над опустившимся ртом. Что-то мужское показалось в ее фигуре и выражении лица, как это бывает у очень больших стареющих женщин.

– Как же вас называть теперь? – сказала она с недоумением, когда мы встретились в садике перед домом и вошли в столовую, кажется, совершенно прежнюю, с желтым

чистым полом и деревенскими половиками. – Вы же мальчиком были тогда. Сколько лет прошло? Пятнадцать? Двадцать?

– Только девять, Анна Степановна. А называйте Саня. Для вас я всегда буду Саня. С первого взгляда она поняла, что я знаю о Володе, но долго не говорила о нем из того душевного такта, который – я это почувствовал – не позволил ей так сразу, в первые минуты встречи, заставить меня разделить с нею горе. Я сам что-то начал, но она перебила и быстро сказала: «Потом!»

– Что же вы, к нам? Надолго ли? Как я рада, что живы-здоровы!

– Ненадолго, Анна Степановна. Сегодня же улетаем.

– Морской летчик, в орденах, – оказала она, как будто вместе со мной гордилась, что я морской летчик и в орденах. – Откуда же теперь? С какого фронта?

– Сейчас с Новой Земли, а прежде из Полярного. Да прямо от Ивана Иваныча!

– Полно!

– Честное слово.

Анна Степановна замолчала.

– Значит, видели его?

– Да какое там видел! Мы встречаемся очень часто. Разве он не писал вам об этом?

– Писал, – сказала Анна Степановна, и я понял, что она знает о Кате.

Но мне не нужно было останавливать ее, как она остановила меня, когда я заговорил о Володе. Кто же глубже и сильнее, чем она, мог почувствовать мою тоску и волнение, – все, о чем я ни с кем не мог говорить? Она не утешала меня, не сравнивала своего горя с моим – только обняла и поцеловала в голову, а я поцеловал ее руки.

– Ну, как же старик мой? Здоров?

– Совершенно здоров.

– Стар уж стал служить, – задумчиво сказала Анна Степановна. – Ему тут легко с местным народом, на воле. А это не шутка – в шестьдесят один год военная служба. Можно, я друзьям сообщу, что вы прилетели? Как у вас время?

Я сказал, что время до ночи, и, поставив передо мной хлеб, рыбу и кружку самодельного вина, которое очень вкусно делали в Заполярье, она накинула платок, извинилась и вышла.

Да, это было легкомысленно с моей стороны – позволить Анне Степановне сообщить друзьям, что я прилетел. Не прошло и получаса, как легковая машина остановилась у садика, и я с удивлением увидел в ней весь свой экипаж. Стрелок и радист чему-то громко смеялись, а штурман в знаменитых на весь Северный флот широких парадных штанах сидел рядом с шофером и равнодушно пускал в воздух большие шары дыма.

– Саня, за нами прислал товарищ Ледков, – сказал он, когда я вышел. – Садись и едем к нему немедленно. Мы позавтракаем у него, а потом...

– Какой товарищ Ледков?

– Не знаю. Высокая дама в платке приехала на аэродром и сказала, что за нами послал товарищ Ледков. Она вышла у окрисполкома.

– Ледков? Постойте–ка... ах, помню! Ну, конечно, Ледков!

Это был тот самый член окрисполкома, за которым мы с Иваном Иванычем некогда летали в становище Ванокан, где Ледков лежал, тяжело раненный в ногу. На ненецком Севере он был известен не меньше, чем знаменитый Илья Вылка на Новой Земле. Кстати сказать, совсем недавно в Полярном доктор рассказывал о Ледкове, каким он стал энергичным, смелым работником и как сумел в первые же недели подчинить всю жизнь огромного округа, с разбросанным кочевым населением, задачам войны.

– Между прочим, – сказал доктор, – он интересовался, нашел ли ты капитана Татаринова. Помнишь, когда мы ждали тебя с экспедицией – ведь он даже ездил в

какие-то стойбища, опрашивал ненцев. По его сведениям, в одном из родов должны были храниться предания о «Святой Марии».

Нетрудно представить себе, что Ледков (я смутно помнил его и удивился, когда еще далеко не старый человек с крепким, точно сложенным из булыжников лицом и острыми китайскими усами, встречая нас, вышел на крыльцо окрисполкома) радушно принял нас в Заполярье. После обеда, на котором я произнес длинную речь, посвященную доктору Ивану Ивановичу и его боевой деятельности на Северном флоте, мы поехали на лесозавод, потом в новую поликлинику и т.д. Везде мы что-то ели и пили, и везде я рассказывал об Иване Ивановиче, так что, в конце концов, мне самому стало казаться, что без участия Ивана Ивановича защита наших северных морских путей могла бы, пожалуй, потерпеть неудачу.

С глубоким интересом осматривал я Заполярье. Когда я уехал, городу едва пошел шестой год, Теперь ему минуло пятнадцать, и с первого взгляда можно было заключить, что он не потерял времени даром, в особенности, если вспомнить, что три самых дорогих года были отданы на войну.

И здесь, за две с половиной тысячи километров от фронта, она чувствовалась, если взглянуть, во многом. Как прежде, в порту готовились к Карской, но уже не стояли у причалов огромные иностранные пароходы, не сновали по городу веселые, удивленные негры. Как прежде, на лесную биржу с верховьев Енисея, Ангары, Нижней Тунгуски прибывали плоты, и домики на плотях с дымящимися трубами, с развешанным на веревках бельем, как прежде, создавали на Протоке мирное впечатление плавучей деревни. Но опытный взгляд легко мог определить далеко не мирное назначение деревянного сырья, из которого состояла эта деревня.

Однако совсем другая черта поразила меня, когда уже под вечер мы поехали в Медвежий Лог, где когда-то стоял единственный чум моего приятеля эвенка Удагира, а теперь раскинулись два великолепных, просторных квартала двухэтажных домов: мне представилось, что в здешних местах уже как бы перекинут мост между «до войны» и «после войны». Отразившая нападение и победившая жизнь с прежним суровым упрямством утверждала себя в великой северной стройке.

Перед вылетом еще нужно было кое-что сделать, и я отправил штурмана и стрелков на аэродром, а сам остался с Ледковым в его кабинете в окрисполкоме.

Анна Степановна ушла. Но мы условились, что я непременно загляну к ней проститься перед отлетом.

– Ну, скажите откровенно, – сказал Ледков, – как там наш старик? Ведь мы без него, как без рук. И это совсем нетрудно устроить.

– Что именно?

– Вызвать и демобилизовать. Он из возраста вышел.

– Нет, не останется, – сказал я, вспоминая, как сердился Иван Иванович, когда командир дивизиона не разрешил ему идти в рискованный поход на подводной лодке. – Может быть, в отпуск? А так, насовсем, не захочет. Особенно теперь.

Это «теперь» было сказано в смысле близкого окончания войны, но Ледков понял меня иначе: «Теперь, когда убит Володя».

– Да, жалко Володю, – сказал он. – Что это был за скромный, благородный мальчик! И прекрасные стихи писал. Вы знаете, доктор тайком посылал их Горькому<sup>310</sup>, и потом у Володи была переписка с Горьким. Одну фразу из письма Горького Володе мы взяли как тему для школьного плаката...

И он показал мне этот плакат: «Едва ли где-нибудь на земле есть дети, которые живут в таких же суровых условиях, как вы, но будущей вашей работой вы сделаете всех детей

---

<sup>310</sup> Горький (Максим) – псевдоним русского писателя А. М. Пешкова (1868–1936).

земли такими же гордыми смельчаками». Над этой действительно великолепной фразой был нарисован Горький, немного похожий на ненца.

Мы сидели в креслах у широкого окна, из которого открывалась панорама новых улиц, бегущих от побережья к тайге. Лесозавод дымил, электротележки бегали между штабелями у биржи, а вдалеке, нетронутые, сизые, стояли леса и леса...

Это была минута молчания, когда мы не говорили ни слова, но там, за окном, шел властный немой разговор – разговор, который начался в ту минуту, когда советский человек впервые вступил на забытые берега Енисея.

Я искоса взглянул на Ледкова. Он встал и, прихрамывая, – он был на протезе, – подошел к окну. Волнение пробежало по его суровому солдатскому лицу с умными, между припухших монгольских век, глазами я понял, что и он оценил эту минуту.

– Вы много сделали, – сказал я ему.

– Нет, едва коснулись, это первый шаг, – отвечал он. – До войны нам казалось, что сделано много. А теперь я вижу, что из тысячи задач мы решили две или три.

Прощаясь, я спросил о его давней поездке в ненецкие стойбища, где якобы должны были храниться какие-то предания о людях со шхуны «Св. Мария». Правда ли, что он ездил туда и опрашивал ненцев?

– Как же, ездил. Это стойбище рода Яптунгай.

– И что же?

– Нашел.

Как будто мне было семнадцать лет – так вдруг крепко стукнуло сердце.

– То есть? – спросил я хладнокровно.

– Нашел и записал. Сейчас, пожалуй, не вспомню, где эта запись, – сказал он, окидывая взглядом вертящуюся этажерку с множеством папок и свернутых трубок бумаги. – В общем, примерно так: в прежнее время, когда еще «отец отца жил», в род Яптунгай пришел человек, который назвался матросом со зверобойной шхуны, погибшей во льдах Карского моря. Этот матрос рассказал, что десять человек спаслись и перезимовали на каком-то острове к северу от Таймыра. Потом пошли на землю, но дорогой «очень шибко помирать стали». А он «на одном месте помирать не захотел», вперед пошел. И вот добрался до стойбища Яптунгай.

– А имени его не сохранилось?

– Нет. Он скоро умер. У меня записано: «Пришел, говорил – жить буду. Окончив говорить – умер».

Карта Ненецкого округа с куском Карского моря висела в кабинете Ледкова, я нашел привычный маршрут – к Русским островам, к мысу Стерлегова, к устью Пясины...

– А в каком районе кочует род Яптунгай?

Ледков указал. Но еще прежде, чем он указал, я нашел глазами и точно отметил северную границу района.

– Это был матрос со «Святой Марии».

– Вы думаете?

– А вот сосчитаем. По его словам, со шхуны спаслось десять человек.

– Да, десять.

– Со штурманом Климовым ушло тринадцать. На шхуне осталось двенадцать. Из них двое – механик Тисс и матрос Скачков – погибли в первый год дрейфа. Остается десять. Но дело даже не в этом. Я и прежде мог с точностью до полуградуса указать путь, которым они прошли. Но мне было неясно, удалось ли им добраться до Пясины.

– А теперь?

– Теперь ясно.

И я указал точку – точку, где находились остатки экспедиции капитана Татаринова, если они еще находились где-нибудь на земле...



– Дорогая Анна Степановна, это страшное свинство, что я так засиделся с Ледковым, – сказал я, захав к Анне Степановне ночью и найдя ее поджидающей меня за накрытым столом. – Но надо ехать. Только расцелую вас – и айда.

Мы обнялись.

– Когда вы вернетесь?

– Кто знает? Может быть, завтра. А может быть, никогда.

– «Никогда» – это слово страшное, я его знаю, – сказала она, вздохнув, и перекрестила меня. – И вы не говорите его. Вернетесь и будете счастливы, и мы, старики, еще погреемся подле вашего счастья.

...Поздней ночью – о том, что была поздняя ночь, можно было догадаться, лишь взглянув на часы, – мы стартовали из Заполярья. Красноватое солнце высоко стояло на небе. Как дым огромного локомотива, бежали, быстро нарастая, пушистые облака. Думал ли я, что наступает день, которого я ждал всю мою жизнь? Нет! Экипаж без меня проверял моторы, и я беспокоился, основательно ли была сделана эта проверка.

## Глава 8

### Победа

Мы вылетели в два часа ночи, а в половине пятого утра утопили рейдер. Правда, мы не видели, как он затонул. Но после нашей торпеды он начал «парить», как говорят моряки, то есть потерял ход и скрылся под облаками пара.

В общем, это произошло приблизительно так: он шел с таким видом, что между мною и штурманом произошел краткий спор (который лучше не приводить в этой книге) по вопросу о том, не принадлежит ли этот корабль к составу Северного флота.

Убедившись, что это не так, мы ушли от него, как это любил делать мой штурман.

Потом резко развернулись и взяли курс на цель.

Жаль, что я не могу нарисовать ту довольно сложную фигуру, которую мне пришлось проделать, чтобы сбросить торпеду по возможности точно. Это была восьмерка, почти полная, причем в перехвате я произвел две атаки – первая была неудачной. Потом мы стали уползать, именно уползать, потому что, как это вскоре выяснилось, и немцы не потеряли времени даром.

Еще во время первого захода стрелок закричал:

– Полна кабина дыму!

Три сильных удара слышались, когда я заходил второй раз, но некогда было думать об этом, потому что я уже лез на рейдер со стиснутыми зубами. Зато теперь у меня было достаточно времени, чтобы убедиться в том, что машина разбита. Горючее текло, масло текло, и если бы не штурман, своевременно пустивший в ход одну новую штуку, мы бы давно погорели. Правый мотор еще над целью перешел с маленького шага на большой, а потом на очень большой – можно сказать, на гигантский.

Конечно, у нас были лодочки и можно было приказать экипажу выпрыгнуть с парашютами. Но эти лодочки мы испытывали под Архангельском, на тихом, глухом озере, и то, вылезая из воды, дрожали, как собаки. А здесь под нами было такое неуютное, покрытое мелкобитым льдом холодное море!

Не буду перечислять тех кратких докладов о состоянии машины, которые делал мой экипаж. Их было много – гораздо больше, чем мне бы хотелось. После одного из них, очень печального, штурман спросил:

– Будем держаться, Саня?

Еще бы нет! Мы вошли в облачко, и в двойном кольце радуги я увидел внизу отчетливую тень нашего самолета. К сожалению, он снижался. Без всякого повода с моей стороны он вдруг резко пошел на крыло, и если бы можно было увидеть смерть, мы, без сомнения, увидели бы ее на этой плоскости, отвесно направленной к морю.

... Сам не знаю как, но я вывел машину. Чтобы облегчить ее, я приказал стрелку сбросить пулеметные диски. Еще десять минут – и самые пулеметы, кувыркаясь, полетели в море.

– Держимся, Саня?

Конечно, держимся! Я спросил штурмана, как далеко до берега, и он ответил, что недалеко, минут двадцать шесть. Конечно, соврал, чтобы подбодрить меня, – до берега было не меньше чем тридцать.

Не впервые в жизни приходилось мне отсчитывать такие минуты. Случалось, что, преодолевая страх, я отсчитывал их с отчаянием, со злобой. Случалось, что они лежали на сердце, как тяжелые круглые камни, и я тоскливо ждал – когда же, наконец, скатятся в прошлое еще один мучительный камень-минута!

Теперь я не ждал. С бешенством, с азартом, от которого какое-то страшное веселье разливалось в душе, я торопил и подталкивал их.

– Дотянем, Саня?

– Конечно, дотянем!

И мы дотянули. В полукилometре от берега, на который некогда было даже взглянуть, мы плюхнулись в воду и не пошли ко дну, как это ни было странно, а попали на отмель. Ко всем неприятностям теперь присоединились ледяные волны, которые немедленно окатили нас с головы до ног. Но что значили эти волны, и то, что машину мотало с добрый час, пока мы добрались до берега, и тысяча новых трудов и забот в сравнении с короткой фразой в очередной сводке Информбюро<sup>311</sup>: «Один наш самолет не вернулся на базу»?

Почему я решил, что это залив Миддендорфа и что, следовательно, мы сели далеко от жилых мест? Не знаю. Штурману было не до вычислений, и, пока мы шли над морем, его интересовал единственный курс – берег. Теперь ему было снова не до вычислений, потому что я приказал закрепить машину, и мы работали до тех пор, пока не повалились кто где на сухом берегу, между камней, припекаемых солнцем. Тихо лежали мы, глядя в небо – чистое, просторное, ни облачка, ни тучки – и думая каждый о своем. Но это свое у каждого определялось общим чувством: «Победа».

Мы лежали совершенно без сил, трудно было даже стряхнуть с лица налипший песок, и он сам засыхал под солнцем и отваливался кусками. Победа. Погасшая трубка лежала у штурмана на груди, он вдруг громко всхрипнул, и трубка скатилась. Победа. Ничего не надо, только смотреть в это полное голубизны, сияния, могущества небо и чувствовать под ладонями теплые гальки. Победа.

Все было победой, даже то, что страшно хотелось есть, а я не мог заставить себя подняться, чтобы достать из машины бутерброды, которые Анна Степановна сунула мне на дорогу...

Не стоит рассказывать о том, как мы осматривали машину. Очевидно, причиной дыма, о котором доложил стрелок, был снаряд, разорвавшийся в кабине. Если не считать сотни или две пробоин, самолет выглядел вполне прилично – хотя бы в сравнении с той грудой железа, на которой мне иногда приходилось садиться. Но у него был один

---

<sup>311</sup> Информбюро –

недостаток – он больше не мог летать, и своими средствами невозможно было привести в порядок моторы.

За обедом – у нас был превосходный обед: на первое суп из сухого молока, шоколада и сливочного масла, а на второе тот же суп, но уже в сухом виде, – было решено.

а) закрепить машину там, где она стояла, глубоко врезавшись в песчаную «кошку», – все равно мы не могли поднять ее на высокий берег;

б) оставить при машине стрелка;

в) идти искать людей и помощь.

Я забыл упомянуть, что еще когда мы тянули над морем, кто-то, кажется радист, заметил на берегу не то дом, не то деревянную вышку. Она пропала, едва мы подрулили под берег, – скрылась за поворотом. Возможно, что это был навигационный знак – то есть прибрежное сооружение, которое очень редко посещается судами. Тогда нам от него было бы мало толку. А если нет?

Впрочем, можно было и никуда не ходить, а после обеда снова завалиться между камней, выбрав уютное подветренное местечко, и отдыхать, глядя на проходящие голубоватые льдины, с которых, звеня и сверкая, сбегала вода. Но радио, к сожалению, было разбито, и как его ни вертел упрямый радист, оно было немо, как камень.

Словом, все-таки нужно было идти. Куда? Очевидно, к этому навигационному знаку, который мог оказаться электромаяком, или туманной предостерегательной станцией, или еще чем-нибудь в этом роде.

– Но, прежде всего, – сказал я штурману, где мы?

Прошло не меньше четверти часа, прежде чем он ответил на этот вопрос! Правда, он называл не те координаты, которые назвал я, когда Ледков спросил, где же, по моему мнению, находятся остатки экспедиции капитана Татаринова.

Но координаты штурмана были так близки к этой точке – точке, в которую я ткнул пальцем на карте Ледкова, – что я невольно осмотрелся вокруг – не увижу ли сейчас в двух шагах, вот за тем камнем, самого капитана...

## **Часть 10**

### **Последняя страничка**

#### **Глава 1**

#### **Разгадка**

Пришлось бы написать еще одну книгу, чтобы подробно рассказать о том, как была найдена экспедиция капитана Татаринова. В сущности говоря, у меня было очень много данных – гораздо больше, чем, например, у известного Дюмон-Дюрвиля<sup>312</sup>, который еще мальчиком с поразительной точностью указал, где он найдет экспедицию Лаперуза<sup>313</sup>. Мне было даже легче, чем ему, потому что жизнь капитана Татаринова тесно переплелась с моей и выводы из этих данных, в конечном счете, касались и его и меня.

Вот путь, которым он должен был пройти, если считать бесспорным, что он вернулся к Северной Земле, которая была названа им «Землей Марии»: от 79°35' широты, между 86-м и 87-м меридианами, к Русским островам и к архипелагу Норденшельда. Потом – вероятно, после многих блужданий – от мыса Стерлегова к устью Пясины, где старый

---

<sup>312</sup> Дюмон-Дюрвиль – (1790–1843), французский путешественник, мореплаватель, океанограф, офицер военного флота, ученый.

<sup>313</sup> Лаперуз – (1741–1788) – офицер военно-морского флота, великий французский мореплаватель.

ненец встретил лодку на нартах. Потом к Енисею, потому что Енисей – это была единственная надежда встретить людей и помощь. Он шел мористой<sup>314</sup> стороной прибрежных островов, по возможности – прямо...

Мы нашли экспедицию, то есть то, что от нее осталось, в районе, над которым десятки раз летали наши самолеты, везя почту и людей на Диксон, машины и товары на Нордвик, перебрасывая геологические партии для розысков угля, нефти, руды. Если бы капитан Татаринов теперь добрался до устья Енисея, он встретил бы десятки огромных морских судов. На островах, мимо которых он шел, он увидел бы теперь электрические маяки и радиомаяки, он услышал бы наутофоны<sup>315</sup>, громко гудящие во время тумана и указывающие путь кораблям. Еще триста-четырееста километров вверх по Енисею, и он увидел бы Заполярную железную дорогу, соединяющую Дудинку с Норильском. Он увидел бы новые города, возникшие вокруг нефтяных промыслов, вокруг шахт и лесозаводов.

Выше я упомянул, что с первых дней на Севере я писал Кате. Груда неотправленных писем осталась на Н., я надеялся, что мы вместе прочтем их после войны. Эти письма стали чем-то вроде моего дневника, который я вел не для себя, а для Кати. Приведу из него лишь те места, в которых говорится о том, как была открыта стоянка.

1. «...Я был поражен, узнав, как близко подступила жизнь к этому месту, которое казалось мне таким бесконечно далеким. В двух шагах от огромной морской дороги лежит оно, и ты была совершенно права, когда говорила, что «отца не нашли лишь потому, что никогда не искали». Между маяком и радиостанцией проведена телефонная линия, и не временная, а постоянная, на столбах. Горнорудные разработки ведутся в десяти километрах к югу, так что если бы мы не открыли стоянку, через некоторое время шахтеры наткнулись бы на нее.

...Штурман первый поднял с земли кусок парусины. Ничего удивительного! Мало ли что можно найти на морском берегу! Но это была парусиновая ляжка, в которую впрягаются, чтобы тащить нарты. Потом стрелок нашел алюминиевую крышку от кастрюли, измятую жестянку, в которой лежали клубки веревок, и тогда мы разбили ложбину от холмов до гряды на несколько квадратов и стали бродить – каждый по своему квадрату...

Я где-то читал, как по одной надписи, вырезанной на камне, ученые открыли жизнь целой страны, погибшей еще до нашей эры. Так постепенно стало оживать перед нами это место. Я первый увидел брезентовую лодку, то есть, вернее, понял, что этот сплюснутый блин, боком торчащий из размытой земли, – лодка, да еще поставленная на сани. В ней лежали два ружья, какая-то шкура, секстант и полевой бинокль, все заржавленное, заплесневелое, заросшее мхом. У гряды, защищающей лагерь с моря, мы нашли разную одежду, между прочим расплзшийся спальный мешок из оленьего меха. Очевидно, здесь была разбита палатка, потому что бревна плавника лежали под углом, образуя вместе со скалой закрытый четырехугольник. В этой «палатке» мы нашли корзинку из-под провизии с лоскутом парусины вместо замка, несколько шерстяных чулок и обрывки белого с голубым одеяла. Мы нашли еще топор и «удочку» – то есть бечевку, на конце которой был привязан самодельный крючок из булавки. Часть вещей валялась около «палатки» – спиртовая лампочка, ложка, деревянный ящичек, в котором лежало много всякой всячины и, между прочим, несколько толстых, тоже самодельных, парусных игл. На некоторых вещах еще можно было разобрать круглую печать

---

<sup>314</sup> Мористый – удаленный от берегов в сторону открытого моря.

<sup>315</sup> Наутофон – электромагнитный звукоизлучатель, устанавливаемый на маяках для подачи сигналов во время тумана или пасмурной погоды.

«Зверобойная шхуна «Св. Мария» или надпись «Св. Мария». Но этот лагерь был совершенно пуст – ни живых, ни мертвых».

2. «...Это была самодельная походная кухня – жестяной кожух, в который было вставлено ведро с крышкой. Обычно под такое ведро подставляют железный поддон, в котором горит медвежье или тюленьё сало. Но не поддон, а обыкновенный примус стоял в кожухе; я потряс его – и оказалось, в нем еще был керосин. Попробовал накачать – и керосин побежал тонкой струйкой. Рядом мы нашли консервную банку с надписью: «Борщ малороссийский. Фабрика Вихорева. Санкт-Петербург, 1912». При желании можно было вскрыть этот борщ и подогреть его на примусе, который пролежал в земле около тридцати лет».

3. «...Мы вернулись в лагерь после безуспешных поисков по направлению к Гальчихе. На этот раз мы подошли к нему с юго-востока, и холмы, которые казались нам однообразно волнистыми, теперь предстали в другом, неожиданном виде. Это был один большой скат, переходящий в каменистую тундру и пересеченный глубокими ложбинами, как будто вырытыми человеческой рукой. Мы шли по одной из этих ложбин, и никто сначала не обратил внимания на полуразвалившийся штабель плавника между двумя огромными валунами. Бревен было немного, штук шесть, но среди них одно отпиленное. Отпиленное – это нас поразило! До сих пор мы считали, что лагерь был расположен между скалистой грядой и холмами. Но он мог быть перенесен, и очень скоро мы убедились в этом.

Трудно даже приблизительно перечислить все предметы, которые были найдены в этой ложбине. Мы нашли часы, охотничий нож, несколько лыжных палок, два одноствольных ружья системы «Ремингтон», кожаную жилетку, трубочку с какой-то мазью. Мы нашли полуистлевший мешок с фотопленками. И наконец – в самой глубокой ложбине мы нашли палатку, и под этой палаткой, на кромках которой еще лежали бревна плавника и китовая кость, чтобы ее не сорвало бурей, под этой палаткой, которую пришлось вырубать из льда топорами, мы нашли того, кого искали...

Еще можно было догадаться, в каком положении он умер, – откинув правую руку в сторону, вытянувшись и, кажется, прислушиваясь к чему-то. Он лежал ничком, и сумка, в которой мы нашли его прощальные письма, лежала у него под грудью. Без сомнения, он надеялся, что письма лучше сохранятся, прикрытые его телом».

4. «...Не было и не могло быть надежды, что мы увидим его. Но пока не была названа смерть, пока я не увидел ее своими глазами, все светила в душе эта детская мысль. Теперь погасла – но ярко загорелась другая: не случайно, не напрасно искал я его – для него нет и не будет смерти. Час назад пароход подошел к электромаяку, и моряки, обнажив головы, перенесли на борт гроб, покрытый остатками истлевшей палатки. Салют раздался, и пароход в знак траура приспустил флаг. Я один еще брожу по опустевшему лагерю «Св. Марии» и вот пишу тебе, мой друг, родная Катя. Как бы мне хотелось быть сейчас с тобой! Скоро тридцать лет, как кончилась эта мужественная борьба за жизнь, но я знаю, что для тебя он умер только сегодня. Как будто с фронта пишу я тебе – о друге и отце, погибшем в бою. Скорбь и гордость за него волнуют меня, и перед зрелищем бессмертия страстно замирает душа...»

## Глава 2

### Самое невероятное

«Как бы мне хотелось быть сейчас с тобою», – я читал и перечитывал эти слова, и они казались мне такими холодными и пустыми, как будто в пустой и холодной комнате я говорил со своим отражением. Катя была нужна мне, а не этот дневник – живая, умная, милая Катя, которая верила мне и любила меня. Когда-то, потрясенный тем, что она отвернулась от меня на похоронах Марьи Васильевны, я мечтал о том, что приду к ней, как Овод<sup>316</sup>, и брошу к ее ногам доказательства своей правоты. Потом я сделал то, что весь мир узнал об ее отце и он стал национальным героем. Но для Кати он остался отцом – кто же, если не она должна была первая узнать о том, что я нашел его? Кто же, если не она говорила мне, что все будет прекрасно, если сказки, в которые мы верим, еще живут на земле? Среди забот, трудов и волнений войны я нашел его. Не мальчик, потрясенный туманным видением Арктики, озарившим его немой, полусознательный мир, не юноша, с молодым упрямством стремившийся настоять на своем, – нет, зрелый, испытавший все человек, я стоял перед открытием, которое должно было войти в историю русской науки. Я был горд и счастлив. Но что мог я сделать с моим сердцем, которое томилось горьким чувством, что все могло быть иначе!

Лишь в конце января я вернулся в полк. На следующий день меня вызвал командующий Северным флотом.

...Никогда не забуду этого утра – и вовсе не потому, что своими бледными и в то же время смелыми красками оно представилось мне как бы первым утром на земле. Для Крайнего Севера это характерное чувство. Но точно ожидание какого-то чуда стеснило мне грудь, когда, покурив и поболтав с командиром катера, я поднялся и встал на палубе среди тяжелого, разорванного тумана. То заходил он на палубу, то уходил, и между его дикими клочьями показывалась над сопками полная луна с вертикальными, вверх и вниз, снопами. Потом она стала ясная, как бы победившая все вокруг, но побледневшая, обессилевшая, когда оказалось, что мы идем к утреннему, розовому небу. Через несколько минут она в последний раз мелькнула среди проносащегося, тающего тумана, и голубое, розовое, снежное утро встало над Кольским заливом. Мы вошли в бухту, и такой же, как это утро, белый, розовый, снежный городок открылся передо мной.

Он был виден весь, как будто нарочно поставленный на серый высокий склон с красивыми просветами гранита. Белые домики с крылечками, от которых в разные стороны разбегались ступени, были расположены линиями, одна над другой, а вдоль бухты стояли большие каменные дома, построенные полукругом. Потом я узнал, что они так и назывались – циркульными, точно гигантский циркуль провел этот полукруг над Екатерининской бухтой.

Поднявшись на высокую лестницу, которая вела под арку, перекинутую между этими домами, я увидел бухту от берега до берега, и непонятное волнение, которое все утро то пробуждалось, то утихало в душе, вновь овладело мною с какой-то пронзительной силой. Бухта была темно-зеленая, непроницаемая, лишь поблескивающая от света неба. Что-то очень далекое, южное, напоминающее высокогорные кавказские озера, было в этой замкнутости берегов, – но на той стороне убегали сопки, покрытые снегом, и на их ослепительном фоне лишь кое-где был виден тонкий черный рисунок каких-то невысоких деревьев.

---

<sup>316</sup> Овод – герой одноименного романа Этель Лилиан Войнич.

Я не верю в предчувствия, но это слово невольно пришло мне в голову, когда, пораженный красотой Полярного и Екатерининской бухты, я стоял у циркульного дома. Точно это была моя родина, которую до сих пор я лишь видел во сне и напрасно искал долгие годы, – таким явился передо мной этот город. И в радостном возбуждении я стал думать, что здесь непременно должно произойти что-то очень хорошее для меня и даже, может быть, самое лучшее в жизни.

В штабе еще никого не было. Я пришел до начала занятий. Ночной дежурный сказал, что, насколько ему известно, мне приказано явиться к десяти часам, а сейчас половина восьмого.

Не знаю отчего, но с облегчением, точно это было хорошо, что еще половина восьмого, я вышел и снова стал смотреть на бухту из-под арки циркульного дома.

Все изменилось, пока я был в штабе: бухта стала теперь серая, строгая между серых, строгих берегов, и в глубине перспективы медленно двигался к Полярному какой-то разлапый пароходик. Мне захотелось взглянуть, как он будет подходить, и я перешел на другую лестницу, которая поворачивала под углом, переходя в просторную площадку.

Это был один из двух пассажирских пароходов, ходивших между Мурманском и Полярным. Очередь к патрулю, проверявшему документы, выстроилась на сходнях. Среди моряков, сошедших на берег, было несколько штатских и даже три или четыре женщины с корзинками и узлами...

Без сомнения, это осталось от тех печальных времен, когда, убежав от Гаера Кулия, я подолгу сживал на пристани у слияния Песчинки и Тихой. Подходил пароход, канат летел с борта, матрос ловко, кругами закидывал его на косую торчащую стойку, сразу много людей появлялось на пристани, так что она даже заметно погружалась в воду, – и никому из этих шумных, веселых, отлично одетых людей не было до меня никакого дела. Когда бы потом в жизни я ни видел радостную суматоху приезда, ощущение заброшенности и одиночества неизменно возвращалось ко мне.

Но на этот раз, вероятно потому, что это был совсем другой приезд, зимний, и на берег сошли совсем другие, озабоченные, военные люди, я не испытал подобного чувства.

Очень странно, но, как все, что я видел в Полярном, мне был приятен этот старенький пароход, и нетерпеливая очередь, заполнившая сходни, и одинокие фигуры, идущие по берегу к домику, где нужно было зарегистрировать командировки. Все это относилось к моему ожиданию самого лучшего в жизни, но, как и почему – этого я бы не мог объяснить.

Еще рано было возвращаться в штаб, и я пошел искать доктора, но не в госпиталь, а на его городскую квартиру.

Конечно, он жил в одном из этих белых домиков, расположенных линиями, одна над другой. С моря они показались мне куда изящнее и стройнее. Вот и первая линия, а мне нужно на пятую линию, семь.

Как ненцы, я шел и думал обо всем, что видел. Англичане в смешных зимних шапках, похожих на наши ямщицкие, и в балахонах защитного цвета обогнали меня, и я подумал о том, что по этим балахонам видно, как плохо представляют они себе нашу зиму. Мальчик в белой пушистой шубке, серьезный и толстый, шел с лопаткой на плече, усатый моряк подхватил его, немного пронес, и я подумал о том, что, наверное, в Полярном очень мало детей.

Ничем не отличался этот дом на пятой линии, семь, от любого соседа по правую и левую руку, разве что на лестнице его был настоящий каток, сквозь который едва просвечивали ступени. С размаху я взбежал на крыльцо. Какие-то моряки вышли в эту минуту, я столкнулся с ними, и один из них, осторожно скользя по катку, сказал, что

«неспособность разобраться в обстановке полярной ночи указывает на недостаток в организме витаминов». Это были врачи. Несомненно, Иван Иванович жил в этом доме. Зайдя в переднюю, я толкнул одну дверь, потом другую. Обе комнаты были пустые, пропахшие табаком, с открытыми койками и по-мужски разбросанными вещами, и в обеих было что-то гостеприимное, точно хозяева нарочно оставили открытыми двери.

– Есть тут кто?

Нечего было и спрашивать. Я вернулся на улицу. Баба с подоткнутым подолом терла снегом босые ноги – я спросил у нее, точно ли этот дом номер семь.

– А вам кого?

– Доктора Павлова.

– Он, верно, спит еще, – сказала баба. – Вы обойдите, вон его окно. И стукните хорошенько!

Проще было постучать доктору в дверь, но я почему-то послушался и подошел к окну. Дом стоял на косогоре, и это окно на задней стороне приходилось довольно низко над землей. Оно было в инее, но, когда я постучал и стал всматриваться, прикрыв глаза ладонью, мне почудились очертания женской фигуры. Казалось, женщина стояла, склонившись над корзиной или чемоданом, а теперь выпрямилась, когда я постучал, и подошла к окну. Так же, как я, она поставила ладонь козырьком над глазами, и сквозь дробящийся гранями иней я увидел чье-то тоже дробящееся за мутным стеклом лицо. Женщина шевельнула губами. Она ничего не сделала, только шевельнула губами. Она была почти не видна за снежным, матовым, мутным стеклом. Но я узнал ее. Это была Катя.

### Глава 3

#### Это была Катя

Как рассказать о первых минутах нашей встречи, о беспамятстве, с которым я вглядывался в ее лицо, целовал и снова вглядывался, начинал спрашивать и перебивал себя, потому что все, о чем я спрашивал, было давно, тысячу лет назад, и как бы ни было страшно то, что она мучилась и умирала от голода в Ленинграде и перестала надеяться, что увидит меня, но все это прошло, миновало, и вот она стоит передо мной, и я могу обнять ее, – Господи, этому невозможно поверить!

Она была бледна и очень похудела, что-то новое появилось в лице, потерявшем прежнюю строгость.

– Катька, да ты постриглась!

– Давно, еще в Ярославле, когда болела.

Она не только постриглась, она стала другая, но сейчас я не хотел думать об этом, – все летело, летело куда-то – и мы, и эта комната, совершенно такая же, как две соседние, с разбросанными вещами, с открытым Катиним чемоданом, из которого она что-то доставала, когда я постучал, с доктором, который, оказывается, все время был здесь же, стоял в углу, вытирая платком бороду, а потом стал уходить на цыпочках, но я его не пустил. Но главное, самое главное – все время я забывал о нем! – Катя в Полярном! Как это вышло, что Катя оказалась в Полярном?

– Господи, да я писала тебе каждый день! Мы на час разошлись в Москве. Когда ты заходил к Вале Жукову, я стояла на Арбате в очереди за хлебом.

– Не может быть!

– Ты оставил ему письмо, я сразу побежала искать тебя – но куда? Кто же мог думать, что ты пойдешь к Ромашову!

– Откуда ты знаешь, что я пошел к Ромашову?



– Я все знаю, все! Милый мой, дорогой!

Она целовала меня.

– Я тебе все расскажу.

И она рассказала, что Вышимирский, перепуганный насмерть, разыскал Ивана Павлыча и объявил ему, что я арестовал Ромашова.

– Но кто этот контр-адмирал Р.? Я писала ему для тебя, потом лично ему – никакого ответа! Ты не знал, что едешь сюда? Почему я должна была писать ему для тебя?

– Потому что у меня не было своего адреса... Из Москвы я поехал искать тебя.

– Куда?

– В Ярославль. Я был в Ярославле. Я уже собрался в Новосибирск, когда получил назначение.

– Почему ты не написал Кораблеву, когда приехал сюда?

– Не знаю. Боже мой, неужели это ты? Ты – Катя?

Мы ходили обнявшись, натыкаясь на вещи, и снова все спрашивали – почему, почему, и этих «почему» было так же много, как много было причин, которые разлучили нас под Ленинградом, провели по соседним улицам в Москве, а теперь столкнули в Полярном, куда я только что приехал впервые и где еще полчаса назад невозможно было вообразить мою Катю!

О том, что я нашел экспедицию, она узнала из телеграммы ТАСС<sup>317</sup>, появившейся в центральных газетах. Она снеслась с доктором, и он помог ей получить пропуск в Полярное. Но они не знали, куда мне писать, – да если бы это и было известно, едва ли дошли бы до стоянки экспедиции капитана Татаринова их телеграммы и письма!

Доктор куда-то исчез, потом вернулся с горячим чайником и не то что остановил эту скорость, с которой все летело куда-то вперед, а хоть посадил нас рядом на диван и стал угощать какими-то железными сухарями. Потом он притащил бидон со сгущенным молоком и поставил его на стол, извинившись за посуду.

Потом ушел. Я больше не задерживал его, и мы остались одни в этом холодном доме, с кухней, которая была завалена банками от консервов и грязной посудой, с передней, в которой не таял снег. Почему мы оказались в этом доме, из окон которого видны сопки и видно, как тяжелая вода важно ходит между обрывистыми снежными берегами? Но это было еще одно «почему», на которое я не старался найти ответа.

Уходя, доктор сунул мне какую-то электрическую штуку, я сразу забыл о ней и вспомнил, когда, засмеявшись чему-то, заметил, что у меня, как у лошади на морозе, изо рта валит густой, медленно тающий пар. Эта штука была камином, очевидно местной конструкции, но очень хорошим, судя по тому, как он бодро, хрипло гудел до утра. Очень скоро в комнате стало тепло. Катя хотела прибрать ее, но я не дал. Я смотрел на нее. Я крепко держал ее за руки, точно она могла так же внезапно исчезнуть, как появилась...

Еще идя к доктору, я заметил, что погода стала меняться, а теперь, когда вышел из дому, потому что было уже без четверти десять, прежний холодный, звенящий ветер упал, воздух стал непрозрачный, и мягкий снег повалил тяжело и быстро – верные признаки приближения пурги.

К моему изумлению, в штабе уже знали о том, что приехала Катя. Знал и командующий – почему бы иначе он встретил меня улыбаясь? Очень кратко я доложил ему, как был потоплен рейдер, и он не стал расспрашивать, только сказал, что вечером мне

---

<sup>317</sup> ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза, центральный информационный орган СССР. Собирало официальную и другую союзную, а также международную информацию и фотоинформацию и распространяло ее для органов советской печати, телевидения и радио, для других организаций в Советском Союзе и за рубежом.

предстоит рассказать об этом на военном совете. Экспедиция «Св. Марии» – вот что интересовало его!

Я начал сдержанно, неловко – хотя самая странность того, что экспедиция была найдена во время выполнения боевого задания, вовсе не показалась бы странностью тому, кто знал мою жизнь. Каким же образом в двух словах передать эту мысль командующему флотом? Но он слушал с таким вниманием, с таким искренним, молодым интересом, что, в конце концов, я махнул рукой на эти «два слова», – начал рассказывать попросту, – и вдруг получилось именно так, как все это действительно было.

Мы расстались наконец, и то лишь потому, что адмирал вспомнил о Кате...

Не знаю, сколько времени я провел у него, должно быть час или немного больше, а между тем, выйдя, я не нашел Полярного, которое скрылось в кружении летящего, слепящего, свистящего снега.

Хорошо, что я был в бурках, – и то пришлось выше колен поднять отвороты. Какие там линии – и в помине не было линий! Лишь фантастическое воображение могло представить, что где-то за этими черными тучами сталкивающегося снега стоят дома и в одном из них, на пятой линии, семь, Катя кладет твердые, как железо, галеты на камин, чтобы отогреть их, по моему совету. Конечно, я добрался до этого дома. Самым трудным оказалось узнать его – за полчаса он стал похож на сказочную избушку, скосившуюся набок и заваленную снегом по окна. Как бог пурги, ввалился я в переднюю, и Кате пришлось обметать меня веником, начиная с плеч, на которых выросли и примерзли высокие ледяные нащлепки.

...Уже все, кажется, было переговорено, уже дважды мы наткнулись на прощальные письма капитана, – я привез их в Полярное, хотел показать доктору; другие материалы экспедиции остались в полку. Но мы обошли эти письма и все, что было связано с ними, точно почувствовав, что в счастье нашей встречи об этом еще нельзя говорить. Уже Катя рассказала, какой стал Петенька, – смуглый и чуть-чуть косит, одно лицо с покойной сестрой. Уже мы посоветовались, что делать с бабушкой, которая поссорилась с директором Перышкиным и сняла в колхозе «отдельную квартиру». Уже я узнал, что большой Петя был снова ранен и награжден и вернулся на фронт – в Москве Катя случайно познакомилась с командиром его батальона, Героем Советского Союза, и тот сказал, что Петя «плевал на эту смерть» – слова, поразившие Катю. И о Варе Трофимовой я узнал, что если все будет, как думает Катя, «для них обоих это счастье и счастье». Уже изменилось что-то в комнате – иначе, удобнее расположились вещи, точно были благодарны Кате за то, что в мужской, холодной комнате доктора стало тепло. Уже прошло пять или шесть часов с тех пор, как произошла эта чудная, бесконечно важная для меня перемена, – весь мир нашей семейной жизни, покинувший нас так надолго, на полтора страшных года, вернулся наконец, – а я все еще не мог привыкнуть к мысли, что Катя со мною.

– Знаешь, о чем я думал чаще всего? Что я мало любил тебя и забывал о том, как тебе трудно со мною.

– А я думала, как тебе было трудно со мною. Когда ты уезжал и я волновалась за тебя, со всеми тревогами, заботами, страхом, это было все-таки счастье.

Мы говорили, и она еще продолжала что-то устраивать, как всегда в гостиницах, даже в поездах, везде, где мы бывали вдвоем. Это была привычка женщины, постоянно переезжающей с мужем с места на место, – и с какою жалостью, нежностью, раскаянием я почувствовал Катю в этой печальной привычке!

Потом пришел сосед, тот самый моряк, который сказал, что я неспособен разобраться в обстановке полярной ночи, – толстый, низенький, красный человек и великолепный едок – в этом мы убедились немного позднее.

Он зашел познакомиться и с первого слова объявил, что он – коллега Ивана Ивановича, приехавший в Полярное, чтобы испытать на подводных лодках какие-то спасательные приборы. Вечером он собирался в Мурманск, но проклятая пурга спутала все расчеты. – Не дают «добро», – сказал он со вздохом, – так что больше ничего не остается, как закусить и выпить:

У Ивана Ивановича были вино и консервы, но он сказал, что это не то, и принес свои вино и консервы. Пыхтя, он открыл консервы и, зачем-то засучив рукава, стал подогревать их на камине. Мы с Катей что-то ели весь день, и он, не очень огорчившись нашим отказом, сам быстро, аппетитно все съел и выпил. Он уже знал от доктора, что мы потеряли и нашли друг друга, и поздравил нас, а потом объявил, что знает тысячи подобных историй.

– И это еще удачно, что ни вы, ни мадам не жалеете о холостой жизни, – поучительно сказал он. – Да-с, бывает и так!

Не помню, о чем еще мы болтали, только помню, что оттого, что, кроме нас, был кто-то чужой, еще острее чувствовалось счастье.

Потом он ушел и весь вечер звонил в порт – не дают ли «добро»? Но какое уж там «добро», когда пурга еще только что пошла бродить-гулять над Баренцевым морем! Даже в доме окна начинали внезапно дрожать, точно кто-то тряс их снаружи, стучась то робко, то смело.

Мы были одни. Я не мог насмотреться на Катю. Боже мой, как я стосковался по ней! Я все забыл! Я забыл, например, как она убирает волосы на ночь – заплетает косички. Теперь волосы отрасли еще мало, и косички вышли коротенькие, смешные. Но все-таки она заплела их, открыв маленькие, красивые уши, которые я тоже забыл.

Опять мы говорили, теперь шепотом, и совсем о другом – после того, как долго молчали. Это другое было Ромашов.

Не помню, где я читал о палимпсестах, то есть старинных пергаментах, с которых позднейшие писцы стирали текст и писали счета и расписки, но через много лет ученые открывали первоначальный текст, иногда принадлежавший перу гениальных поэтов. Это было похоже на палимпсест, когда Катя рассказала мне, что, по словам Ромашова, произошло в осиновой роще, а затем я, как резинкой, стер эту ложь и под ней проступила правда. Я понял и объяснил ей тот сложный, подлый ход в его подлой игре, который он сделал дважды – сперва для того, чтобы показать Кате, что он спас меня, а потом – чтобы доказать мне, что он спас Катю.

Слово в слово я передал ей наш последний разговор на Собачьей Площадке, и Катя была поражена признанием Ромашова – признанием, объяснившим мои неудачи и раскрывшим загадки, которые всегда тяготили ее.

– И ты все записал?

– Да. Изложил, как в протоколе, и заставил его подписаться.

Я повторял его рассказ о том, как всю жизнь он следил за мной, мучаясь от зависти, со школьных лет тяготившей его пустую, беспокойную душу. Но о великолепном Катином портрете над его столом я ничего не сказал. Я не сказал, потому что эта любовь была оскорбительна для нее.

Она слушала меня, и у нее было мрачное лицо, а глаза горели, горели... Она взяла мою руку и крепко прижала к груди. Она была бледна от волнения. Она ненавидела Ромашова вдвое и втрое, может быть, за то, о чем я не хотел говорить. А для меня он был далек и ничтожен, и мне было весело думать, что я победил его...

Все еще спрашивал толстый доктор, дают ли «добро», и по-прежнему не давали «добро», потому что по-прежнему не унималась, рвалась, рассыпалась снежным зарядом пурга. И к нам заглянула она на Рыбачий и к немцам, гоня волну на их суда, спрятавшиеся в норвежских фиордах. Не дают «добро», закрыт порт, шторм девять баллов.

Спит жена, положив под щеку ладонь, красивая и умная, которая, не знаю за что, навсегда полюбила меня. Она спит, и можно долго смотреть на нее и думать, что мы одни и что хотя скоро кончится эта недолгая счастливая ночь, а все-таки мы отняли ее у этой дикой пурги, которая ходит-гуляет над миром.

Мне нужно было вставать в шестом часу, я упросил Катю, чтобы она позволила мне не будить ее, и мы даже простились накануне. Но, когда я открыл глаза, она уже мыла посуду, в халатике, и прислоняла мокрые тарелки к камину. Она знала, где я служу, но мы не говорили об этом. Только когда я заторопился и встал, оставив недопитый стакан, она спросила, как бывало прежде, беру ли я с собой парашют. Я сказал, что беру.

Мы вышли с толстым доктором. Пурга улеглась, и весь город был в длинных, протянувшихся вдоль дорог, круто срезанных снежных дюнах.

#### **Глава 4** **Прощальные письма**

Уходя, я отдал Кате прощальные письма капитана. Когда-то в Энске, в Соборном саду, я так же оставил ее одну за чтением письма, которое мы с тетей Дашей нашли в сумке утонувшего почтальона. Я стоял тогда под башней старца Мартына, и мне становилось холодно, когда мысленно вместе с Катей я читал строчку за строчкой.

Теперь я мог увидеть ее лишь через несколько дней. Но все равно, мы снова читали вместе, я знал, что Катя чувствует мое дыхание за своими плечами. Вот эти письма.

#### **1**

*Санкт-Петербург. Главное Гидрографическое управление. Капитану первого ранга П. С. Соколову.*

Дорогой мой Петр Сергеевич!

Надеюсь, что это письмо дойдет до вас. Я пишу его в ту минуту, когда наше путешествие подходит к концу, и, к сожалению, заканчиваю его в одиночестве. Не думаю, чтоб кто-нибудь на свете мог справиться с тем, что пришлось перенести нам. Все мои товарищи погибли один за другим, а разведывательная партия, которую я послал в Гальчиху, не вернулась.

Я оставляю Машу и вашу крестницу в тяжелом положении. Если бы я знал, что они обеспечены, то не очень терзался бы, покидая сей мир, потому что чувствую, что нашей родине не придется нас стыдиться. У нас была большая неудача, но мы исправили ее, вернувшись к открытой нами земле и изучив ее, сколько в наших силах.

Мои последние мысли – о жене и ребенке. Очень хочется, чтобы у дочки была удача в жизни. Помогите им, как вы помогали мне. Умирая, я с глубокой благодарностью думаю о вас и о моих лучших годах молодости, когда я работал под вашим руководством.

Обнимаю вас. Иван Татаринов.

**Его Превосходительству Начальнику Главного Гидрографического управления**  
*Начальника экспедиции на судне «Св. Мария» И.Л. Татаринова*

**Рапорт**

Настоящим имею честь довести до сведения Главного Гидрографического управления нижеследующее:

1915 года, марта месяца 16 дня, в широте, обсервированной  $79^{\circ}08'30''$ , и в долготе от Гринвича  $89^{\circ}55'00''$ , с борта дрейфующего судна «Св. Мария» при хорошей видимости и ясном небе была замечена на восток от судна неизвестная обширная земля с высокими горами и ледниками. Нахождение земли в этом районе и раньше указывали некоторые признаки: так, еще в августе 1912 года мы видели большие стаи гусей, летевших с севера курсом норд-норд-ост – зюйд-зюйд-вест. В начале апреля 1913 года мы видели на норд-остовом горизонте резкую серебристую полосу и над нею очень странные по форме облака, похожие на туман, окутавший далекие горы. Открытие земли, тянущейся в меридиональном направлении, дало нам надежду покинуть судно при первом благоприятном случае, чтобы, выйдя на сушу, следовать вдоль ее берегов по направлению Таймырского полуострова и дальше, до первых сибирских поселений в устьях реки Хатанги или Енисея, смотря по обстоятельствам. В это время направление нашего дрейфа не оставляло сомнений. Судно двигалось вместе со льдом генеральным курсом норд  $7^{\circ}$  к весту. Даже в случае изменения этого курса на более западный, то есть параллельно движению нансеновского «Фрама», мы не могли выйти из льдов раньше осени 1916 года, а провизии имели только до лета 1915 года. После многочисленных затруднений, не имеющих отношения к существу настоящего рапорта, нам удалось 23 мая 1915 года выйти на берег вновь открытой земли в широте  $81^{\circ}09'$  и долготе  $58^{\circ}36'$ . Это был покрытый льдом остров, обозначенный на приложенной к сему рапорту карте под литерой А. Только через пять дней нам удалось достичь второго, огромного острова, одного из трех или четырех, составляющих новооткрытую землю. Определенный мною астрономический пункт на выдающемся мысе этого острова, обозначенного литерой Г, дал координаты  $80^{\circ}26'30''$  и  $92^{\circ}08'00''$ . Двигаясь к югу вдоль берегов этой неизвестной земли, я исследовал ее берега между 81-й и 79-й северными параллелями. В северной части берег представляет собой довольно низменную землю, частично покрытую обширным ледником. Дальше к югу он становится более высоким и свободен ото льда. Здесь мы нашли плавник. В широте  $80^{\circ}$  обнаружен широкий пролив или залив, идущий от пункта под литерой С в OSO направлении.

Начиная от пункта под литерой Ф, берег круто поворачивает в зюйд-зюйд-вестовом направлении. Я намеревался исследовать южный берег вновь открытой земли, но в это время было уже решено двигаться вдоль берега Харитона Лаптева по направлению к Енисею.

Доводя до сведения Управления о сделанных мною открытиях, считаю необходимым отметить, что определения долгот считая не вполне надежными, так как судовые хронометры, несмотря на тщательный уход, не имели поправки времени в течение более двух лет.

Иван Татаринев.

При сем:

1. Заверенная копия вахтенного журнала судна «Св. Мария».
2. Копия хронометрического журнала.
3. Холщовая тетрадь с вычислениями и данными съемки.
4. Карта заснятой местности.

18 июня 1915 года.

Лагерь на острове 4 в Русском Архипелаге.

### 3

Дорогая Маша!

Боюсь, что с нами кончено, и у меня нет надежды даже на то, что ты когда-нибудь прочтешь эти строки. Мы больше не можем идти, мерзнем на ходу, на привалах, даже за едой никак не согреться. Ноги очень плохи особенно правая, и я даже не знаю, как и когда я ее отморозил. По привычке, я пишу еще «мы», хотя вот уже три дня, как бедный Колпаков умер. И я не могу даже похоронить его – пурга! Четыре дня пурги – оказалось, что для нас это слишком много.

Скоро моя очередь, но я совершенно не боюсь смерти, очевидно потому, что сделал больше, чем в моих силах, чтобы остаться жить.

Я очень виноват перед тобой, и эта мысль – самая тяжелая, хотя и другие не многим легче.

Сколько беспокойства, сколько горя перенесла ты за эти годы – и вот еще одно, самое большое. Но не считай себя связанной на всю жизнь и, если встретишь человека, с которым будешь счастлива, помни, что я этого желаю. Так скажи и Нине Капитоновне. Обнимаю ее и прошу помочь тебе, сколько в ее силах, особенно насчет Кати.

У нас было очень тяжелое путешествие, но мы хорошо держались и, вероятно, справились бы с нашей задачей, если бы не задержались со снаряжением и если бы, то снаряжение не было таким плохим.

Дорогая моя Машенька, как-то вы будете жить без меня! И Катя, Катя! Я знаю, кто мог бы помочь вам, но в эти последние часы моей жизни не хочу называть его. Не судьба была мне открыто высказать ему все, что за эти годы накопело на сердце. В нем воплотилась для меня та сила, которая всегда связывала меня по рукам и ногам, и горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогли, а хотя бы не мешали. Что делать? Одно утешение – что моими трудами открыты и присоединены к России новые обширные земли. Трудно мне оторваться от этого письма, от последнего разговора с тобой, дорогая Маша. Береги дочку да смотри, чтобы она не ленилась. Это – моя черта, я всегда был ленив и слишком доверчив.

Катя, доченька моя! Узнаешь ли ты когда-нибудь, как много я думал о тебе и как мне хотелось еще хоть разок взглянуть на тебя перед смертью!

Но хватит. Руки зябнут, а мне еще писать и писать. Обнимаю вас. Ваш навеки.

## Глава 5

### Последняя страница

Мне не хотелось, чтобы Катя оставалась в комнате доктора, тем более, что это была комната даже и не доктора, а одного погибшего командира. Вещи и мебель принадлежали ему. Вдруг остановившаяся жизнь была видна во всем – в робких,

неоконченных акварелях, изображавших виды Полярного и симметрически висевших на стенах, в аккуратной стопочке специальных книг, в фотографиях, которых здесь было очень много – все девушка с длинными косами, в украинском костюме, и она же постарше, с голым толстым младенцем на руках.

Разные, совершенно ненужные мысли сами собой рождаются в подобных комнатах, и женщине, у которой муж служит в авиации, не всегда легко прогнать подобные мысли. Но Катя решила остаться.

– Что ж такого! – сказала она. – Это самая обыкновенная вещь.

Я не настаивал, тем более, что мог приезжать в Полярное сравнительно редко, и мне было приятно знать, что Катя живет подле доктора Ивана Ивановича и видит его каждый день. Сразу же она стала работать – сперва в госпитале медицинской сестрой, а потом в Старом Полярном, где у доктора был амбулаторный прием. Когда через две недели я опять приехал, она была уже полна интересами своей новой жизни.

Удивительно быстро вошла она в эту жизнь.

Из этих мест уходили суда, чтобы на дальних и ближних морских дорогах встречать союзные и топить германские конвои, и все, что происходило в городке, так или иначе было связано с этой борьбой. Любимых командиров знали по именам. Впрочем, многих из них давно уже знает по именам весь Советский Союз.

Необычайная близость тыла и фронта, поразившая меня в Н., здесь была еще заметнее, потому что сама жизнь в Полярном была гораздо сложнее и богаче. Не «случалась» эта жизнь, а шла – по всему было видно, что люди, от командующего до любого краснофлотца, прочно расположились среди этих диких скал и будут воевать до победы. Именно потому, что это было ровное напряжение, оно и проникало так глубоко в любую мелочь повседневного существования.

Вспоминая зиму 1942–1943 года в Полярном, я вижу, что это была едва ли не самая счастливая семейная зима в нашей жизни. Это может показаться странным, если представить себе, что почти через день я летал на бомбежку германских судов. Но одно было летать, не зная, что с Катей, и совершенно другое – зная, что она в Полярном, жива и здорова и что на днях я увижу ее разливающей чай за столом. Зеленый шелковый абажур, к которому были приколоты чертики, искусно вырезанные Иваном Ивановичем из плотной бумаги, висел над этим столом, и все, что радовало нас с Катей в ту памятную зиму, рисуется мне в светлом кругу, очерченном границами зеленого абажура, а все, что заботило и огорчало, прячется в далеких, темных углах.

Я помню наши вечера, когда после долгих, напрасных попыток связаться с доктором я ловил первый попавшийся катер, являлся в Полярное, и друзья, как бы ни было поздно, собирались в этом светлом кругу. Что ночь, и днем – ночь!

Толстый доктор-едок выползал из своей комнаты в огромной шубе-кухлянке<sup>318</sup> и занимал за столом если не наиболее видное, то, во всяком случае, наиболее шумное место. Самый его вид нетерпеливого ожидания чего-то хорошего или хотя бы веселого, казалось, производил шум. Даже когда он молчал, слышно было, как он пыхтит, жует или просто громко дышит.

За ним – если считать по шуму – очевидно, следовал я. В самом деле, никогда я еще так много не говорил, не пил, не смеялся! Как будто чувство, которое овладело мною, когда я увидел Катю, так и осталось в душе – все летело, летело куда-то... Куда? Кто знает! Я верил, что к счастью. Что касается доктора Ивана Ивановича, который чувствовал себя совсем больным после гибели сына, то и он оживал на наших вечерах и

---

<sup>318</sup> Шуба-кухлянка – длинная, ниже колен шуба из оленя или пьжика, шерстью наружу.

все чаще цитировал – главным образом по поводу международных проблем – своего любимого автора Козьму Пруткова.

Наконец на последнее место – если считать по шуму – нужно поставить моего штурмана, который вообще не говорил ни слова, а только задумчиво сдвигал брови и, вынув трубку изо рта, выпускал шары дыма. Я любил его – кажется, я уже упоминал об этом – за то, что он был превосходным штурманом и любил меня – черта, которая всегда нравилась мне в людях.

А Катя хозяйничала. Как у нее получалось, что это наш дом, что мы принимаем гостей и от души стараемся, чтобы они были сыты и пьяны, не знаю. Но получалось.

Конечно, не было бы этих вечеров, этого счастья встреч с Катей, когда на утро она провожала меня и робкое, молодое солнце, похожее на детский воздушный шар, солнце начала полярного дня, как будто нарочно для нас поднималось над линией сопок... не было бы этого душевного подъема или он был бы совершенно другим, если бы радио каждую ночь не приносило известий о наших победах. Это был общий подъем, который с одинаково нарастающей силой чувствовался не только здесь, на Севере, где был крайний правый фланг войны и где на диком, срывающемся в воду утесе стоял последний солдат сухопутного фронта, но и на любом участке этого фронта.

Уже отгремели последние выстрелы в Сталинграде, черные от копоти бойцы вылезли из водосточных люков и, шурясь от света, от снега, смотрели на испепеленный отвоеванный город, – среди гранитных сопот Полярного гулко отозвалось эхо этой великой победы. Кажется, мы сделали все возможное, чтобы оно покатилося и дальше – вдоль берегов Норвегии, туда, где осторожно крадутся от чужой страны к чужой стране немецкие караваны, туда, где они выгружают чужое оружие и берут на борт чужую руду и везут, везут ее в настороженной, полной загадочных шумов ночи Баренцева моря...

Все свободное время мы – доктор, Катя и я – тратили на изучение и подбор материалов экспедиции «Св. Марии».

Не знаю, что было сложнее – проявить фотопленку или прочитать документы экспедиции. Как известно, снимок с годами слабеет или покрывается вуалью – недаром на футлярах всегда указывается срок, после которого фабрика не ручается за отчетливость изображения. Этот срок для пленки «Св. Марии» кончился в феврале 1914 года. Кроме того, металлические футляры были полны воды, пленки промокли насквозь и, очевидно, годами находились в таком состоянии. Лучшие фотографии Северного флота объявили, что это «безнадежная затея» и что если бы даже они (фотографы) были божественного происхождения, то и в этом случае им не удалось бы проявить эту пленку. Я убедил их. В результате из ста двенадцати снимков, просушенных с бесконечными предосторожностями, около пятидесяти были признаны «достойными дальнейшей работы». После многократного копирования удалось получить двадцать два совершенно отчетливых снимка.

В свое время я прочитал дневники штурмана Климова, исписанные мелким, неразборчивым, небрежным почерком, залитые тюленьим жиром. Но все же это были отдельные странички в двух переплетенных тетрадках. Документы же Татаринова, кроме прощальных писем, сохранившихся лучше других бумаг, были найдены в виде плотно слежавшейся бумажной массы, и превратить ее в хронометрический или вахтенный журнал, в карты и данные съемки своими силами я, конечно, не мог. Это также было сделано в специальной лаборатории, под руководством опытного человека. В этой книге не найдется места для подробного рассказа о том, что было прочтено в холщовой тетради, о которой капитан Татаринов упоминает, перечисляя приложения. Скажу только, что он успел сделать выводы из своих наблюдений и что формулы,



предложенные им, позволяют вычислить скорость и направление движения льдов в любом районе Северного Ледовитого океана. Это кажется почти невероятным, если вспомнить, что сравнительно короткий дрейф «Св. Марии» проходил по местам, которые, казалось бы, не дают данных для таких широких итогов. Но для гениального прозрения иногда нужны немногие факты.

«Ты прочел жизнь капитана Татаринова, – так говорил я себе, – но последняя ее страница осталась закрытой».

«Еще ничего не кончилось, – так я отвечал. – Кто знает, быть может, придет время, когда мне удастся открыть и прочесть эту страницу». Время пришло. Я прочел ее – и она оказалась бессмертной.

## **Глава 6**

### **Возвращение**

Летом 1944 года я получил отпуск, и мы с Катей решили провести три недели в Москве, а четвертую в Энске – навестить стариков.

Мы приехали 17 июля – памятная дата! В этот день через Москву прошли пленные немцы.

У нас были легкие чемоданы, мы решили доехать до центра на метро – и, выйдя из Аэропорта, добрых два часа не могли перейти дорогу. Сперва мы стояли, потом, утомившись, сели на чемоданы, потом снова встали. А они все шли. Уже их хорошо бритые, с жалкими надменными лицами, в высоких картузах, в кителях с «грудью» генералы, среди которых было несколько знаменитых мучителей и убийц, находились, должно быть, у Крымского моста, а солдаты все шли, ковыляли – кто рваный и босой, а кто в шинели нараспашку.

С интересом и отвращением смотрел я на них. Как многие летчики-бомбардировщики, за всю войну я вообще ни разу не видел врага, разве что пикируя на цель, – позиция, с которой не много увидишь! Теперь «повезло» – сразу пятьдесят семь тысяч шестьсот врагов, по двадцати в шеренге, прошли передо мной, одни дивясь на Москву, которая была особенно хороша в этот сияющий день, другие потупившись, глядя под ноги равнодушно-угрюмо.

Это были разные люди, с разной судьбой. Но однообразно-чужим, бесконечно далеким от нас был каждый их взгляд, каждое движение.

Я посмотрел на Катю. Она стояла, прижав сумочку к груди, волновалась. Потом вдруг крепко поцеловала меня. Я спросил:

– Поблагодарила?

И она ответила очень серьезно:

– Да.

У нас было много денег, и мы сняли самый лучший номер в гостинице «Москва» – роскошный, с зеркалами, картинами и роялем.

Сперва нам было немного страшновато. Но оказалось, что к зеркалам, коврам, потолку, на котором были нарисованы цветы и амуры, совсем нетрудно привыкнуть. Нам было очень хорошо в этом номере, просторно и чертовски уютно.

Конечно, Кораблев явился в день приезда – нарядный, с аккуратно закрученными усами, в свободной вышитой белой рубашке, которая очень шла к нему и делала похожим на какого-то великого русского художника – но на какого, мы с Катей забыли.

Он был в Москве, когда летом 1942 года я стучался в его лохматую, обитую войлоком дверь. Он был в Москве и чуть не сошел с ума, вернувшись домой и найдя письмо, в котором я сообщал, что еду в Ярославль за Катей.

– Как это вам понравится! За Катей, которую я накануне провожал в милицию, потому что ее не хотели прописывать на Сивцевом Вражке!

– Не беда, дорогой Иван Павлыч, – сказал я, – все хорошо, что хорошо кончается. В то лето я был не очень счастлив, и мне даже нравится, что мы встретились теперь, когда все действительно кончается хорошо. Я был черен, худ и дик, а теперь вы видите перед собой нормального, веселого человека. Но расскажите же о себе! Что вы делаете? Как живете?

Иван Павлыч никогда не умел рассказывать о себе. Зато мы узнали много интересного о школе на Садово Триумфальной, в которой некогда произошли такие важные события в моей и Катиной жизни. Мы кончили школу, с каждым годом она уходила все дальше от нас, и уже начинало казаться странным, что это были мы – пылкие дети, которым жизнь представлялась такую преувеличенно сложной. А для Ивана Павлыча школа все продолжалась. Каждый день он не торопясь расчесывал перед зеркалом усы, брал палочку и шел на урок, и новые мальчики, как под лучом прожектора, проходили перед его строгим, любящим, внимательным взглядом. О, этот взгляд! Я вспомнил Гришку Фабера, который утверждал, что «взгляд – все» и что с таким взглядом он бы «в два счета сделал в театре карьеру».

– Иван Павлыч, где он?

– Гриша в провинции, – сказал Иван Павлыч, – в Саратове. Я давно не видел его.

Кажется, он стал хорошим актером.

– Он и был хорошим. Мне всегда нравилась его игра. Немного орал, но что за беда! Зато не пропадало ни слова.

Мы перебрали весь класс – грустно и весело было вспоминать старых друзей, которых по всей стране раскидала жизнь. Таня Величко строит дома в Сталинграде. Шура Кочнев – полковник артиллерии и недавно был упомянут в приказе. Но о многих и Иван Павлыч ничего не знал – время как будто прошло мимо них, и они остались в памяти мальчиками и девочками семнадцати лет.

Так-то мы сидели и разговаривали, и уже раза три позвонил профессор Валентин Николаевич Жуков и был обруган, даром что профессор, за то, что не приходит, ссылаясь на какую-то очередную затею со змеями или гибридами черно-бурых лисиц. Наконец он явился и застыл на пороге, задумчиво положив палец на нос. Ему, видите ли, почудилось, что он попал в чужой номер!

– Ну, профессор, заходи, заходи, – сказал я ему.

И он побежал ко мне, хохоча, а за ним в дверях появилась высокая, полная белокурая дама, которую, если не ошибаюсь, когда-то звали Кирен.

Конечно, прежде всего, я был подвергнут допросу, перекрестному, потому что слева меня допрашивал Валя, а справа – Кирен. Почему, каким образом и на каком основании, взломав чужую квартиру, обойдя комнаты, обнаружив, что Катя живет у профессора В. Н. Жукова, я не нашел ничего лучшего, как оставить записку, совершенно бессмысленную, потому что в ней не было указано ни где меня искать, ни долго ли я пробуду в Москве.

– Дубина, это была ее постель, – сказал Валя, – а в ногах лежало ее платье! Боже мой, да разве ты не догадался, что только женская рука могла навести у меня такой порядок?

– Нет, в том, что женская, – сказал я, – у меня не было ни малейших сомнений.

Кира захохотала, кажется, добродушно, а Валя сделал мне большие глаза. Очевидно, тень загадочной Женьки Колпакчи с разными глазами еще бродила в этом семейном доме.

Женщины ушли в соседнюю комнату. Кирен кормила своего четвертого, так что, нужно полагать, у них нашлось о чем поболтать.

А мы заговорили о войне. Во многом уже были видны признаки ее окончания, и Валя с Иваном Павлычем слушали меня с таким выражением, как будто именно мне предстояло в ближайшем будущем отдать командующему последний рапорт о том, что нашими войсками занят город Берлин: Валя спросил, почему мы не форсируем Вислу, и от души огорчился, когда я ответил, что не знаю. Что касается Севера, если судить по его вопросам, я командовал не эскадрильей, а фронтом.

Потом Иван Павлыч заговорил о капитане Татаринове, и, немного понизив голос, чтобы не услышала Катя, я рассказал некоторые подробности, о которых не упоминалось в печати. Недалеко от палатки капитана, в узкой расщелине скалы, были найдены могилы матросов – трупы были положены прямо на землю и завалены большими камнями. Медведи и песцы растащили и перемешали кости – один череп был найден в трех километрах от лагеря, в соседней ложбине. Очевидно, последние дни капитан провел в одном спальном мешке с поваром Колпаковым, который умер раньше него. На письме к Марии Васильевне было написано сперва: «Моей жене», а потом исправлено: «Моей вдове». Под правой рукой капитана было найдено обручальное кольцо с инициалами М.Т. на внутренней стороне ободка.

Я вынул из чемодана и показал золотой медальон в виде сердечка. На одной стороне был миниатюрный портрет Марии Васильевны, а на другой – прядь черных волос, и, отойдя к окну, Иван Павлыч надел очки и долго рассматривал медальон. Так долго рассматривал он, вытирал платочком усы и снова рассматривал, что, в конце концов, мы с Валею подошли к нему и, обняв с обеих сторон, повели и посадили в кресло. – Но Катя так похожа, Боже мой! – сказал он, вздохнув. – В декабре будет семнадцать лет. Трудно поверить.

Он попросил меня позвать Катю и рассказал ей, что весной ездил на кладбище, посадил цветы и нанял сторожа покрасить решетку.

До ночи сидели у нас друзья, и Кира уже успела съездить на Сивцев Вражек покормить младшего и вернулась со старшей – той самой, которая в будущем подавала надежды стать знаменитой артисткой. Во всяком случае, по мнению Кириной мамы, покойная Варвара Рабинович со всей своей знаменитой школой «не годилась в подметки» этой девочке, которая еще в грудном возрасте умела великолепно «брать голос в маску», а теперь читала Пушкина не хуже знаменитого Степаняна.

Валя много и не так скучно, как всегда, рассказывал о своих зверях – между прочим, о борьбе с грызунами в траншеях. Я спросил, удалось ли ему, в конце концов, доказать, что у змей от возраста меняется кровь, или это так и осталось в науке загадкой. Он засмеялся и сказал, что да, удалось.

Это был превосходный день в Москве, начавшийся с того, что больше двух часов мы ждали, пока пленные немцы пройдут мимо нас, – лучше он начаться не мог! Это был день, когда вдруг сверкнуло в душе и осталось навеки ослепительное сознание победы. Еще она не была напечатана черными буквами на газетном листе, еще многие должны были отдать за нее жизнь, но уже она была ясно видна в том неуловимом «чувстве возвращения», которое было, казалось, разлито повсюду. Жизнь возвращалась на старые места, война сделала их совсем другими, и странным, молодым ощущением столкновения нового и старого была полна Москва лета 1944 года.

А вечером был салют. Позывные «важного сообщения» прозвенели без четверти одиннадцать, и Валя сказал, что нужно немедленно бежать на двенадцатый этаж. Лифт был полон, и мы пошли пешком – совершенно напрасно, потому что дорогой выяснилось, что на двенадцатый этаж нельзя попасть иначе, как лифтом. Но мы каким-то образом все же добрались, и великолепная вечерняя Москва открылась передо мной, стеснив сердце горячим и острым волнением. Мы с Катей переглянулись улыбаясь. Взявшись за руки, мы стояли у какой-то стены. Как бы не торопясь, озарялось багровыми вспышками спокойное небо, а потом прямо над нами быстро летели вверх и медленно вниз пестрые цветные огни.

## Глава 7

### Два разговора

Два дела было у меня в Москве. Первое – доклад в Географическом обществе о том, как мы нашли экспедицию «Св. Марии», и второе – разговор со следователем о Ромашове. Как ни странно, эти дела были связаны между собой, потому что еще из Н. я послал в прокуратуру копию моего объяснения с Ромашовым на Собачьей Площадке.

Начну со второго.

Осенью 1943 года Ромашов был осужден на десять лет – я узнал об этом от работника Особого отдела<sup>319</sup> на Н., который снимал с меня допрос, когда в Москве разбиралось дело. Теперь оно, не знаю почему, было передано в гражданские инстанции и пересматривалось – тоже не знаю почему. Незадолго до моего отъезда из Н. мне сообщили, что в Москве следствие потребует от меня каких-то дополнительных данных.

Все это было неприятно и скучно, и, вспоминая еще дорогой, что мне придется снова войти в утомительную и сложную атмосферу этого дела, я немного расстраивался – отпуск был бы так хорош без него!

На второй день приезда я доложил, что явился, и был немедленно приглашен к следователю, который вел дело Ромашова...

Приемная была общая – полутемный зал, перегороженный деревянным барьером. Широкие старинные скамьи стояли вдоль стен, и самые разные люди – старики, девушки, какие-то военные без погон – сидели на них, дожидаясь допроса.

Я нашел кабинет моего следователя – на двери значилась его странная фамилия: Веселаго – и, так как было еще рановато, занялся перестановкой флажков на карте, висевшей в приемной. Карта была недурна, но флажки далеко отставали от линии фронта.

Знакомый голос оторвал меня от этого занятия – такой знакомый, круглый, солидный голос, что на одно мгновение я почувствовал себя плохо одетым мальчиком, грязным, с большой заплатой на штанах.

Голос спросил:

– Можно?

Очевидно, было еще нельзя, потому что, приоткрыв дверь к следователю, Николай Антоныч закрыл ее и сел на скамью с немного оскорбленным видом. Я встретил его в последний раз в метро летом 1942 года – таков он был и сейчас: величественный и снисходительно-важный.

---

<sup>319</sup> Особый отдел – подразделение военной контрразведки советской армии.

Насвистывая, я переставлял флажки на Втором Прибалтийском фронте. Прошло семнадцать лет с тех пор, как я сказал ему: «Я найду экспедицию, и тогда посмотрим, кто из нас прав». Знает ли он, что я нашел экспедицию? Без сомнения. Но он не знает – в печати об этом не появилось ни слова – о том, что среди бумаг капитана Татарина обнаружены бесспорные, неопровержимые доказательства моей правоты...

Он сидел, опустив голову, опираясь руками о палку. Потом посмотрел на меня, и невольное быстрое движение пробежало по бледному большому лицу; «Узнал», – подумал я весело. Он узнал – и отвел глаза.

...Это была минута, когда он обдумывал, как держаться со мной. Сложная задача! Очевидно, он успешно решил ее, потому что вдруг встал и смело подошел ко мне, коснувшись рукой шляпы.

– Если не ошибаюсь, товарищ Григорьев?

– Да.

Кажется, впервые в жизни я с таким трудом произнес это короткое слово. Но и у меня была минута, когда я решил, как нужно держаться с ним.

– Вижу, что время не прошло даром для вас, – глядя на мои орденские ленточки, продолжал он. – Откуда же сейчас? На каком фронте защищаете нас, скромных работников тыла?

– На Крайнем Севере.

– Надолго в Москву?

– В отпуск, на три недели.

– И принуждены терять драгоценные часы в этой приемной? Впрочем, это наш гражданский долг, – прибавил он с почтительным выражением. – Я полагаю, что вы, как и я, вызваны по делу Ромашова?

– Да.

Он помолчал. Ох, как было мне знакомо, как еще в детстве я ненавидел это мнимо значительное молчание!

– Не человек, а воплощенное зло, – наконец сказал он. – Я считаю, что общество должно освободиться от него – и как можно скорее.

Если бы я был художником, я бы залюбовался этим зрелищем эпического лицемерия.

Но я был обыкновенным человеком, и мне захотелось сказать ему, что если бы общество своевременно освободилось от Николая Антоныча Татарина, ему (обществу) не пришлось бы возиться с Ромашовым.

Я промолчал.

Ни слова еще не было сказано об экспедиции «Св. Марии», но я знал Николая Антоныча: он подошел, потому что боялся меня.

– Я слышал, – начал он осторожно, – что вам удалось довести до конца свое начинание, и хочу от души поблагодарить вас за то, что вы положили на него так много труда. Впрочем, я рассчитываю сделать это публично.

Это значило, что он придет на мой доклад и сделает вид, что мы всю жизнь были друзьями. Он предлагал мне мир. Очень хорошо! Нужно сделать вид, что я его принимаю.

– Да, кажется, кое-что удалось.

Больше я ничего не сказал. Но даже легкая краска появилась на полных бледных щеках

– так он оживился. Все прошло и забыто, он теперь влиятельный человек, почему бы мне не наладить с ним отношения? Вероятно, я стал другим – в самом деле, разве жизнь не меняет людей? Я стал таким, как он, – у меня ордена, удача, и он может по себе, по своим удачам судить обо мне.

– ...Событие, о котором в другое время заговорил бы весь мир, – продолжал он, – и прах национального героя, каковым по заслугам признан мой брат, был бы

торжественно доставлен в столицу и предан погребению при огромном стечении народа.

Я отвечал, что прах капитана Татаринова покоится на берегу Енисейского залива и что он сам, вероятно, не пожелал бы для себя лучшей могилы.

– Без сомнения. Но я говорю о другом – о самой исключительности судьбы его. О том, что забвение как бы шло за ним по пятам и если бы не мы, – он сказал: «мы», – едва ли хоть один человек на земле знал бы, кто он таков и что он сделал для родины и науки. Это было слишком, и я чуть не сказал ему дерзость. Но в эту минуту дверь открылась, и какая-то девушка, выйдя от следователя, пригласила меня к нему.

Мне все время казалось, что если бы следователь, или следовательница (потому что это была женщина) не была такой молодой и красивой, она не допрашивала бы меня так подчеркнуто сухо. Но потом моя история увлекла ее, и она совершенно оставила свой официальный тон.

– Вам известно, товарищ Григорьев, – так она начала, когда я сообщил ей свой возраст, профессию, был ли я под судом и т.д., – по какому делу я вызвала вас?

Я отвечал, что известно.

– В свое время вы дали показания. – Очевидно, она имела в виду допрос в Н. – В них есть неясности, о которых мне, прежде всего, необходимо поговорить с вами.

Я сказал:

– К вашим услугам.

– Вот, например.

Она прочитала несколько мест, в которых я дословно передал наш разговор с Ромашовым на Собачьей Площадке.

– Выходит, что когда Ромашов писал на вас заявление, он был как бы орудием в руках другого лица.

– Другое лицо названо, – сказал я. – Это Николай Антоныч Татаринов, который дожидается у вас в приемной. Кто из них был орудием, а кто руками – этого я сказать не могу. Мне кажется, что решение подобного вопроса является не моей, а вашей задачей.

Я рассердился, может быть, потому, что донос Ромашова она почтительно назвала заявлением.

– Так вот, остается неясным, какую же цель мог преследовать профессор Татаринов, пытаясь сорвать поисковую партию? Ведь он сам является ученым-полярником, и, казалось бы, розыски его пропавшего брата должны были встретить самое горячее сочувствие с его стороны.

Я отвечал, что профессор Татаринов мог преследовать несколько целей. Прежде всего, он боялся, что успешные поиски остатков экспедиции «Св. Марии» подтвердят мои обвинения. Затем, он не является ученым-полярником, а представляет собою тип лжеученого, построившего свою карьеру на книгах, посвященных истории экспедиции «Св. Марии». Поэтому всякая конкуренция, естественно, задевала его жизненные интересы.

– А у вас были серьезные основания надеяться, что розыски подтвердят ваши обвинения?

Я отвечал, что были. Но этот вопрос теперь не подлежит обсуждению, потому что я нашел остатки экспедиции и среди них – прямые доказательства, которые намерен огласить публично.

Именно после этого ответа моя следовательница стала быстро съезжать с официального тона.

– Как нашли? – спросила она с искренним изумлением. – Ведь это же было давно. Лет двадцать тому назад или даже больше?

- Двадцать девять.  
– Но что же может сохраниться через двадцать девять лет?  
– Очень многое, – отвечал я.  
– И самого капитана нашли?  
– Да.  
– И он жив?  
– Ну, что вы конечно нет! Можно точно сказать, когда он погиб – между восемнадцатым и двадцать вторым июня тысяча девятьсот пятнадцатого года.  
– Ну, расскажите.

Конечно, я не мог рассказать ей все. Но долго ждал приема профессор Татаринцов, и, должно быть, многое успел он перебрать в памяти и обо многом переговорить наедине с собой, прежде чем занял мое место у стола этой красивой любознательной женщины. И о том, что подлежит суду, и о том, что не подлежит суду за давностью преступления, рассказал я ей. Старая история! Но старые истории долго живут, гораздо дольше, чем это кажется с первого взгляда.

Она слушала меня, и хотя это был по-прежнему следователь, но следователь, который вместе со мной разбирал письма, некогда занесенные на двор половодьем, и вместе со мной делал выписки из полярных путешествий, и вместе со мной перебрасывал учителей, врачей, партработников<sup>320</sup> в глухие ненецкие районы. Дневники штурмана Климова были уже прочитаны, и старый латунный багор найден – последний штрих, так мне казалось тогда, в стройной картине доказательств. Но вот я дошел до войны и замолчал, потому что беспредельная панорама всего, что мы пережили, открылась передо мной и в ее глубине лишь чуть-чуть светилась мысль, которая всю жизнь волновала меня. Это было трудно объяснить незнакомому человеку. Но я объяснил.

– Капитан Татаринцов понимал все значение Северного морского пути для России, – сказал я, – и нет ничего случайного в том, что немцы пытались перерезать этот путь. Я был человеком войны, когда летел к месту гибели экспедиции «Св. Марии», и я нашел ее потому, что был человеком войны.

## **Глава 8**

### **Доклад**

На этот раз я не добивался чести выступить с докладом в Географическом обществе и не получал любезного приглашения представить свой доклад в письменном виде. Я дважды отказывался от выступления, потому что прошел лишь месяц с тех пор, как была опубликована замечательная статья профессора В. о научном наследстве «Св. Марии». Когда он сам позвонил мне, я согласился.

...Все пришли на этот доклад, даже Кирина мама. К сожалению, я не запомнил ту маленькую приветственную речь с цитатами из классиков, которую она встретила меня. Речь немного затянулась, и мне стало смешно, когда я увидел, с каким покорным отчаянием Валя слушал ее.

Кораблева я посадил в первом ряду, прямо напротив кафедры, – ведь я привык смотреть на него во время своих выступлений.

---

<sup>320</sup> Партработник – партийный работник, в период СССР члены коммунистической партии, занимавшие различные должности в партийных структурах.

– Ну, Саня, – сказал он весело, – уговор. Я положу руку вот так, вниз ладонью, а ты говори и на нее посматривай! Стану похлопывать, значит волнуешься. Нет – значит нет.

– Иван Павлыч, дорогой.

Разумеется, я ничуть не волновался, хотя, в общем, это было довольно страшно. Я беспокоился лишь, придет ли на мой доклад Николай Антоныч.

Он пришел. Развешивая карты, я обернулся и увидел его в первом ряду, недалеко от Кораблева. Он сидел, положив ногу на ногу и глядя прямо перед собой с неподвижным выражением. Мне показалось, что он изменился за эти несколько дней: в лице его появилось что-то собачье, щеки обвисли над воротником была высоко видна морщинистая похуевшая шея.

Конечно, мне было очень приятно, когда председатель, старый, знаменитый географ, прежде чем предоставить мне слово, сам сказал несколько слов обо мне. Я даже пожалел, что у него такой тихий голос. Он сказал, что я «один из тех людей, с которыми тесно связана история освоения Арктики большевиками». Потом он сказал, что именно моему «талантливому упорству» советская арктическая наука обязана одной из своих интереснейших страниц, – и я тоже не стал возражать, тем более что в зале заплодировали, и громче всех – Кирина мама.

Пожалуй, не стоило делать такого длинного вступления, посвященного истории Северного морского пути, хотя это была интересная история.

Я довольно плохо рассказал об этом – часто останавливался, забывал самые простые слова и вообще «мекал», как потом объявила Кира.

Но вот я перешел к нашему времени, обрисовал в общих чертах военное значение северной проблемы и остановился на исторической дате, когда товарищ Сталин<sup>321</sup> заложил основание Северного флота.

В эту минуту где-то далеко, в темном конце прохода, мелькнула и скрылась моя Катя. Она была немного больна – простудилась – и обещала мне остаться дома. Но как это было хорошо, что она приехала, просто прекрасно! У меня сразу сделалось веселее на душе, и я стал говорить увереннее и тверже.

– Может быть, вам покажется странным, – сказал я, – что в дни войны я намерен доложить вам о старинной экспедиции, окончившейся около тридцати лет тому назад. Это – история. Но мы не забыли нашей истории, и возможно, что наша главная сила заключается именно в том, что война не отменила и не остановила ни одной из великих мыслей, которые преобразили нашу страну. Завоевание Севера советским народом принадлежит к числу этих мыслей.

Я запнулся, потому что мне захотелось рассказать, как мы с Ледковым осматривали Заполярье, но это было далеко от темы доклада, и не очень ловко я свернул на биографию капитана.

С непостижимым чувством я рассказывал о нем! Как будто не он, а я был этот мальчик, родившийся в бедной рыбацкой семье на берегу Азовского моря. Как будто не он, а я в юности ходил матросом на нефтеналивных судах между Батумом и Новороссийском. Как будто не он, а я выдержал экзамен на «морского прапорщика» и потом служил в

---

<sup>321</sup> Сталин – наст. имя Иосиф Виссарионович Джугашвили (1878–1953), российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель; фактически стоял во главе советского государства с 1924 года до своей смерти. На период нахождения Сталина у власти приходится ряд важнейших событий в [истории СССР](#) и мировой истории: в частности, разгром нацизма во [Второй мировой войне](#), превращение [СССР](#) в страну со значительным научным, военным и промышленным потенциалом, установление [диктаторского тоталитарного режима](#), многочисленные людские потери, установление социалистического строя в [Восточной Европе](#) и [Восточной Азии](#), начало [холодной войны](#).



Гидрографическом управлении, с гордым равнодушием перенося высокомерное непризнание офицерства. Как будто не он, а я делал заметки на полях нансеновских книг и гениальная мысль: «Лед сам решит задачу» была записана моей рукой. Как будто его история окончилась не поражением и безвестной смертью, а победой и счастьем. И друзья, и враги, и любовь повторились снова, но жизнь стала иной, и победили не враги, а друзья и любовь.

Я говорил и все с большей силой испытывал то чувство, которое не могу назвать иначе, как вдохновением. Как будто на далеком экране под открытым небом я увидел мертвую, засыпанную снегом шхуну. Мертвую ли? Нет, стучат, забивают досками световые люки, обшивают толем и войлоком потолки – готовятся к зимовке...

Моряки, стоявшие в проходе, расступились перед Катей, когда она шла к своему креслу, и я подумал, что это очень справедливо, что они так почтительно расступаются перед дочерью капитана Татаринова. Но она была еще и лучше всех – особенно в этом простом английском костюме. Она была лучше всех – и тоже каким-то образом участвовала в этом восторге, в этом вдохновении, с которыми я говорил о плавании «Св. Марии».

Но пора было переходить к научной истории дрейфа, и я начал ее с утверждения, что факты, которые были установлены экспедицией капитана Татаринова, до сих пор не потеряли своего значения. Так, на основании изучения дрейфа известный полярник профессор В. предположил существование неизвестного острова между 78-й и 80-й параллелями, и этот остров был открыт в 1935 году – и именно там, где В. определил его место. Постоянный дрейф, установленный Нансеном, был подтвержден путешествием капитана Татаринова, а формулы сравнительного движения льда и ветра представляют собой огромный вклад в русскую науку.

Движение интереса пробежало по аудитории, когда я стал рассказывать о том, как были проявлены фотопленки экспедиции, пролежавшие в земле около тридцати лет.

Свет погас, и на экране появился высокий человек в меховой шапке, в меховых сапогах, перетянутых под коленями ремешками. Он стоял, упрямо склонив голову, опершись на ружье, и мертвый медведь, сложив лапы, как котенок, лежал у его ног. Он как будто вошел в этот зал – сильная, бесстрашная душа, которой было нужно так мало!

Все встали, когда он появился на экране, и такое молчание, такая торжественная тишина воцарилась в зале, что никто не смел даже вздохнуть, не то что сказать хоть слово.

И в этой торжественной тишине я прочитал рапорт и прощальное письмо капитана:

– «... Горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогли, а хотя бы не мешали. Что делать? Одно утешение – что моими трудами открыты и присоединены к России новые обширные земли...»

– Но в этом письме, – продолжал я, когда все сел, – есть еще одно место, на которое я должен обратить ваше внимание. Вот оно: «Я знаю, кто мог бы помочь вам, но в эти последние часы моей жизни не хочу называть его. Не судьба была мне открыто высказать ему все, что за эти годы накопело на сердце. В нем воплотилась для меня та сила, которая всегда связывала меня по рукам и ногам...» Кто же этот человек, самого имени которого капитан не хотел называть перед смертью? Это о нем он писал в другом письме: «Можно смело сказать, что всеми своими неудачами мы обязаны только ему». О нем он писал: «Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара». О нем он писал: «Главная неудача – ошибка, за которую приходится расплачиваться ежедневно, ежеминутно, – та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю...»

Николаю! Но мало ли Николаев на свете!

Конечно, на свете много Николаев, и даже в этой аудитории их было немало, но только один из них вдруг выпрямился, оглянулся, когда я громко назвал это имя, и палка, на которую он опирался, упала и покатила. Ему подали палку.

– Не для того я хочу сегодня полностью назвать это имя, чтобы решить старый спор между мною и этим человеком. Наш спор давно решен – самой жизнью. Но в своих статьях он продолжает утверждать, что всегда был благодетелем капитана Татаринова и что даже самая мысль «пройти по стопам Норденшельда»<sup>322</sup>, как он пишет, принадлежит ему. Он так уверен в себе, что имел смелость явиться на мой доклад и сейчас находится в этом зале.

Шепот пробежал по рядам, потом стало тихо, потом снова шепот. Председатель позвонил в колокольчик.

– Странная судьба! До сих пор он действительно ни разу не был назван полностью – имя, отчество и фамилия. Но среди прощальных писем капитана мы нашли и деловые бумаги. С одной из них, очевидно, капитан никогда не расставался. Это копия обязательства, согласно которому: 1. По возвращении на Большую Землю вся промысловая добыча принадлежит Николаю Антоновичу Татаринову – полностью имя, отчество и фамилия. 2. Капитан заранее отказывается от всякого вознаграждения. 3. В случае потери судна капитан отвечает всем своим имуществом перед Николаем Антоновичем Татариновым – полностью имя, отчество и фамилия. 4. Самое судно и страховая премия принадлежат Николаю Антоновичу Татаринову – полностью имя, отчество и фамилия. Когда-то в разговоре со мной этот человек сказал, что только одного свидетеля он признает: самого капитана. Пусть же он теперь перед всеми нами откажется от этих слов, потому что сам капитан теперь называет его – полностью имя, отчество и фамилия!

Страшная суматоха поднялась в зале, едва я кончил свою речь, – в передних рядах многие встали, в задних стали кричать, чтобы садились – не видно, а он стоял, подняв руку с палкой, и кричал:

– Я прошу слова, я прошу слова!

Он получил слово, но ему не дали говорить. В жизни моей я не слышал такого дьявольского шума, который поднимался, едва он открывал рот. Но он все-таки сказал что-то – никто не расслышал – и, тяжело стуча палкой, сошел с кафедры и направился к выходу вдоль зрительного зала. Он шел в полной пустоте – и там, где он проходил, долго была еще пустота, как будто никто не хотел идти там, где он только что прошел, стуча своей палкой.

## **Глава 9**

### **И последняя**

Вагон шел до Энска, значит, все эти люди, расположившиеся где придется – на полу и на полках – в переполненном, полутемном вагоне, ехали в Энск. В прежние времена этого было достаточно, чтобы его народонаселение увеличилось чуть ли не вдвое.

Мы познакомились с соседями, или, вернее, с соседками (потому что это были студентки московских вузов), и они сказали, что едут в Энск на работу.

– На какую же?

---

<sup>322</sup> Норденшельд – (1832–1901), знаменитый шведский путешественник, исследовал Шпицберген, запад берег Гренландии, Карское море и устье Енисея и доказал возможность морского сообщения Европы с Сибирью.

– Еще неизвестно. На шахты.

Если не считать подкопа в Соборном саду, о котором Петька когда-то говорил, что он идет под рекой и что в нем «на каждом шагу скелеты», в Энске никогда не было ничего похожего на шахты. Но девушки утверждали, что едут на шахты.

Как всегда, уже через три-четыре часа в каждом отделении образовалась своя жизнь, не похожая на соседнюю, как будто тонкие, не доверху, дощатые стенки разделили не вагон, а чувства и мысли. В одних отделениях стало шумно и весело, а в других скучно. У нас – весело, потому что девушки, немного погрузив, что не удалось остаться на летнюю работу в Москве, и поругав какую-то Машку, которой это удалось, стали петь, и весь вечер мы с Катей слушали современные военные романсы, среди которых несколько было забавных. В общем, девушки пели до самого Энска, даже ночью – почему-то они решили не спать. Так и прошла вся недолгая дорога – тридцать четыре часа – в пенье девушек и в дремоте под это молодое, то веселое, то грустное, пенье. Прежде поезд приходил рано утром, а теперь – под вечер, так что, когда мы слезли, маленький вокзал показался мне в сумерках симпатичным и старомодно-уютным. Но прежний Энск кончился там, где кончился широкий, в липах, подъезд к этому зданию, потому что, выйдя на бульвар, мы увидели вдалеке какие-то темные корпуса, над которыми быстро шли багрово-дымные облака, освещенные снизу. Это был такой странный для Энска пейзаж, что я даже сказал девушкам, что, очевидно, где-то в Заречной части пожар, и они поверили, потому что дорогой я долго хвастался, что родом из Энска и что мне знаком каждый камень. Но оказалось, что это не пожар, а пушечный завод, выстроенный в Энске за годы войны.

Я видел, как необыкновенно изменились за время войны наши города – например, М-ов, – но я не знал их в детские годы. Теперь, когда мы с Катей шли по быстро темнеющим Застенной, Гоголевской, мне казалось, что эти улицы, прежде лениво растянувшиеся вдоль крепостного вала, теперь поспешно бегут вверх, чтобы принять участие в этом беспрестанном огненно-дымном движении облаков над заводскими корпусами. Это было первое, но верное впечатление – перед нами был хорошо вооруженный город. Конечно, для меня он был прежним, родным Энском, но теперь я встретился с ним, как со старым другом, – когда вглядываешься в знакомые изменившиеся черты и невольно смеешься от нежности к волнения и не знаешь, с чего начать разговор.

Еще из Полярного мы писали Пете, что приедем навестить стариков, и он рассчитывал подогнать к этому времени давно обещанный отпуск.

Никто не встретил нас на вокзале, хотя я телеграфировал из Москвы, и мы решили, что Пете не удалось приехать. Но первый, кого мы встретили у подъезда между сердитыми львиными мордами дома Маркузе, был именно Петя, которого я сразу узнал, даром что из рассеянной, задумчивой личности с вопросительным выражением лица он превратился в бравого, загорелого офицера.

– Ага, вот они где! – сказал он, как будто долго искал и, наконец, нашел нас.

Мы обнялись, а потом он шагнул к Кате и взял ее руки в свои. У них было свое – Ленинград, и когда они стояли, сжимая руки друг другу, даже я был далек от них, хотя, может быть, ближе меня у них не было человека на свете.

Тетя Даша спала, когда мы ворвались в ее комнату, и, вероятно, решила, что мы приснились ей, потому что, приподнявшись на локте, долго рассматривала нас с задумчивым видом. Мы стали смеяться, и она очнулась.

– Господи, Санечка! – сказала она. – И Катя! А сам-то опять уехал!

«Сам» – это был судья, а «опять уехал» – это значило, что когда мы с Катей лет пять назад приезжали в Энск, судья был на сессии где-то в районе.

Стоит ли рассказывать о том, как хлопотала, устраивая нас, тетя Даша, как она огорчалась, что пирог приходится ставить из темной муки и на каком-то «заграничном сале». Кончилось тем, что мы силой усадили ее, Катя принялась за хозяйство, мы с Петей вызвались помогать ей, и тетя Даша только вскрикивала и ужасалась, когда Петя «для вкуса», как он объяснил, всадил в тесто какие-то концентраты, а я вместо соли едва не отправил туда же стиральный порошок. Но, как ни странно, тесто прекрасно подошло, и хотя тетя Даша, положив кусочек его в рот, сказала, что мало «сдобы», видно было, что пирог, по военному времени, вышел недурной.

За обедом тетя Даша потребовала, чтобы ей было рассказано все, начиная с того дня и часа, когда мы пять лет тому назад расстались с нею на Энском вокзале. Но я убедил ее, что подробный отчет нужно отложить до приезда судьи; зато Петю мы заставили рассказать о себе.

С волнением слушал я его. С волнением – потому что знал его больше двадцати пяти лет и теперь он вовсе не казался мне другим человеком, как его рисовала Катя. Но то загадочное для меня «зрение художника», которое всегда отличало Петю в моих глазах от обыкновенных людей, теперь стало определеннее и точнее.

Он показал нам свои альбомы – последний год Петя находился уже не в строю, работал художником фронтового театра. Это были зарисовки боевой жизни, часто беглые, торопливые. Но та нравственная сила, которую знает каждый, кто провел в нашей армии хотя бы несколько дней, была отражена в них с удивительной глубиной.

Часто я останавливался перед незабываемыми картинами войны, инстинктивно сожалея, что одна, бесследно исчезая, сменяет другую. Теперь я увидел их в едва намеченном, но глубоком, может быть, гениальном преображении.

– Ну вот, – добродушно улыбнувшись, сказал Петя, когда я поздравил его, – а судья говорит, что плохо. Мало героизма. И сын рисует, – добавил он, выпятив нижнюю губу, как всегда, когда бывал доволен. – Ничего, кажется, способный.

Катя достала из чемодана письма от Нины Капитоновны, которая еще жила с Петенькой под Новосибирском, и тетя Даша, всегда интересовавшаяся бабушкой, потребовала, чтобы некоторые из них были прочитаны вслух.

Бабушка по-прежнему жила отдельно, не в лагере, хотя директор Перышкин лично посетил ее и, принеся извинения, просил вернуться в лагерь. Но бабушка «поблагодарила и отказалась, потому что смолоду кланяться не приучена», как она писала. Отказалась и вдруг, поразив весь район, поступила в культмассовый сектор местного Дома культуры<sup>323</sup>.

«Учу шить и кроить, – кратко писала она, – а тебя и Саню поздравляю. Я его давно узнала, еще когда мал был, и чтобы вырос, я его гречею кормила. Он славный... А ты не замучай его, у тебя характер неважный».

Это был ответ на письмо, в котором мы сообщили ей, что нашли друг друга.

«Не спала всю ночь, – писала она, получив известие о том, что найдены остатки экспедиции, – все думала о бедной Маше. И думала, что это к лучшему, что страшная судьба твоего отца осталась ей неизвестна».

Петенька был здоров, очень вырос, судя по фото, и стал еще больше похож на мать. Мы вспомнили Саню – и долго молчали, как бы вновь остановившись с тоской перед этой бессмысленной смертью.

---

<sup>323</sup> Культмассовый сектор – сектор, занимающийся организацией культурно-массовых мероприятий, досуга.

<sup>324</sup> Дом культуры – клубное учреждение, центр культурно-массовой и просветительской работы.

Еще весной Катя стала хлопотать пропуском в Москву для бабушки и Петеньки, и была надежда, что мы увидим их на обратном пути.

Старая моя и Катина мысль, чтобы одной семьей поселиться в Ленинграде, не раз была повторена в этот вечер. Одной семьей – с бабушкой и обоими Петями, маленьким и большим. Но большой немного смутился, когда в будущей квартире, которая была уже получена в воображении, и не где-нибудь, а на Кировском проспекте, мы отвели ему студию в стороне, чтобы никто не мешал. Кажется, он не имел ничего против того, чтобы одна женщина, о которой Катя отзывалась с восторгом, иногда мешала ему. Но, разумеется, в этот вечер никто не сказал о ней ни слова...

Еще весь дом спал, когда вернулся судья. Он так зарычал и стал сердиться, когда тетя Даша собралась поднять нас, что пришлось притвориться и полежать еще полчаса. Точно как пять лет назад, он долго фырчал и кряхтел в кухне – мылся. И слышно было, как прошел по коридору и с него гулко падали капли.

Катя снова уснула, а я тихонько оделся и пошел в кухню, где он сидел и пил чай, босой, в чистой рубахе, с еще мокрыми после мытья головой и усами.

– Разбудил все-таки! – сказал он и, шагнув навстречу, крепко обнял меня.

Когда бы я ни вернулся в родной город, в родной дом, суровое: «Ну, рассказывай» неизменно ждало меня. Старик желал знать, что я делал и правильно ли я жил за годы разлуки. Строго уставясь на меня из-под густых бровей, поросших длинными, толстыми волосами, он допрашивал меня, как настоящий судья, и я знал, что нигде на свете не найду более справедливого приговора... Но на этот раз – впервые в жизни – судья не потребовал у меня отчета.

– Все ясно, – сказал он, с довольным видом проведя под носом рукой и уставясь на мои ордена. – Четыре?

– Да.

– И пятый – за капитана Татаринова, – серьезно сказал судья. – Это трудно формулировать, но получишь.

Это действительно было трудно формулировать, но, очевидно, старик серьезно взялся за дело, потому что вечером, когда мы снова встретились за столом, сказал речь и в ней попытался подвести итоги тому, что я сделал.

– Жизнь идет, – сказал он. – Зрелые, законченные люди, вы приехали в родной город и вот говорите, что его трудно узнать, так он изменился. Он не только изменился – он сложился, как сложились вы, открыв в себе силы для борьбы и победы. Но и другие мысли приходят в голову, когда я вижу тебя, дорогой Саня. Ты нашел экспедицию капитана Татаринова – мечты исполняются, и часто оказывается реальностью то, что в воображении представлялось наивной сказкой. Ведь это к тебе обращается он в своих прощальных письмах, – к тому, кто будет продолжать его великое дело. К тебе – и я законно вижу тебя рядом с ним, потому что такие капитаны, как он и ты, двигают вперед человечество и науку.

И он поднял рюмку и до дна выпил за мое здоровье.

До поздней ночи сидели мы за столом. Потом тетя Даша объявила, что пора спать, но мы не согласились и пошли гулять на Песчинку.

По-прежнему, сменяя друг друга, торопливо бежали над заводом огненно-темные облака. Мы спустились к реке и прошли до Пролома, подле которого худенький черный мальчик в широких штанах когда-то ловил голубых раков на мясо. Как будто время остановилось и терпеливо ждало меня на этом берегу, между старинных башен, у слияния Песчинки и Тихой, – и вот я вернулся, и мы смотрим друг другу в лицо. Что ждет меня впереди? Какие новые испытания, новый труд, новые мечты, счастье или несчастье? Кто знает... Но я не опускаю глаз под этим неподкупным взглядом.

Пора было возвращаться, Кате стало холодно, и, пройдя вдоль набережной, заваленной лесом, мы повернули домой.

В городе было тихо и как-то таинственно. Мы долго шли, обнявшись, и молчали. Мне вспомнилось наше бегство из Энска. Город был такой же темный и тихий, а мы маленькие, несчастные и храбрые, а впереди страшная и неизвестная жизнь...

У меня были мокрые глаза, и я не вытирал этих радостных слез и не стеснялся, что плачу.

## Эпилог

Чудная картина открывается с этой высокой скалы, у подошвы которой растут, пробиваясь между камней, дикие полярные маки. У берега еще видна открытая зеркальная вода, а там, дальше, полыньи и лиловые, уходящие в таинственную глубину ледяные поля. Здесь необыкновенной кажется прозрачность полярного воздуха. Тишина и простор. Только ястреб иногда пролетит над одинокой могилой.

Льды идут мимо нее, сталкиваясь и кружась, – одни медленно, другие быстрее.

Вот проплыла голова великана в серебряном сверкающем шлеме: все можно рассмотреть – зеленую косматую бороду, уходящую в море, и приплюснутый нос, и прищуренные глаза под нависшими седыми бровями.

Вот приближается ледяной дом, с которого, звеня бесчисленными колокольчиками, скатывается вода; а вот большие праздничные столы, покрытые чистыми скатертями.

Идут и идут, без конца и края!

Заходящие в Енисейский залив корабли издалека видят эту могилу. Они проходят мимо нее с приспущенными флагами, и траурный салют гремит из пушек, и долгое эхо катится не умолкая.

Могила сооружена из белого камня, и он ослепительно сверкает под лучами незаходящего полярного солнца.

На высоте человеческого роста высечены следующие слова:

«Здесь покоится тело капитана И. Л. Татаринова, совершившего одно из самых отважных путешествий и погибшего на обратном пути с открытой им Северной Земли в июне 1915 года.

Бороться и искать, найти и не сдаваться!»